Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/sbornikstatei03kliu

В. О. Ключевский

М. и М. Сапроновы
Москва,
Январь 1922.

ОТЗЫВЫ
И
ОТВЕТЫ

ТРЕТИЙ
СБОРНИК СТАТЕЙ

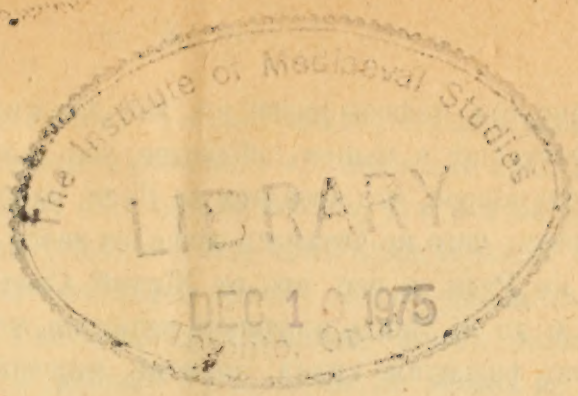
Литературно-Издательский Отдел
Комиссариата Народного Просвещения
ПЕТРОГРАД
1918.

Сочинения В. О. Ключевского **монополизированы** Российской Федеративной Советской Республикой на пять лет, по 31 декабря 1922 г.

Настоящее издание перепечатано без всяких изменений с издания, выпущенного в Москве в 1914 году.

Никем из книгопродавцев указанная на книге **цена не может быть повышена** под страхом ответственности перед законом страны.

Правительственный Комиссар Лит.-Изд. Отд.
П. И. Лебедев-Полянский.



Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским Митрополитом Макарием [1]).

(Издание Археографической Коммиссии. Т. I (Сентябрь, дни 1—13) In 4. Спб., 1868).

Изучение нашего прошлого имеет за собой одно чрезвычайно драгоценное условие, которое может оказать на него плодотворное влияние, если только уметь им пользоваться. Важнейшие умственные и общественные движения, которые переживали мы в разные времена своей истории, важнейшие интересы, волновавшие наших близких и далеких предков,— не успели скрыться и замереть под почвой, наносимой новыми движениями и интересами, а живут и действуют поныне воочию наблюдателя и могут быть изучаемы не по одним мертвым памятникам, но и по живым остаткам, уцелевшим в разных углах нашего отечества, в разных слоях нашего общества. Историческая почва, по которой мы ходим, не покоится над рядом разновременных и разнородных пластов, вскрываемых только заступом историка: большею частью эти пласты остаются еще открытыми, вспахиваются и засеваются.

Возьмем нашу литературу, в ее широком историческом объеме, и связанные с нею умственные интересы. Все ступени, пройденные русским сознанием, от доверчивой песни про богатыря до научной переборки всей отечественной истории, или от страха перед силой, обитающей в соседнем лесу, до вопроса, занимающего все человечество,—все широты, отде-

[1]) „Москва“. 1868. № 90 от 20 июня.

ляющие эти полюсы развития, так же мирно и одновременно присутствуют в нашем обществе, как параллели на глобусе. Словом, вопрос, что читается на Руси, удобнее выразить другим вопросом: чего не читается здесь из всего когда-либо читавшегося на Руси, и все это от Житий Святых до Бовы-королевича и до Ж. Занда не только читается, но и определяет собою степень развития, склад понятий, миросозерцания читающего круга. Изучить в статистическом разрезе все умственные слои, представляемые нашим обществом, значит пройти не один век русской умственной жизни.

Наука не может не дорожить таким благоприятным условием, какое представляет ей само общество; но она не должна и оставаться в долгу перед обществом, дающим ей это условие. На нее возлагается некоторая нравственная обязанность— иметь в виду не одни верхи развития, но спускаться вниманием и в другие слои его, подавать руку их умственным потребностям. Такая обязанность становится тем чувствительнее, что эти другие слои представляют не бесплодные окаменелости, а свежую почву, на которой можно сеять и жать.

Мы ведем эту речь к тому, что С.-Петербургская Археографическая Коммиссия, ученое правительственное учреждение, для обнародования древних памятников нашей истории предприняла издание Четьих Миней митрополита Макария, одного из самых крупных памятников литературы, завещанных нам древней Русью. Недавно напечатан первый том издания. Это предприятие само собой вызывает такую мысль: вот памятник, который, кроме специально научного интереса, может иметь и широкое практическое, образовательное значение в нашем обществе. Кроме немногих, которые воспользуются им, как историческим материалом, у нас существует обширный круг людей, для которых он может быть живым источником поучения и образования, которые отнесутся к нему с таким же непосредственным нравственным интересом, какой привязал к нему наших старинных книжных людей. По значению, какое имеют в этом круге Четьи Минеи св. Димитрия Ростовского, можно видеть, как много живого и питательного находит рус-

ский человек в таком чтении. После Библии, Четьи Минеи для народа—самая уважаемая и полезная в отношении нравственного образования книга. Не трудно понять, что в этой книге особенно занимает верующего и ищущего нравственной пищи человека: это—жития святых, в таком обилии наполняющие книгу митрополита Ростовского. Известно, каким любимым чтением было житие в древней Руси, и мы не можем не признать за ним большого значения в истории нашего нравственного воспитания. Таким же любимым чтением остается оно и доныне в тех частях нашего народа, которые живут духовным наследием, полученным непосредственно от древне-русских предков. Таким значением жития пользуются не даром: трудно подобрать в наших библиотеках книгу, которая так же полно, как житие, способна была бы захватить и удовлетворить духовные потребности простого человека, так занять его нравственное чувство и воображение и послужить для него таким живым и удобным проводником сведений из наиболее ценимой им области знания истории христианства. Всякий из нас встречал людей, благоговейно сидевших и задумывавшихся над каким-нибудь житием Евстафия и Плакиды или Феодосия Печерского,—и всякий должен признаться, что они могли задуматься над этим глубже и плодотворнее, чем над многим и многим из современной нашей письменности. Нужно ли прибавлять, что надо особенно дорожить умственным основанием, какое положено в народе, ибо на этом основании можно гораздо более построить в деле народного воспитания, чем на основании разных современных изданий, приправленных руками людей, остающихся полными невеждами относительно народной жизни,—изданий, полных разною лжекультурною придурью.

Значение Макарьевских Четьих Миней, как памятника литературного и исторического, определяется тою двойственною задачей, какую поставил себе знаменитый их собиратель. Чтобы понять эту задачу, надобно представить себе то положение, в каком находился весь наличный состав нашей письменности, накопившейся ко времени Макария. Масса произ-

ведений, переводных и оригинальных, достигшая к тому времени уже значительного объема, переписывалась и расходилась по частным рукам, церквам, монастырям и т. д., подвергаясь всем случайностям, какие обыкновенно испытывает литература при письменном способе распространения. Кроме книг, имевших общий интерес, везде нужных, существовал значительный отдел произведений, имевших частное значение, возникших под влиянием местных интересов. При медленности распространения списков, при ограниченности и недостатке общений литературных интересов, эти последние произведения с трудом переходили за пределы той местности или того круга, в которых действовали вызвавшие их интересы. И те и другие произведения находились в немногих центрах, где собирались значительные библиотеки; но и там они не могли сосредоточиваться в полном своем составе. По теперешним рукописным нашим хранилищам мы можем приблизительно судить о том хаосе, какой представляли лучшие русские библиотеки около половины XVI века. Иные произведения встречались там в десятках экземпляров, с бесконечными вариантами, пропусками и дополнениями; другие с трудом можно было найти в одном списке. По свойству и развитию письменного дела в то время среди сотни рукописей, может быть, гораздо труднее было осмотреться, нежели в наших библиотеках среди тысяч печатных книг. Особенно увеличивала эту трудность любимейшая форма старинной русской письменности—сборники, в которых обыкновенно соединялись разнородные статьи, случайно ставшие рядом, без всякой внутренней связи и часто без оглавлений.

Из такого состояния письменности проистекали неодолимые затруднения для старинного грамотного человека. Он должен был читать то, что случайно попадалось под руку, т. е. читать без плана, без выбора. Если бы он захотел собрать сведения об известном круге предметов, познакомиться с известною отраслью тогдашней литературы, он бы не мог узнать, где что найти, что писано по этой отрасли. Трудно было сделать это и тем немногим счастливым людям, которые были

близки к большим собраниям рукописей; о степени этой трудности можно судить по тому, что приходится испытывать в рукописных библиотеках нам, вооруженным хоть какими-нибудь описями и каталогами. Наконец, принимаясь за какое-нибудь произведение, старинный читатель должен был отдавать себя в жертву тем капризным изменениям, искажениям и ошибкам, каким подвергали это произведение переписчики, прежде чем оно доходило до читателя.

Отсюда понятно, как родилась в голове одного из образованнейших иерархов древней Руси мысль соединить в один громадный сборник „все книги чтомые“, „которые в Русской земле обретаются“, предварительно подвергнув их строгому пересмотру и исправлению. Но при этом надобно было избегнуть недостатка обыкновенных сборников, который в задуманном своде стал бы совершенно неодолим: надобно было найти систему, удобную и понятную для тогдашнего образованного человека и настолько широкую, чтобы ею можно было связать все разнообразное содержание существовавшей тогда письменности. Вот та двойная задача, которую задумал осуществить в своих Минеях Макарий. Возможность для исполнения первой половины этой задачи Макарий нашел в личных средствах, какие давало ему его образование, и в общественном положении, какое занимал он—сперва как архиепископ новгородский, а потом как митрополит всероссийский. Новгород в XVI веке еще продолжал быть первым центром литературного движения в северной Руси; есть основание думать, что новгородский владыка окружен был литературными богатствами, каких не находил вокруг себя никакой другой русский епископ. Его материальные средства и сан давали ему возможность восполнять то, чего не доставало у него из всего письменного запаса того времени.

Система, способная объединить этот запас, была найдена в характере развития общества и самой литературы. Все высшие интересы общества были тесно связаны с Церковью, ее учениями и воспоминаниями. Церковь занимала широкое место в жизни мирянина; в свою очередь и эта жизнь текла

под непосредственным влиянием церкви, близко соприкасаясь с ее ежедневными отправлениями. Еще яснее сказывалось такое отношение общества к церкви в литературе и во всей письменности. Что имело ближайшее отношение к церкви, то чаще переписывалось и больше распространялось между ее членами. Почти обо всем, что мог читать тогдашний грамотный человек в досужие минуты, о том же читалось или пелось и в церкви. Даже в отреченной книге, в легенде, в житейской повести, он находил отголоски вопросов церкви, отблески ее учений и преданий, только преломившиеся в другой, чуждой среде мирского интереса или мудрования. Притом чисто-светские произведения проходили в целом составе тогдашней письменности едва заметною струей. Так с одной стороны общество было близко знакомо с кругом церковной жизни, с другой и литература легко укладывалась в этом кругу. Этот круг церковной жизни, церковный календарь, и должен был связать в одно огромное целое весь состав письменности, существовавшей во время Макария.

Нельзя сказать, чтобы Макарий во всей полноте осуществил свою задачу — собрать и расположить в порядке церковного календаря „все книги чтомые, которые в Русской земле обретаются". С одной стороны, несмотря на широту избранной системы, многие статьи и книги, вошедшие в его собрание, не имеют с ним органической связи: он должен был сделать из последних чисел месяцев нечто вроде дополнений, где он помещал разнообразные памятники литературы, не укладывавшиеся под его систему. С другой стороны, значительное количество произведений, несомненно читавшихся на Руси во время составления Миней, не попало в них. Не говорим уже о русских летописях, которых, несмотря на преобладание в них церковного характера, мог и не иметь в виду собиратель и которыми он воспользовался в другом чисто-историческом сборнике (Степенной Книге). Даже в собранном им запасе житий, составлявших основной, существенный материал Миней, не находим многих русских произведений, существовавших в то время. Так, нет древнего

жития Антония Римлянина, написанного учеником его Андреем около половины XII века,—одного из древнейших русских житий; не находим и жития Моисея, архиепископа новгородского, написанного Пахомием Логофетом, нет жития Ефрема Перскомского, Іосафа Каменского и других, написанных несомненно до возведения Макария в сан митрополита. Не вошли в его Минеи и другие русские статьи, читавшиеся в то время: укажем, например, на отсутствие любопытных сказаний Паисия Ярославова (XV в.) и некоторых произведений Іосифа Волоколамского.

Можно было бы продолжить перечень опущенного в Четиих-Минеяхъ. Но самые эти пропуски и весь состав Миней, вся форма их—есть важный, обильный выводами фактъ для истории русской литературы и письменности. Может быт, ничто лучше этих Миней не познакомит нас со свойством той умственной и нравственной пищи, которою питался русский грамотный человек XV и XVI вв. Благодаря им, мы можем подробно осмотреть внутренность той оружейной палаты, из которой брал он самые надежные моральные доспехи. Обширная библиотека, совмещенная в этих Минеях, дает наглядное представление того, что особенно ценилось, что имело наибольшее обращение в среде читающих людей первой половины XVI века.

Они даютъ возможность осязательно и живо определить один момент в развитии русской литературы, который без них не вышел бы из круга гаданий: сравнив количество русских оригинальных произведений, вошедших в Минеи, со всем объемом последних, можно видеть, какую незначительную часть всей письменности составляла бывшая в обращении оригинальная русокая литература до половины XVI века. Наконец, некоторые памятники, только благодаря этим Минеям не разделили участи многих других, еще существовавших во время Макария, на которых уже нельзя было найти после него.

В наше время, Археографическая Комиссия, думая пойти навстречу потребностям народного образования, предприняла

издание Четьих Миней Макария. По характеру памятника, к его изданию можно обратиться с двойным вопросом: для кого назначается оно—для ученых, или для народа? Издание Комиссии задумано и исполняется в таком виде, что допускает только отрицательный ответ на обе половины вопроса. В помещаемой ниже рецензии указано, почему мало полезно и неудобно оно с ученой стороны. Мы можем прибавить, что для народа оно еще менее удобно: оно неудобно для него ни по цене, ни по объему, ни по самому составу. То новое и общеинтересное для него, что есть в Макарьевских Минеях в сравнении с Димитриевскими, исчезает в массе лишнего, без чего народ может обойтись в новом издании и что он найдет частию в знакомой ему книге Димитрия Ростовского, частию в других, уже существующих и недорогих изданиях. Между тем Четьи Минеи Макария издаются целиком и в полном составе подлинника.

Таким образом новое издание в том виде, как предприняла его Комиссия, является роскошью, а роскошь позволительна только после удовлетворения насущных потребностей. Издание по своим размерам затянется надолго, может быть, на десятки летъ, и поглотит силы и средства, которые могли бы ускорить исполнение других, ближайших задач, стоящих на очереди в программе Комиссии. Например, в деле издания нашего исторического материала давно чувствуется резкий пробел: изданы летописи, акты, а подлинные жития русских святых пропущены и остаются в рукописях. Услужливые предприниматели ежегодно выпускают в тысячах экземпляров книги в роде „Битвы Русских съ Кабардинцами“ или „Дурака Красной Шапки“, а ученые казенные общества и комиссии никак не могут собраться издать жития русских святых. Издание Макарьевских „Четьих Миней“ не устранит пробела, ибо в них попала очень небольшая доля памятников этого рода. Частному лицу нужно иметь много благоприятных условий, чтобы стать в возможность познакомиться с ними, и то не во всей, а только в наибольшей полноте. Довольно указать на то, что ни в одном общественном и

доступном хранилище рукописей этот отдел древне-русской литературы не сосредоточивается в полном своем составе. Такому учреждению, как Археографическая Комиссия, было бы всего удобнее и естественнее принять на себя этот труд, который сделал бы ее существование заметным и полезным не для одних ученых, но и для массы читающего народа.

Нужно ли наконец говорить о важности передачи такого рода памятников в общее пользование? К подлинному житию каждый отнесется с большим доверием, нежели к витиеватому переложению Муравьева или сухому сокращению архиепископа Филарета Черниговского. Кроме непосредственного нравственного назидания, какое народ привык почерпать в этом любимом и уважаемом им источнике, дельное издание древне-русских житий дало бы народу самое удобное средство ознакомиться со своею историей и бросило бы не один светлый луч в его историческое сознание, в его взгляд на себя и на свое прошлое. Среди нас так часто слышатся жалобы на бедность духовного содержания, духовных элементов в нашей жизни и на недостаток народного, родного в этих элементах. Эта жалоба неблагоприятно действует на наши нравственные силы и утверждает наклонность к самопренебрежению. Мы вообще неохотно заглядываем в свое прошедшее и робко ступаем вперед. Нам, повидимому, нужно крепче и осязательнее убедиться в том, что история развивала в нас не одни физические силы, что нам знакомо и нравственное напряжение. Жития наших святых вводят именно в те сферы древне-русской жизни, где всего сильнее чувствуется веяние и работа этой нравственной силы народа. Читая их, мы присутствуем при двух основных процессах нашей древней истории: мы встречаемся лицом к лицу с древне-русским человеком, который, вечно двигаясь с крестом, топором и сохой, в зипуне и в монашеской рясе, делал одно немалое дело—расчищал место для истории от берегов Днепра до берегов Северного Океана и в то же время несмотря на такую растяжимость умел собрать силы на создание государства, сдержавшего и вторжение с Востока,

и пропаганду с Запада. Оба процесса поражают напряженностью физической силы, материальной борьбы, и в обоих ускользает из глаз участие нравственной силы. Может быть, ничто лучше жития не дает нам почувствовать, что не одним топором, не одною сохой расчищено и взрыто это необъятное поле, и не одни пресловутые Иваны московские дали государству такую живучесть, но что их материальному созданию послужили и лучшие нравственные силы народа в образе Петра, Алексия, Сергия и многих других. Может быть, мы серьезнее смотрели бы на себя и свое будущее, если бы лучше знали и ценили эти нравственные силы, потрудившиеся для нас в прошедшем.

Года два тому назад стало слышно, что Археографическая Комиссия решила приступить к обширному труду—изданию Четьих Миней митрополита Макария. Теперь начало труда, первый выпуск издания лежит перед нами. В Московской Синодальной библиотеке уже с января 1866 г. не видно сентябрьской книги Четьих Миней, взятой для напечатания в Археографическую Комиссию. Тем не менее нельзя не подивиться быстроте, с какою Комиссия осуществила ожидание, возбужденное слухом: издала первый том памятника, собрать который конечно было еще труднее, нежели теперь издать. Состав Макарьевских Четьих Миней чрезвычайно сложен и поэтому самому требовал издания по отдельным сериям, которые обнимали бы в себе каждая все собранные в Минеях однородные произведения. В этом не трудно убедиться даже из самого краткого обзора миней. Каждое число месяца в них открывается всегда рядом кратких статей, предлагающих рассказ о тех воспоминаниях, которые в тот день совершает церковь, о жизни святых, о празднуемых событиях или о происхождении праздника. Затем одному или больше из этих воспоминаний посвящается более подробное повествование в виде жития святого или повести о событии. Сюда же относятся и целые исторические книги, части Би-

блии, патерики и пр., вошедшие в Четии Минеи. Далее следуют обыкновенно произведения церковного красноречия, имеющие отношения к воспоминаниям дня, разного рода слова, какие находил под руками редактор. Иногда, особенно в дни главных праздников, находим такие слова в значительном количестве: так под 8 сентября помещено 8 слов поучительных и похвальных на Рождество Богородицы. Впрочем, трудно обозначить одним общим термином все разнообразное содержание этого третьего отдела в составе каждого дня Миней; довольно сказать, что огромное количество творений отцов и учителей церкви нашло себе здесь место. Особенным разнообразием и размерами статей отличаются последние числа месяцев. Помещенные здесь статьи и целые книги занимают едва ли не половину всего объема Миней. Впрочем, эти статьи книги являются уже простыми прибавлениями, стоящими вне общего плана Миней, вне связи с остальным их содержанием. Это—рядъ особых сборников, прибавленных к Минеям и составленных так же, как составлялись обыкновенные древне-русские Сборники, т. е. разные произведения переписывались на отдельных тетрадях, которые потом сшивались вместе, по соображениям, не имевшим ничего общего с их содержанием. Соображение, которыми руководился Макарий, внося в состав Миней эти бессвязные сборники, угадать легко при взгляде на Минеи. Не все месяцы представляли ему одинаковое количество материала. Между тем у него под руками было много толстых тетрадей, которые по содержанию своему не подходили ни под какое число календаря,—и вот он вносил их в скудный месяц столько, сколько нужно было для уравнения книги этого месяца в толщине с прочими книгами. В сентябрьской книге набралось прямого материала почти на тысячу листов; но в июньской его достало только на 480 листов, и потому к нему прибавляется огромная книга: „Толковый Апостол“, потом два патерика, Синайский и Египетский, книга Даниила Паломника и некоторые другие статьи, что составляет 530 новых листов, т. е. прибавления

занимают более половины всей книги. Таково же отношение прибавлений к прямому материалу и по объему, и по содержанию в декабрьской, февральской, июльской и августовской книгах. День заканчивается прологом, в котором, кроме стихов святым, встречаем обыкновенно или те же краткие статьи, которые уже были помещены в начале дня, или другие о тех же предметах, но такие же краткие, как и первые. Таков состав Миней в самых общих чертах его. Есть ли какая необходимость научная издавать весь этот почти сырой материал в таком виде?

Самый состав Четьих Миней Макария, повидимому, подсказывал ученым издателям, как им следовало отнестись к этому памятнику. Во-первых, в нем есть повторения; далее, состав слишком разнообразен, чтобы совершенно внешняя связь могла оцепить его в одно целое; наконец, половина Миней сама стремится оторваться от них, не подходя и под эту внешнюю связь с целым.

Обратимся теперь к начатому Коммиссией изданию и посмотрим, как она отнеслась к издаваемому памятнику.

Рассматривая первый выпуск издания, прежде всего узнаем, что 12 фолиантов, составляющих Четьи Минеи Макария, будут издаваться целиком, без всяких опущений и изменений в порядкѣ статей, т.-е. издаваться так, как издаются все археологические редкости. Едва ли будет практически полезно возражать теперь против такого плана, ибо издание уже решено и начато; но любопытно заглянуть в следствия, неизбежно вытекающие отсюда. Единственный полный список Миней, принятый Коммиссией за основной для издания, содержит в себе 14.036 листов большого формата. Если все следующие выпуски издания будут равняться вышедшему (а большие размеры едва ли желательны), то все издание составит 45 или 46 больших томов в 4 д. л. Цена всего издания, судя по первому тому, будет 225 или 230, а с пересылкой 270 или 276 руб. В какое же отношение все это ставит публику к новому изданию? Наше отношение к Четиям Минеям несколько иное, чем отношение книжных людей XVI в. Для

них все содержание Миней было одинаково любопытно, ибо все оно составляло материал одной науки, или правильнее— один круг знаний, которого они не дробили на отделы или специальности. Мы не можем вносить такого безразличия в содержание Миней; для нас оно распадается на несколько отделов, неодинаково важных для всякого. Мы, во-первых, не можем не отделять произведений переводных от оригинальных. Далее, в массе переводных произведений мы выделим те, которые имеют ближайшее отношение к нашей древней литературе, как ее непосредственные источники или образцы: все прочее останется при второстепенном значении простого факта из истории письменности. Таким образом содержание Миней во всей его целости важно только со стороны своего состава или формы, для изучения которой достаточно хорошего оглавления или указателя; главнейшею же по внутреннему значению частью остается круг материала, непосредственно относящегося к истории нашей литературы, что далеко не захватывает всего содержащегося в Минеях. Отсюда проистекают значительные неудобства при пользовании изданием. Во-первых, историку литературы, которому всего больше придется поработать над ним, оно, не заключая однородного материала, представит много такого, что любопытно для него по одному своему присутствию в составе Миней, и в чем он разве путем микроскопического изучения откроет еще другую годность. Во-вторых среди многого важного, что с обнародованием Миней впервые появится в печати, едва ли не столько же явится уже известного, изучаемого подлежащими специалистами в другом виде, по другим источникам. Таким образом, в какие бы руки ни попало издание, везде в нем будет оставаться много листов неразрезанными! К этим двум неудобствам, вынуждающим каждого приобретать только части издания, присоединяется и третье—его цена и объем. Но и приобретение издания по частям так же неудобно, ибо Минеи издаются не только вполне, но и сплошь, в порядке подлинника. Наконец, действительно ли Макарьевские Минеи представляют такую археологическую

редкость, в которой все, даже во внешней стороне, неприкосновенно? В археологической редкости дорожат целостью формы потому, что, разрушив эту форму, уничтожив в ней какую-нибудь подробность, уничтожат и самый исторический факт, представляемый редкостью. В Макарьевскихъ Минеях главное—содержание входящих в них литературных памятников, и то не всех.

Далее, половина XVI в. не слишком глубокая старина в истории нашей письменности и даже по минейной форме своего состава Макарьевский сборник имеет в ней предшественников. Наконец, самая связь, какая проходит по Минеям и по которой построен их состав, слишком слаба и даже слишком мало выдержана, чтобы некоторое нарушение ее в издании могло повредить ученому достоинству последнего. За то во сколько стало бы оно удобнее для публики? Между тем, дорожа целостью формы и состава памятника, издатели жертвуют другими более серьезными требованиями ученого издательства. Выше было уже сказано, что едва ли не половину Четьих Миней Макария составляют отдельные обширные книги, например: „Толковый Апостол“, „Патерик“, „Златоструй“ и проч., помещенные в Минеях большею частью без всякой связи с их общим планом. Эти памятники надобно и издавать, и изучать отдельно, и многие по другим, более древним и лучшим спискам, после тщательного разбора и сличения. Еще неизвестно—будут ли эти списки приняты Коммиссией во внимание; во всяком случае, ей придется в издании их принять за основание Макарьевский список, которому следовало бы по времени служить тут одним из второстепенных, только для сличения.

Впрочем, вопрос о списках касается не одних этих памятников, но и всего состава издаваемых Миней. Он представляет другую сторону в издании Коммиссии, над которой также можно задуматься. Четьи-Минеи издаются по трем спискам: Софийскому, Синодальному и Успенскому (Царскому) из которых один последний—полный. Но множество памятников, вошедших в Минеи, существует в других, более древ-

них и часто более исправных списках. Как к ним отнесутся издатели? В предисловии к первому тому Миней они не высказывают намерения справляться с ними. Между тем, это повидимому может стать необходимым, во-первых по неполноте двух списков Миней, во-вторых, потому что многие статьи в полном списке помещены в очень неисправном виде. Укажем на один пример: повесть о Петре, царевиче Ордынском, решительно не будет годна к употреблению, если напечатать ее по одному Успенскому списку, без сличения с другими, более исправными.

Из дальнейшего изложения приемовъ издания узнаем, что, вводя в него новые знаки препинания и уничтожая титла и некоторые согласные, не существующие в нынешнем алфавите, редакция удерживает старинное правописание с остальными его особенностями, юсами, надстрочными значками и проч. Это смелый для Коммиссии шаг вперед, важная уступка ученым приличиям, подающая большие надежды на ее дальнейшее исправление. Прежде она ничего не признавала в старинных рукописях: ни старинных знаков препинания, ни старинной транскрипции с ее двойными согласными, надстрочными значками и т. д. Теперь хотя значки пощажены,—и за это будет благодарен изучающий историю русского языка и письменного дела.

Таковы сведения, получаемые нами из предисловия к первому выпуску Четьих-Миней. Но вот что странно: кроме этого мы уже ровно ничего не узнаем из этого предисловия; ведь нельзя же отнести к новым сведениям того, от которого Коммиссия и тут не уволила читателя, т.-е., что она, издавая памятник, ничего не может сказать о нем, чтб следует. Коммиссия давно привыкла обходиться без предварительного ознакомления с тем, что она издает; но едвали ей удалось приучить к тому же свою публику. Надо быть крепко уверену, что сниходительность публики достаточно испытана, что взыскательность ее низведена до возможно низшей степени,—надобно получить такую уверенность относительно публики, чтобы спокойно смотреть ей в глаза, предлагая издание жда-

вшееся веками, и не предпослав ему предварительного изучения, изложенного в приличном введении. Нет сомнения, издатели прекрасно изучили Макарьевские Минеи, но они не поделились плодами этого изучения, которые облегчили бы для публики пользование изданием. Вместо этого издатели в нескольких строках выписывают несколько слов Макария из его вкладной записи, а от себя сообщают, что Великие Минеи Четьи собраны всероссийским митрополитом Макарием, что в них вошли не одни жития,—и немногое другое в этом роде. Это вызывает тем большее сожаление, что Макарьевские Минеи издаются не для одних записных ученых: ими не меньше будут интересоваться люди, которые по заглавному листу их впервые узнают, что существует на свете Археографическая Коммиссия. Если уж издаваемый памятник не мог возбудить в издателях должного интереса к своему содержанию, если с ученою братиею они привыкли обходиться запросто, то по крайней мере из внимания к этим людям следовало бы предпослать издаваемым Минеям сведения пошире того, что они собраны всероссийским митрополитом Макарием и что это—знаменитый памятник. Почему бы, например, не определить пообстоятельнее хотя того, когда и как составлен этот знаменитый памятник? Во вкладной записи, приложенной к Успенскому списку Миней, Макарий пишет, что он „писалъ сіи святыя великія книги въ Великомъ Новгородѣ, какъ былъ тамъ архіепископомъ“, следовательно в промежуток времени между 1526—1542 г. Между тем в Минеях встречаем произведения, списанные позднее: читаем житие Александра Свирского, составленное в 1545 г., житие Павла Обнорского, написанное не раньше 1546 г., житие Евросипа (sic) Псковского и слово о митрополите Ионе, составленные в 1547 г., встречаемъ несколько других произведений с указаниями, что они писаны при митрополите Макарии. Ясно, что Макарий в Новгороде только писал свои Минеи, а дописывал их уже в Москве. Известно, что он был центром и душою литературного движения, им же пробужденного и направленного к собиранию и литературной обработке известий из отечественной истории.

Так, многие жития русскихъ святых были написаны по его внушению, может быть именно для его Миней. Многие из этих произведений внесены были в Минеи уже в Москве. В Успенском списке есть даже следы того, что для этих заказанных и ожидавшихся произведений оставлялись в Минеях белые листы, наполненные позднее предшествующих и последующих. Вкладная запись Успенского списка своим годом (1552) указывает только на последний предел времени, до которого продолжалось окончательное образование этого единственного полного списка Макарьевских Миней.

Между тем литературно-историческое значение издаваемого памятника, повидимому, возлагало на Коммиссию непременную обязанность отнестись к нему посерьезнее: показать в издании его побольше внимательности и к нему, и к потребностям публики, чем сколько обнаружено его в прежних ее изданиях. Всё это требовалось хотя бы для того, чтобы показать, что наша ученость не отстала от учености XVI в., ведь собирать тогда было гораздо труднее, нежели теперь издавать собранное, а взять да написать готовое, как оно есть, и того легче.

Но нет худа без добра: может быть, это и хорошо, что в первом томе издаваемых Миней не находим исследования Коммиссии о памятнике. Может быть, в этом исследовании мы получили бы нечто в роде предисловия к XV тому летописей, которое так остроумно затемнило понимание состава летописного сборника, создав по небольшому отрывку из особого сказания, вставленному в сборник, целую летопись.

Расставаясь с новым изданием Коммиссии, укажем в заключение на то, что представляет особенно интересного и непосредственно относящегося к нашей истории первый вышедший том. Здесь находим житие Иосифа Волоколамского, составленное Саввой, епископом Крутицким и уже известное по изданию г. Невоструева, и духовную грамоту Иосифа, или „Книгу о манастырском устроении“, сколько помнится, еще нигде не напечатанную прежде в полном своем составе; далее, житие Иоанна, архиепископа новгородского, бывшее также

неизданным, исключая двух связанных с ним сказаний, напечатанных в памятниках г.г. Пыпина и Костомарова. Самый крупный и любопытный памятник представляет, конечно, духовная грамота знаменитого Волоцкого игумена, которая давно ждала себе места среди некоторых других монастырских уставов, уже напечатанных.

Новые Исследования

ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕ-РУССКИХ МОНАСТЫРЕЙ [1].

Исследование о главных направлениях в науке русской истории в связи съ ходом образованности. Часть I. Влияние византийской и южно-русской образованности. Реформа. Соч. доцента В. Иконникова
Киевские Университетские Известия за 1869 годъ.

Имя г. Иконникова, профессора киевского университета, встречалось уже на вышедшей несколько лет тому назад магистерской диссертации по русской истории, на исследовании о Максиме Греке; следов., новый труд есть результат его дальнейшей ученой деятельности. Тема нового труда, как видит читатель по заглавию, очень интересная. Автор не предпослал ему никакого предисловия; но судя потому, что в первой части еще нет ничего, прямо относящегося к общему заглавию „исследования“, можно догадываться, что оно будет многотомное. Одна первая часть, наполнявшая собою №№ *киевского университетского издания* за нынешний год, составляет довольно обширный том и есть сама по себе целое исследование. На ней мы и остановимся, предоставляя автору продолжением труда выяснить его основную задачу и внутреннюю связь первой части его с дальнейшими.

Мы считаем нужным теперь же предупредить читателя, что новое сочинение г. Иконникова вызвало нас на внимательный разбор не учеными своими результатами, а тем, что

[1]) „Православное Обозрение“ 1869. №№ 10 и 12.

оно с наибольшей полнотой характеризует один отдел современной русской исторической литературы. Надеемся, никто не станет спорить, что наша историография уже вышла из первобытного колыбельного состояния: у ней есть уже некоторые добытые результаты, есть выработанные приемы и требование, на высоте которых должно держаться ее дальнейшее движение. По отношению к этим результатам, приемам и требованиям, мы и считаем новый труд г. Иконникова заслуживающим внимательного разбора. Он заслуживает его тем более, что касается самых глубоких сторон древне-русской жизни: влияние византийское и потом южно-русское,—ведь это едва-ли не половина истории религиозно-нравственного и умственного развития древней Руси.

I.

Сделаем предварительно общее замечание об источниках, которыми пользовался автор, и о приемах его исследования. Внимательно просмотрев его цитаты, находим, что источники его исключительно печатные. Можно удивиться этому, как неожиданности, узнав, что главный предмет первой части его труда—древне-русский монастырь, для истории которого важнейший материал—в рукописях. Автор цитует массу житий русских святых без всяких дальнейших указаний на то, откуда он их заимствует. Сначала эти цитаты поражают, ибо в них среди русских житий встречаются такие, которые доселе даже в рукописях не попадались ни одному исследователю древне-русской литературы, наприм. житие преп. Кирилла Челмогорскаго, Леонида Устьнедумского, Саввы Тверского и мн. др. Дело объясняется просто: под именем житий автор разумеет и цитует не древнерусские произведения, известные под этим именем, а статьи в книге преосв. Филарета черниговскаго „Русские святые“. Строгий критик, может быть, усомнится, можно ли писать ученое исследование по этим кратким биографиям, предназначенным для читателя, который не претендует на звание специалиста по русской истории. В пользовании печатным материалом нам не удалось нигде

заметить попытки отнестись к нему критически: автор с одинаковым доверием пользуется и древней новгородской летописью, и Татищевым, и даже Флетчером. Но главным источником у автора являются чужие исследования, с тем же критическим отношением к ним. Из всех способов пользования этим источником он предпочитает самый простой—дословное выписывание: в труде его встречаем целые страницы, целиком выписанные из какого-нибудь сочинения. Автор вообще тщательно избегает всяких намеков на свои познания в древнерусской литературе, а где не сдерживается, там впадает в неточности: он говорит, наприм., что серб Пахомий переделал житие преп. Сергия Радонежского и написал жития Варлама Хутынского, княг. Ольги, Саввы Вишерского, Евфимия, архиеп. новгородского, Кирилла Белозерского и митрополита Алексия (*Киевск. Унив. Изв.* № 2, стр. 32). Строгий критик опять заметит, что если уже перечислять жития, написанные Пахомием, то надобно насчитать их гораздо более, и что его жития Варлаама, Саввы и митр. Алексия—такие же переделки прежде написанных житий этих святых, как и житие Сергия. Но для г. Иконникова эта заметка критика ничего не значит: даже такое капитальное житие, как Сергиево, исследователю древне-русских монастырей известно только по выдержкам из него в истории русской церкви преосв. Макария. При означенном способе пользования источниками трудно судить о качестве литературного языка автора: в этом отношении на труде его отразилось все разнообразие тех ученых пособий, из которых он выписывал. Иногда встречаем у него выражение в роде следующего: „Манес отвергал ветхий завет, как дело тьмы, и считал *недостаточным существовавших писаний* (№ 1 стр. 20)“. В иных местах автор позволял себе делать в выписках из чужих сочинений не совсем грамотные изменения: выписывая из сочинения г. Костомарова характеристику греческих монастырей, автор искажает ясную и правильную речь своего источника в такую фразу: „человек с образованием, вступив в монастырь, даже навлекал на себя зависть, клеветы и гонения, потому

что он загораживал *имъ* дорогу“ (ср. № 1, стр. 45 с „Северно-русск. Народоправст.“, т. II, стр. 419, 420).

Перейдем к обзору первой главы исследования г. Иконникова. Содержание ее чрезвычайно разнообразно. В начале читаем известие о древне-русских школах, о характере и объеме преподавания в них. Не смотря на избитость этих известий, отрывочных, набранных кой-откуда, автор и здесь впадает в неточности. Узнаем (№ 1, стр. 4) о существовании короля Галицкого Ярослава Владимировича, о существовании в древней Руси „особенных дорожных псалтирей“. Известие, что в XIII в. „многие на Руси даже не считали нужным заниматься изучением Св. Писания, потому что для спасения души можно было обойтись одним слушанием книг, для которого даже были особые правила (стр. 8)“, подтверждается ссылкой на „Обзор русской духовн. лит.“ преосв. Филарета и на одну статью *Православн. Собеседника*: ищем цитуемые места и не находим ничего подобного. Автор, цитуя летопись, уверяет, что митроп. Феодосия заставил оставить митрополию ропот в среде духовенства, которое он вздумал еженедельно созывать для поучения: автор не хорошо понял цитуемое место летописи (П. С. Р. Лет. VI, 186), которая объясняет удаление Феодосия ропотом *мирян*: последние „проклинали“ митрополита за то, что он оставил много церквей „без попов“, постригая вдовых и отставляя недостойных.

От древне-русской школы автор переходит к очерку философии последних времен язычества (стр. 11—16). Очерк начинается выпиской из сочинения Дрэпера по русскому переводу („Ист. интеллектуальн. развития Европы“). Но сличая очерк автора с этой книгой, находим, что он весь — почти дословная выписка из Дрэпера, или лучше выборка фраз из его сочинения. Трудно понять, почему именно Дрэпер взят здесь за источник, когда в европейской исторической литературе есть по этому предмету сочинения лучше,— разве потому только, что он переведен на русский язык. Самая выборка сделана так неискусно, что ее цель становится непонятной: читатель непосвященный едва ли что

поймет в ней хорошо, а знающий получит только сомнение в понимании автором выписываемого, ибо сокращая и без того краткое изложение Дрэпера, г. Иконников опускает именно места, поясняющие его выводы. То же надобно повторить и о следующем далее очерке ересей в христианской церкви. Здесь к Дрэперу присоединяется в качестве источника церковная история Иннокентия, и извлечения из обеих совершенно мирно укладываются на страницах нашего автора. Те же источники стоят рядом и в очерке развития монашества на востоке, но большую часть своих извлечений здесь автор берет из истории монашества Казанского, прибавляя к ним иногда выписки и из других русских сочинений; наприм., описание видов восточного подвижничества (стр. 31—32) выписано буквально из „Северно-русск. Народоправств" г. Костомарова. Этим впрочем не ограничивается все разнообразие содержания первой главы: автор наполняет еще 16 страниц набором фактов, относящихся к состоянию византийской образованности до падения Константинополя (стр. 36 — 51), при чем сведений автора о византийских апокрифах, имевших такое важное значение в истории наших народных понятий и литературы, едва хватает на две страницы.

Вторая глава труда г. Иконникова, сколько можно судить по ее первым словам, посвящена определению влияния византийской образованности на древнюю Русь (№ 2). С целию решения этой задачи перечисляются некоторые иерархи русской церкви из греков, выписываются некоторые известия об изучении древних языков на Руси и о существовавших в ней библиотеках; особенно долго останавливается автор на библиотеке московских князей (стр. 4—7). Впрочем он сам сознается, что непосредственное влияние древних языков на древнюю Русь было весьма незначительно; русские иерархи из греков плохо понимали русский язык, а московская библиотека была заперта многие годы, и до Максима Грека никто не мог разобрать книг, в ней хранившихся (стр. 6). С большими надеждами обращается автор к переводной древне-

русской литературе. С этой целию он собирает известия о переводах греческих книг на славянский язык и списывании их русскими и для Руси на Афоне и в других местах; к этому присоединяется перечень переводных сочинений, распространившихся на Руси, составленный преимущественно по истории церкви преосв. Макария, по описанию Румянцевского музея и другим каталогам. Автор выписывает щедро, где были у него под руками готовые перечни; перечень переводов до XVI в. занимает у него несколько страниц; напротив, за два следующие века он ограничивается двумя—тремя указаниями. Определение влияния этой переводной литературы на Русь, делаемое автором, способно поразить своею решительностию: „результатом переводной деятельности у южных славян, в Византии и отчасти в России, было значительное количество переводов отцов церкви, религиозно-нравственных сочинений и византийских сборников, которые сообщили *русской жизни исключительно-религиозное направление*, сохранявшееся во все время древнего периода“ и т. д. (стр. 10). Древне-русская жизнь сохраняла исключительно религиозное направление, и это направление сообщено было малограмотной древней Руси переводной византийской литературой— над смыслом и способом происхождения таких выводов можно задуматься. Читатель для полного уяснения себе этих выводов найдет, вероятно, недостаточным сухой библиографический перечень переводов: он пожелает, чтобы сделан был обстоятельный анализ их содержания и духа и чтобы хотя несколько объяснены были пути и степень распространения их в массе. Знакомый с древне-русской письменностию найдет возможным хотя некоторое удовлетворение этому желанию; но автор, не коснувшись этого, говорит только в заключение перечня: „всматриваясь в содержание этих книг, *легко* заметить, что в них в сильной степени преобладает созерцательное и аскетическое направление (стр. 14)“. В подтверждение этого автор выписывает несколько строк о влиянии аскетической литературы на грамотную часть древне-русского общества из статьи г. Буслаева „Древне-русская борода

(Истор. Оч. II, 216)". Здесь выступают новые характеристические приемы исследования у автора: это неустойчивость перед источником и особый способ им пользоваться. Главные источники у автора—чужие исследования. Захочет он подкрепить свою мысль известным ученым авторитетом, он выписывает в своем труде относящееся сюда место. Но в том же сочинении авторитета есть другие интересные места: автор спешит и их занести в свой труд, хотя бы не совсем кстати. Благодаря этой *перелюбознательности*, очень часто не автор пользуется источниками согласно с своей программой, а источники диктуют ему программу. Выписанные автором строки о влиянии аскетической литературы служат у г. Буслаева заключением к исследованию об иконописном типе святого по древне-русским подлинникам сравнительно с греческими. Это очень любопытно,—и автор прочитывает в своем источнике страницу выше, забывает о чем начал говорить, и выписывает из статьи г. Буслаева, как изображались в подлинниках некоторые святые (ср. у автора стр. 15 и 16 с указан. стат. г. Буслаева, стр. 230 и 231). Г. Буслаев приложил к своему исследованию изображение отшельника с бородою до земли и в пояснение замечает, что оно взято из Годуновской псалтири и соответствует стиху псалма: *праведник яко финикс процветет*. Наш автор, переделывая эти строки, продолжает едвали кстати: „*такие* изображения делались даже *при* псалтирях, иногда в *подтверждение* стиху: *правдник яко*" и проч. Далее у г. Буслаева идет речь о значении бороды в понятиях и живописи древней Руси: автор заимствует несколько замечаний и о бороде, связывая их с прежними своими строками словом *поэтому*, не имеющим никакого оправдания в логической связи его речи (стр. 16).

Непосредственно от влияния аскетической переводной литературы на Руси автор переходит к древне-русскому монашеству. Не затрогивая вопроса ни об исторической обстановке, среди которой развивалось у нас это принесенное вместе с христианством явление, ни об особенностях, ко-

торые оно здесь усвоило, он высказывает только положение, что „школою русского иночества постоянно служил восток (стр. 17)“. Это положение развивается обильными выписками из сказаний наших паломников о святых местах востока, известиями о связях древней Руси с Афоном, Ниле Сорском и Максиме Греке, даже об известном споре по поводу монастырских имуществ и преследования еретиков (стр. 17—41). Не ошибемся, если скажем, что по крайней мере последний предмет примешан сюда только вследствие указанного взгляда автора на последовательность исторического изложения. Притом все это излагается с точностию, о которой можно судить по следующим образчикам. Автор уверяет, будто не побывать на востоке для благочестивых людей древней Руси считалось *странным исключением* (стр. 17). Автор пишет, что Сергий Нуромский, Нил Сорский и ученик его Иннокентий, возвратившись с Афона, сделались основателями на Руси обителей в духе тамошнего отшельничества (стр. 26), т.-е. основателями скитов. Между тем известно, что Нил сам благословил своего ученика Иннокентия на создание *общежительного* монастыря; обитель Сергия Нуромского также является в житии его с признаками общежитильной. Автор вообще дает широкие размеры развитию скитской формы иночества на Руси под влиянием Афона и не замечает того явления в истории древне-русского монашества, что скитство не привилось на Руси и ограничилось отдельными попытками. Это явление естественно и понятно. Скитство, сильно развитое на востоке, коренится в созерцательном направлении иночества. На Руси это созерцательное направление не встретило достаточно условий в характере и степени развития народа, в свойствах страны, призывавшей к труду первоначального возделывания. Деятельный, неутомимый основатель древне-русского пустынного монастыря не похож на созерцательного египетского безмолвника. Сам представитель древне-русского скитства Нил Сорский сознавал это и своих собственных учеников благословлял на создание общежительных обителей. Впрочем, автор смутно представляет себе формы

иночества, и подвижников общежительного монастыря часто называет *отшельниками*.

II.

Кончив о влиянии Афона, автор (№ 2 стр. 41) излагает программу своего дальнейшего исследования. Узнаем, что он намерен „проследить главные моменты в культурном значении монастырей в последовательном их развитии". Эти главные моменты, по определению автора, суть следующие: значение монастырей в заселении северовосточной Руси, в распространении христианства между инородцами, участие монастырей в политических событиях и значение их, как воспитательных школ и средоточий образованности. Здесь мы узнаем наконец, что „история развития монастырской жизни в древней России" составляет ядро первой части труда автора, а все предшествующие этому страницы—только прелиминарные заметки. Действительно, при чтении дальнейших страниц читателю ни разу не приходится вспомнить, что выше было писано автором и о языческой философии, и об ересях, и о многом другом: автор не напоминает об этом ни одним существенным результатом, который бы он извлек из своих обширных прелиминарных изысканий для объяснения главного предмета исследования. Последуем за автором в его изысканиях о главных моментах в культурном значении монастырей.

Автор начинает выписыванием (стр. 42—45) нескольких общеизвестных рассказов о киевском Печерском монастыре времен преп. Феодосия и нескольких статистических сведений о других монастырях до XIV в., преимущественно по истории преосв. Макария. Здесь останавливает наше внимание заметка (стр. 44), что „на высшие иерархические места обыкновенно избирали из монастырей и *потому* русская церковь, подобно греческой, сохраняла *отшельнический* характер". Между тем не находим у автора рассмотрение необходимого в ученом историческом исследовании вопроса о причинах, содействовавших развитию исследуемого явления.

Правда, мимоходом он проговаривается об этих причинах: он говорит (стр. 45), что „одинокое отшельничество было одною из главных причин разможения монастырей в северо-восточном крае России“; в другом месте он замечает (стр. 46): „стремление отрешиться от земной суеты было главною причиною распространения монастырских поселений на северо-востоке России“. Иначе говоря, стремление к иноческой жизни: было главною причиною развития иноческой жизни: нельзя не согласиться с таким неуязвимым прагматизмом автора. Есть намек и на третью причину: автор говорит, что особенно покровительствовали монастырям московские князья и что вместе с возвышением московского княжества число монастырей стало быстро возрастать. Быстрое размножение монастырей с половины XIV в. действительно факт, но условленный совсем не покровительством московских князей, а тем, что монастырь, именно пустынный монастырь, игравший главную роль в колонизации, с этого времени выходит из зависимости от покровительства мирских сил и развивается самостоятельно. Это мы увидим ниже. Больше ничего не находим у автора относительно причин, содействовавших развитию монастырей в северо-восточной России.

Автор пытается далее начертить процесс образования древне-русского монастыря. Но он и здесь не выясняет именно тех вопросов, которые и важны для историка в истории монастырей. Как к причинам развития монастырей он отнесся слишком поверхностно, так побуждения, руководившие их основателями, определены им слишком наивно. Автор представляет этих основателей совершенно восточными анахоретами, „искавшими полного совершенства вне монастыря, вдали от людей, даже связанных одинаковыми религиозными интересами“; „удаление от людей, говорит он, и желание безмолвия—вот общий мотив в их странствованиях по северу России, для приискания себе пустынного места“ (стр. 46). Это подкрепляется цитатой массы житий, из которых ни одно не напечатано в подлиннике, следовательно,

они прочитаны автором в переделке. Едва ли что объяснят его слова в истории образования северо-восточных монастырей; во всяком случае объяснение неточно и неполно. В этом вопросе, как и во многих других, автору мстит за себя главный ученый грех, лежащий в его труде—недостаток самостоятельности и непосредственного знакомства с первыми источниками. Надобно знать язык наших древних житий, чтобы верно судить о явлениях в истории древне-русского монашества; для понимания этого языка необходимо критическое изучение их в подлинном виде. Наши древние жития написаны по готовым византийским образцам, представляют явление в заученных по ним образах, наши подвижники не только говорят языком восточных отшельников, самая жизнь их является в житиях довольно близкой копией с жизни последних. Но выйдет плохая история, если историк заговорит о них тем же языком, если он не разберет отличительных черт русской жизни под этой литературной, извне заимствованной оболочкой. Единственным мотивом, заставлявшим наших основателей монастырей покидать места своего пострижения и бродить по лесным чащам севера, автор признает восточное стремление к уединенному безмолвию. Так *иногда* действительно и говорит наш пустынник, отпрашиваясь у игумена в лес на безмолвие. Но зачем же потом, пожив несколько времени в безмолвии, тот же пустынник с радостию принимает привлеченную его подвигами братию, никого не отвергает из приходящих, по выражению житий, но всех принимает „Бога деля“, торопливо своими руками строит кельи, церковь, и выпрашивает у государя землю около монастыря, чтоб пашню пахать и крестьян селить? Надобно всмотреться в связь явлений, чтобы видеть истинные побуждения *избранных* иноков, удалявшихся из монастыря в пустыню и становившихся потом основателями новых монастырей. Этим побуждениям, мало похожим на египетский анахоретизм, многим обязана наша история. Вследствие указанного характера древнерусских житий, мы не всегда можем ясно воспроизвести индивидуальный образ описываемого

ими подвижника. Но видно, что эти основатели монастырей были люди с неодолимою энергией в достижении предположенной цели; притом, по характеру произведшего их общества, для них стояли на первом плане не созерцательные, а практически-нравственные стороны подвижничества; древнерусское монашество, отчасти под влиянием потребностей страны и общества, поставило особую высшую задачу для избранных своих членов. Автор несправедливо прилагает к древнерусскому монашеству восточный взгляд на ступени иноческой жизни, который ставил наверху подвижничества уединенное отшельничество. Во-первых, не все эти ступени одинаково осуществились в истории древнерусского иночества; скитство, например, не пришлось по его понятиям и наклонностям: отдельные редкие попытки водворить его быстро превращались в общежитие или кончались распадением обители. С другой стороны ясно сознана была особая высшая ступень иноческого подвига, доступная для людей с сильным нравственным характером. Испытав и укрепив свои силы под руководством других, такой избранный подвижник стремился сам сделаться самостоятельным руководителем других; создать свою обитель, „собрать паству словесных овец“,—вот заветная цель, на которую они смотрели, как на венец иноческих подвигов. Автор прошел мимо осязательных следов, рассеянных обильно в древних житиях и указывающих на господство этого взгляда в древнерусском монашестве. В них постоянно высказывается мысль, что деятельность пастыря иноческой братии—выше уединенного отшельничества, что большая заслуга — послужить спасению многих душ чем спасти только свою. В многочисленных чудесных видениях назначению быть основателем обители дается подвижнику свыше, как награда за долгое упражнение его сил в уединенном безмолвии. Здесь, в господстве этого взгляда, главный источник той энергии, какую лучшие древнерусские монастыри обнаружили в выделении из себя иноческих колоний. Были и другие, частные побуждения, действовавшие на основателей новых монастырей и вытекав-

шие отчасти из характера древнерусского общества. Укажем на одно из них. Монастырь разделял *тугость*, с какой во всем древнерусском обществе определялись и установлялись прочные отношения. Устав монастыря, введенный его основателем, долго не имел другой гарантии своего существования, кроме личного влияния последнего, по смерти которого он часто разрушался; это вело к удалению из монастыря учеников основателя, оставшихся верными преданию учителя, которые потом восстановляли его в своих новых обителях. Таково происхождение Іосифова Волоколамского монастыря и некоторых других. Иногда обители грозило запустение вследствие неурядиц по кончине основателя, на котором держался весь монастырский порядок.

Также невнимательно отнесся автор и к другому любопытному вопросу в истории древнерусских монастырей — к вопросу о направлении их движения. Он ограничивается указанием чужого мнения, что отшельники, становившиеся потом основателями монастырей, направлялись по большей части на север от места своего пострижения, и что это направление объясняется тем, что наш север был *мало населен* (Исслед. о соч. Иосифа Санина, г. Хрущова, стр. 6). Но наш юг был тогда еще менее населен. В другом месте автор сам от себя замечает мимоходом, что в южных степях господствовали дикие орды, нападавшие на наши южные города. Но он мог бы набрать значительное число пустынников, уединявшихся и по направлению на юг; с другой стороны, частые нападения инородцев, которым были подвержены наши северо-восточные окраины в XV и XVI в., не помешали здесь размножению монастырей. Вопрос сводится на объяснение усиленного движения монастырей в северном направлении и слабости его в южном. Автор и цитируемый им авторитет обошли главное, что решает этот вопрос, — тесную, хотя, правда, малозаметную с первого взгляда связь монашеского движения с крестьянским. Без этой связи монастырское движение на север ограничилось бы такими же отдельными попытками пустынножительства,

какие встречаем на юге, и не образовало бы непрерывного потока монастырской колонизации; благодаря этой связи, основатели монастырей находили на севере, готовые элементы питания и поддержки не только для основания обителей, но и для *выведения* из них колоний. Покидая отцовский дом или место пострижения своего, пустынник забирался куда-нибудь поглуше, углублялся в лес иногда дальше русских крестьянских поселений; но он шел в одну сторону с последними, туда, где, по рассказам бывалых людей, надеялся найти места „благоугодные к иноческому сожительству". Без выяснения этой связи двух колонизационных движений многое останется непонятным в происхождении наших северо-восточных монастырей и в их исторической роли.

Покончив так с направлением монастырского движения, автор выписывает из иностранных писателей XVI в. избитые известия о малонаселенности и лесистости северной России, о деревьях, которые вывозились за границу из ее лесов, об обилии меда в последних, причем коммический рассказ о крестьянине, завязшем в дупле с медом, указываемый автором в цитате, попал у него в число *легенд* (№ 2, стр. 49). Далее идет сухой перечень местностей, где селились отшельники, и описание их жизни в пустыне; здесь встречаем „яркое солнце, голубое небо, беспредельное пространство девственной природы, течение звезд, блеск луны, отражающейся в группе озер, *бушующее море* (где?), грозные бури и ненастные вьюги, приводившие в трепет животный мир; *физические явления, свойственные холодной северной природе, открывали перед ним* (отшельником) чудные видения; лисицы и зайцы прыгают вокруг его жилища, медведь спокойно ждет его пищи" и т. д. (стр. 50). Встречаем и поэзию, и неудачный рационализм; не встречаем одного—выяснения исторических условий, под влиянием которых шло это любопытное движение в древней Руси. Тем же недостатком внимательности к исследуемому предмету нужно объяснить некоторые наивно-иронические замечания

автора; напр., описывая весьма естественную склонность отшельников выбирать для поселения лесистые места при реках и озерах, он говорит, будто бы „деревья и вода считались необходимою принадлежностью *для умиления сердца*“ (стр. 48).

III.

Обстоятельному обзору монастырской колонизации на северо-востоке России посвящена третья глава исследования (№ 3, стр. 1—42; № 4, стр. 1—24). Она открывается описанием топографического распространения монастырей северо-восточной России до конца XVII в. (№ 3, стр. 1—18). Первый вопрос в этой любопытной, но не легкой задаче состоит в определении исходных пунктов колонизации и направлений, в которых она развивалась. Направления эти чрезвычайно сложны и требуют от исследователя большой внимательности и зоркости. Монашеское движение в лесные пустыни севера похоже на течение лесного ручья, на которое легче напасть случайно, нежели проследить его от начала до конца в чаще леса. Автор, впрочем, решает эту задачу довольно легко. Выше мы видели, как он определил *общее* направление монастырского движения. Теперь он указывает только два *частных* направления: „Главными основателями монастырских населений на северо-востоке России были новгородские обители, распространившие свое влияние в пределах новгородских владений, и монастыри поволожские, особенно содействовавшие этому со времени основания Троицко-Сергиевой обители“ (стр. 2). Затем следует перечень монастырей новгородских и псковских, монастырей, основанных преп. Сергием Радонежским, его учениками и учениками учеников, далее — монастырей вологодских и костромских, монастырей средней полосы и тверских. Естественной или научной последовательности в таком перечне нет и быть не может. Впрочем, автор ведет его с такими смутными географическими понятиями, которые не позволяют ему выдержать строго и такое недостаточное определение направлений мо-

настырской колонизации, какое он делает. Под новгородскими владениями он, без сомнения, разумел область вольного Новгорода в пределах известного времени; между тем в эти владения попал у него во второй половине XV века Краснохолмский монастырь на Мологе (стр. 3). К монастырям вологодского края отнесены и монастырь Николаевский при впадении Ковжи в белое озеро, и Сийский, и ростовский Борисоглебский (на р. Устье, в 15 верстах от Ростова), который автор *точнее* пытается обозначить словами: „между Каргополем и Москвою". Особенно любопытно, что по географическим представлениям автора к северу и востоку от Сийского монастыря находятся (стр. 15 и 16) монастыри: на Кожеозере в Каргопольском уезде Воломский (в 80 верст. от Устюга к юго-западу) и Устьнедумский при р. Лузе (в 80 верст. от Устюга к югу). Макарьев Желтоводский монастырь помещен в числе костромских монастырей (стр. 16). Не выдерживая точного разделения монастырских групп по местностям, автор не наблюдает в своем перечне и хронологического порядка: в обзоре монастырей известного края монастырь, возникший в XVII в., иногда стоит у него раньше монастырей XVI и XV в. Наконец, этот перечень наполнен массой исторических ошибок и неточностей. Укажем наиболее выдающиеся из них. Автор начинает обзор словами: „Заселение северного края монастырскими колониями началось в раннюю эпоху христианства в России; прежде других (колоний?) упоминаются в *исторических памятниках* Сергий и Герман (валаамские)". При этом цитуется история церкви преосв. Макария. Пусть автор повторит внимательнее цитуемое место и посмотрит, в каких исторических памятниках упоминаются Сергий и Герман с их монастырем *прежде других*. „Монастырская колонизация Новгорода открывается Варлаамом Хутынским". Но до основания его монастыря в Новгороде и около него существовало уже до 20 монастырей, из которых иные также имели значение в монастырской колонизации. Преподобный Варлаам Хутынский, подвижник XII века, поселяется у автора в Лисичьем монастыре, осно-

ванином в конце XIV в. (стр. 2). Феодор, один из основателей ростовского Борисоглебского монастыря на р. Устье, назван епископом ростовским, которым он не бывал (стр. 14). Уединенная келья в 5 верстах от Кожеозерского монастыря, в которой подвизался в XVII в. пр. Никодим, превращена автором в небывалый монастырь на р. Хозьюге (стр. 15), и проч.

Но главная ошибка обзора—в отсутствии плана. Это отсутствие происходит опять от непривычки к анализу исторических явлений, характеризующей все исследование автора. Он безразлично распространяет название монастырской колонии на все монастыри северной России: нигде не заметно у него попытки ясно отделить монастыри-колонии от монастырей-митрополий. Между тем это разграничение совершенно изменило бы его очерк распространения монастырской колонизации. Он получил бы его исходные пункты, с помощию которых ему удалось бы отыскать действительные пути и направления, по которым двигалась монастырская колонизация; он увидел бы, как мало соответствуют фактам два указанные им неопределенные направления ее—новгородское и поволжское. Но тогда бы автор убедился в необходимости расширить изучение своего материала. Весь обзор его ограничивается бессвязным перечнем нескольких десятков северных монастырей, не достигающим и десятой доли действительно существовавших монастырей: естественно, что при таком ограниченном изучении предмета невозможно ничего выследить для научного вывода в таком дробном и сложном движении, как древне-русская монастырская колонизация. Далее автор не подумал отделить в своем обзоре монастыри городские или „мирские“, как их называли в древней Руси, от „пустынных“, и сравнительно проследить историю их развития; вследствие этого другая группа научных выводов ускользнула из его рук. Понятно, что первые монастыри имели только посредственное влияние на колонизацию, которая главным образом введена была последними. Попытаемся представить автору маленькую частичку тех результатов, ко-

торых в праве был бы ожидать от него читатель и которых нет в его труде вследствие указанных двух опущений. Возьмем для этого XIV век, с половины которого заметно начинается новый период в развитии монастырской колонизации.

Изучив в хронологическом порядке количество известных монастырей, возникших в XIV веке, легко заметить, что начало этого периода знаменуется двумя фактами. Вторая половина этого века дала в северной России более, чем тройное количество монастырей, в сравнении с первой. В пределах одного и того же века такую разницу никак нельзя объяснить разницей в количестве дошедших до нас известий; следовательно, можем принять за несомненный факт особенное усиление в движении монастырской жизни на северо-востоке с половины XIV века. Это—первый факт. Второй еще очевиднее. До XIV века пустынный монастырь представляет редкое явление в массе городских и пригородных монастырей; в XIV веке количество пустынных монастырей составляет почти половину общего итога новых обителей этого века. В следующем веке этот факт получает дальнейшее развитие и становится еще очевиднее: из всего количества новых монастырей на севере за это время на долю городов не достается и третьей части. Вместе с этим окончательно слагается рядом с типом городского монастыря новый тип в среде древне-русских монастырей—тип монастыря пустынного. В древней Руси оба эти типа, при тесной связи между собою, имели различное значение, служили различным потребностям народа и страны: главное место первого — в истории нашего духовно-нравственного развития; второй, кроме этого значения, имеет еще значение одного из первых и важнейших двигателей древне-русской колонизации и образователей христианско-русской территории. Только с окончательным развитием этого типа монастырская колонизация принимает характер стройного непрерывного и самостоятельного движения. Отчего и как это происходило? Припомним, как создавалось огромное большинство монастырей в прежние века. Строил монастырь епископ, чтобы отдыхать в нем от трудов

епископства; князь украшал обителями свой стольный город, свое княжество, чтобы иметь постоянных богомольцев за себя и своих родителей, исполнить обет, ознаменовать память о каком-нибудь событии из своего княженія; боярин, горожане создавали себе в монастыре место, где они надеялись с наибольшей пользой для души молиться и благотворить при жизни и лечь по смерти. Вообще большая часть монастырей вызывалась к жизня более или менее сторонними влияниями. Влияние мирских интересов, не одних материальных (только узкий взгляд может смотреть с одной этой точки на древний городской монастырь), но и духовных, создавало для такого монастыря круг деятельности, отдалявший его стремления от пустыни. У монастыря, возникшего самостоятельно в пустыне, слагался особый круг интересов, особая деятельность: при свободе от сторонних влияний, его интересы условливались в значительной степени окружающей пустынной глушью. К каким бы объяснениям ни привело исследование истории древне-русских монастырей, но несомненен факт, что масса монастырей-колоний выходила из пустынных обителей, а выделение колонии из монастыря городскго было всегда редким явлением. До XIV века только в монастыре Варлаама Хутынского и немногих других, приближавшихся к пустынному типу, заметно некоторое стремление к выделению колоний. Три четверти пустынных монастырей XIV и XV веков образовались путем выселения из других и почти только из пустынных же монастырей. Так монастырь-колония становится господствующей формой в развитии монастырей не раньше половины XIV в. Этот третий факт в развитии монастырей с половины XIV в. определил весь дальнейший ход монастырской колонизации на северо-востоке. С этого времени она принимает иной характер сравнительно с прежним; с этого времени монастыри развиваются и распространяются уже не под исключительным влиянием внешних сил и побуждений. Явилась возможность известного порядка в распространении пустынных монастырей, известной стройности в направлении их движения. Прежде, когда монастыри-коло-

нии составляли одиночные, разобщенные явления, нельзя было заметить ничего подобного в их слабом движении. Теперь, когда монастыри сильно начали расселяться из самих себя, без постороннего содействия втягивая в себя нравственные силы из мира, естественно ожидать, что в этом самостоятельном движении они будут руководиться своими собственными целями и побуждениями и притом известными определенными направлениями. Сергиев Троицкий монастырь высылает десятки колоний в разных направлениях; многие из этих колоний сами становятся митрополиями десятков других колоний и т. д. Автор пересчитывает несколько явлений из этого движения без всякого порядка; между тем, строго разобрав характеризующие движение факты, можно заметить в нем порядок и связь не только внутреннюю, но и с другими одновременными движениями, участвовавшими в заселении северо-восточной Руси.

Вывод, которым сопровождается у автора топографический обзор развития монастырской колонизации в северо-восточной России, вполне соответствует последнему по своему качеству. Он ярко характеризует уменье автора исследовать исторические факты. Автор приходит к убеждению, что монастырская жизнь на северо-востоке России развивалась до XVIII в. прогрессивно. Надобно думать, что речь идет о монастырской жизни, насколько она обнаруживалась „в распространении монастырских поселений“ в северо-восточной России. Свой вывод он доказывает тем, что с XI до XIV в. возникло только до 90 монастырей, а в XIV и половине XV их открылось до 150, в XVI до 100, а в XVII—220 (стр. 18). Нельзя не согласиться с автором, что степень напряженности монастырской жизни за известное время может быть отчасти измерена количеством вновь образовавшихся в продолжение его монастырей, особенно когда такое измерение подтверждается известиями о духе и направлении монашества за это время. Но беда автора заключается в том, что его статистические цифры не имеют никакой научной цены. Те из них, на которых основан вывод, взяты из хронологического списка монасты-

рей, приложенного к VI части „Истории Росс. Иерархии". Всякий, занимающийся русской историей, знает, какими ошибками переполнен этот, впрочем, очень почтенный, церковно-исторический словарь, составленный еще в эпоху младенчества русской историографии. Автор забыл, что хронологическим списком монастырей в этом словаре решительно нельзя пользоваться для каких-нибудь серьезных выводов: кроме расстановки многих монастырей не на своих хронологических местах, он страдает неполнотой, особенно в перечне монастырей XIII — XVI веков; составитель его сам оговаривается, что сюда занесены только те монастыри, об основании которых можно было (в начале XIX века) отыскать сведения. Поэтому огромная масса монастырей не попала в этот список; поэтому и вывод автора о прогрессивности развития монастырской жизни до XVIII в. не имеет научного основания. Если бы автор потрудился проверить и дополнить список в „Истории Иерархии" по источникам, теперь известным, он нашел бы, что XV в. в силе размножения монастырей на северо-востоке нисколько не уступал XVI, если не превосходил его. Впрочем, вывод автора стоит даже ниже указанного списка монастырей. Последний безразлично пересчитывает монастыри городские и пустынные, монастыри южной, западной, северо-восточной Руси и монастыри сибирские. Наш автор исследует монастырскую колонизацию северо-восточной европейской Руси, а в выводе приводит общие цифры всех этих монастырей, как они выставлены в упомянутом списке. Автор основывает прогрессивность XVII в. пред XVI в развитии монастырской жизни на том, что в указанном списке значится в XVI в. 100 новых монастырей, а в XVII—220. Но если бы автор догадался исключить из этой цифры около 130 монастырей южной и западной Руси и Сибири, не имевших никакого отношения к монастырской колонизации северо-восточной европейской России, потом около 30 городских монастырей северо-восточной России, также не имевших непосредственного участия в этой колонизации, то нашел бы, что „распространение монастырских поселений на северо-востоке

России", о котором он говорит и к которому должен относиться его вывод, измеряется за этот век лишь остальным количеством монастырей, простирающимся до 60, с прибавкой *немногих*, не занесенных в список „Ист. Иерархии". Далее, если бы он произвел такой же анализ списка за XVI в. и потом дополнил его по источникам занесением *многих* северо-восточных пустынных монастырей, в нем пропущенных, то нашел бы, что последних в этот век возникло не одним десятком больше, чем в XVII. В окончательном выводе он сказал бы, что высшей степени напряжения „распространение монастырских поселений на северо-востоке" достигает во второй половине XIV в., в менее сильной степени продолжается в XV, едва держится и на этой степени и XVI и заметно начинает слабеть с конца этого века. Наконец, при большем навыке в историческом изучении он не стал бы объяснять свои выводы противоречиями азбуке русской истории. Автор пишет в объяснение своей прогрессивности северо-восточной монастырской жизни (№ 3, стр. 18): „В XVI и XVII вв. начинают преобладать (в монашестве) другие интересы (не религиозные). *Это была эпоха образования московского государства*, настоятельно требовавшего исправного выполнения государственных повинностей, от чего многие стали уклоняться в монастыри". Что в этих словах нет описки, видно из того, что автор повторяет свое положение об образовании московского государства в XVI и XVII в. и в другом месте (№ 3, стр. 39).

Далее (№ 3, стр. 18—27) автор пытается изобразить воспитание наших древних подвижников, побуждения, приводившие их в пустыню, характер и виды их аскетических подвигов, влияние на общество, происхождение и размеры братств, около них собиравшихся. Главным источником этой части исследования, как видно из примечаний, служили *жития*. Все это очень любопытно, когда является плодом внимательного изучения житий. Но так как автор не изучал подлинных житий, то у него встречаются положения, не выдерживающие легкой поверки. Он, например, говорит (стр. 19): „влияние аскетических идей путем книжным или образовательным за-

метно на том факте, что *большая* часть представителей отшельничества оставила мир в юных летах, т. е. в период обучения". Но он не доказывает и не докажет, что большая часть представителей древнерусского отшельничества оставляла мир в период обучения, в юности; точно также не докажет, что для большей части их существовал самый период обучения, в который они могли бы *книжным путем* воспринимать влияние аскетических идей, ибо некоторые из них, действительно учившиеся грамоте в юных летах, едва ли имели пред собою что-нибудь кроме псалтири и часослова. В числе подвижников, „воспитавшихся с детства под влиянием книг созерцательного характера", помещен автором преп. Авраамий ростовский, о детстве которого по древнейшей, заслуживающей некоторого доверия редакции жития, ровно ничего неизвестно, а в позднейших, мало надежных, не встречаем ничего подобного известию автора. Еще произвольнее другое положение: „среда, из которой выходили подвижники, преимущественно дворянская или вообще зажиточная". В доказательство этого из всего числа древне-русских подвижников приводится в примечании до 40 имен, из коих о многих самый внимательный исследователь не решится сказать; по недостатку оснований, из какой среды вышли люди, их носившие. Все эти положения вытекли из ученого греха автора—решимости писать историческое исследование, не изучив главного материала. Незнакомый критически с древнерусскими житиями, он не может правильно пользоваться и их переделками у преосв. Филарета и Муравьева, которыми он ограничил свое изучение. Происхождение и детство едва ли не большей части древнерусских подвижников были совершенно неизвестны их биографам. Очевидцы их детства не знали, что из них выйдут подвижники; между братией, сбиравшейся с разных сторон к прославленному отшельнику, обыкновенно не было таких очевидцев, а жития большей частью писались далеко от того места, где святой увидел свет. Этот пробел все жития таких святых восполняют одними и теми же, неизменно повторяющимися биографическими чертами, в ко-

торых обыкновенно не заключается индивидуального фактического содержания. Такие жития обыкновенно начинаются известием: „сей святый бе родителю благочестиву и христиану сын“; дальше обыкновенно читаем, что будущий святой на 7-м году „извыче писанию“. 12-ти или 15-ти лет „оставляет мир и яже въ мире, остризает власы главы своея и с сими соотрезует вся долу влекущая мудрования“ и т. п. Это не факты, а литературные обороты, заимствованные из византийских образцов. Наконец — и это главное — древние жития значительного числа известных церкви подвижников наших не известны нам или потому, что вовсе не были написаны, или потому, что утрачены. Все это отнимает всякую цену у приведенных выводов автора.

Взявшись за характеристику древне-русских подвижников и их влияния на общество, автор становится пред одним из самых любопытных нравственных процессов нашей древней истории. Большей живости и напряженности духовных сил он не встретит в других сферах древне-русской жизни. Тем обязательнее для него разборчивость в приемах исследования и хоть некоторая чуткость в понимании исторических явлений. Как же обращается автор с своей задачей? „Пример отшельников должен был магически действовать на общество“, пишет он и затем делает длинный и сухой перечень известий об аскетических подвигах святых, без связи, без анализа, без всякого помысла начертить сколько-нибудь цельный нравственный образ их (№ 3, стр. 20—24). Обильный материал сохранившийся для такой работы, на этот раз не дождался своего мастера. Автора более занимают вопросы, сколько фунтов весили вериги одного подвижника, как спал другой; он тщательно подбирает известия, которые могли бы показаться куриозами для современного читателя от скуки, а то „магическое действие на общество“, о котором он повел было речь, то нравственное впечатление, какое производил пустынножитель на приходившего к нему за поучением мирянина и которое так живо рисуется в житиях, — это для нашего исследователя как будто и не существует.

Покончив так с одним вопросом, не выяснив хода образования и элементов монастыря, возникавшего под руководством пустынножителя, автор силится далее (стр. 26 и 27) доказать многолюдность древне-русских монастырей и тот большой процент, который, по его словам, цифра населения в некоторых из них представляла в то время в общем населении. Для этого он выписывает несколько разновременных известий о числе братии в некоторых монастырях и сравнивает эти цифры с количеством посадских в разных городах около половины XVII в. Ничего не выходит из такого сравнения, да едва ли что и может выйти: во-первых, количеством посадских далеко не обнимается все население древне-русских городов; во-вторых, монастырское население считается поголовно, а в приказные описи посадских заносилась только известная часть действительного посадского населения города. Потому очень неожиданно, что автор в подтверждение своих слов с полным согласием приводит далее известие иностранца XVI в. Флетчера, будто в России бесчисленное множество монахов и гораздо более, чем в какой-нибудь католической стране, что они „снуются в *каждомъ* городе и в *большей части* деревень". Стоило бы только припомнить, много ли городов и деревень русских видал Флетчер, чтобы оценить его известие.

Остальная часть III главы (№ 3, стр. 28—42; № 4, стр. 1—24) посвящена изучению хозяйственной деятельности северо-восточных монастырей. И по материалу, и по отношению к задаче автора эта сторона монастырской деятельности требовала от него более напряженного изучения. Разобранных выше вопросов он не мог решить, ибо принимался за них без предварительного знакомства с относящимся к ним материалом. Для изучения хозяйственной деятельности монастырей существует масса печатных актов; хотя они недостаточны для полного исследования предмета, но все же представляют источник первой руки. Далее, автор исследует монастырскую колонизацию, а она неразрывно связана с монастырским хозяйством.

Прежде всего неприятно поражает в труде автора полное молчание, которым проходит он другие движения северо-восточной колонизации, тесно связанные с монастырским и оказывавшие на него влияние. Монастырь не был ни первым, ни единственным двигателем заселения северо-восточной Руси: он только внес в него особенные элементы, каких не приносили с собой ни новгородский повольник, ни боярин вотчинник, ни вольный крестьянин, действовавшие на ряду с монастырем в этом заселении. В определении этих особенных элементов и состоит первая и существенная задача историка монастырской колонизации. Как выясняет эти элементы автор? Он в неполном очерке, состоящем, по его манере, из отрывочных выписок, делает обзор постепенного развития монастырских вотчин *путем пожалования*. Очерк этот может заставить читателя подумать, что вся монастырская колонизация состояла в набирании монастырями готовых вотчин, жалуемых правительством, и в пользовании доходом с них. Такой вывод внушают положение автора, с которыми нельзя согласиться, хотя можно объяснить, как они произошли. В нашей исторической литературе есть серьезное и добросовестное исследование „о недвижимых имуществах духовенства в России“ В. Милютина. Автор заглянул в этот обширный труд, отыскал в нем места, где говорится о происхождении церковных вотчин, и выводы, сделанные Милютиным об имуществах духовенства вообще, приложил к монастырям, при этом еще исказив и преувеличив их от себя. Милютин говорит (Чт. в О. И. и Д. Р. 1859, кн. IV, 58 и 59), что правительство, устраивая новую епархию, новую соборную церковь, новый монастырь, не могло предоставить на произвол случая их содержание, но должно было позаботиться само об этом; у нашего автора вышло, что „правительство само заботилось о поддержании *каждой* вновь возникавшей обители (стр. 28)“. Милютин говорит (там же, стр. 61), что некоторые монастыри, самостоятельно возникшие и не имевшие богатых строителей, потому часто впадавшие в крайнюю бедность, получали помощь от прави-

тельства, которое жаловало им недвижимые имущества в более или менее значительном количестве; у нашего автора выходит (там же), что „назначение новой обители значительного участка земли в тех местах, где она возникала, было обыкновенным явлением (в другом месте: „самым обыкновенным явлением)“. Указывая значение и последствия скопления недвижимых имуществ в руках духовенства, Милютин говорит (там же г. 1861, кн. I, 391—393), что оно, во-первых, обеспечив содержание духовенства, упрочило тем существование церкви, во-вторых, оказало самое благодетельное влияние на развитие и улучшение народного хозяйства; наш автор не признает или не понимает этих следствий, но клонит речь к тому (№ 4, стр. 2), что такое скопление вредно подействовало на нравственность самих монастырей и на народное хозяйство; однакож значение монастырских имуществ в народном хозяйстве он определяет дословной выпиской из того же места в труде Милютина (ср. Киев. Изв. № 4, стр. 2—3 с Милют. в указ. м. стр. 393 и след.), заменяя только слово *духовенство* словом *монастыри* и не отмечая извлечения, как принято отмечать все дословные выписки. Наконец, посвятив 17 страниц изложению сухих, отрывочных известий о жалованных монастырских вотчинах, сам автор, кажется, приходит к сознанию, что это не совсем идет к задаче, первоначально им предположенной. Он пишет (№ 4, стр. 2): „Пустынник, полагавший основание обители, отказывался от всякой собственности и от *людей*; а несколько поколений спустя его обитель стояла на ряду с богатыми землевладельцами и была окружена более *многочисленнымъ обществомъ* в сравнении с тем, какое могло ему встретиться в мире. Если такой ход вещей отразился со временем на нравственности самих монастырей и народном хозяйстве, то все таки нельзя отрицать, что в общем развитии монастырской собственности была и *другая* сторона, важная в колонизации северо-восточного края России“. Говоря иначе, сторона, рассмотренная автором, была не важна в колонизации северо-восточного края России, которую он

взялся исследовать. Эта неловкость автора произошла от того, что он исследует один ряд фактов, но делает вывод, относящийся к другому ряду: он исследует, как и в каких размерах скоплялись вотчины у монастырей, а в заключение за приведенными строками выписывает из сочинения Милютина о том, что сделали монастыри с своими вотчинами, как они заселяли и разрабатывали пустые земли,—чего сам он едва коснулся. Он пытается восполнить этот пропуск далее, но прибавляет к выводам Милютина лишь несколько промахов и курьезов. Он хочет показать (№ 4, стр. 3 и 61), что под влиянием монастырей заводились в пустыне починки и выселки, обращавшиеся со временем в „ многолюдные селения". В пример таких монастырских селений он приводит Торжок и Архангельск. Но Торжок существовал и прежде монастыря преп. Ефрема Новоторжского: Архангельск также никогда не был селением Архангельского монастыря; он построен в 1584 г., по распоряжению правительства присланными с Москвы воеводами, и первоначально даже не носил этого имени. В числе поселков, заведенных монастырями, автор поставил и толпу пленников, выкупленных у татар и приведенных в г. Унжу преп. Макарием Желтоводским после разорения его Желтоводского монастыря. Еще курьезнее последнее доказательство того, что еще при жизни пустынников вокруг избранного ими места селилось много пришельцев: „самое слово *обитель*, говорит он, выражает понятие о жилище в противоположность пустыне, которой посвящал себя *ее* основатель (там же, стр. 5)". Между тем автор легко мог бы набрать добрый десяток городов, возникших действительно из монастырских селений. Наконец ему необходимо было бы хотя упомянуть об огромном количестве сел и приходов северо-восточной России, обязанных монастырям своим возникновением.

Итак, вопрос о том, что и как было сделано монастырем в заселении пустынных пространств северо-востока, этот вопрос, составляющий сущность задачи автора, взявшегося за изучение монастырской колонизации, решен им коротенькой выпиской из чужого сочинения и несколькими ошибками

собственного творчества. Главный промах автора в этой части его труда состоит в том, что он не вдумался в историю исследуемого явления. Он говорит почти только о пожалованных монастырских вотчинах, о вотчинном хозяйстве монастырей. Правда, у него есть несколько строк и о том, что „на первых порах" братия сама занималась земледелием, „разведением овощей и фруктов, копанием колодцев и работой на мельнице (№ 4, стр. 7)"; но все это и без него очень известно и притом нисколько не объясняет всех сторон монастырской колонизации. Монастырь является у него только как вотчинник; но в этом качестве его деятельность входит в состав *вотчинной* колонизации; его деятельность в этом отношении могла быть шире в сравнении с другими вотчинниками, но порядок, приемы и побуждения были одинаковы с последними. Мы думаем, что вотчинная колонизация — один из моментов древне-русской колонизации, и что колонизация собственно монастырская есть другой, особый момент, отличающийся от последнего не только хронологически, но и по характеру, по средствам и приемам. Дело в том, что монастырь не сразу становился вотчинником; очень многим пустынным монастырям на северо-востоке даже вовсе не удалось стать вотчинниками. Чем же были они?—Около лесного отшельника собирается братия, строит кельи и церковь, вводит у себя общежитие. Для обеспечения своего существования она чистит ближний лес, вспахивает росчисть, заводится хозяйством. Кому принадлежит земля, на которой завелось это хозяйство? Городу, княжеству, московскому государству и никому в частности. До объединения северо-восточной России и после она была богата такими *нетронутыми* или *брошенными* землями, не составлявшими ничьей частной собственности, ни в каких книгах ни за кем не писанными, по выражению древних грамот. Кто первый занимал такую землю, тот и выпрашивал ее на известных условиях для пользования у города, у князя, у московского государя. Поселение братии на такой земле—преобладающее явление в истории пустынных монастырей северо-восточной России.

Основавшись здесь, расчистив место, не имея еще ни одного крестьянина, братия шлет в Москву челобитье, сказываючи, что-де такой-то пустынку строит на его великого князя на черном лесу на диком, чтобы государь пожаловал, велел богомолье свое, монастырь строить, пашню пахать и крестьян сажать. Пустыни в волю; монастырю назначают землю на две версты или более от него „во все четыре стороны", братия сечет лес, ставит починки, пашет и зовет крестьян. После утренней церковной службы братия с игуменом во главе уходит из монастыря, работает в лесу или в поле, монастырь почти пустеет до урочной обеденной поры. У братии появляются работники, нанятые или по обещанию, которые помогают ей в занятиях по хозяйству. Потом придут крестьяне продолжать расчистку монастырской земли, наставят сел и дворов и исказят пустыню, по прекрасному выражению древнего жития преп. Сергия Радонежского, а братия еще долго выходит сама на свое поле. Таковы господствующие явления в первоначальной жизни пустынных монастырей, с которыми мы встречаемся в житиях и монастырских актах. Случалось и другое: по смерти основателя найдут на монастырь внутренние или внешние невзгоды, разбегутся и братия, и крестьяне, и обитель запустеет, земля ее превратится опять в пустошь, никому не принадлежащую, и церковь стоит без пения целые годы. Неужели это вотчинник, тем более владелец готовых пожалованных вотчин? Кажется, это скорее всего сельская бессемейная община. По крайней мере изучая жития и акты, относящиеся к первоначальной жизни монастырей, часто представляешь себе древне-русскую сельскую общину, выдвинувшуюся в каком-нибудь углу северо-восточной окраины, с ее хозяйственными операциями и затруднениями, с ее подвижным, постоянно меняющимся личным составом, но только с прибавкой нравственных сил и побуждений, каких не заметно в обыкновенной сельской общине. Эти явления и составляют монастырскую колонизацию в собственном тесном смысле. У автора все это обойдено; вместе с этим у него исчез целый мир отношений, доступных обстоятельному изу-

чению и вводящих в самую глубину колонизационного процесса, который рассеянными, но сильными искрами зажигал русскую жизнь в финских северо-восточных пустынях. Различные обстоятельства условливали большую или меньшую продолжительность времени, когда монастырь не терял своего первоначального характера иноческой земледельческой общины; но едвали не каждый пустынный монастырь переживал это время, прежде чем становился вотчинником. Понятно, что к землям, созданным таким образом для христианской гражданственности, можно прилагать название пожалованной вотчины с большою разборчивостию и только в условном смысле: здесь не пожалование давало монастырю готовую вотчину, а труд монашеской общины вносил в состав народного богатства новый прежде мертвый земельный капитал, который вызывал правительственное подтверждение. В книге автора не встречаем и намека на эту разницу и вообще на какое-либо разделение периодов монастырской колонизации.

Этот существенный пропуск едвали вознаграждается набором отрывочных, не сплавленных изучением фактов, относящихся к развитию монастырской промышленности и торговли, которым автор сопровождает свой очерк монастырских вотчин (№ 4, стр. 7—16). К тому же самые простые факты он не всегда точно извлекает из своих источников. Автор говорит (стр. 10), что Соловецкий монастырь имел право продавать беспошлинно до 130,000 пуд. соли, и цитует акт (А. А. Эксп. III, 426), излагающий соляную льготу Белозерского монастыря. Но, во первых, необходимо было для ученой точности определить этот факт хронологически, ибо такие размеры соляная торговля монастыря получила только около половины XVII в. (см. грам. в Опис. Сол. мон. Досифея, ч. 3, № XLV); во вторых, вместо пошлины на местах продажи монастырь платил в Москве за продаваемую соль определенную ежегодную сумму, по грамоте 1649 г. более 650 руб., которая и обозначается названием „соляной пошлины“. В другом месте читаем (стр. 13): „*Возле* Ниж-

него Новгорода торговцев привлекала Макарьевская ярмарка, открывавшаяся ежегодно в июле *под* монастырем св. Макария Желтоводского". Автор не знает, что: 1) знаменитая ярмарка переведена к Нижнему уже в нынешнем столетии, 2) Желтоводский монастырь находится возле г. Макарьева, а не Нижнего. Торговые льготы на посаде Торжка приписаны (стр. 14) вместо Борисоглебского Новоторжского монастыря Прилуцкому вологодскому.

Где можно и необходимо идти дальше непосредственного факта, там автор обнаруживает крайнюю молчаливость в выводах и соображениях; зато в других случаях, где самый пытливый исследователь остановился бы в раздумьи, наш автор своею смелостью решительно хочет брать города. Исследовательность его достигает высшей степени напряжения в статистических выводах, к которым он не раз обращается. Возьмем для примера одно такое место в его очерке монастырской колонизации и хозяйства. Описав промышленность и торговлю монастырей, он замышляет определить сумму поземельного дохода церкви в Велико-России (№ 4, стр. 17). Для этого он рассуждает: „если принять годовой доход Троицкой лавры 100.000 руб. почти соответствующим количеству крестьян (т.-е. ее — лавры, 106.000 душ.), то общая цифра монастырского (надо читать: церковного) дохода в Велико-России будет равняться 824.599 руб., принимая число монастырских крестьян в 660.185 чел. и принадлежавших высшему духовенству, которые пользовались также большими льготами, в 164.414 челов. Конечно, заключает автор, такой рассчет будет весьма *скромным*". Мы также думаем, что такой рассчет—черта характера, хотя несколько иного свойства. Троицкий 100-тысячный доход есть сомнительное, не проверенное известие иностранца XVI в. (Флетчера), а 106 тысяч крестьян этого монастыря, равно как общая сумма церковных крестьян 824.599 есть показание ревизии 1744 года. Соединив в вычислении своем эти показания, разделенные почти двумя столетиями, автор получил вывод, — за какое время—неизвестно: сам автор его не обозначает. Вычисле-

ние его напоминает те задачи, которыми иногда испытывают сообразительность детей, учащихся ариѳметике: если умножить 10 руб. на 2 сажени, что выйдет—рубли или сажени? Дети обыкновенно становятся в тупик; наш статистик не стал в тупик и решил задачу. Такие вычисления видимо доставляют ему удовольствие. Не остановившись на сделанном выводе, он предпринимает далее определить нынешнюю стоимость *тогдашних* (кажется, XVIII в.) церковных земель и ведет вычисление так (стр. 17 и сл.): получив общую цифру церковных крестьян в России XVIII в.—со включением епархий киевской, черниговской и новгородско-северской—964.599, автор рассуждает: „*Полагая* на каждого человека по 4 десятины, *получится* одной земли монастырских (читай церковных) крестьян 3.858.396 дес.; но к этому количеству, по меньшей мере, *следует* прибавить такое же количество земли, находившейся в непосредственном пользовании монастырей, так что всей монастырской земли (читай: церковной) *надобно* положить не менее 7.716.792 дес. Средняя годовая плата за пользование десятиною в настоящее время не менее 2 руб. 50 к., а с доходами от приписных мельниц, лугов, лесов, рыбных ловель, эту плату *необходимо* по крайней мере удвоить; следовательно“ и проч. А *если оценить* означенное количество монастырской земли по нынешней средней продажной стоимости, т.-е. по 25 руб. за десятину, то“ и проч. Надежных оснований для этих *положений*, *получений* и *удвоений* никаких не выстановлено; с одинаковым правом мы можем здесь утроять, делить на 2 и т. д. и получать соответствующие выводы. Но статистические развлечения ставят самого автора в комическое положение. Выше он из всех сил старался доказать страшное развитие монастырского землевладения в древней Руси и без возражения выписывал ничего незначащие показания иностранцев о том, что в России гораздо больше монахов, чем в какой-либо католической стране и т. п. (№ 3, стр. 27—35). Теперь, сопоставив общую цифру нынешней стоимости церковных земель в России XVIII в., столь поэтически им созданную, со стоимостью церковных

земель в Австрии и Итальянском королевстве (см. у него № 4, стр. 18), он принужден убедиться, что Россия размерами церковного землевладения не только не превосходила католических стран, но, если принять в соображение ее пространство и другие условия, даже уступала им. Уж если автору непременно хотелось определить общую стоимость церковных земель в России XVIII в. и их отношение к церковным землям католических стран, он мог бы обратиться к средству более простому и все же более надежному, чем умножение или деление троицких рублей XVI в. на церковных крестьян XVIII в.: стоило бы только цифру крестьян, переданных в XVIII в. в ведомство коллегии экономии, помножить на 1½ (полтора рубля—ежегодный казенный сбор с души, наложенный на отобранных крестьян), капитализовать полученную сумму и сравнить ее с оценкой церковных земель во Франции, сделанной в том же XVIII в. Учредительным собранием.

Третья глава заканчивается торжественным заключением: „Таково было этнографическое и экономическое значение монастырей в *эпоху* древней России“ (№ 4, стр. 24). Хотя автор говорил выше собственно только о монастырях северо-восточной России и хотя, перелистовав опять разобранные главы, мы не могли найти, что он говорит об их этнографическом значении в *эпоху* древней России; однако ж мы, не забегая вперед с окончательным отзывом об исследовании, откладываем его до окончания разбора следующих глав, где автор, согласно своей программе, „обращает внимание на остальные стороны деятельности“ монастырей.

IV.

В V главе (№ 4, стр. 24—33; № 5, стр. 1—51) исследуется участие северо-восточных монастырей в распространении христианства между инородцами. Исследование открывается беглым очерком русской колонизации и обрусения инородцев в северо-восточной России. Здесь легко набросано несколько общеизвестных фактов, причем некоторые пред-

ставлены в искаженном виде. Автор уверяет, что „появление на Волге южных князей усилило в этом крае элемент южно-русский (№ 4, стр. 25)“; вернее было бы сказать, что это появление само было следствием усиления русского элемента в том крае. Впрочем, на движение южно-русского населения в поволжский, суздальский край автор не обратил внимания. Автор говорит только (стр. 26), что „возникновение на севере сильного московского княжества *под покровительством татар* и потому более обеспеченного от разорений“, привлекло туда целые колонии поселенцев. Предоставляя автору более близким знакомством с русской историей убедиться, возникло ли московское княжество под покровительством татар, нельзя не заметить, что наплыв колонистов в московский край обыкновенно объясняется не татарским покровительством, а другими обстоятельствами, более важными, и что самая сила княжества главным образом создана этим наплывом. Не обошлось и без ошибок, происшедших от недостатка зоркости или даже простой внимательности в работе. Киевский боярин Родион Нестерович назван черниговским, кажется оттого, что у г. Соловьева, который цитуется при известии об этом боярине, за последним помещено известие о черниговском боярине Плещееве. По словам автора, в Двинской области в половине XV в. население было уже *все* христианское (стр. 28). Из списков двинских земель, которые цитует автор, этого факта не видно; автор разубедился бы в нем, если бы в том же томе актов Археогр. Экспедиции прочитал акт того же 1471 года, помещенный подле цитованного им, где между двинскими землями в системе р. Пинеги упоминается Сура *поганая* (А. А. Э. I, № 93). Что это название имело в это время действительное значение, видно из того, что в первой половине XV в., по *сю* сторону Двины, ближе к центральным областям, раздельная грамота Своеземцевых упоминает в их вотчине места и села, *где блазнь живе*, т.-е. чудь некрещеная.

Обзор миссионерской деятельности иноков на северо-востоке начинается древнейшими известиями об утвержде-

нии христианства в Ростове, Муроме и т. д. Автор повторяет известия из житий Леонтия, Исаии и Авраамия ростовских, из сказания о кн. Константине муромском, в самом непосредственном, сыром виде, без всяких критических замечаний, не заботясь нисколько о том, что главные факты его рассказа подвержены сильному сомнению. Докажет ли он, например, что Авраамий действовал в промежутке епископств Илариона и Леонтия, как он решительно утверждает? Разъяснит ли он факт поклонения ростовского *чудского* конца каменному идолу Велесу, о котором он говорит, не поясняя даже, было ли это славяно-русское или финское божество? Если Велес—славяно-русское божество, то поклонение ему со стороны чуди—любопытный факт для истории отношений славян к финнам; если же это финское божество, усвоенное русскими славянами, то здесь источник другого ряда любопытных выводов. Разъяснит ли автор эту и множество других неясностей в указанных ненадежных ростовских житиях, написанных столетия спустя по смерти описываемых ими святых? По крайней мере, он ничего не разъясняет и не доказывает, а цитуя преосв. Макария, обращает в несомненные факты то, в чем последний допускает только некоторую вероятность,—да повторяет анахронизмы житий, в роде того, что „еще при жизни Авраамия монастырь его сделался *главным* в Ростове (стр. 31)“, хотя других в нем тогда и не было. Затем компилируется из статей и книг, редко из первых источников, ряд известий, какие монастыри и иноки распространяли христианство в северо-восточной России. Этот ряд известий, конечно, шире того, что можно найти о миссионерской деятельности древне-русских иноков в учебниках; но было бы слишком большим преувеличением назвать его сколько-нибудь полным и цельным очерком. Ошибки и неточности, в крупных и мелких фактах, автор и здесь продолжает расточать с щедростию, превосходящей всякую возможность перечислить их. Автор пишет, что монастырь Троицкий Устьшехонский возник на берегу Бела-озера, при устье Шексны (№ 5, стр. 3); но место, где река берет свое начало,

называется истоком, а не устьем. Монастыри Дионисия Глушицкого и Александра Куштского автор ставит *на* Кубенском озере; но так нельзя выражаться о монастырях, возникших в нескольких верстах от берега озера на матерой земле. Рассказ о Коне-камне, из истории основания преп. Арсением Коневскаго монастыря, передан автором на основании какого-то *современного* известия (стр. 4): но это известие сохранено преданием, уже много позже Арсения занесенным в его житие. Автор вообще не мастер точно извлекать известия из источников. Он говорит, опять цитуя житие, что, услышав об основании Соловецкого монастыря, целые толпы народа направились к северу, и многие из посетителей оставались жить там (стр. 10). Надо думать, что речь идет о толпах русского народа. Но в житии основателей Соловецкого монастыря нет такого известия, а есть известие XVI в., которое прямо говорит о монастыре конца XV и начала XVI века: „еще бо в то время отъ иныхъ градовъ немнози прихождаху воеже постригати главы своя (Соч. М. Грека III, 265)". Ниже, приводя известие о распространении христианства на 3.000 верст в окружности от Соловецкого острова, автор ссылается на „современника первоначального заселения острова", а в примечании опять цитует житие Зосимы и Савватия. Но эта цитата, очевидно, поставлена только по незнанию истинного источника известия, которое принадлежит не житию, а тому же Максиму Греку, не бывшему ни автором жития, ни современником первоначального заселения острова; притом Максим ясно дает понять, что известие это относится к его времени, т.-е. лет сто спустя после первоначального заселения острова (там же стр. 266). Особенно любопытно встретить в ученом сочинении наивное известие, что „плач земля пермской" о смерти св. Стефана, статья Епифания, приложенная им к житию этого святого и написанная по всем правилам тогдашнего церковного витийства, есть действительный плач дикой, едва окрещенной Перми и только записан с ее слов Епифанием (стр. 23). Стоит только заглянуть в источники, цитуемые автором, и сверить

их с его изложением, чтобы открыть неисчислимый рой неточностей, легко устранимых при малейшей доле внимательности в изучении. Читаем, напримеp, у автора (стр. 25), что по р. Суре тянулась вотчина Спасо-Евфимиева монастыря, пожалованная ему в 1393 г. нижегородским князем Борисом, которая в XV и XVI вв. была уже заселена монастырем. Справляемся с процитованными при этом тремя актами Археограф. Экспедиции (т. I, №№ 12, 18 и 21) и находим: 1) что в них речь идет не о суздальском Спасо-Евфимиевом, а о нижегородском Спасо-Благовещенском монастыре и 2) что в 1393 г. пожалована этому монастырю по первому из указанных трех актов вовсе не та вотчина, о заселении которой говорится в двух остальных.

Неверно воспроизводя отдельные факты, автор приходит иногда к невозможным выводам. Образчики их были указаны в первых главах его исследования; в настоящей главе встречаем новые. В очерке распространения христианства в казанском крае автор уверяет, что „открытую враждебность русские встретили более в среде финских племен, нежели татар“, ибо „казанские порядки близко подходили к московским“, что поэтому „татары *редко* принимали участие в движении инородцев против Москвы“, что напротив вполне развитый общинный быт финских племен сплотил их и в религиозном отношении, отчего они *менее* (т.-е. нежели татары) поддавались влиянию миссионеров (стр. 28 и 29)“. На чем основаны или откуда извлечены все эти положения, автор не указывает. Но в изложении русско-христианского влияния на инородцев северо-восточной России автор не раз цитует без возражений сочинение г. Фирсова („Положение инородцев в московском государстве“). В этом исследовании доказывается совершенно противное выводам автора: здесь читаем, что русско-христианское влияние встретило наиболее противодействия именно там, где преобладал татарский элемент, что причина этого заключалась в силе аристократического элемента и в прочной организации духовенства,—в особенностях, которыми характеризовался быт татарских юртов,

а не финских племен, и которые ставили жизнь первых в противоречие основам русской жизни, что, наконец, именно татарские князья, мурзы и муллы и становились двигателями и вождями мятежей и заговоров против Москвы (г. Фирсов, стр. 219 и 118 — 128). Одно из двух: или автор не читал книги, которую не раз цитует, или же молча отвергает ее положения; в первом случае он поступает слишком мудрено, во втором слишком просто, ибо, зная о существовании мнений, противоположных его выводам, не удостоивает их опровержения. Последнее предположение, впрочем, менее вероятно. Мы сейчас видели положения, может быть, впервые высказываемые в нашей исторической литературе, о меньшей устойчивости татарского магометанства пред влиянием христианства в сравнении с финским язычеством. Чрез несколько страниц, сделав очерк христианского миссионерства в пермском крае и Сибири, автор пытается указать препятствия, мешавшие успешному действию христианства между инородцами, и здесь (стр. 36) читаем, что в магометанских местностях этому мешало магометанское духовенство, что „в казанском крае и Сибири пропаганда последнего среди инородцев была так сильна, что надолго одержала перевес над христианской миссией". Можно только объяснить происхождение этих положений, но не примирить их с тем, что говорил автор немного выше. Слова его о силе магометанской пропаганды выписаны с легкой переделкой из книги того же г. Фирсова, у которого взята и подтверждающая их цитата, хотя сам он не процитован на этот раз нашим автором.

Мы уже имели не один случай убедиться в ученой отваге автора, не робеющего ни перед каким историческим вопросом. В конце разбираемой главы он являет новое доказательство этого свойства. Нам становится страшно за автора, когда он от рассмотренного очерка русско-христианской миссии между инородцами переходит к решению одного из труднейших вопросов нашей истории, к определению влияния инородческого населения на русское, с ним сближав-

шееся (стр. 36 — 51). Мы вполне согласны с автором, что „это влияние имеет важное культурное значение". С своей стороны и автор согласится с нами, что научное определение и этого влияния и его культурного значения не возможно без выполнения известных довольно сложных условий. Напомним самые элементарные из них. Почва, на которой развивался затронутый автором культурный процесс, создана была встречей двух совершенно различных племен. Необходимо попытаться обозначить, при какой исторической обстановке произошла эта встреча, далее—с каким культурным запасом встретились обе стороны. Это укажет сферы жизни, в которых русское население наиболее подчинилось влиянию инородцев. Сближение началось при полном господстве языческих представлений у обеих сторон; оно и продолжалось под сильным влиянием тех же представлений, не умиравших и под христианской оболочкой. Здесь для исследователя становится важнейшим источником выводов мифология. В лице русских и финнов встретились две совершенно различные антропологические семьи, с своими особыми преданиями и верованиями: необходимо точно разграничить круг мифических представлений той и другой стороны и указать их отличительные особенности. Посмотрим, как решает автор заданную им себе задачу.

Он повторяет высказанную в одной статье „Православного Собеседника" мысль, что христианство на Руси в первые века является, *по письменным памятникам*, в более чистом виде, нежели в последующее время, в XVI и XVII вв. Но необходимо было бы рассмотреть, насколько участвует в этом положении с одной стороны простой недостаток известий об уровне христианского сознания в первые века сравнительно с последующими, а с другой—дальнейший рост этого сознания. Более развитое поколение всегда находит более недостатков в своем времени, нежели его предки; из этого однако ж вовсе не следует, что это последнее время лучше первого. Если бы наш автор разобрал выставленный им факт с этих двух сторон, он признал бы его, может быть,

одной из исторических фикций, основанных на недоразумении, на недостаточном анализе явлений. Не подумав доказать действительность факта, хотя бы по письменным памятникам, на которые сам ссылается, автор предпринимает объяснение этого явления важного в культурном отношении, как он его определяет, но сомнительного, как может сказать читатель. Объяснениями, найденными у других, наш автор недоволен, как неверными или частными, и находит „необходимым обратиться к более общим причинам (стр, 36 — 37)". Объясняя эти „общие" причины, автор начинает замечанием, против которого никто не станет спорить, что северная и южная Русь различаются резкими контрастами. Также справедливо замечает он, что „причины этого замечательного явления следует искать в местных условиях". Результаты своих поисков он выставляет в следующем ряде аргументов (стр. 37 и 38). На юге русское население представляло *сплошную* массу, удобно подчинявшуюся церковному влиянию; на севере оно явилось в начале в виде колоний, среди *многочисленного* финского, а при дальнейшем движении на северо-восток и турецко-татарского населения. В продолжение веков русское население, благодаря своему превосходству, одержало верх над финско-татарским и последнее начало русеть. „Но *в первое время* многочисленное туземное население, охватившее разбросанные русские колонии, даже наложило на них печать своего влияния". Автор позволит нам подвести итог его аргументации, который он предоставил читателю: итак вот где,—в этой *метисации*, говоря его термином, лежит причина резких контрастов, разделяющих Русь северную и южную. Итак вот где—в этом финско-татарском влиянии, вошедшем в русскую жизнь на северо-востоке, лежит разгадка той порчи христианства, которая обнаружилась в письменных памятниках северной Руси в XVI и XVII вв.— Но, во-первых, неужели автор сериозно считает сплошным и совершенно чистым русское население на юге, наприм., в том виде, как сложилось оно ко времени окончательного отделения юго-западной Руси от северо-восточной? Но в

1159 г. один черниговский князь говорит, что в его черниговских, русских городах живут псари да *половцы*, — и по всей вероятности живут на приятельской ноге друг с другом. Куда девались эти городские половцы? Куда девались вообще разные торки, берендеи, печенеги *росьские*, жившие в XII в. в Поросье и по степным границам киевского, переяславского и черниговского княжеств,—все эти *свои поганые*, как звала их Русь в отличие от степных независимых поганых? Некоторые из них, по прямому указанию летописи, принимали христианство, жили дружно с русскими и вместе с ними бивали свою степную братию; в 1155 г. берендеи из Поросья, побив с русским князем половцев, важно заявляют отцу последнего: „мы умираем за русскую землю с твоим сыном и кладем головы за твою честь“. Степные варвары сослужили злую службу древней южной Руси: они не давали покоя южнорусскому крестьянину, на что прямо указывают известные автору слова Мономаха на съезде 1111 г., гнали этого крестьянина в суровые, но более безопасные леса севера. Но это не прошло им даром: значительные массы их были оторваны русским влиянием от родной степи и так же влились в русскую народность, как это было с финами на северо-востоке. — Перейдем к другой половине аргументации автора. *Первое время*, когда финны „налагали печать своего влияния“ на северо-восточные русские колонии, надобно отнести к XI веку, может быть, даже раньше. Очень естественно, что финское влияние всего сильнее должно было действовать на русских в пору их язычества или в первое время христианской жизни; в дальнейшем своем развитии последняя, как бы слабо ни усвоялась она, давала Руси огромное превосходство пред финским язычеством и служила некоторым оплотом против его влияния. Но каким же образом порча христианства между русскими, внесенная этим влиянием, обнаружилась в письменных памятниках только в XVI в., лет чрез 500 от начала сближения обоих племен, и была незаметна в то время, когда это портящее влияние действовало с наибольшей силой? Вопрос разрешается ука-

занными причинами, создавшими этот исторический вымысел. Итак, напрасно затронут автором факт порчи христианства в России с XVI века; затронув этот факт, напрасно отстранил автор объяснения, представленные другими исследователями: они дают хотя кажущуюся опору мнимому факту.

Таким образом самая постановка вопроса о важном в культурном отношении влиянии инородцев на русских сделана неверно. Затем следует решение этого вопроса. Оно состоит в том, что выписывается несколько страниц из сочинения Вундта („Душа человека и животных“) о религии степей или вере в духов (стр. 39—42), а остальные страницы главы наполнены простым набором разновременных известий об остатках язычества у христианской Руси на северо-востоке. Вот и все решение задачи: едва ли нужно сопоставлять его с теми элементарными условиями, которые мы пытались обозначить выше и без которых оно невозможно. В заключение сказаное, что „финская мифология оказала большое влияние на русское население (стр. 51)“. Но сего, этой финской мифологии с ее большим влиянием на русское население и недостает у автора в исследовании о финском воздействии на русскую жизнь. Не беремся судить, насколько выписанные автором страницы Вундта исчерпывают содержание финской мифологии,—осмеливаемся только спросить, не ближе ли было бы к цели автора справиться вместо Вундта с лекциями Кастрена о финской мифологии, изданными г. Шифнером в немецком переводе. Между тем эта книга, повидимому, осталась совершенно незнакомой нашему автору. Он хотел изучить влияние финской мифологии на русских; но знакомый только с религией духов по Вундту, он не показывает, какой элемент вошел в русскую языческую мифологию под влиянием финской. Он собирает известие только о наружных признаках, уцелевших от язычества между русскими на северо-востоке, о волхвах и колдунах, о боготворимых камнях и т. п.,— но все это было и в южной Руси; говорит о заимствовании у финнов языческих обрядов

и примет, но не задумывается на том, во-первых, все ли эти обряды и приметы финского происхождения, во-вторых, были ли они принадлежностью одной северо-восточной Руси, непосредственно соприкасавшейся с финнами, не разделяла ли их и Русь южная. Вообще в этом вопросе, требующем особенно точного и внимательного анализа фактов, автор пренебрегает самыми элементарными научными требованиями. Исследуя финское влияние, он не подумал даже разграничить в своем сознании мифологии славяно-русскую и финскую, а это, кажется, первый вопрос в таком исследовании. Поэтому он часто смешивает их, говорит, например, о влиянии финских верований на религиозные представления русских и в числе фактов этого влияния приводит приурочение славяно-русского языческого божества к христианскому святому, перенесение черт Велеса на св. Власия (стр. 45). Судя по тому, какие поверья и приметы в русском народе объясняет автор финским влиянием, как вообще веру в духов у русских на севере он выводит из этого же источника, можно подумать, что славяне пришли на Днепр без верований, без богов и религиозных обрядов, и все это взяли у финнов. Смеем уверить автора, что они принесли с собой и своих духов, и весь запас языческой религиозной жизни и даже поделились им с самими финнами.

V.

Согласно съ своей программой автор изучает далее значение древне-русского монастыря, какъ школы и средоточия древне-русской образованности (гл. V, № 6, стр. 1—40). Мы отказываемся понимать логический, исторический и даже грамматический смысл общего положения, съ которого начинает автор: „в это время, когда Россия подчинилась влиянию Византии, господство религиозных идей достигло там полного апогея и монастыри давали направление обществу. Отсюда распространилось влияние византийской образованности на Россию и *потому* она (?) вполне может назваться *монастырскою* (стр. 1).“ Эта монастырская образованность

распространялась в обществе двумя путями—монастырской книжностью и монастырским воспитанием.

Влияние книжной деятельности монастырей определяется положением: „в монастырях сосредоточилась *вся* книжная деятельность древней Руси (стр. 2).“ Только крайним незнакомством с древне-русской письменностью можно объяснить происхождение этой строки. Автор забыл или не знал, что самые крупные по размерам сборники памятников древнерусской письменности, Четьи-минеи Макария и Милютина, составлены не в монастырях. Если бы авторъ полистовалъ рукописи хоть одного из существующих теперь въ Россіи рукописных хранилищъ, он узнал бы по припискам, как много писано в древней Руси вне монастырей. Впрочем, из следующего затем описания состава некоторых монастырских библиотек древней Руси видно, что все знакомство автора с последними ограничивается сведениями, извлеченными из описаний их и некоторых статеек. Из анализа состава этих библиотек делается вывод, что „наименьший отдел занимают в них сочинения общеобразовательные (стр. 8).“ Просмотрев представленную автором библиографическую статистику монастырских библиотек, узнаем, что он обозначает этим эпитетом сочинения общеисторические, географические, путешествия, русские летописи и т. п.; напротив, книги библейские и отеческие, занимающие самое большое место в составе древнерусских библиотек, не названы общеобразовательными, след., отнесены к отделу специальных. Мы думаем, что из них именно и почерпался запас общего образования древней Руси; следовательно, они и имели значение общеобразовательных книг: это подтверждается обилием их списков в древних наших библиотеках; сам автор то и дело заявляет, что вся русская образованность до конца XVII в. носила на себе исключительно духовный характер. Анализ состава библиотек сопровождается совершенно неожиданным выводом, будто „сосредоточив в своих руках источники образованности, монастыри естественно сделались регулирующими центрами в *общественной жизни* древней Руси (стр. 9).“ Автор говорил только о вли-

нии монастырской книжности, и, разумеется, ни выше, ни ниже не показывает, как монастыри сделались регулирующими центрами древне-русской общественной жизни. Может быть, автор не написал бы этого, если бы вникнул в истинное значение таких слов, как *регулирующий центр* и *общественная жизнь*. Исключительным влиянием монастыря на умственную жизнь древней Руси автор объясняет свое положение, будто наша древняя письменность имела двойственный характер, *поучительный* и *полемический*, который проникает *все* ее формы (стр. 10). Мы думаем, что в этих словах не все ясно и они мало объясняют характер древне-русской письменности. Ведь и полемические сочинения были поучительного свойства и по цели, и по тону изложения. Поучение, моральный элемент был в древне-русской письменности основной мыслью, которой искали в каждом дельном сочинении. В наше время от каждой дельной книги требуют известной научной мысли, философического элемента; книги без всякой мысли преследуются критикой; значит ли это, что вся наша литература должна назваться философской? В таком случае мы не согласимся, чтобы даже исследование нашего автора было чисто-историческим сочинением, при всем желании исследователя сделать его таким. Автор говорит далее, что образцами поучительно-полемической письменности древней Руси служили византийские авторитеты, и убеждается в этом „безусловной подражательностью *наиболее крупных писателей* в области духовной литературы.“ В числе таких наиболее крупных писателей неожиданно являются и Нил Сорский и митрополит Даниил (XVI в.), но нет многих действительно крупных духовных писателей древней Руси. Автор упрекает упоминаемых им крупных писателей „в *подобострастии* греческим образцам,“ не подумав, идет ли это слово к тем целям, с какими, наприм., Нил Сорский или Иосиф Волоколамский делали выписки из отцов церкви в своих сочинениях. Если бы они писали ученые исследования в наше время, при нынешних научных условиях, и подобно нашему автору наполнили $^4/_5$ своих книг выписками из чужих сочинений, тогда их можно было бы

упрекнуть в чем-нибудь подобном. Вообще отношение автора к читателю выходит из принятых правил: распространяясь пред ним о том, что он с трудом может связать с главным предметом исследования, автор часто обходит то, что, повидимому, неразрывно связано с этим предметом и на что он сам призывает особенное внимание читателя. Исследуя монастырскую книжность, он замечает, что ее результатом был важный для истории отдел древне-русской письменности—жития святых. Но об этом важном отделе, изучение которого, повидимому, так необходимо для характеристики монастырской образованности, автор нашелся написать *только 9 строк*, и то наполненных неточностями (стр. 11—12). Точно также поступает он с читателем, определяя другую сторону образовательного значения монастырей,—их нравственное влияние: один из путей этого влияния он указывает в монастырском воспитании, в монастырских училищах (стр. 13), а говорит о стечении народа, богомольцев в монастыри, потом опять о монастырских книгах и о многом другом, только не о монастырском воспитании. Напротив, исследуя другой путь нравственного влияния монастыря—„влияние представителей монашества на семью,“ автор набирает массу разнообразных явлений древне-русской религиозно-нравственной жизни, из коих многое было бы странно объяснять только влиянием монастыря: так здесь он распространяется о преследовании церковию остатков язычества, даже об удалении женщины из мужского общества.

Наконец, и эта глава об образовательном значении монастырей усеяна обычными у автора ошибками и неточностями, из которых позволяем себе сделать короткую выборку. Автор уверяет, что в древне-русской письменности скоропись является только с половины XVI в. (стр. 3). Эта ошибка произошла от того, что автор, не видавший в глаза ни одной древне-русской рукописи, не мог видеть и рукописей XV в., писанных скорописью; притом его здесь ввело в заблуждение не совсем ясное выражение о скорописи Востокова (в предисловии к „Опис. Рум. Муз.“). Автор пишет, что Макарий

составил свои минеи в течение 12 лет, будучи архиепископом в Новгороде, следовательно до 1542 года, когда он стал митрополитом всероссийским. Но как же попали в них произведения, писанные в 1546, 1547 г.г. и даже позднее, в которых упоминается имя *митрополита* Макария? Автор говорит (стр. 13, прим. 2), что новгородский архиепископ Моисей открыл училища при монастырях, им основанных в Новгороде, цитуя при этом житие его у преосв. Филарета. Такого известия нет ни в подлинном житии, ни в переделке его у преосв. Филарета; автор сочинил его из непонятых им слов последнего „обители св. Моисея были училищами *благочестия* для мирян новгородцев“ („Русск. Свв.“, янв., стр. 115). В числе „отшельников в 11—15 лет“ встречаем у автора архиепископа новгородского Серапиона, постригшегося из вдовых священников, Макария Колязинского, также вступившего в Монастырь уже вдовцом, Александра Свирского, который ушел из дома родителей и постригся 26 лет, Пахомия Нерехтского, который до 21 года жил в родительском доме, Авраамия Ростовского, Пакова, епископа ростовского, и Нила Столбенского, возраст которых при вступлении в иночество, как и все детство, неизвестен с точностию (стр. 16, прим. 1). Недостаток точности в сведениях автора обнаруживается не одними ошибками: он иногда доводит его до клеветы, разумеется, ненамеренной. Он говорит, будто монахи побуждали детей тайно бежать в монастыри, где их содержали в кельях игумена и не позволяли видеться с родными, будто на жалобы последних монахи отвечали: „игумен велел отнимать у родителей детей и отвозить в монастыри“ (стр. 16, прим. 3). Это куриозное известие автор подкрепляет ссылкой на жития Дионисия Глушицкого и Александра Свирского. Ничего подобного нет в этих житиях; напротив, валаамские монахи прямо отвечали юному Александру на просьбу взять его с собой на Валаам: „намъ нѣсть се игуменомъ повелѣно еже отъ родитель чадъ отымати и въ монастырь отвозити“. Когда отецъ пришел к постригшемуся Александру, игумен, по рассказу жития, не только не запрещал сыну видеться с

отцом, но сам уговаривал к тому строгого аскета. Во многих других житиях автор прочитал бы, еслибы заглянул в них, что игумены не только не ловят детей в свои монастыри, но стараются отговаривать юношей, просивших ихъ о пострижении, указывая на их лета, на трудности иночества, на обязанности к родителям. Автор пишет, что царевич Иоанн, сын Грозного, тщательно собирал рассказы о жизни Антония Спйского, на основании которых составил его биографию (стр. 17 и сл.). На самом деле царевич, получив житие этого святого, написанное за год перед тем иноком Ионою, переписал его для себя, подвергнув его при этом легкой переделке. Из известия жития, что преп. Сергий, будучи еще грудным ребенком, отказывался от молока в постные дни, автор заключает, что „в некоторых семействах старались отучить детей на первых же порах даже от употребления молока (стр. 25)".

VI.

Из всех моментов в культурном значении древне-русских монастырей теперь осталось у автора на очереди изучение „участия монастырей в политических событиях". Вместо этого находим, что всю VI-ю главу и значительную часть VII-й он посвящает раскрытию политического влияния Византии на древнюю Русь, проводившегося церковным путем, и уже после того обращается специально к рассмотрению политического значения монастырей древней Руси. Программа автора опять запуталась. Вероятно, это расширение задачи произошло от того, что необходимость вставить исследование о влиянии церкви вообще на древне-русское государство предстала пред автором, когда он уже приступил к изображению политической роли древне-русских монастырей. Однако ж, не выпуская из рук нити автора, хотя и удлиннившейся, мы несколько остановимся на его главах о политическом значении церкви вообще,—как по тесной связи этого предмета с политическим „моментом" монастырей, так и для того, чтобы показать и здесь верность автора обычным приемам его иссле-

дования. Мы, напр., не можем назвать вполне удачным способ, избранный автором для разъяснения влияния Византии на древне-русскую церковь. Автор (№ 7, стр. 2—28) кратко передает простые факты из иерархической истории русской церкви до XVI в., разумеется, преимущественно по истории преосв. Макария. Но подобное фактическое изложение, которое читатель найдет у других историков в более полном и лучшем виде, не есть прямой ответ на вопрос о характере и значении иерархических отношений Византии к русской церкви. Этим автор ставит иногда читателя в недоумение: указав, наприм., (стр. 9 и 10) на местные условия, развившие в русском народе религиозный антагонизм в отношении к иноверным соседям, автор продолжает: „все это говорит в пользу важного значения того *направления*, какое Россия получила из Византии". Но в изложении автора читатель не найдет прямого разъяснения, о каком направлении идет здесь речь. Притом, если сам автор указал на местные условия антагонизма, то остается неясным, какое участие принимало в нем направление, получившееся из Византии. Наконец простота приема, которым руководился автор, не помогла ему стать более прежнего точным. Объясняя принятие христианства Русью и сказав (стр. 2) о греческом проповеднике с картиной страшного суда пред кн. Владимиром, о послах последнего, которые пленились богослужением и приемом греков, автор заключает: „*таким образом* выбор был решен". Но неужели именно таким образом решен был выбор религии? Автор цитует историю преосв. Макария, рассказывая (стр. 12) о Ефреме скопце, что он, в 1072 г. вызван был из Константинополя на переяславскую кафедру: но преосв. Макарий именно и доказывает, что это было не в 1072 г., а после (I, 9). Автор решительно и без оговорки утверждает (стр. 13), что известный Нифонт, епископ новгородский, был грек, причем ссылается опять на преосв. Макария и на цитату, выставленную последним. Но ведь это только догадка, на что и указывает преосвященный Макарий. Житие, составленное в XVI веке, считает Нифонта уроженцем киевской области,

с чем согласна и другая редакция жития, несколько позднейшая, но более подробная и пользовавшаяся очень древними источниками. Переходя от иерархических отношений к определению юридического влияния Византии на Русь, автор, цитуя Шлоссера, замечает (стр. 28), будто политические *формы* Византийской империи сделались образцом для всех средневековых государств,—феодальных, добавим мы от себя. Но Шлоссер (Всем. Ист. V, 9) в процитованном месте говорит только о влиянии на средневековые государства римского права в форме, данной ему при Юстиниане, а не о политических формах Византийской империи, что, кажется, не совсем одно и то же. Впрочем, в этом отделе о влиянии Византии на юридический быт древней Руси (№ 7, стр. 28—42) наименее заметны особенности исследования автора — эпическая фактичность изложения и неохота направлять факты прямо к решению задачи, согласно с твердо определенной программой. Это объясняется тем, что эта часть VI главы составлена почти вся из выдержек, которые автор не мудрствуя выписывал из известного исследования г. Калачова о Кормчей. Ученое смирение нашего автора доходит здесь до того, что эту главу своего докторского исследования он заканчивает исторической оценкой Уложения, дословно выписанной из учебника русской истории г. Иловайского, который и цитуется в примечании.

Но в VII главе (№ 8), где исследуется влияние Византии собственно на политическое развитие России, автор не имеет руководителя и, более предоставленный собственным силам, возвращается вполне к своим обычным приемам. Начав главу указаниями на высокие понятия о верховной власти, заимствованные древнерусским духовенством из византийских источников, он совершенно справедливо замечает, что влияние древне-русского духовенства в этом отношении не всегда и везде было одинаково, что оно успешнее проводило в жизнь усвоенные им политические понятия там, где „почва была более удобною“ для этого. Здесь внимание автора останавливается на различии в политическом развитии древней

южной и северо-восточной России. Это различие автор видит прежде всего в различии старых и новых городов. Автор знает знаменитое место летописи о старших и младших городах или пригородах, но он не хочет понять их прямого смысла. Во-первых, он не точно выводит из них различие старших городов и пригородов: в первых, по его мнению, господствует вече, в последних преобладает княжеский авторитет. Но по прямому смыслу летописи, в пригородах преобладает авторитет старшего города, а не князя. Во-вторых, из слов летописи автор делает совершенно неожиданный вывод. Он думает (стр. 3—4), что „по аналогии с указанием летописца, такими (т.-е. старыми, вечевыми) городами будут те, которые были первоначальными пунктами славянских поселений в Области России, *следов., города южной Руси, княжества Полоцкое и Смоленское* (т.-е. города этих княжеств)“ и проч. „К противоположному типу следует отнести города северо-восточной России, опять исключая старые города Ростов, Суздаль, где хотя иногда и проявлялось вечевое устройство, но далеко не в такой силе, как в указанной местности (т.-е. местностях)“. Автор, кажется, слишком увлекся своей аналогией. Разве Вышгород, Канев, Моровийск, Любеч, Всеволож, Хоробор—разве все эти южные города и множество других, попадающихся чуть не на каждой странице южной летописи в XII в., старшие города, руководившие своими пригородами? Разве все города полоцкого и смоленского княжества имели одинаковое значение с Полоцком и Смоленском? С другой стороны, разве во Владимире на Клязьме, пригороде Ростова, до Андрея преобладал княжеский авторитет, когда и после Андрея ростовцы *повелевают* владимирцами, по замечанию летописи, и, вспомнная старые, уже сильно пошатнувшиеся отношения пригорода, говорят: „сожжем Владимир или посадим в нем посадника; там живут наши холопы каменщики“. Не вникнув в различие старших городов и пригородов, так ясно указанное летописью, автор не разобрал и отличия старого порядка от нового, возникшего на северовостоке и изменившего прежние отно-

шения между городами. Непосредственно за выписанными выше строками читаем у автора: „очевидно, что здесь (на северовостоке) было более условий для развития княжеского авторитета". Совершенно справедливо, но: 1) из приведенных строк это вовсе не очевидно, 2) это не очевидно и из следующих строк автора. Поймав самые внешние признаки исторического движения, автор уже не углубляется далее в его смысл. Сколько можно понять из его неясного, сбивчивого изложения (стр. 4—5), он видит второе различие в политическом развитии южной и северовосточной Руси в том, что первая имела один центр Киев, а вторая распалась на отдельные княжества. Он объясняет это последнее явление таким рядом выводов: князья на северовостоке стремятся расширить свои волости, дорожат ими, более заботятся о них; *это* тесно связывает их с ними, и *потому* власть их получает здесь большое значение (стр. 5). Но все это, если не ошибаемся, следствия, требующие дальнейшего объяснения. Так же трудно понять и третью, *последнюю*, по замечанию автора, противоположность в политическом развитии южной и северовосточной Руси, которую автор развивает на нескольких страницах далее, объясняя ею торжество Москвы. Не ручаемся за догадку, но, кажется, эта противоположность состоит в том, что князья на северовостоке на первых же порах ищут покровительства у татарских ханов (стр. 6) и находят его, чего, подразумевается, не было на юге. Опять, по мнению автора, „очевидно, что при таком порядке вещей исход борьбы между Тверью и Москвой *зависел от влияния извне*", что „ Москва получает верх, благодаря соединению политики московских князей с интересами ханов". Все это подкрепляется словами Карамзина: „Москва обязана своим величием ханам". Так весь политический переворот на северовостоке, все историческое значение Москвы объясняется каким-то отсутствием центра да покровительством ханов. О происхождении оригинального в государственной истории Европы типа государя-вотчинника в северовосточной Руси и обстоятельствах, его условивших, нет и помина; на внутрен-

ние причины политического возвышения Москвы нет и намека.

Читатель в праве остановить нас замечанием, к чему такая многословная полемика об азбуке русской истории. Мы вдались в нее, чтобы показать, какие явления еще возможны в нашей исторической литературе. Политический рост древней Руси, может быть, более других сторон ее жизни разъяснен в науке русской истории. Однакож в хаосе рассуждений нашего автора едва отразилось слабое мерцание добытых ею результатов, и то иногда в неверном отблеске.

Способ исследования влияния церкви на государство, усвоенный автором, удерживается и в отделе о политическом значении древнерусских монастырей. Этот вопрос разрешается изложением отношений монастырей к московским князьям. Но только в начале отдела (№ 8, стр. 17), в дословной выписке из сочинения В. Милютина, эти отношения разъясняются и доказываются; далее они просто рассказываются, и факты рассказа так сгруппировываются, что читатель среди них по временам невольно выпускает из вида цель, к которой они направлены. Впрочем, лишь немногие представители монастырей являются в рассказе с политической деятельностию, очерченной несколько обстоятельно: это Сергий Радонежский, от которого, по словам автора, „ведет начало политическая традиция монастырей в пользу московских князей“ (стр. 24), далее Пафнутий Боровский: о них рассказывается на 3 страницах. Зато из 32 страниц всего рассказа о политической деятельности монастырей 22 посвящены Иосифу Волоцкому и его монастырю, причем довольно обстоятельно излагается его биография, описывается наружность, рассказывается об основании и устройстве его монастыря. При такой группировке рассказ по обычаю не везде точен. По мнению автора, отдаленные монастыри, основаные в глуши, не подлежали надзору ближайшего епископа (стр. 19); но это далеко не было общим явлением. В рассказе об усобице при Василии Темном последний, освобожденный Шемякой из заключеня в Угличе, на пути в Вологду заезжает у автора в Кириллов

монастырь, где игумен разрешает его от клятвы, данной Шемяке (стр. 24). Автор цитует здесь летопись, в которой именно читаем: „и приде князь великий на Вологду и *оттоле* в Кириллов монастырь (П. С. Р. Лет. IV, 146)". Есть неточность и крупнее: сказав о благословении на престол, данном Василию игуменами Кириллова и Ферапонтова монастырей, автор продолжает: „*вследствие этих побуждений* Василий решился действовать против Шемяки". Но и в летописи, и в житии Мартиниана, которое также цитуется при этом, не только возобновление борьбы с Шемякой, но и самая поездка Василия в белозерские монастыри является следствием того, что „все люди", по житию, или „вся сила московская с всее страны", по летописи, обратилась к освобожденному Василию.

Так изучены автором указанные им моменты в культурном значении монастырей. Предупреждая упрек в голословности приговора, мы растянули разбор, может быть, за пределы необходимого. С другой стороны, жатва для критики в разбираемом исследовании так обильна, что надобно отказаться от надежды исчерпать все, что требует в нем поверки и поправки. Впрочем, рассмотренною VII-й главой еще не оканчивается исследование: благодаря таинственной для читателя программе, на которой оно построено, автор выводит далее новые главы довольно разнообразного содержания, где вновь и не раз возвращается и к монастырям, и к византийскому влиянию (например, гл. X). Исследование строго выдерживает свой прежний характер и в этих главах; в этом отношении они не дают ничего нового. Потому мы не последуем за автором далее, тем более, что кончив VII-ю главу, он сам останавливается, оглядывается на пройденный путь исследования и представляет читателю его результаты. Они направлены к определению византийского влияния на Русь. „Обозревши результаты отношений Византии к России, пишет автор, в религиозной, общественной и политической сфере, мы можем сделат следующие выводы". Эти выводы довольно пространно изложены в 16 статьях (стр. 54—58). Впрочем, это число довольно случайно: на самом деле выводов гораздо больше, ибо иногда под одной

цифрой соединено несколько положений, которым ничто не мешает считаться особыми статьями. Здесь, разумеется, повторились еще раз характеристические особенности, которыми отличается исследование. Все эти выводы можно разделить на две группы: одни из них не доказаны, иные даже вовсе и не доказывались в исследовании; другие не столько выводы, сколько простые факты, повторенные здесь в краткой форме. Мы только затрудняемся, к какой группе отнести первое положение, ибо не вполне ясно понимаем его логический строй. Выписываем его: „вследствие преобладания религиозных вопросов в умственной жизни Византии, ее образовательное влияние по преимуществу должно было отразиться с этой стороны; а так как подчинение России византийскому влиянию началось в религиозной области, то *это отношение* должно было проявиться в самых резких чертах. *Поэтому* еще в древнейший период русской истории сложился взгляд на книжность, как на исключительную потребность церкви“.— Представим образчики обеих указанных групп. Второй вывод говорит, что древне-русская образованность может быт вполне названа *монастырской*, что аскетические идеи приобрели *исключительное* господство в древне-русском обществе. Мы видели, что это не доказано, да и трудно доказать. Третие положение извещает, что древне-русские монастыри можно подвести под два *направления*—скитское и общежительное, переживавшиеся *почти* каждым монастырем, „пока эти *формы* не выработались в строго определенные типы, из которых один сделался достоянием преимущественно городских, а другой пустынных монастырей“. Представителем общежительно-городского типа выставлен Иосифов Волоколамский монастырь; пустынно-скитский тип господствовал в Заволжье, в новгородских и вологодских скитах; представителем его был Нил Сорский. Все это узнаем мы здесь впервые и все это только увеличивает сумму неверного, содержащегося в исследовании. Не понятно: 1) почему общежительный тип усвоен преимущественно городским монастырям, когда с конца XIV в. он одинаково становится господствующим и в пустынных; 2) почему

представителем этого городского типа сделан именно монастырь Иосифов—*пустынный*. Точно так же не понятна группировка древне-русских монастырей по двум указанным формам; кажется, она вместе с новгородскими и вологодскими скитами основана на недоразумении автора: 1) в Заволжье, как и в других краях, с конца XIV в. монастыри начали усвоять общежитие, вытесняя прежний порядок; 2) этот прежний необщежительный порядок—вовсе не скитство, а оригинальная русская форма монастырской жизни, неустроенная, не подчиненная никакой дисциплине, не только скитской. Так смотрит на нее древний автор „Надсловия“ к скитскому уставу Нила Сорского, называя ее „четвертым чином не по преданию св. отец“, в противоположность трем монашеским „чинам“, установленным св. отцами; согласно с ним описывает эту форму русского монашества и древняя летопись, называя ее „бесчинием“ (П. С. Лет. VI, 284). И представителем этой неустроенной формы сделался у автора строгий Нил Сорский! В выводах другой группы встречаем: например, известия, что русская колонизация севера в значительной степени принадлежала монастырям, что владение землею тесно связывало монастыри с общественной жизнью, что среднюю цифру монастырских земель в XVI в. *можно* принять в $^1/_3$ всего государства, что Россия подчинилась влиянию Византии в эпоху разделения церквей, что папы хлопотали в России о соединении церквей и вместе стремились подчинить ее своему авторитету в политическом отношении и т. п. Едва ли все это—выводы, а не простые факты, из коих некоторые к тому же сомнительного качества.

Теперь, после выводов автора о византийском влиянии на древнюю Русь, можно спросить об общей задаче его исследования: раскрыты ли ясно сферы, свойства и результаты этого влияния? Воспроизводя в памяти исследование, надобно сознаться, что ответ теряется в хаосе отдельных его частей. Кажется, автор, начиная свой труд, не уяснил себе свойства ни византийской образованности, ни русской почвы, на которую пришлось ей действовать. Византийская образованность—очень сложное явление: восток, античный мир, христианство

первых веков завещали ей доли своих разнообразных богатств. Одна черта особенно характеризует ее: в ней незаметно внутренней творческой силы, претворяющей заимствованные образовательные элементы в новую, самобытную цивилизацию. Эти элементы ложились в ней, точно зерна в истощенной почве, не распускаясь в свежие ростки. Может быть, ничто так не выражает духа этой византийской цивилизации, как знаменитая Фотиевская „Библиотека“, обширная компиляция, извлеченная из нескольких сотен сочинений разных времен и народов; сборником, компиляцией и комментарием отзывается вся литература Византии. Это—общая черта всех перезрелых цивилизаций. Но бессильная почва сберегала плоды прежних веков до поры до времени для посева на новых, свежих почвах: в этом заключается важное историческое значение Византии. Разумеется, каждая новая почва усвояла из сбереженного запаса, что могла усвоить по своей природе. Известно значение Византии для западной Европы в начале эпохи возрождения. На Руси была другая почва, требовавшая более простых и существенных элементов питания,—и византийская образованность должна была подействовать на нее иными сторонами, чем на западно-европейскую. Что могла заимствовать начинавшая жить и развиваться Русь от старой, отжившей, но богатой культурным запасом Византии? Решение этого вопроса, кажется нам, должно лечь во главу угла в исследовании о византийском влиянии. Это влияние не могло передать Руси многого из содержания и характера византийской образованности. Укажем на одно явление: богословствование было душой византийской умственной жизни; но в России, где влияние этой жизни всего сильнее сказывалось именно в духовно-литературной сфере, один представитель древне-русского монашества изгонял из своего монастыря всякого, „кто хотя мало кроме божественного Писания начинаше глаголати“, т. е. рассуждать помимо Писания, хотя бы и не против него. Если бы наш автор имел в виду указанный вопрос, он, может быть, изменил бы самую программу своего исследования. Непонятно, например, для чего большая часть последнего за-

нята древне-русскими монастырями. Если автор действительно хотел определить влияние Византии на древнюю Русь, то по крайней мере половина его изысканий о монастырях и их колонизации не относится к теме. В монастырях, как и в других сферах древне-русской жизни, он не различил того, что было в них внесено византийским влиянием, от того, что было созданием русских условий или видоизменилось под влиянием последних. Разве, например, монастырская колонизация с ее приемами и результатами, о которой он говорит так много, была вызвана византийским влиянием? С другой стороны многое, непосредственно входящее в его задачу, затронуто им легко или обойдено: что, например, сказал он о византийском влиянии на древне-русскую литературу, повидимому, всего ближе стоящую к общему заглавию его труда?

К этим общим заметкам прибавим в свою очередь несколько выводов из сделанного разбора:

1) Автор приступил к специальному исследованию без твердого общего взгляда на ход древне-русской истории.

2) Он приступил к своему труду без ясной, точно-определенной программы, направленной к решению намеченного вопроса.

3) Он не основал своего исследования на внимательном изучении источников: отсюда его многочисленные ошибки, шаткость выводов и чрезвычайная компилятивность его книги.

4) Все это сообщает ей характер черновой тетради или записной книжки человека, который любит читать сочинения по русской истории и делать из них извлечения себе на память.

В. К.

Поправки к одной Антикритике [1]).

Г. Иконников, сверх чаяния, остался недоволен нашей рецензией, посвященной разбору того отдела его диссертации о значении Византии в русской истории, где он изложил свои исследования о древне-русских монастырях (*Прав. Обозр.* 1869, №№ 10 и 12). Он отвечает нам теперь длинной антикритикой (*Кіевск. Ун. Изв.* 1870, №№ 1 и 2; конец обещан). Новый труд автора писан под влиянием заметного переполоха: на это указывают гневные речи автора, превышающие своим количеством и энергией потребности его будущего биографа. Впрочем, новый доктор истории не скрыл причины своего гнева: он нашел в нашей рецензии „не научную истину, а беспричинное порицание автора", т.-е. нашел то, чего искал. Действительно, его диссертация редко давала случай говорить о научной истине; почти исключительно приходилось указывать ошибки. Но мы жалеем, что недостаточно похвалили автора. Его труд имеет одну похвальную черту: это пчелиное собирание цветочной пыли по чужим сочинениям. Охотно платим запоздалый долг, теперь настойчиво вынужденный самим автором.

Антикритика открывается тем, что вычеркивает нас из списка „людей науки"; в другом месте она величает нас „автором летучих листков". Повинуемся опале, безропотно выступаем из *той* новой фаланги, которой предводительствует автор, и охотно признаемся, что не обогатили родной литературы лежачими, неподвижными фолиантами. Мы не

---

[1]) „Православное Обозрение". 1870. № 4.

пожалели бы об этой антикритике, начало которой уже способно заставить всякого воскликнуть: ex ungue leonem! Но мы жалеем об одном: суровый автор и в антикритике своей не увольняет нас от рецензентской обязанности. Он, повидимому, принимает значительное количество наших указаний, ибо проходит их молчанием в своем ответе. Но затем он отстаивает много старых своих промахов и при этом делает новые. Наперед извиняясь пред читателем в мелочной полемике, на которую вызваны, мы ограничимся по возможности немногими чертами, достаточными для характеристики нового труда г. Иконникова.

Мы заметили, что автор, взявшись перечислять жития, написанные Пахомием Логофетом, указал далеко не все. Тонко намекнув на наше невежество, он уничтожает наше замечание признанием (№ 1, стр. 7), что и другие ученые перечисляют эти жития в том же *количестве*, как он. Просим позволения у человека науки немножко пополнить его сведения в древне-русской литературе: перу Пахомия принадлежат, кроме указанных автором, еще жития: новгородского архиепископа Моисея, Никона, преемника преп. Сергия, кн. Михаила Черниговского; все три указаны у преосв. Филарета, на которого автор ссылается, чтобы доказать противное. Кой-что и еще было написано Пахомием в том же роде, но, как неуказанное у Филарета, необязательно для нашего автора. Ему заметили, что некоторые из этих Пахомиевских житий, которые он считает оригинальными, только легкие переделки, ибо уцелели еще самые оригиналы, переделанные Пахомием; а наш автор и теперь упорно настаивает на своем и опять ссылается на преосв. Филарета и друг. Не прикажет ли он выслать копию с этих оригиналов для сличения?

Автору заметили, что он не читал в подлиннике даже капитального древнего жития Сергия Радонежского, а знает лишь отрывки из него по истории преосв. Макария. Он отвечает, что читал это житие по редакции Епифания, помещенной в Никоновской летописи: „или наш рецензент, спра-

шивает он, не знал, что в Никоновской летописи оно помещено"? Нет, не знал, даже просит и автора перестать знать это: в той летописи помещено не подлинное житие, писанное Епифанием или Пахомием, а отрывки же, сильно подновленные позднейшей рукой. Пусть автор познакомится с текстом и составом подлинного жития.

Мы усомнились в *королѣ* галицком Ярославе у автора. Последний отвечает: „но, я думаю, рецензент должен был знать, в каком смысле он назван здесь королем". Нет, не знаем, а только догадываемся, что этот князь назван королем в смысле милостивого пожалования, такого же комплимента со стороны автора, каким было со стороны митрополита XI в. Илариона название Владимира святого *каганом*, или в рецензиях—титулование иных сочинителей учеными исследователями. Мы усомнились также в „особых дорожных псалтирях" в древней Руси. Автор отсылает нас к своим источникам, откуда мы и прежде знали, что древние русские брали псалтири с собой в дорогу. Но если студент-поклонник проф. Иконникова возьмет с собой в вагон его лекции, возведет ли он автора в звание „особого дорожного профессора?"

Мы заметили, что автор почти целиком выписал из Дрэпера один очерк. Он поправляет нас, говоря, что не почти целиком, а вполне целиком списал очерк у Дрэпера, только один пропуск сделал. Не делаем вторичного сличения и охотно принимаем эту услужливую поправку. Но не вполне справедливо автор заставляет нас утверждать, будто в очерке ересей ему служила источником одна история Иннокентия: мы указывали именно на безмятежное соседство ее с Дрэпером, в какое она поставлена автором, и не думали перечислять всех источников последнего. Автор называет все предыдущие замечания наши смешными. Скажем, что они смешили и нас: в самом деле смешно, что есть докторские исследования, заставляющие рецензента делать *такие замечания*.

Отметим черты антикритики, характеризующие ее с дру-

гих сторон. Автор свидетельствует (№ 1, стр. 16), что когда он попытается проверить наши фактические сведения, то глубоко разочаровывается в них. В пример такого разочарования он приводит прежде всего наше замечание, что Краснохолмский монастырь (Тверск. губ.) возник не в новгородских владениях, как он утверждает в своем исследовании и утверждает теперь, проверив наше замечание. Просим разочарованного автора опять немного очароваться. Свое известие он основывает на том, что монастырь находится в 30 в. от Бежецка, который позже основания монастыря перешел от Новгорода к московскому князю. В примечании он повторяет, что по положению своему монастырь относится к Бежецкой пятине, и ссылается на сочинения г. Костомарова (*Северн. Народ.*) и Неволина (*О пятинах*). Напрасно потревожил автор эти почтенные труды для поддержания своей ошибки. Просим его вооружиться мало знакомой ему картой. У г. Костомарова так определена восточная граница бежецкой земли: от р. Медведицы рекою Березаем на север до Мологи, верховьем Мологи до впадения в нее Малечи, далее Малечею до ее верховьев, потом Званою и т. д. (II, 67). Следовательно, область рек Мологи и Неледины, где Краснохолмский монастырь, лежит восточнее этой границы, вне древних новгородских владений. Еще дальше к западу отодвигает эту восточную границу Неволин в своей книге и на карте пятин XVI в. Если и этого мало автору, приведем еще маленькое соображение в пользу мысли, что местность, где возник монастыр, в минуту его основания, была вне новгородских владений. Монастырь основался в 1461 г. на земле местного владельца Нелединского, а Нелединские были служилые люди Шереметевых, старого боярского рода Москвы. А по договорам князей с вольным Новгородом, ни князь, ни княгиня, ни бояре, ни дворяне не могли новгородской волости держать сел, покупать их, принимать в дар, ставить слобод и мытов. Предоставляем автору на выбор или вторичное очарование или полное и ясное опровержение изложенных соображений. Автор в понятном затруднении негодует, что мы не

указываем в рецензии источников наших сведений; не поможем ему и на этот раз, не укажем источников вполне, заметив только, что они печатные, общеизвестные.

Мы намекнули, что автор не знает географического деления древней Руси, ставя в вологодском крае и монастырь при впадении Ковжи в Белоозеро, и монастырь в 15 вер. от Ростова, и монастырь Сийский .Автор опять в чем-то разочаровывается. Он возражает нам такими аргументами: вологодские монастыри действуют заодно с белозерскими в XVI в.,—*след.*, добавим мы, белозерские стали вологодскими; и вологодский край, и белозерский принадлежат к новгородской колонизации, *след.*, вологодский край стал белозерским; наконец, вологодский край составлял одно с болозерской областью, которая тянулась дс Каргополя и до Устюга,—*след.*, прибавим и мы наконец, сам автор доказывает, что можно назвать вологодский монастырь белозерским, а не наоборот, как он делает. О Сийском автор умалчивает. Далее он выделяет монастырь в 15 вер. от Ростова из вологодских, а Желтоводский из костромских, замечая, что он ставит их здесь *при случае*, след., соглашаясь с нами. Наконец, автор заставляет нас утверждать, будто он поставил Воломский монастырь на Кожеозере. Мы сказали: „особенно любопытно, что по географическим представлениям автора, к северу и востоку от Сийского монастыря находятся монастыри: на Кожеозере в каргопольском уезде, Воломский, в 80 в. от Устюга к юго-западу и Устьнедумский при р. Лузе, в 80 в. от Устюга к югу“. Мы недоумевали, как эти *три* монастыря попали к северу и востоку от Сийского, а автор этого будто не замечает: ему мерещится другое, несуществующее возражение, и он бежит, где его не преследуют, обвиняя нас же в изменении смысла его слов. Повторим автору для ясности: как три указанные монастыря попали к северу и востоку от Сийского?

В одном месте рецензии мы заметили, что автор не всегда грамотно выписывает из чужих сочинений, и указали для примера на выписку из книги г. Костомарова, при чем ограни-

чились приведением выписки автора и указали место его источника для сличения. Теперь выписываем то и другое. Г. Костомаров пишет: „человек с образованием, вступив в монастырь, навлекал на себя зависть, клеветы, гонения; невежды досадовали, зачем он попал к ним; оскорблялись тем, что он выше их и думали, что он загораживает *им* дорогу". Г. Иконников вандальствует, выписывая это место: „человек с образованием, вступив в монастырь, даже навлекал на себя зависть, клеветы и гонение, потому что он загораживал *им* (т.-е. зависти, клеветам и гонениям у нашего автора, а в источнике — невеждам) дорогу". Автор совсем не понял нашего указания и воздвиг на нас гонение, говоря: „рецензент выпускает строки о монахах и относит *им* к предыдущему слову *монастыри*" (чего мы не думали, ибо в выписанных текстах нет даже слова *монастыри*).

Мы спрашивали, какие исторические памятники, на которые автор неопределенно сослался, упоминают о Валаамском монастыре *прежде других*, и нарочно подчеркнули последние слова. Автор, попрежнему ссылаясь на преосвящ. Макария, цитует три памятника (Соф. лет., ж. Авраамия рост. и Арсения коневск.), „подтверждающие *раннее* основание монастыря", а вовсе не основание его прежде других монастырей на севере. Но мы спрашивали не о раннем основании монастыря, что и без автора известно. Опять приглашаем автора перечитать цитуемое им место в книге преосв. Макария и вместо того, чтобы подменять вопрос, указать прямо, в каких *исторических памятниках* Валаамский монастырь упоминается *прежде других*, да при этом опровергнуть слова собственного своего источника, преосв. Макария: „кто были они (Сергий и Герман) и *когда* основали на Валааме обитель, *письменных известий не сохранилось*". Уклониться от возражения не значит отразить его.

Мы заметили, что в пример поселений, возникших в пустыне под влиянием монастырей, неудачно приведены Торжок и Архангельск. Автор написал в книге: „вокруг обители Ефрема, построенной на берегу р. Тверцы, образовалось

большое поселение, Новый Торжок". Мы заметили: „Торжок существовал и прежде монастыря Ефрема". Возражение заставило автора поправиться: „*источник*" говорит, что Ефрем поселился вблизи Торжка, а вокруг его обители современем образовалось поселение — Новый Торжок (№ 1, стр. 24)". Так, повидимому, он находит два Торжка: один просто Торжок, а другой, Новый, возникший *современем* вокруг монастыря, неизвестно, рядом с простым Торжком, или на его месте. Просим выслушать, как позволяет представлять дело источник, основанный на местном предании, житие. Ефрем „достиже сего града рекомаго Нового Торжку" и поставил странноприимный дом вдали от него, потом перешел „на ино место близь града Торжка" и поставил церковь и монастырь; весь град стекается на погребение Ефрема; он существует прежде и независимо от Ефрема и безразлично называется Торжком и Новым Торгом как в житии, так и в древней новгородской летописи; его не раз жгут и он возникает из пепла независимо от монастыря; вместе с городом падает и возникает самый монастырь. Приглашаем автора разрушить эти черты местного предания и доказать *источником*, что Новый Торг возник после и *под влиянием* монастыря. Известие „Истории иерархии", что город стал называться Новым Торгом только по возобновлении от литовского разгрома во времена А. Невского, не точно, ибо так называет его новгородский летописец еще в начале XII в. Точно также автор ни одной чертой не доказывает, что Архангельск возник *подъ влияниемъ* монастыря, как возникали монастырские слободы; а в этом и сущность нашего возражения. — На нашу заметку, что в числе монастырских поселков неловко ставить толпу пленных, выкупленных и приведенных в г. Унжу Макарием Желтоводским, автор отвечает обвинением в искажении своих слов и соображением, что эта толпа не могла не иметь значения в заселении края. Возвращаем автора к его собственной основной мысли: в данном месте книги он вел речь не о заселении края вообще, а о том, что и как привлекало крестьян

на пустынные монастырские земли. Откуда видно, что толпа пленных поселилась на монастырской земле (их было, по житию, 40, кроме жен и детей, а не 400, как уверяет автор, повторяя описку преосв. Филарета)? Мы заметили, что неправильно приписывает автор Соловецкому монастырю беспошлинную продажу соли, когда известна самая цифра пошлины. Автор, упрекнув нас в недобросовестности, отвечает, что пошлина указана им в другом, *своем* месте (стр. 25): след., не в *своем* месте можно написать неправду заведомо и бранить того, кто укажет ошибку. В книге автор поместил макарьевскую ярмарку, собиравшуюся прежде у Желтоводского монастыря, *возле* Нижнего: теперь, отвечая на нашу заметку, он поправляет *возле* на *вблизи* и однакож возражает. Едва ли расстояние в 108 в. можно обозначить словом *вблизи*.

Опасаемся, что привели образцы сокрушительной антикритики автора в изобилии, превышающем меру необходимого для оценки первой статьи его ответа. Перейдем ко второй (№ 2). На положение автора, что в половине XV в. в Двинской области население было *все* христианское, мы заметили, что из стр. 73 (I т. Акт. Арх. Эксп.), процитованной автором, этого не видно, и указали там же акт (№ 93), откуда видно противное. Автор теперь поправляется и отвечает, что и он имел в виду этот самый акт, что ему следовало бы написать: *почти все* население было христианское (стр. 5). Конечно! Это *почти* очень идет к автору и метко характеризует сущность его книги и антикритики, но едва ли оправдывает бытие последних. О свидетельстве грамоты Своеземцевых, нашем важнейшем аргументе, он благоразумно умалчивает.

Мы заметили, что автор без критики пользуется ростовскими житиями, и спрашивали, почему он ставит деятельность св. Авраамия в промежутке ростовских епископов Илариона и Леонтия. Автор отвечает, что также поступают и другие, хотя у историка, им при этом цитуемого, нет известия, что Авраамий действовал в указанный промежу-

ток времени. Мы спрашивали, чей бог Велес, славянский или финский. Автор—гневается... и повторяет в ответ слова своей книги: „Велес был бог стад и имел большое значение у финнов“ и прочее. Спасибо за указание, не дающее ясного ответа. Но Святослав от лица „бояр и Руси всей клянется одинаково Перуном и Велесом“. На разъяснение этого и других вопросов мы и вызывали автора; но он не мог принять этого вызова и устранил возражения.

Мы заметили автору, что Максима Грека нельзя назвать современником первоначального заселения Соловецкого острова: это заселение относится к 1429 г., возобновлено Зосимой в 1436, а Максим приехал на Русь в 1518. Автор уверен, что опровергает нас, доказывая, что Максим писал о Соловецких чудотворцах „со слов *свидетелей* первой поры монастыря, когда еще живы были ученики основателей монастыря (стр. 7)“, т.-е. развивает услужливо наше возражение. Мы привели слова Максима, показывающие, вопреки нашему ученому, что в конце XV в. еще немногие из русских постригались на Соловках. Автор опровергает и Максима известием современника его Зиновия, что многие приходили туда на богомолье и некоторые из них постригались. Под известием Максима автор поставил в книге ссылку на житие Зосимы и Савватия, а теперь отступает от цитаты, говоря, что ссылался на Зиновия, написавшего не житие, а ряд похвальных слов (житие не напечатано, и потому не читано автором). В заключение автор недоумевает (стр. 9), как бы выразиться о нас посильнее: всего лучше было бы не делать новых ошибок в своей антикритике: 1) бывший митрополит Спиридон является у него заточенным не в Ферапонтовом монастыре, а в Соловецком; 2) Максим Грек пишет свое предисловие к житию чудотворцев Соловецких *по житиям* ученика Зосимы Досифея и митрополита Спиридона, тогда как Спиридон не писал особого жития, а только „исправи и добрословием украси“ труд Досифея, и то не весь, оставив много выражений, которые мог сказать только Досифей, а не он; житие же Зосимы и Савватия есть одно цельное произведение, а не два особые жития.

Мы усомнились, что „плач земли пермской“ по св. Стефане записан с ее слов Епифанием. Автор отвечает, что плач не записан с ее слов, а *просто записан*, и опять разит нас нелитературными перунами за эту легкую поправку, распространяясь далее ad libitum и посвоему о достоинстве плача, об исторической критике, даже о Фукидиде.

Мы заметили, что в трех указанных автором в одном месте IV гл. грамотах говорится не о Спасо-Евфимиевом суздальском, а о Спасо-Благовещенском нижегородском монастыре (А. Арх. Эксп. №№ 12, 18 и 21). В своем ответе автор на двух страницах (11 и 12) исповедует драму, разыгравшуюся в его голове по поводу этого великого научного вопроса, заданного ему рецензией; воспроизводим ее только потому, что она открывает, как создавалась его антикритика. Сначала он готов отказаться от Евфимиева монастыря и спрашивает озадаченный: о каком же монастыре идет здесь речь? Затем он нападает на нас, зачем мы, не задумываясь, разумеем под Спасо-Благовещенским монастырем нижегородский, который в других актах зовется просто Благовещенским (например, А. Арх. Эксп. I, № 17, 39). Но ему не хочется расстаться с Евфимиевым, и рядом глубочайших разысканий он наконец решает: под Спасо-Благовещенским разуметь надо *оба* монастыря, и Евфимиев, и Благовещенский. Его не останавливает соображение, что тогда и грамоты указали бы два монастыря или назвали бы двоих архимандритов, как это делают другие грамоты в подобном случае. Между тем в тех же самых грамотах есть два обстоятельства, указывающие маленькое основание нашей поправки, которую автор поторопился объявить „ни на чем не основанной“; они ускользнули от автора только потому, что он смотрел в акты неспокойным взором. Под Спасо-Благовещенским монастырем разумеется не Евфимиев, ибо в грамоте в 1393 г. (№ 12) архимандритом первого назван Иона, а в Евфимиевом тогда был еще жив архимандрит основатель Евфимий. Под Спасо-Благовещенским монастырем в грамоте № 21 разумеется тот же нижегородский монастырь, который в акте

№ 39 назван просто Благовещенским: оба акта даны одному и тому же архимандриту Малахии, хотя разделены 23 годами; люди в старину жили долго.

Мы охотно ограничились бы сделанными замечаниями для характеристики второй статьи антикритики, в полной уверенности, что автор не будет желоваться на нас за пропуск остальных его возражений. Он тем менее, надеемся, будет сетовать на нас за это, что вся его защита построена на вариациях приема, наиболее типично выраженного в ответе на одно наше замечание. Мы указали на неточность выражения автора: „в монастырях сосредоточилась *вся* книжная деятельность древней Руси“. Автор возражает теперь (стр. 23), что в *других* местах книги и он говорит о немонастырских библиотеках, упрекает нас, что мы вырвали у него одну строку, и заключает, что у него „дело идет о сосредоточении в монастырях *книжного материала* древней Руси... нисколько не исключая и частных собраний книг“. Насколько можно понять его объяснение, он сознается, что следовало бы выразиться совсем иначе; кому же он возражает? Но остановимся еще на двух-трех местах, представляющих некоторые новые черты в разбираемом ученом труде.

Иногда автор возражает нам только потому, что не имеет достаточных сведений о деле. Мы не согласились с его известием, что Макарий составил свои Минеи в течение 12 лет, будучи архиепископом в Новгороде, ибо в Минеях есть статьи позднейшего происхождения, с именем *митрополита* Макария. Автор, не зная Миней, приводит не из них прямо, а из чужих исследований, слова Макария, согласные с его известием, и говорит, что дело объясняется очень просто: в Москве, где Макарий писал упомянутые слова, „Минеи подвергались *пересмотру* и потому в некоторых статьях встречается имя Макария с саном митрополита“. Нельзя не ценить усилия решить библиографический вопрос абстрактно, по-философски; но оно здесь совершенно излишне. Мы указывали не на пересмотр Миней, а на внесение в них *целых* сочинений, писанных после архиепископства Макария, например, жития

Александра Свирского, составленного в 1545 г., жития Павла Обнорского, писанного не раньше 1546, жития Евфросина Псковского, писанного в 1547, и др. Макарий, вставляя свою вкладную, не имел в виду этих позднейших дополнений сборника; но ученое определение времени памятника обязано показать, когда он принял свой окончательный вид. Кто рассмотрит Минеи Макария, тот догадается, что он нарочно оставлял белые листы в своем сборнике, которые наполнял после; и теперь еще некоторые остаются незанятыми и большею частию рядом именно с этими позднейшими прибавлениями.

Таково же происхождение двух возражений в конце второй статьи ответа. Мы заметили, что напрасно обвиняет автор древне-русских монахов, будто они побуждали детей тайно бежать в монастыри и на жалобы родителей отвечали: игумен велел отнимать у родителей детей и отвозить в монастырь. Мы прибавили, что в житии Александра Свирского, которое автор здесь цитует, сказано совершенно напротив: „нам *несть* се игуменем повелено еже от родителей чад отымати“ и проч., и это монахи говорят не родителям, а самому юноше, просившему их взять его с собой в монастырь. Теперь автор признается (стр. 43), что взял свою цитату не из жития, которого не читал, а из чужой статьи (*Ж. Мин. Нар. Пр.* 1868, февр.—„Русск. проп. XV и XVI вв.“, стр. 377), где это место жития по списку Соф. библ. читается: „игуменом повелено еже от родитель чада отымати“ и проч. Автор дважды спрашивает в своей статье: что ручается за доброкачественность известного списка памятника? Отвечаем изложением некоторых элементарных приемов исторической критики, если они мало известны нашему ученому исследователю. Список, т.-е. текст его, поверяется веком и характером списка и сличением последнего с другими списками. Но автор не видел ни софийского и никакого другого списка указанного жития; из последнего он знает только одну фразу, прочитанную им в упомянутой статье. Он упрекает нас, что мы пользовались первым попавшимся списком, *вероятно*, синодальным, показанным у преосв. Филарета (№ 874). Мы

пользовались и им, но не одним, даже не одними синодальными списками, и автор неловко обвиняет нас в своих догадках. В виду его полного незнакомства с списками и текстом жития, просим смиренно принять к сведению наши сообщения. Едва ли не самый древний известный список жития—в макарьевских Минеях. Мы читали житие и по другим спискам XVI и XVII в. в библиотеках синодальной, волоколамской, соловецкой (в Казани), Ундольского, гр. А. С. Уварова и Троицко-Сергиевской и между прочим особенно интересовались указанным местом, отмечая его варианты: как нарочно, во всех этих списках оно читается как мы выписали его в рецензии. Автор указывает на один список. им не виденный: пусть он укажет нам его век и общий характер и докажет, что в его чтении нет ни опечатки, ни ошибки автора цитуемой им статьи, ни очень обыкновенного в рукописях пропуска переписчика. Есть другой критический прием, как видно, еще менее доступный нашему оппоненту: это — рассмотрение логической связи контекста. Воспроизводим ее по чтению автора. Молодой Аммос, уже много думавший о пустыне, случайно встречается на берегу реки с валаамскими старцами, расспрашивает об их монастыре, высказывает свое стремление в монастырь и просит совета, как ему поступить. Монахи одобряют его наклонность, указывают ему дорогу на Валаам, говорят: нам игумен велел отымать детей у родителей и отвозить в монастырь, — и затем отказываются взять его с собой, отсылают напрашивающегося к ним юношу домой к отцу. Если автор лишним считал следить за логической связью своей и чужой речи, он успокоится на указанном отношении своего чтения к контексту жития. Если же он достанет подлинное житие и рассмотрит внимательно разбираемое место, то оставит свое чтение и предпочтет наше: монахи отвечают юноше: мы укажем тебе дорогу на Валаам, ступай до села Соломани и там узнаешь, а нам игумен не велел и проч., теперь же иди домой, а там Господь управит твой путь. — Автор продолжает, что факт тайного похищения детей у родителей мо-

нахами подтверждается житием Дионисия Глушицкого, который уговорил идти к нему в монастырь 12-ти летнего сына одного ростовца. Если бы автор сам прочитал в житии этот рассказ, („о Макарии"), взятый им также из чужой статьи, то узнал бы, что в нем нет и намека на то, что мальчик взят тайно и против воли отца; есть известия, что отцы сами отдавали детей в монастыри. Увлекаясь полемикой, автор даже утверждает, что указанная *идея* (вероятно, идея тайного похищения и увлечения детей монахами в монастыри) возводилась в *систему* и доказывает это рядом примеров, которые все такого рода: „так, Варлаам Хутынский удалился в монастырь под влиянием посетившего его родителей монаха Порфирия". Об иноке Порфирие, посетившем родителей Варлаама и склонившем последнего к монашеству, не говорит древнее житие: оно рассказывает только, что Варлаам, *похоронив* родителей и видя, что ничто не мешает его давнему желанию, „имение отца своего раздать нищим, сам же свободу улучив, абие оставляет мир, имея наставника по Бозе некоего священноинока Порфирия именем, и тако остризает власы главы своея". Здесь впервые упоминается Порфирий, и житие дает знать, что Варлаам был далеко не дитя. Так рассказывают три известные нам редакции жития.—Автор и здесь, как в книге, иногда очень метко шутит над собой: в доказательство своей системы вербования детей в монастыри он говорит также, что в житиях часто встречаются известия о детях, и прибавляет: „встречаются даже монастыри с названием *отрочих*". Жаль, что они не перечислены; мы, например, знаем один с таким названием— Отроч тверской; но он назван так потому, что основан *княжеским отроком*, т.-е. слугой, который не был отроком по возрасту.

Мы заметили неточность в словах автора о житии Антония Сийского, которое написал царевич Иоанн: мы сказали, что оно—не особый, самостоятельный труд, а легко переделанный список труда сийского иеромонаха Ионы. Автор отвечает (стр. 45), что у нас здесь что ни строка, то ошибка.

Охотно готовы выслушать поправку и вразумление от доктора истории. Он приводит выдержку из послесловия царевича к похвале Антонию, которое напечатано у Карамзина (IX, прим. 612) и где царевич рассказывает, как составил он свои творения об Антоние, между прочим и житие. Не повторяем этого отрывка. Из него автор выводит, что царевич писал житие, на основании жития, писанного учеником Антония Филоѳеем, и рассказов очевидцев; далее он изъясняет, что и преосвященный Филарет отделяет труд царевича от сочинения Ионы, но не решает, имел ли первый в виду сочинение второго; наш исследователь решает это так: „быть может, ему (царевичу) и не было известно житие, сочиненное Ионой“. Автор спрашивает в заключение: откуда мы взяли всю эту историю о житии Ионы, перетолковав самые простые вещи? Мы разъясним ему откуда, обманувшись в надежде, что автор догадается сам, и умываем руки, если он нас же заставляет входить в мелкий разбор памятника. Во-первых, неверно, будто сочинение Ионы не было известно царевичу; но верно, что оно неизвестно нашему автору, и не оно одно, но и труд самого царевича, из которого он знает только указанное послесловие. Автор опять заставляет читателя присутствовать при любопытном ученом зрелище, толкуя о взаимном отношении двух сочинений, из которых ни одно им не читано. Во-вторых, о сочинениях судят по ним самим, а не по словам их сочинителей, хотя иному автору это очень невыгодно и неприятно. Так и мы определим кратко взаимное отношение обеих редакций жития, не указанное преосвящ. Филаретом, и может быть, наш оппонент, большой охотник до чужих исследований, кой-что впишет в свою тетрадку и из нашей заметки. Свйский монах Иона, постригшийся уже по смерти Антония, написал житие его в 1577, и сам говорит, что до него никто не писал этого жития. Царевич называет Филофея „первым списателем“ жития. Здесь нет противоречия. Иона писал со слов „свидетелей“ жизни Антония и в числе их называет в одном рассказе Филофея, прибавляя, что это он узнал от

Филофея и теперь живущего в сийской обители. В статье о чудесах, написанной немного позднее, есть известие, что когда Иона начал писать житие, некоторые из братии по зависти роптали, говоря: „прежде сего никто же дерзну писати, а сей убо пишет“. Тот же Иона в своем житии Сергия Нуромского говорит, что и это житие он написал первый, хотя тут же замечает, что пользовался свитками, где кой-что уже было написано о Сергие. Иона в предисловии к житию Антония намекает на присутствие таких свитков или нестройных записок и в Сийском монастыре, но не считает их настоящим, правильным житием. Царевич дает знать, что свитки эти писаны раньше Ионы Филофеем и в этом смысле зовет его первым списателем жития. Свитков не уцелело, но редакции Ионы и царевича довольно распространены в рукописях и их легко сличить. Представляем результаты сличения и просим автора поверить, что оно сделано внимательно. Царевич написал новое предисловие, лишь строк 10 буквально заимствовал из предисловия Ионы. Первую статью о детстве и юности святого царевич сократил, но удержал дословно несколько выражений Ионы. Сокращение продолжается и в следующей статье о пострижении Антония в Кенском монастыре; выражения царевич большею частью выбирает из текста Ионы и редко делает оригинальную фразу. Далее до конца жития сходство становится почти дословным; варианты царевича редко возвышаются над обычными разноречиями списка, например, слова: „соборует с ними“ он передает: „советует с ними“; только в двух-трех рассказах несколько изменены первые строки. Во всем житии у царевича нет *ни одного* нового факта; вообще переделка и по содержанию, и по литературной обработке ниже своего оригинала. Наконец, что особенно любопытно, свой список царевич заканчивает почти дословной перепиской послесловия Ионы о составлении жития, пропуская только имя первого автора и удерживая прочие черты, вовсе не идущие к царевичу. Из сего наш автор может усмотреть, к своему утешению, что простодушное списывание чужого де-

лалось и древне-русскими писателями, как делается теперь. Если и теперь во взаимном отношении редакций жития остается что-нибудь неясное для нашего автора, что нам не позволяет разъяснить объем журнальной статьи, охотно предлагаем ему свои услуги в какой угодно другой форме.

Все, указанное нами доселе в самозащите автора, легко объясняется общим характером его ученого пера. Но есть в последней одно замечание, происхождение которого объяснить гораздо труднее и которое потому мы сберегли к концу. В первой половине нашей рецензии (№ 10, стр. 454—456) мы пытались представить „частичку результатов", которые необходимы для характеристики движения древне-русских монастырей, но которых нет у г. Иконникова. Оппонент наш указывает те же страницы нашей рецензии и пишет (*Киевск. Унив. Изв.* 1870, № 1, стр. 20 и 21):

„Эти результаты состоят в следующем: автор (наши слова) не подумал отделить в своем обзоре монастыри городские от пустынных, которые (следуют слова самого автора) г. К. подводит под два особенные типа, из которых пустынный оказывает преимущественное влияние на развитие колонизации и гражданственности (у нас о нем сказано: имеет еще значение одного из первых и важнейших двигателей колонизации и образователей христианско-русской территории). До XIV в. пустынный монастырь представлял редкое явление в массе городских и пригородных монастырей. Но с развитием пустынного монастыря монастырская колонизация быстро развивается и *наибольшего напряжения достигает в XIV и XV вв.; в XVI в. это стремление значительно слабеет*".

Так передает наши выводы антикритик; из них последние два вырваны им совсем из другого места рецензии (стр. 458). Но на страницах последней, указанных выше и указываемых самим г. Иконниковым в антикритике (454—456), мы старались развить и ясно обозначить следующие три вывода, или три основные факта въ движении северо-восточных монастырей с половины XIV в.

1) Вторая половина этого века дала в северной России более чем тройное количество монастырей в сравнении с первой.

2) До XIV в. пустынный монастырь — редкое явление; в XIV количество пустынных монастырей составляет почти половину итога новых монастырей этого века; в XV число городских не составляет и $^1/_3$ всего количества новых монастырей.

3) Большая часть монастырей-колоний выходила из пустынных обителей; $^3/_4$ пустынных монастырей XIV и XV вв. образовались путем выселения из других и почти только из пустынных же монастырей: монастырь-колония становится господствующей формой в развитии монастырей с половины XIV в.

То-есть антикритик устранил сущность главных наших положений и выбрал общие или второстепенные фразы, которые вовсе ее не выражают, а некоторые и высказаны нами вовсе не в этом месте, не в этой „частичке результатов“. Зачем понадобилась антикритику эта неловкая вещь?.. Затем, чтобы имет утешение, сказать что мы здесь „почти дословно“ повторяем выводы его же, г. Иконникова, что он и делает дальше. Два побуждения действовали в нем при этом: он так усовершенствовался в искусстве усвоения, что не всегда отличает свое отъ чужого; к тому же мы так понравились ему своей рецензией, что ему захотелось положить нас во главу угла школы своих последователей; благодарим и уклоняемся от опасности озариться отблеском ученой славы автора „Исследования о культурном значении Византии“. Автор не мог бы провести эту непрошенную и несуществующую солидарность, точно указав наши вышеозначенные выводы, ибо их не только нет в его книге, но он и теперь не знает, как и откуда они получены, верны или нет, и потому боится опровергать их, хотя они противоречат не только его собственным сведениям, но и некоторым сочинениямъ, которыми он пользовался. Он поступил иначе, по-своему: набрал у нас кое-откуда общих мест и, сопоставив их с некоторыми неопределенными выражениями из своей книги, объявляет, что мы повторяем его же положение. Он забыл при этом сгладить одну свою несообразность: два последние

вывода из приписанных нам выше положений взяты автором из того места нашей рецензии, где мы именно опровергаем противоположное им положение книги автора, будто монастырская жизнь развивалась у нас до XVII в. *прогрессивно*. Ему же хуже, если теперь, дополняя нашу рецензию, он уверяет, что и в его книге было на всякий случай сказано противное этому (его собственному) положению.

Характеризуя антикритику ее типическими чертами, не можем не указать, где сам автор исповедует их. Мы заметили, что о предмете, для изучения которого главный материалъ—в рукописях, автор пишет при полном незнакомстве с последними. Теперь он отвечает: „итак, отсюда следует, что никто не должен писать о древне-русском монастыре, пока не объездит разных библиотек, не перечитает *всех* рукописей“ и проч. (№ 1, стр. 3). Если действительно так следует, то напомним, что это во всяком случае не избавляет писателя от обязанности черпать из той библиотеки, на которую некто давно указал словами: omnia mea mecum porto; если же не следует, то пусть всякий пишет о чем угодно, но и не сетует на указание ошибок, сделанных от недостатка изучения. Есть прекрасные вещи, написанные и не по рукописному материалу; но увеличилось ли их число с выходом в свет книги нашего автора? В другом месте он сетует, зачем мы избрали для рецензии его исследование, а, например, не исследование г. Хрущова о сочинениях Иосифа Волоколамского. Между задачами рецензии значится и предостережение читателя от книг, без которых он легко может обойтись, не отставая от движения науки. Книга г. Хрущова не принадлежит к числу таких: она писана хозяином своего дела, а не „сбирателем чужих суждений и речей“. А наш автор теперь сам откровенно признается, что он не только не пользовался, но и не может пользоваться рукописным материалом. Для характеристики нашей науки очень любопытно выслушать исповедь одного из „людей науки“: при всем желании воспользоваться рукописными житиями исследователь никогда не воспользуется ими вполне, „ибо они

рассеяны по разным библиотекам, причём многие жития имеют по несколько редакций, что ручается за доброкачественность того списка, который будет служить источником" и т. д. (стр. 3 и 4). Такими затруднениями отражает автор наше замечание о массе житий, им цитуемых, но не читанных. Если в этом признании звучит жалоба доктора истории на выбор неподходящей специальности, мы охотно согласимся с ним; но делать из такой исповеди возражение рецензенту можно только, взяв в руководство худшую половину известного лозунга: mourir en combattant!

Наконец, едва-ли с пользой для себя автор постарался сообщить своему ответу известного сорта развязность, широко пользуясь словарём не литературного жаргона... Напрасно также ищет он в рецензии нашей злонамеренных побуждений, какой-то задней мысли и т. п.: ненаучность, злой умысел, задняя мысль рецензента—старые, обычные возгласы разгневанных авторов, давно потерявшие кредит. У автора эти жалобы наполняют много страниц в ответе, которые лучше было бы посвятить *ясному* и *полному* опровержению наших главных возражений, например, касательно прогрессивности монастырского движения до XVIII в. или вычисления стоимости монастырских имуществ, чего он не сделал, хотя и пытался (№ 1, стр. 18 и 26). Если от нашей рецензии завяло несколько листков в докторском венке автора, просим великодушно простить нас в нечаянной вине: мы сначала не могли и подумать, что имеем честь разбирать докторскую диссертацию, и узнали об этом уже потом из газет, к удивлению. С желанием дальнейших успехов призываем мир на встревоженную душу автора [1]).

В. К.

---

[1]) С развитием учёной деятельности проф. Иконникова автор считал потерявшими значение обе статьи свои, посвящённые разбору одного из ранних произведений почтенного учёного. Включая эти статьи в состав настоящего сборника, издатель имел в виду лишь дать историографический материал, могущий иметь своё значение для характеристики развития научных взглядов самого В. О. Ключевского.

Рукописная библиотека В. М. Ундольского [1]).

Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского. Изданіе Московского публичного и румянцевского музеевъ. Москва. 1870.

Архивы, хранящие рукописные памятники русской старины, доселе ставят исследователю много затруднений, часто неожиданных. Перед ним груда материала, рассеянного по общедоступным и малодоступным книгохранилищам, в архивах разных ведомств, в монастырях и даже у частных лиц. Хорошо, если удастся ему напасть на внимательного ризничего, встретить доброжелательного библиотекаря или радушного любителя-собирателя; в противном случае пред стучащимся не сразу отворятся двери, и не тотчас увидит он пред собой желанные хартии. Но при нынешнем состоянии большей части наших рукописных хранилищ проникнуть в них ещё не значит преодолеть все предварительные, ненужные затруднения и дойти до цели, т.-е. до пользования книгохранилищем: ещё труднее узнать, что есть в нём, где и как найти, что нужно. Иногда исследователю дают указатель, обыкновенно составленный небрежно или без знания дела и элементарных условий библиографии; иногда не имеется и такого пособия, и только для немногих хранилищ составлены действительно хорошие каталоги. Сколько лишнего, тяжёлого труда отнимает такой недостаток у исследователя, прежде, чем он получает возможность приступить к изучению избранного предмета! Если простой указатель, хорошо составленный, редкость в наших древлехранилищах, то подробное

[1]) „Православное Обозрение“. 1880.

описание — решительно роскошь. Из доступных казённых и общественных собраний рукописей едва ли не одно румянцевское дошло до такой роскоши, имея у себя описание, составленное Востоковым и ставшее необходимой книгой для историка и филолога. Впрочем, и это образцовое описание начато было тогда, когда румянцевские рукописи ещё не были общественным достоянием. Вообще нельзя не заметить с сожалением, что рукописные собрания, хранимые учреждениями, менее счастливы в библиографическом отношении, чем рукописные библиотеки, собранные частными лицами. Собрание Царского, принадлежащее теперь гр. А. С. Уварову, рукописная библиотека гр. Толстого, находящаяся теперь в Императорской публичной библиотеке, рукописи гр. Румянцева давно имеют хорошие печатные описания. Напротив, синодальная библиотека в целом своём составе описана только в указателе архим. Саввы, кратком и неудобном для пользования, без ключа; подробное описание, доселе ведённое превосходно, ещё далеко не кончено, и неизвестно, когда дойдёт до конца. Библиотека Троицкой лавры описана прекрасно, со вниманием к самым строгим требованиям библиографии; но это описание, составленное нынешним хранителем библиотеки о. иером. Арсением, доселе не издано. Наиболее крупные книжные Собрания древней Руси, сосредоточенные теперь при духовных академиях, софийское и кирилло-белозерское при С.-Петербургской, половина волоколамского при Московской (другая половина — в московской епархиальной библиотеке), соловецкое при Казанской, ещё менее вооружены в библиографическом отношении, не имеют не только печатного, но и рукописного указателя, полно и правильно составленного. Покойный Ундольский, не отставая со своим собранием от других частных владельцев рукописей, сам начал составлять описание своей библиотеки; труд его, доселе известный только занимавшимся в Московском музее и теперь изданный последним, по праву займёт место в недлинном ряду наших лучших каталогов.

Ундольскому выпала скромная и труженическая доля библио-

графа-собирателя. Имя его изредка появлялось в печати под
необширными статьями и заметками в Чтениях и Временнике
Моск. Общ. Ист. и Древн. Российских, в Москвитянине. Зато
всё, что ни писал он, все его немногочисленные напечатанные
библиографические исследования служат доселе хорошим ру-
ководством для историка нашей письменности. Впрочем, не
по печатным трудам можно составить себе истинное понятие
о размерах и характере его учёной деятельности: для этого
надо обратиться к его неизданным работам, составляющим
несколько десятков нумеров в составе его рукописной библио-
теки. Самый капитальный из этих неизданных трудов посвя-
щён обширному исследованию о временнике Георгия Амар-
тола в отношении к Несторовой летописи, где автор пришёл
к остроумным и оригинальным выводам, особенно в вопросе
об отношении болгарского текста Амартола к сербскому Ле-
товнику инока Георгия, которого Ундольский, вопреки мнению
многих учёных, считает особым греческим хронистом и Летов-
ник его не редакцией Амартола, а особой летописью. По-
лучив за это исследование Демидовскую премию, автор при-
ступил к печатанию его, но при этом начал переделывать свой
труд и не кончил ни переделки, ни печатания. В 1846—1847
гг. Ундольский исполнил другой обширный труд, описание
всех славянских рукописей Синодальной библиотеки в числе
980, на 1243 стр. in. 4°. Печатание описания, начатое в
Чтениях Моск. Общ. Ист. и Древн. Российских в 1848, было
остановлено назначением, по синодальному распоряжению,
особой комиссии для описания библиотеки. Г. Викторов в
своём очерке, приложенном к каталогу рукописей Ундоль-
ского, справедливо жалеет, что труд Ундольского по описанию
Синодальной библиотеки не был напечатан, ибо комиссия, при
несомненных достоинствах её трудов, ведёт своё дело слиш-
ком медленно и более двух лет составляет предисловие в
5—10 стр. к 5-му тому описания, давно напечатанному, но
по слухам доселе не могущему одолеть это единственное
препятствие к выходу в свет. Кроме этих главных, осталось
много других работ Ундольского, обширных и мелких, кон-

ченных и неконченных, по которым можно судить, сколько труда, энергии и разнообразия вносил в свои учёные занятия этот библиограф. Он составляет „Очерк славяно-русской библиографии“ от начала славянского книгопечатания до 30-х годов XIX в., пишет на 211 стр. мелкого письма in-4° исследование об отзыве патр. Никона об Уложении ц. Алексея Михайловича, об Иоанне Грозном, как литераторе и композиторе, о времени преставления Василия Блаженного, о пасхалии, приготовляет к изданию памятники славяно-русской письменности и в то же время чертит программы других задуманных им изданий, составляет на 500 листах подробное описание 150 рукописей Лаврской библиотеки, задумывает описать и другие рукописные библиотеки духовного ведомства, подробно описывает рукописную библиотеку Моск. арх. мин. Иностр. Дел, почти неизвестную учёному миру, и делает на 220 л. извлечения из этого описания в виде краткого каталога славянских рукописей этого собрания, исследует и описывает разные редакции Четиих-миней, производит библиографические поиски и исследования в библиотеках Троицкой лавры, Моск. Дух. Академии, Синодальной и мн. др. Все эти египетские работы были при жизни библиографа и доселе остаются незримыми для учёной публики, иногда попадали на типографские станки, даже на печатные листы, но по разным причинам не увидели света, по крайней мере в цельном виде.

Упомянув об этих работах неутомимого библиографа, мы думаем, что главным трудом Ундольского, навсегда связавшим его имя с русской исторической наукой, останется составленное им собрание славяно-русских рукописей [1]). Это

---

[1]) Ундольский (Вукол Михаилович) был сын священника и родился в селе Ундоле, Владим. губ. Получив первоначальное образование во Владимирской семинарии, он продолжал его в Московской Духовной Академии. По окончании курса здесь, он служил в московских архивах сначала Министерства Иностр. Дел, потом—юстиции. По рассказам людей, близко знавших его, он никогда не получал жалованья больше 750 руб.; часто, потратив деньги на покупку рукописей, он сиживал в нетопленной квар-

дело предпринял он в начале 40-х годов и продолжал его неутомимо 25 лет, не щадя хлопот и издержек, отказывая себе в самом необходимом, при незначительных материальных средствах. Большую часть рукописей он приобрёл мелкими покупками, почти ежедневно заглядывая в лавки торговцев рукописями. До 1845 г. он успел собрать более 200 нумеров, в 1852 г. их было у него уже до 1000, а в год смерти его более 1350; сюда не входит собрание старопечатных церковных книг, им составленное и простирающееся до 900 нум. Сверх всего этого он оставил после себя значительную коллекцию русских и иностранных книг, также им составленную и вмещавшую в себе более 1000 томов. Рукописное собрание заключает в себе памятники по всем отраслям нашей древней литературы и письменности. Библиограф описал 579 нумеров из своего собрания—труд, изданный теперь музеем, которым в 1866 г. приобретена была рукописная библиотека Ундольского вместе с его собранием старопечатных книг (за 25 тыс. руб.). Описанию предпослано предисловие хранителя рукописей музея А. Е. Викторова.

В своём описании, расположенном в систематическом порядке, который впервые введён Ундольским в нашу рукописную библиографию, он подробно обозначает заглавия памятников и выписывает их начальные слова, присоединяет замечание об авторе, о прежнем владельце рукописи, об отношении произведения к другим памятникам литературы,— замечания тем более ценные, что они вышли из под-пера знатока. Листуя его рукописи, можно подивиться обширности его библиографических сведений в древне-русской письменности: многие статьи, любопытные с той или с другой стороны, доселе хранят на себе его собственноручные отметки, указывающие, есть ли где другие списки этих статей и в

тире и без обеда. Ещё в Академии начал он заниматься рукописной библиографией; так в 1840 г. написано было им кандидатское сочинение „об образе знаменания себя крестным знамением, против глаголимых старообрядцев", с приложением выписок из рукописей и старопечатных книг. Умер 1-го ноября 1864 г., 49 лет от роду.

каком отношении стоят они в списках библиографа. Некоторые из этих заметок вошли в рассматриваемый библиографический труд Ундольского; другие могут послужить руководством и материалом для его продолжателя. Иногда Ундольский сообщает мнения учёных о том или другом произведении, поясняет их сам и, пользуясь своей начитанностью в памятниках древне-русской письменности, приходит нередко к остроумным выводам. Наконец из памятников, особенно любопытных и мало известных, он делает извлечения, иногда довольно пространные, которые могут пригодиться учёному и вне книгохранилища.

Но покойный библиограф не успел описать и половины своего богатого собрания. В виду этого г. Викторов присоединил к его описанию свой „очерк собрания рукописей Ундольского в полном составе“. Очерк этот составлен очень тщательно и может до некоторой степени заменить продолжение подробного описания, которое со временем, без сомнения, будет доведено до конца по следам собирателя. С помощью этого очерка можно составить себе понятие о плане и богатстве всего собрания, капитального и незаменимого во многих отношениях, а также определить значение, принадлежащее ему в ряду других наших рукописных книгохранилищ.

Научная ценность известного книгохранилища древне-русской письменности определяется количеством средств, какие даёт оно для воспроизведения нашей старинной жизни. Здесь первое условие, разумеется, состоит в полноте; в этом отношении лучшим можно было бы назвать собрание, которое совмещало бы в себе не только памятники письменности, сохранившие для нас события древне-русской истории, но и все произведения слова, читавшиеся древне-русским человеком и оставлявшие следы на его умственном складе,—иначе говоря, собрание, которое выполняло бы задачу, поставленную новгородским архиепископом и потом всероссийским митрополитом Макарием для его Четий-миней—соединить в одном обширном сборнике „все книги чтомые, которые в русской земле обретаются“, представив их в возможно исправ-

ных списках. Но точное выполнение такой задачи не удалось уже и Макарию; с одной стороны, он не занёс в свой сборник многого, что читалось на Руси в его время, с другой—некоторые памятники поместил в неисправном виде, с испорченных списков. Ещё дальше от поставленной Макарием цели стоят рукописные собрания, теперь известные. Это объясняется самым способом их образования: состав их главным образом определился или случайными побуждениями, временными потребностями высшего церковного управления, как было с Синодальной библиотекой, или книжными интересами известного читающего кружка, как в библиотеках монастырских, или же личными вкусами собирателей и состоянием рукописного рынка, как было с большинством частных собраний позднейшего времени. Правда, самая эта случайность состава делает такие собрания важными для учёного в одном отношении, исчезающем в собрании, которое составлено по плану, с систематической полнотой. Чтобы верно представить характер и объём умственного содержания древне-русского грамотного общества, недостаточно воспроизвести весь книжный запас, среди него обращавшийся: не менее важно определить взаимное отношение разных отделов древне-русской письменности по степени их распространения, чтобы знать, что читалось больше и что меньше. Собрания, составившиеся случайно, без предварительного систематического плана, именно потому иногда и дают некоторые основания для выводов в этом смысле. Составляясь без общего плана, иногда в течение долгого времени, такие книгохранилища сосредоточивали в себе в большом количестве те произведения письменности, которые имели большее обращение в древней Руси; оттого в таких собраниях обыкновенно некоторые отделы письменности несоразмерно велики в сравнении с другими по количеству как произведений, так и их списков. Но это самое делает подобные собрания до некоторой степени отражением того состава, какой имела древне-русская письменность в своём действительном обращении. Такое значение не чуждо даже славяно-русскому

отделу Синодальной библиотеки, в составлении которой более, чем других старинных наших книгохранилищ, действовал выбор. Имея в своём основании библиотеку наших древних митрополитов, Синодальное книгохранилище стало особенно развиваться с XVII века. Славяно-русский отдел его получил свой настоящий состав уже в нынешнем столетии и составлялся в течение веков из разных источников. Более всего содействовал развитию этого дела вопрос об исправлении церковных книг, столь сильно занимавший наше церковное правительство и общество в XVII в.; из разных городов и монастырей собираемы были в Москву „древние святые книги, с греческого языка на славянский прежде многих лет, яко 500 и вящше, преведенные", чтобы по ним исправить вновь печатаемые церковные книги (Летопись о мятежах, стр. 362). Потому коллекция церковно-богослужебных и учительных книг в этой библиотеке преобладает над другими славяно-русскими отделами. Другим обильным источником были для Синодальной библиотеки келейные книжные собрания, оставшиеся после умерших русских иерархов и учёных монахов и поступавшие в патриаршую книжную казну: так в 1675 г. куплено сюда 35 и взято безденежно 50 келейных книг, принадлежавших Павлу, митрополиту сарскому и подонскому; в 1700 г. поступило туда же 39 славяно-русских печатных книг из сундука, оставшегося после Сильверста Медведева, и 56 таких же книг, бывших келейными у патриарха Иоакима. Особенно богатыми вкладами были: значительная библиотека св. Димитрия Ростовского, переданная в 1709 г. в патриаршую, 123 книги, оставшиеся после известного книжника XVII в., иером. Евфимия, и собрание в количестве 137 славянских рукописных и печатных книг, переданных в 1759 г. в Синодальную библиотеку после „умерших духовных персон". Наконец, в том же XVIII в. последовали два распоряжения, в основании которых лежали, повидимому, научные побуждения и которые открыли Синодальной библиотеке новые источники обогащения. По указу государя 1722 года в неё

было доставлено из разных епархий и монастырей большое собрание рукописных летописей и хронографов, с которых были сняты копии для библиотеки, обогатившие собственно исторический отдел её; по синодальному указу 1786 г. туда же передано было более 400 славяно-русских рукописей, древних или редких, из Библиотеки Моск. синод. типографии.

Таким образом в Синодальной библиотеке слились разнообразные книжные источники древней Руси; в состав её они вносили элементы письменности, имевшие наибольший ход в среде самого грамотного класса древне-русского общества. В средствах древне-русской письменности с этой стороны рукописная библиотека Ундольского уступит, может быть, Синодальной и большей части других, именно благодаря плану, по которому она составлялась; но этот же план делает её драгоценной в другом отношении. „Подобно очень немногим из наших собраний—замечает г. Викторов, характеризуя рукописное собрание Ундольского,—каково, например, румянцевское и строевское, оно составлено систематически, по заранее обдуманному плану, и положительно, как ни одно из них, в строгом применении к потребностям современной науки в полном их объёме“. Ундольский старался совместить в своём собрании необходимые материалы по всем отраслям древне-русской письменности, и при этом почти по каждой из них ему удалось приобрести много памятников новых, прежде неизвестных в науке. Это, по справедливому замечанию г. Викторова, дает собранию в научном отношении характер стройного органического целого, в котором некоторые рукописи притом единственные или чрезвычайно редки. Здесь один отдел не давит других и не затрудняет работы исследователя массой лишних, ничего не дающих в научном отношении списков; зато нет и таких крупных пробелов, какие можно заметить в других рукописных собраниях; весь состав книгохранилища отличается научной полнотой и соразмерностью частей. Эти качества книгохранилища выражены и в отзыве комиссии знатоков, составленной в 1864 г. для определения материальной и научной

ценности его, когда возникло дело о приобретении его Московским публичным музеем: она высказала суждение, что собрание Ундольского одно, без помощи других рукописных наших собраний, может представить отличное пособие для науки отечественной истории и литературы почти по всем их отраслям.

Чтобы дать некоторое понятие о богатстве и научном значении собрания Ундольского, остановимся на тех его отделах, которые относятся к русской церковной истории и литературе. Нельзя сказать, чтобы развитие нашей церковной историографии шло особенно правильно и последовательно. Она обладает несколькими общими сочинениями по истории русской церкви, излагающими её судьбы до более или менее позднего времени, и при этом страдает крайним недостатком обстоятельных монографий по отдельным вопросам русско-церковной истории, далеко не восполняемым журнальными статьями. Не раз указывали и на другой недостаток нашей церковно-исторической литературы: она больше любит фактическое изложение явлений церковной истории и неохотно обращается к критической обработке её вопросов и источников. Это невыгодно отзывается и на общих сочинениях по истории русской церкви: отличаясь внешней, архитектурною стройностию, они страдают недостатком внутреннего прагматизма и самые капитальные вопросы оставляют без достаточно глубокого разъяснения, иногда даже без правильной научной постановки. Этим же объясняется отчасти, почему и нецерковная историческая литература, касаясь явлений церковной истории, так часто приходит к невозможным выводам или ограничивается наивным повторением старых ошибок и иллюзий. При ожидаемом оживлении научной духовной литературы, библиотека Ундольского могла бы принести большую пользу для разработки нашей церковной истории: она так составлена, что каждый отдел её может дать основание и отличный материал для обширной исторической монографии.

В небольшой сравнительно группе книг Священного Писания у Ундольского есть капительная драгоценность: это—

кодекс библейских книг XV века, содержащий в себе все ветхозаветные книги, кроме пророческих и переведённых с латинского. Полных списков Библии осталось от древне-русской письменности немного; самый древний из них принадлежит письменности новгородской и писан в 1499 году, при архиепископе Геннадии; теперь он хранится в Синодальной библиотеке. Список Ундольского, по всей вероятности, превосходит древностию геннадиевский. В числе статей разнообразного содержания, сопровождающих библейские книги, в этой рукописи есть одна, по отметке Ундольского, редкая и замечательная, начинающаяся словами: „Устав како достоить избирати; избрание епископьское сице бывает". В этой статье читаем: „и пишут в том свитьце сице: в лето 6931, индикта 1, месяца имярек и число дню имярек". Ундольский на основании этого в своём описании делает весьма вероятное предположение, что рукопись писана в 1423 году (столб. 6). По отношению к славянскому тексту ветхозаветных книг Библии, список Ундольского также имеет некоторые преимущества пред геннадиевским и другими: сам библиограф замечает в каталоге, что первый вернее синодальных и сохраняет первоначальный вид текста, без разделения на главы.—В указанном отделе собрания Ундольского есть другая редкость. Митрополит Евгений в своём словаре духовных писателей, в статье о Епифании Славинецком, поместил старинную историческую записку, в которой рассказывается, как собор русских митрополитов и епископов, по указу царя Алексея Михайловича, в 1674 году благословил Епифания переводить Библию „всю вновь", а надзор за этим делом и заботу о переводчике и его сотрудниках поручил Павлу, митр. сарскому и подонскому, отличавшемуся своею учёностью между нашими иерархами XVII века. Павел уютно поместил Епифания с 6-ю сотрудниками его в своём загородном московском доме на Крутицах, „в тихом сущем месте и безмолвнем, приличном делу сему", и окружил их всевозможными удобствами. Здесь Епифаний перевёл Новый Завет, пользуясь при этом многими древними списками греческого текста и справляясь с древними славян-

скими переводами и толкованиями отцов церкви. Древнейший из списков греческого подлинника, которыми пользовался переводчик, был, по свидетельству записки, пергаментный половины VI века; славянский текст был под руками Епифания между прочим в переводе и собственноручном списке св. Алексия митрополита 1355 года, доселе хранящемся в библиотеке Чудова монастыря. Вскоре по исполнении перевода Нового Завета, скончался в том же 1674 г. митроп. Павел; проводив его прекрасным надгробным словом, в следующем году последовал за ним и сам Епифаний, и таким образом перевод Ветхого Завета не состоялся. Но потом забыли об епифаниевском переводе Нового Завета и списков его не было известно, что возбуждало недоверие к записке, напечатанной митроп. Евгением, и сомнение в действительности самого перевода Епифания. Это сомнение устраняется современным списком Евангелия в переводе Епифания, сбережённым для науки в собрании Ундольского (№ 1291). Каждой главе текста в этом списке предпослано изложение её содержания, а всему переводу—обширное и любопытное предисловие, из которого и извлечена записка, напечатанная митроп. Евгением.

В отделе памятников церковного права, состоящем в собрании Ундольского из 22 рукописей, прежде всего останавливает на себе внимание сербский номоканон в пергаментном списке 1305 года, снятом с рукописи, принадлежавшей св. Савве сербскому; в предисловии переписчик подписал своё имя: „смеренный епископ Рашки Григорий вьторый, ему же отечьство гроб, мати же земля, а богатьство греси". В собрание Ундольского попала собственно только часть этого списка номоканона, на 26 листах, оторванная от остальной, большей половины рукописи, которая хранится в библиотеке Новоиерусалимского монастыря. Не лишён интереса рассказ самого Ундольского о том, как достался ему этот отрывок. (Катал., столб. 29). Он принадлежал зарайскому купцу и собирателю Крупеникову, который пометил на рукописи: „цена 500 рублей". Слухи об этом отрывке ходили давно между собирателями. „Наконец,—пишет Ундольский,—в марте 1854 г. привёз его

в Москву соревнователь Исторического Общества, тоже зарайский купец Бахрушин, и прежде всех показал его М. П. Погодину, который в то время уже не собирал книг. Цель поездки Бахрушина между прочим была: напомнить Историческому Обществу о своих пожертвованиях прежних и предложить кое-что вновь, резумеется, в ожидании представления к чему-нибудь. Погодин естественно послал Бахрушина с книгою к известному юристу, тогдашнему секретарю общества, И. Д. Беляеву, при посредстве коего и удалось нам приобрести этот глаголемый Номоканон, от добряка-соревнователя за 75 серебряных рублей". По мнению одного нашего знатока древне-русских кормчих, проф. А. С. Павлова, этот сербский номоканон представляет капитальный памятник по истории славянской кормчей. Далее любопытна в этом отделе сводная кормчая моск. митроп. Макария; Ундольский заключает по некоторым признакам, что этот экземпляр—подлинник самого составителя, митроп. Макария (столб. 32). Из 6 списков Стоглава в собрании Ундольского любопытна сокращённая редакция в списке XVII века по отношению к истории этого памятника.

Отдел богослужебных и обрядовых книг, переполняющий наши рукописные книгохранилища, в собрании Ундольского замечателен подбором рукописей: и в этом отделе, обыкновенно мало дающем историку, собиратель старался соединить списки, любопытные в каком-нибудь отношении, по составу или приложениям. Здесь встречаем псалтирь с восследованием, в списке XVI в., сопровождаемый списком довольно редкого устава Евфросина псковского, несколько обиходников разных монастырей-памятников, важных для характеристики древнерусской монастырской жизни, и наконец большую, не имеющую себе подобной в других собраниях, коллекцию пасхалий, составляющих предмет специального изучения собирателя. В отделе переводов отеческих творений у Ундольского надобно отметит Маргарит новый,—избранные творения И. Златоуста, переведённые князем Андреем Курбским, в списке XVI в. с замечаниями переводчика на полях; Ундольский в описании

называет эту рукопись единственным в России экземпляром (столб. 166); далее толкование на соборные апостольские послания в сп. XVII в., очень редкое в древне-русской письменности (№ 22).

Довольно богат в собрании Ундольского отдел оригинальной богословской литературы древней Руси, вмещая в себе наряду со списками распространённых памятников несколько редкостей. В числе последних можно указать список „Просветителя" Иосифа Волоколамского с редко встречающимся в рукописях 12 словом, список сочинений Максима Грека 1699 г., отличающийся, по замечанию г. Викторова, редкою полнотою и правильностью состава, также список Палинодии, или обороны св. кафолической церкви—полемического сочинения против унии, писанного в 1621 г. архимандритом Печерской лавры Захарией Копыстенским. Этот памятник у Ундольского — в поморском списке нового времени; описав его подробно в каталоге, библиограф заключает описание заметкой: „книга очень редкая, даже в новых списках, и беспримерно любопытная... Недавно утрачен подлинник из библ. Киево-софийского собора (столб. 306)". Но драгоценность этого отдела составляют послания старца Артемия, бывшего Троицкого игумена, в списке XVI в., — рукопись единственная. Московский собор 1553 — 1554 г. вслед за Башкиным осудил, как известно, в ереси и Артемия, и он доселе слыл еретиком в нашей церковной историографии. Преосвященный Макарий, в недавно вышедшем VI томе своей „Истории Русской Церкви", имея в виду краткое известие о сохранившихся в библиотеке Ундольского посланиях Артемия, не признаёт его еретиком в смысле распространителя определённого еретического учения, но на основании соборного акта о нём (А. А. Эксп. I, № 239) думает, что „он любил вообще повольнодумничать о священных предметах веры и хотел казаться, как ныне выражаются, либералом". Если, бежав из заточения в Соловецком монастыре в Литву, Артемий стал там поборником православия против Симона Будного и других еретиков, то, по мнению

историка нашей церкви, „это показывает только, что Артемий, наученный горьким опытом, отбросил своё либеральничение и сделался твёрдым христианином в последние годы своей жизни, проведённые в Литве (стр. 261 и 262)“. Упомянутый выше Захария Копыстенский в своей Палинодии выставляет Артемия одним из главных ревнителей православия и западной Руси и говорит, что преподобный Артемий инок многих в Литве отвергнул от ереси арианской и лютеранской. Захария упоминает об Артемии в числе дидаскалов, „которыи писма заставили“. Других следов литературной деятельности Артемия не было известно в нашей старинной письменности, и имя его не попало в список древнерусских писателей ни у митрополита Евгения, ни у архиепископа Филарета. Но поморцы знали его обличительное сочинение: 50-й поморский ответ упоминает в двух местах о книге Артемия, старца острожского, на Симона Будного (Пом. Отв. рук. Унд. № 503, л. 231 и 232). Из литовских писем Курбского видно, что Артемий живал в Луцне и видался с князем (Сказание кн. Курбского, II, 256, 270). Трудно определить, в каком отношении находится книга Артемия, упоминаемая в Поморских ответах, к рассматриваемой рукописи: едва ли это одно и то же произведение, как думал Ундольский. Ссылаясь в книге Артемия против еретиков на „обличения четвертые их ереси“, Ответы указывают, повидимому, на систематическое опровержение С. Будного Артемием; в рассматриваемой рукописи среди обличительных посланий против еретиков есть несколько писем вовсе не полемического свойства. С другой стороны, в одном из посланий Артемий высказывает надежду, „на вся хулы нынешних ересей *обще* списати обличение“ (л. 62). Может быть, оно и было написано и его цитуют Поморские Ответы. Во всяком случае рукопись Ундольского вносит новый и довольно крупный факт в историю нашей литературы XVI в. По отношению к личности автора посланий здесь есть любопытные указания. Читая соборную грамоту об Артемии, нельзя не заметить, что свидетели, обличавшие его, слабо

доказывали свои обвинения и иногда перетолковывали его слова; притом первым обвинителем его явился Башкин, сам еретик, только что покаявшийся. Замечательно также, что в Литве, на свободе, Артемий ратует именно против тех лжеучений, в которых обвиняли его в Москве, которые он отвергал, как наветы. Башкин, указывая на него, как на своего единомышленника, обвинял его в хуле на предания св. отцов, на св. иконы; в литовских посланиях Артемий ратует против еретиков, которые „всех святых богоносных отец книг не приемлют, иж яко чадолюбивыи отцы написавше", вооружается не раз против тех, кто называет иконы идолами. В Москве его, как сообщника Башкина, подозревали в сочувствии к жидовствующим и обвиняли в неправомыслии о св. Троице; в посланиях он часто и сильно восстаёт против тех, кто умаляет значение Евангелия во имя „десятословия", и в одном месте пишет: „вместе бо мудрование наше, якоже никогда же глагола или съмнехся в православней вере св. единосущныя Троица, яко неции лжут на нас (л. 141)". Есть ещё одна любопытная черта для характеристики личности Артемия в его посланиях. Большая часть последних писана в Литве и к лицам там жившим, к кн. Чарторыйскому, к Симону Будному, пану Евстафию и др. Но в числе посланий без надписи имён лиц, к которым они писаны, есть два к царю, по мнению Ундольского, И. Грозному, и есть признаки, делающие вероятным, что они писаны ещё до бегства в Литву. И здесь Артемий является с такими же взглядами, какие он высказывал в литовских посланиях, внушает царю испытывать разум божественных писаний, советует ему читать толкование И. Златоуста, просветительную книгу Василия Великого и его учение, „со всяким извещением истину поведующее", даже сам посылает царю чрез кирилловских старцев „книгу от божественных писаний и от великих отец нравоучительная наказания". Советуя царю испытывать разум писаний, он так определяет своё отношение к ним: „разум же истинный иже свидетельство имеет от божественных писаний; аще ли разум обрящется съпротивен

божественному писанию, таковый разум лжеименит есть (л. 150)". Правда, на некоторые явления, не относящиеся к священным предметам веры, Артемий смотрел либеральнее большинства своих московских современников. В одном из посланий к царю он восстаёт против „некиих мнящихся быти учителей", которые говорили: „грех простым чести Апостол и Евангелие, не чти много книг, да не во ересь впадеши", вследствие чего многие „от ненаказанных" боятся в руки взять писание; нельзя не заметить иронии в его словах, когда он продолжает: „и аще кому прилучится недуг, от него же человек естественного смысла испадет, тоже прельщающе глаголют: зашелъся есть въ книгах". В другом месте он горячо поддерживает мысль, что еретиков следует христианам не казнить, а вразумлять, и выражает эту мысль даже решительнее кирилловских старцев: „от сего можем разумети, яко не подобно есть христианом убивати еретичествующих, якоже творят ненаучении, но паче кротостью наказывати противящаяся и молитися о них да даст им Бог покаяние наскакати на неразумные или проклинати или мучити их несть сие христианские премудрости, но мира сего, распеншего Господа славе и святых избившего" (л. 10). Рассматриваемая рукопись ещё далеко не обследована достаточным образом в нашей историографии; тем желательнее исполнение Музеем давно высказанного им намерения издать этот замечательный памятник. Насколько он известен пишущему эти строки, исследователь найдёт в нём и другие любопытные данные не только для оценки личности Артемия, но и для научной характеристики того умственного движения в русском обществе XV — XVI вв., на поверхности которого являлись ереси жидовствующих, Башкина и других.

Отдел раскольничьих сочинений в библиотеке Ундольского замечателен по полноте, с какою он совмещает в себе почти все важнейшие памятники этой литературы, и по редкости некоторых из них. В числе последних отметим ответ Соловецкого монастыря, по мнению Ундольского, составленный прежде соловецкой челобитной и неизвестный по другим

библиотекам,—ответы тверского иконописца Пошехонова, по замечанию Ундольского, в руках учёных не бывшие,—ответы архангелогородских староверцев, составленные старцем Евфимием—экземпляр, по словам библиографа, единственный, едва ли не подлинник составителя, ни по собраниям, ни даже П. Любопытному неизвестный,—сказание о скончании Павла коломенского, очень редкое в рукописях, и Виноград Российский в подробной редакции.

Обходя отдел, относящийся к общей церковной истории, в котором также есть замечательные вещи, в рассматриваемом собрании отметим несколько рукописей в отделе по истории русской церкви. Здесь особенно замечателен список шушеринского жития патриарха Никона, сопровождающийся длинным рядом актов, большею частию неизданных и даже вовсе неизвестных (№ 415); далее, икона или изображение дел патриаршего престола, составл. в 1700, рукопись, по замечанию г. Викторова, чрезвычайно редкая (№ 210). Для истории монастырской жизни XVI в. любопытен отрывок из хозяйственных записок какого-то монастыря, пис. в 1560-х годах.

„Но лучшим украшением рассматриваемого отдела и всего собрания,—справедливо замечает г. Викторов,—служит находящаяся в нём коллекция биографий, или житий русских святых, составленная с особенною тщательностью, полнотою и отличным знанием дела“. (Очерк, стр. 13). Важность житий русских святых для истории русской церкви, быта и литературы давно признана в нашей историографии и даже в такой степени, что скорее можно предположить стремление преувеличить, чем умалить действительное значение их, как памятников нашей истории и литературы. Признано и то, что для избежания этой опасности, для правильного понимания и пользования этими памятниками необходимо строгое исследование их с критико-библиографической стороны. На это обратил внимание и преосвященный Макарий в своей истории русской церкви, где он подвергает сериозному разбору редакции некоторых житий. К сожалению, преосв. Филарет

(черниговский), в своих обширных трудах по истории русской церкви, слишком часто оставляет читателя без помощи в указанной научной потребности: говоря о древне-русских житиях, он, при своей обширной начитанности в памятниках этого рода, большею частью ограничивается беглыми заметками и очень часто делает выводы слишком поспешные, не имеющие достаточного основания. Изучение древне-русских житий встречает два главных затруднения. Нельзя сказать, чтобы они давили исследователя своим количеством: их сравнительно немного и гораздо меньше числа древне-русских святых, известных церкви. Прежде всего затрудняет исследователя распределение уцелевших житий в существующих доступных рукописных книгохранилищах. Некоторые жития сохранились во всех библиотеках во множестве списков, часто представляющих несколько переделок или редакций первоначального памятника: при недостатке обстоятельных библиографических описаний этих библиотек, невозможно отобрать лучшие списки, необходимо с большой тратой времени просматривать все, даже бесполезные в научном отношении. Напротив, другие жития, не имеющие повидимому общего значения для древне-русских книжников, распространённые только в известных местностях, попали в некоторые существующие книгохранилища в одном-двух списках, и ни одна из этих библиотек не соединяет в себе всего количества известных древне-русских житий. Некоторых из них нет ни в одной доступной рукописной библиотеке и они изредка появляются только у торговцев рукописями, каково, например, любопытное данными для истории христианской проповеди в среде чуди XIV в. житие Кирилла Челмогорского, совершенно не обследованное в нашей церковной историографии. От других житий уцелели только следы их существования; так знакомые с поморской письменностью на месте встречали между простолюдинами книжников, видевших житие Корнилия Палеостровского. Таким образом, изучающий принуждён читать житие Иродиона Илоезерского в Имп. Публ. библиотеке, Лукиана Переяславского в Троицкой, Арсения Комельского

и Иова Ущельского в библиотеке гр. А. С. Уварова, Симона Воломского—в Синодальной, об Иоанне и Логгине Яренгских и о Пертоминском монастыре—в Соловецкой, житие Адриана Пошехонского—в библиотеке Ундольского, ибо этих памятников нет, сколько помнится, в прочих библиотеках. Библиотека Ундольского, особенно заботившегося о собирании древнерусских житий, значительно облегчает исследователя в обоих указанных затруднениях. Составленный им каталог, с очерком г. Викторова, благодаря надежным библиографическим указаниям, здесь находящимся, могут служить хорошей путеводной нитью для исследователя. Само собрание Ундольского богато как хорошими списками распространённых житий, так и редкими, даже единственными житиями. В числе первых укажем на списки трудных для критики житий Леонтия Ростовского и Сергия Радонежского,—списки редкие и много объясняющие в литературной истории этих житий. Между вторыми упомянём о житиях Антония Дымского, Афанасия Высоцкого, Герасима Болдинского, Прокопия Вятского (житие, любопытное для характеристики особенно распространённой в древней Руси формы подвижничества—юродства Христа-ради), Ѳеодосия Астраханского, чрезвычайно редких, и о житиях Евфросина Псковского в первой редакции), Максима Грека,—списки которых в собрании Ундольского едва ли не единственные. Всех житий русских святых здесь около 110; число их списков отдельных или в сборниках, не считая прологов и патериков, простирается до 300. Исследователь этой отрасли древне-русской письменности будет особенно благодарен г. Викторову за помещение в общем очерке библиотеки Ундольского тщательно составленного указателя ко всем русским житиям, находящимся в собрании, как в отдельных списках, так и в сборниках (стр. 15—17).

Опуская остальные отделы библиотеки Ундольского, не относящиеся непосредственно к церковно-исторической области, заметим однакож, что эти отделы, по количеству соединённых в них памятников светской литературы, заметно выделяют рукописное собрание Ундольского из большинства других, где,

как и в самой письменности древней Руси, такие памятники вообще довольно редки. Закончим обзор библиотеки указанием на любопытный отдел древне-русской письменности, который, по характеру преобладающего в нём содержания, также относится больше к церковной истории и литературе,—отдел сборников. Сборник—характеристическая черта древне-русской письменности. В каждом рукописном собрании, уцелевшем от древней Руси, если не большинство, то значительная часть рукописей—непременно сборники. Без преувеличения можно даже сказать, что сборник был преобладающей формой древне-русского книжного дела, которая частію завещана была нам письменностію византийской и южно-славянской, частію создалась свойствами древне-русской литературы и потребностями читающего общества, неразлучными с рукописным способом её распространения. Известно, какое видное место занимает сборник в письменности Византии в последние века её самостоятельного существования. Наша древняя письменность завещала нам немного крупных произведений, написанных по одной цельной программе; во всём составе древне-русской литературы, они, можно сказать, малозаметная группа, которую можно уложить в очень коротком списке. Гораздо более любили форму краткой статьи, слова, сказания и т. п., более приходившуюся по силам как самих писателей, так и читающей публики. Огромное количество древне-русских оригинальных произведений носит характер более или менее краткой статьи. Они слишком малы, чтобы список каждого мог составить отдельную рукопись, и удобства читателя заставляли соединять их в один сборник, в том или другом выборе и порядке, смотря по книжным средствам и взглядам писца или читателя. В древнейшем периоде нашей письменности, сколько можно судить по оставшимся рукописям, даже произведения, выходящие из размеров статьи, встречаются обыкновенно в сборниках вместе с другими; отдельные списки их, в виде особых рукописей, начинают размножаться уже с XVI века. Этого мало: форма сборника, господствовавшая в распространении письменности, проникала иногда и в самые литературные произведения. Памятник,

первоначально цельный по предмету или литературной композиции, иногда терял под руками позднейшего редактора свой первобытный вид, в каком он вышел из-под пера автора, разбивался в отдельные статьи или осложнялся новыми, прибавочными статьями, и, таким образом, принимал характер сборника. Так первоначальные летописи в позднейшей письменности превратились путём вставок и сшивок в летописные сборники; так многие жития наших древних святых из кратких записок расширились в сложные литературные здания, строившиеся по частям в разное время, иногда в течение столетий. По составу и содержанию своему древне-русские сборники очень разнообразны и их трудно с точностію распределить на известные разряды, тем более, что они составляют отрасль нашей древней письменности, менее других исследованную. Некоторые разряды выделяются сами собою определённым планом, который легко заметить в их составе. Древнейший систематический первообраз их представляет пролог, который, осложняясь в содержании и расширяясь в объёме, развивался потом в четьи-минею; имея тесную связь с церковным богослужением, эти виды сборников получили готовую систему, в церковном месяцеслове, по порядку которого располагали своё содержание, состоящее в наших древнейших прологах XIII—XIV вв. из кратких житий, поучений и нравоучительных повестей. К ним по календарному порядку в размещении статей приближаются другие сборники, особенно часто встречающиеся в письменности XVI в., они составлены или из слов и поучений, или из житий и сказаний, связанных с известными церковными праздниками и расположенных в календарном порядке последних. Таковы торжественники, которые обыкновенно соединяют в себе оба указанные разряда литературных произведений, располагая по календарю рядом с поучениями на праздники и жития святых. Как торжественник есть упрощение четьи-минеи, так трефологион представляет выборку из служебной минеи, совмещая в себе в том же календарном порядке службы на праздники господские, богородичные и некоторых святых, иногда исключительно службы русским святым. Можно указать

несколько других разрядов сборников, в которых заметна одна, известная, но независимая от месяцеслова цель, положенная в основание их состава и порядка в расположении статей. Из них особенно любопытна для истории распространения древне-русской литературы сравнительно небольшая группа сборников местного происхождения, совмещающих в себе жития святых и сказания известного города или края и потому называемых, хотя не точно, патериками: с таким составом встречаются, например, сборники ростовские, вологодские, новгородские и другие. Если во всех этих видах сборников заметно стремление наших древних книжников воспроизводить литературный запас не как попало, а в определённом порядке и с известным однообразным подбором, то остаётся огромное количество и едва ли не большинство таких, в которых нельзя уловить ни определённого порядка в составе, ни однообразия в содержании. В таких смешанных сборниках соединяются иногда статьи очень далекие друг от друга по характеру и содержанию, по литературной форме, даже очень часто по времени переписки. Такие сборники особенно любопытны: как чрезвычайно изменчивая по составу и подвижная, наиболее распространённая в читающей массе форма письменности, они всего лучше воспроизводят объём книжных интересов и понятий наших старинных грамотеев, их отношение к различным предметам знания, и здесь же чаще всего попадаются редкие и любопытные произведения древне-русского пера. В этом отношении любопытен и кодекс библейских книг XV в. в собрании Ундольского, упомянутый выше: здесь за ветхозаветными книгами следует длинный ряд вовсе не библейских статей, между ними „житие и жизнь и деяние Александра, царя македонского“ и несколько апокрифов; в других сборниках иногда соединялись и список запрещённых церковию книг и какая-нибудь из этих запрещённых книг. В некоторых сборниках ещё заметнее стремление выйти из круга строго-церковной литературы и в ряде цельных статей или отрывков соединить сведения обо всём, что привлекало любознательность наших грамотеев. В таких древне-русских хрестоматиях (имеем в

виду рукопись соловецкую № 860 и волоколамскую № 659) рядом с статьями об иночестве и посланиями наших святителей встречаем статьи об азбуке словенской и других, о белом клобуке новгородских архиепископов, список отречённых книг, толкование греческих и еврейских слов, список русских митрополитов и русских городов и рек, загадки, статью о трегубой аллилуиа, богородицыно подобие и проч. Ундольский не мог не обратить особенного внимания на этот отдел древнерусской письменности и составил большую коллекцию сборников, которых у него было более 230, не считая здесь рукописей, в которых также соединено несколько произведений, но в виде приложения к какому-нибудь одному памятнику, занимающему главное место. Из этой коллекции несколько десятков описано самим Ундольским в его каталоге, в отделе „смеси"; краткий очерк остальных, расположенный по векам, сделан г. Викторовым в статье, сопровождающей каталог. Здесь можно встретить все виды сборников, обозначенные выше; наибольшее место занимают сборники смешанного содержания, без всякого определённого плана; их до 200.

Нельзя не поблагодарить в заключение г. Викторова как за его добросовестный, тщательно выполненный очерк библиотеки, так и за редактирование самого каталога, составленного из двух разновременных описаний, которые предпринимал Ундольский. Позволительно надеяться, что начало, сделанное покойным библиографом, найдёт продолжателя в г. Викторове, и тогда русская библиография обогатится капитальным трудом, написанным такими знатоками, как составитель библиотеки и её нынешний хранитель. Надежды людей, интересующихся прошедшим русской исторической науки, могут простираться ещё далее. Между кабинетными бумагами Ундольского, хранящимися в Музее, есть много материалов для его биографии; ими можно было бы воспользоваться для составления подробного и отчётливого жизнеописания, которого заслуживает личность покойного биографа. Далёкий от вопросов житейских, увлекающийся наукой в той области, где она менее всего представляет увлекательного, Ундольский—любопытный предста-

витель целого ряда учёных, теперь уже вымирающего, сло
жившегося в московской атмосфере. Можно судить с разны
точек зрения о значении деятельности Ундольского в наше
науке; но все суждения сойдутся в одном: избрав себе из
вестную научную область, он оставил в ней прочные резул
таты, к которым не перестанут обращаться другие, рабо
тающие в той же области.

Церковь по отношению къ умственному развитию древней Руси [1]).

Социально-педагогические условия умственного развития русского народа. Соч. А. Щапова. Спб. 1870.

Г. Щапов пишет обширное сочинение об „умственном развитии русского народа“; об этом он сам заявляет в примечании на первой странице своего сочинения, которого заглавие мы выписали. Это последнее сочинение есть только „отрывок“ из обещаемого. Мысль прекрасная! Ход нашего умственного развития составляет в русской исторической литературе отдел, менее других освещённый научным изучением. Это, впрочем, очень понятно и естественно. Работа историографии во многом напоминает работу землекопа. Отжитая жизнь лежит пред историком как сложный ряд слоёв, скрывающихся один под другим. Историография начинает своё изучение с верхнего и постепенно углубляется внутрь. Умственная жизнь—один из наиболее сокровенных, глубоко-лежащих слоёв,—и наша русско-историческая литература едва коснулась его, занятая ближе лежащими сферами, например, политическим или юридическим развитием Руси. Здесь работа ещё далеко не дошла до того момента, когда становится возможным цельное и строгое прагматическое изложение нашей умственной истории; даже отдельные факты, относящиеся к этому порядку, не вполне изучены и подготовлены для прагматика. Такое состояние русско-исторической литературы

[1]) „Православное Обозрение“. 1870.

особенно тяжело должен чувствовать исследователь, который берётся за известный обширный отдел нашей внутренней истории: он будет встречаться со множеством частных вопросов, для него побочных, не необходимых для правильного освещения его выводов, а между тем ему некуда обратиться за их разрешением, не на что сослаться; надо отрываться от главной задачи и перерывать сторонний материал.

Отсюда понятно смешанное чувство удовольствия и недоверия, испытываемое, вероятно, всяким, кто следит за движением нашей исторической литературы, то-есть нашего исторического самопознания, при виде новой книги по истории нашего духовного развития. Ему простительно раскрыть такую книгу с педантическим вопросом, как она относится к указанным затруднениям, какими научными средствами одолевает их. Если эти затруднения удерживают его на самой скромной степени взыскательности, то бедность сделанных попыток проникнуть в ход умственного русского развития, усиливаемая бесплодностью большей части их, внушает ему боязнь увеличить ещё одним сумму уже испытанных разочарований. Перед нами отрывок из обещаемого „обширного исследования об умственном развитии русского народа“, но отрывок довольно обширный (21 печ. лист.) и цельный по содержанию. Он имеет задачей определить действие некоторых „социально-педагогических условий“, под влиянием которых совершалось умственное развитие русского народа. Исследование открывается двойным фактом, характеризующим умственную историю русского народа: это с одной стороны—вековое преобладание низших способностей, внешних чувств и памяти, условленное жизнью народа исключительно в сфере физической работы, с другой—отсутствие такого „предварительного“ развития мыслительных способностей народа, какое на Западе послужило основой и исходом интеллектуальному движению с XVI века (стр. 10). Автор следит за происхождением и судьбой этого факта под действием некоторых условий и далее исследует, какими следствиями

отозвался этот факт в ходе умственного развития русского народа.

„Именно на первых страницах настоящей книги мы рассмотрим вкратце главные социально-педагогические условия развития общественной и народной мыслительности в России, во времена господства восточно-византийской умственно-воспитательной доктрины и во времена развития государственной народообразовательной системы опеки, и потом раскроем следствия векового отсутствия предварительного, генеративно-последовательного развития и изощрения народной рационально-теоретической мыслительности и векового преобладания допетровского поверхностного сенсуализма над рационализмом, или высшею рассудочною силой мышления (стр. 11)".

Исследовав действие этих двух главных условий или, говоря точнее, двух групп условий, и пришедши к заключению, что они не только не ослабляли, но отчасти поддерживали указанный основной факт нашей умственной истории, г. Щапов развивает следствия его почти исключительно в явлениях нашей умственной жизни последних полутора столетий.

Такова программа исследования. Из массы наших исторических сочинений последнего времени новая книга г. Щапова резко выделяется двумя особенностями: содержанием своим она вводит читателя в сокровенные глубины народной жизни, куда неохотно заглядывает наша учёная литература; по концепции и основному приёму исследования она отличается философическим характером, восходит в высшие сферы исторического ведения, где наша исследовательность вообще чувствует себя не как дома. То и другое только возвышает цену рассматриваемого трактата. Впрочем наш разбор не исчерпает всей полноты его содержания по двум побуждениям: относительно некоторых частей этого содержания нас могут не признать достаточно-компетентными судьями, особенно в виду специального авторитета автора; потом не имеем права забыть оговорку последнего, предпринявшего изучение условий указанного им исторического факта, „насколько в настоящее время можно их раскрывать (стр. 11)".

Воздавая должное практическим выводам исследователя, м
устранимся в их разборе, который сосредоточится на одно
отделе книги, держась и здесь чисто научной почвы, над
емся нейтральной, всем открытой.

Свойство самой книги помогает найти эту безобидну
почву. Основной материал почти весь почерпнут автором
общедоступных источников, сочинений и изданий и огран
чивается не очень широким кругом довольно известны
исторических явлений. Отсюда однакож не следует, чтобы э
ограниченное поле не представляло благодарной жатвы д
таланта. История интеллектуальной жизни есть история п
нятий и знаний. Их развитие совершается вообще правильно
других сфер жизни. Понятия и знания менее доступны сл
чайным влияниям, стоящим вне круга прямых, естественны
условий, которые определяют их развитие. Здесь невозможн
революции, внезапно вспыхивающие и с электрической бы
стротой овладевающие умами, разрушая старое, какие бы
вают иногда в области общественных отношений; но нево
можны и крутые переломы, которые в этой области с тако
же быстротой увлекают назад утомлённые умы. Если таким
представляются некоторые эпохи умственной жизни челов
чества, то это иллюзии, созданные недостаточным изучение
возможна только большая или меньшая живость в ходе ра
вития этой жизни. Никакая новая или несродная времен
идея быстро не овладевала умами, даже при могуществен
ных внешних средствах действия. Но как скоро семя её за
падёт в благоприятную почву, оно медленным и верным ша
гом совершает своё развитие. Никакая внешняя сила не
состоянии прекратить совершенно это развитие, убить идею
если в ней самой есть жизнь; остановить на время её внеш
нее проявление,—вот всё, чего удавалось достигнуть внеш
нему гнёту. Такова природа мысли, главного двигателя ин
теллектуальной жизни. По существу своему история это
жизни проще и легче для изучения, в сравнении с истории
общественной жизни, ибо в ней действуют более разумны
силы, и самое действие их менее сложно. Если изучение ин

теллектуальной истории начинается позже и идёт медленнее, то это зависит от посторонних причин, а не от внутреннего её характера. Но если проще научные условия изучения, то с другой стороны самая простота и ясность их делает задачу историка строже. Здесь недостаточно установить случайную, наружную связь в сложной игре общественных и международных интересов, под которой так часто скрывается недостаток внутреннего прагматизма; ещё менее можно ограничиться здесь художественным воссозданием образов минувшего, созерцание которых иногда усыпляет мысль, ищущую внутреннего смысла событий; ибо в интеллектуальной истории нет действий и характеров, а есть идеи и их внутренняя историческая преемственность в народном сознании. Что остаётся историку? Верное и трезвое воспроизведение факта и строгий философский прагматизм. На почве этих двух требований мы желаем встретиться с почтенным автором новой книги, по возможности реже спускаясь в практические сферы, в оценку общественного влияния изучаемых им фактов нашей умственной истории.

Итак начнём с постановки фактов в новой книге г. Щапова. Исторические факты—по существу своему выводы, обобщения отдельных явлений, сродных по характеру; они—то же, что понятия в логической сфере. Подобно последним, они могут разниться по своей широте, по количеству обобщаемого в них материала; но подобно последним же, они всегда должны сохранять логическое соответствие своему материалу. Автор описывает движение государственной опеки, руководившей образованием русского народа (стр. 52—54). Он находит, что в последовательном усилении своём с начала XVIII в. эта опека прошла два главных направления или периода; раздельной чертой их служит 1815 год. Первый период характеризуется „преобладающим развитием внешней учебно-устроительной и искусственно-методической системы опеки над народным просвещением и недостатком заботы собственно об умственном развитии народа", „господством указно-уставного, регламентарно-искусственного навязыванья народу офи-

циальных училищ, учебных книг, методов ученья и учителей". Второй период отличается от первого преобладанием „регламентарно-тенденциозной заботы о направлении и дисциплинарном регулировании русской мысли и всех учебных заведений над заботой о развитии народной мыслительности". Здесь прежде всего нет, если не ошибаемся, отличительных черт того и другого периода, по крайней мере ясно определённых: под разными выражениями повторяется в сущности одна и та же характеристика государственной опеки, общая для обоих периодов. Сущность её выражается в двух главных чертах: в господстве регламентации и в недостатке заботы о свободном развитии народной мыслительности. Далее, может быть речь о качестве и силе правительственной регламентации; но сама по себе она не может служить отличительной чертой одного периода правительственного руководства народным образованием от другого, ибо вообще неразлучна с этим руководством: если развитие народного образования требует содействия правительства, последнее не может сказать заведённым им школам: учитесь, как знаете, у кого и как хотите; мне нет до вас дела. Наконец, правительственное руководство народным образованием у нас действительно пережило с начала XVIII в. несколько направлений, заметно различающихся и любопытных по связи с движением нашей умственной жизни; но они совсем иначе разграничиваются и характеризуются. Невозможно, например, с этой стороны, соединить в одном периоде первую и вторую половину XVIII в., когда правительство руководилось различными педагогическими началами и преследовало иные образовательные цели. В другом месте г. Щапов, изучая умственное движение после-петровских поколений, показывает, как медленно низшие познавательные способности русского народа уступали место теоретической мыслительности. Факт преобладания этих низших способностей в русских людях конца XVIII и начала XIX в. создаётся таким, например, процессом обобщения: „Дашков, в беседе любителей словесности, наук и художеств, 14 Марта 1812, говорил о

трудах гр. Хвостова: труды его необъятны; единый взор на них утомляет *память* и *воображение*. Какие интеллектуальные способности—заключает автор—больше действовали, те больше и утомлялись (стр. 104 и 105). Тот же факт преобладания памяти „над новыми идеями разума и новым мышлением“ указывается в том явлении, что кн. Щербатов, Болтин, Сумароков и другие писатели того времени „с сочувствием вспоминали о простоте нравов и чистоте сердец до-петровской древности“; но Руссо, мечтавший о первобытной простоте человечества, не выставлен признаком господства памяти над разумом во французском обществе XVIII века; напротив, он является в ряду глубоких философов запада. В тогдашней нашей иерархии факт преобладания памяти „над новейшим научным мышлением“, порождавшего особенную любовь к древле-церковной старине, извлекается единственно из того, что митр. Платон окончил свою русскую церковную историю XVII веком и написал в заключение: „яко старик остаюсь при старых делах, а новое предоставляю новым“. Но Нибуру, внесшему свою исследовательность в старину ещё более старую, на этом основании автор не отказывает в развитии глубокого исторического мышления (стр. 118). С другой стороны, признаком зарождения рациональной мыслительности того же времени выставляется „возбудившаяся в *немногих* умах склонность к идеям западной философии XVIII в.“. Речь идёт лишь о склонности к философским идеям, а не о результатах её; но она не пробудилась в немногих умах тогдашнего общества, а распространилась с силой интеллектуального поветрия во всех его слоях, от обер-прокурора Синода до унтер-офицеров гвардии, как видно из автобиографии Фон-Визина. Указания на силу этой склонности г. Щапов мог найти в том же руководстве истории русской словесности, которым он пользовался здесь и в других местах своей книги, делая из него иногда дословные выписки, но не цитуя их (А. Галахова, ч. 1, стр. 532 и сл.). Едва ли также согласятся отнести Грановского и Кудрявцева к одному поколению с Карамзиным, как

это делает автор (стр. 106). Встречаются, наконец, трудно-объяснимые противоречия автора самому себе в постановке и определении фактов. Так, выясняя происхождение государственной опеки над умственным развитием русского народа, он пишет об этом народе: „сам всецело занятый вековой, страдной борьбой за существование среди доставшейся ему на долю суровой северной природы и скупой на дары и трудно доступной физической экономии русской земли“ и проч. (стр. 48); а на следующей странице читаем о том же народе: „проходя на пути колонизации огромные, пустынные и дикие пространства, от Карпатов до Восточного океана, он завладел обширной и богатой физической экономией русской земли“. Так же трудно согласить две черты в характеристике умственного развития третьего, после-петровского поколения; автор говорит о нём, что отличавшее его господство памяти над деятельностью точного реального мышления выражалось в преобладании археологии, палеографии, вообще древностей славяно-русских и других, а на следующей странице преобладание „сенсуально-реалистического умонастроения“ этого поколения выражается уже в преимущественной наклонности к практическим реальным наукам (стр. 108 и 109).

Такова постановка фактов в книге г. Щапова. Она вообще страдает недостатком критической разборчивости в подборе и группировке явлений, иногда отсутствием логической соразмерности выводов с явлениями, которые служат им основанием. Но выше замечено, что не в эту фактическую сторону направлена главная задача автора. Фактическое содержание его труда не отличается особенным богатством: кто знаком с нашей исторической литературой, тот едва ли встретит в нём новые данные; напротив, он увидит, что в некоторых отделах книги далеко не исчерпан соответствующий им фактический запас, уже приведённый в известность. Притом автор не всегда обращается непосредственно к своему материалу, а берёт его из вторых рук, и в первом случае относится к нему довольно внешним образом: исследуя, например, движение русской умственной жизни, насколько она

выражалась в периодической литературе XIX ст., он иногда ограничивается перечнем некоторых статей журнала или выпиской из одной статьи, не всегда характеристической. Так автор, повидимому, не думал посвящать свой труд тщательной, мелкой обработке отдельных фактов. Его задача гораздо выше: она состоит в изображении главных условий, общих направлений русской умственной жизни, в указании их источников, элементов и результатов их исторического значения. На такую задачу указывает строй всей книги: она берёт основной факт русской умственной истории, исследует условия его развития и вскрывает следы его действия на умственную жизнь Руси до наших дней. Такова строго-прагматическая программа исследования. Ограничимся немногими примерами, чтобы видеть, насколько выдержан её дух в развитии рассматриваемого исследования.

Происхождение и источники фактов, сильно и долго действовавших, без сомнения, одна из первых и важнейших задач прагматика. С таким значением является в книге г. Щапова государственная „интеллектуально-педагогическая“ или „народообразовательная“ опека, одно из главных социально-педагогических условий умственного развития русского народа. Автор усвояет этому условию широкое развитие и могущественное действие, обнаружившееся рядом глубоко-проникающих следствий в ходе умственной нашей жизни: русский народ, по его словам, *всецело* предался государственной системе опеки и воспитания, и мыслительность его, в своём направлении и развитии, *всецело* подчинилась мыслям правительства (стр. 48). Каково происхождение этого важного условия? Насколько можно проникнуть в сложную аргументацию исследователя и выразить её в кратком обобщении, сущность её состоит в том, что русский народ, всецело поглощённый вековой борьбой с суровой природой, не имел достаточно досуга думать и потому всякие умственные заботы невольно устранил от себя на много веков, предоставив их *царской думе*; с *другой стороны*, продолжает автор, когда народ всецело занят был исключительно исканием животов и

промыслов для обеспечения животной жизни, тогда и „царской думе *легко было* свою думу думать за весь народ и развить полную государственную систему приказной опеки, действие которой так резко выражалось на соборах XVII в. в голосах земских людей, предоставлявших решение предложенных им земских вопросов только государевой мысли и воле“. Если не ошибаемся, речь идёт здесь собственно не о народо-образовательной, а о политической опеке государства, у которой были свои причины происхождения и свой круг действия. Далее, наш рабочий народ, при отсутствии в нём „могучей естествоиспытательной мыслительности, был умственно бессилен в борьбе с природой“, овладевал ей только с помощью сохи, косы и топора, руководясь лишь указанием пяти чувств, „ему не сопутствовала могучая рациональная мысль; с ним не было ни рудознатцев, ни книг о разных произведениях природы“. Это умственное бессилие народа, заключает г. Щапов, не уменье собственными силами справиться с экономией русской земли, и было основною, существенною причиною умственного подчинения народа интеллектуально-педагогической опеке государства (стр. 48 и 49). Здесь прежде всего неясно, видит ли в этом исследователь особенность нашей умственной истории и почему его так поражает отсутствие естествоиспытательной мыслительности и литературы в нашем рабочем народе в начале его истории. Сколько помнится, все народы начинали разработку своих земель без могучей рациональной мысли и без книг о произведениях природы: то и другое являлось уже гораздо позже и вызывалось потребностями, может быть, не существовавшими при начальной работе, например, необходимостью поддержать истощённые средства природы усиленными искусственными мерами и т. п. Далее, неясна причинная связь, проводимая исследователем между двумя явлениями, которые он сопоставляет. Главные усилия народообразовательной опеки направляются вовсе не на то, что, по его мнению, было её источником, не на облегчение народу борьбы с трудно-доступной экономией природы; по крайней мере не видим, и

автор не указывает, чтобы в этом отношении опека сделала много. Наконец, история самой народообразовательной опеки государства у нас не оправдывает приписываемого ей происхождения. Умственное бессилие народа в борьбе с природой должно было сказываться с самого начала и чем раньше, тем сильнее. Но г. Щапов, повидимому, не признает существования этой опеки в древней Руси, ибо даёт ей только полуторавековой возраст (стр. 60). Следовательно, явились другие, новые условия, вызвавшие эту опеку; в них и надо искать „основной, существенной причины“ её; причина, не производящая своего действия, не есть причина, а есть логическое противоречие.

Так исследование не даёт ясного представления о том, как произошло одно из главных условий умственного развития русского народа. Без этого однакож невозможно понять истинный характер умственной опеки государства и верно оценить её влияние: то и другое бывает различно при том или другом происхождении этого условия. Правительственная опека в деле умственного развития народа иногда бывает следствием слишком сильного развития политической опеки: стянув в своих руках нити политической жизни народа, правительство стремится проникнуть в духовную жизнь лиц, сообщить и ей согласное с своими видами направление. Такая опека, при известных политических обстоятельствах, постигает даже народы, достигшие высокой степени цивилизации. Но она не имеет обыкновенно прочной исторической опоры: вызванная посторонними побуждениями, она задерживает временно ход свободного умственного развития народа и исчезает без глубоких следов, как скоро ослабевает напряженность политической опеки. Умственная опека имеет и другой более глубокий и сложный источник: иногда она вытекает из состояния самой умственной жизни народа или, говоря точнее, из отношения её к условиям государственной жизни. Вследствие одностороннего развития народ может в умственном отношении отстать от уровня своих государственных потребностей; в таком случае государство не может предоставить умственную

жизнь народа её свободному медленному росту, не подвергая опасности своего дальнейшего бытия, и само начинает усиленным развитием поднимать эту жизнь до высоты своих задач. Такой путь развития не может назваться лучшим из возможных и оставляет много неблагоприятных следов в умственном складе народа, как все пути искусственного и ускоренного движения: но как следствие внутренней несостоятельности народа пред требованиями его внешнего исторического положения, он может всего только вперёд и потом стать переходом к дальнейшему, уже самостоятельному движению народного развития. Таково было происхождение умственной опеки у нас с конца XVII в.: она вышла из того факта, давшего сильно почувствовать себя в XVI в., что государство для обеспечения своего дальнейшего существования должно обнаружить деятельность, достигнуть целей, которые были не под силу не только тогдашним умственным средствам народа, но и внутренней организации самого государства, тесно связанной со степенью народного развития. На таком происхождению образовательной опеки правительства у нас указывает и последовательность её проявлений: она начинает не с начала, не с положения основ правильного элементарного образования, а прямо с конца, с практических специальностей, прежде всего нужных государству, с навигационной школы и т. п., и уже потом обращается к выработке правильной системы общего народного образования.

Но указав происхождение правительственной народообразовательной опеки, которое оправдывалось бы основательными историческими основаниями, исследование даёт её читателю как таинственный факт, неизвестно откуда приходящий и куда идущий: не может же читатель успокоить свою пытливость, когда ему укажут источник этого факта в том, что русский крестьянин, правя сохой, не держал пред собой при этом ни „Критики чистого разума", ни „Космоса". Это тем более жаль, что исторический смысл образовательной опеки правительства над народом, её судьба и влияние суть собственно результаты условий, её вызвавших, и непонятны без указания

последних. Такой пропуск даёт себя чувствовать и в рассматриваемом исследовании. Исследуя следствия опеки или, точнее, невыгоды её для умственного развития народа, г. Щапов начинает с общего положения, к которому они сводятся: опека создала „умственное рабство и умственную беспечность“, „тупое и пассивное“, „преступно-равнодушное“ отношение общества к делу своего умственного образования. „Общество русское, с самого начала своего европейского мышления, всецело положившись на заботы правительства, само уже никогда и нисколько не думало и не заботилось о способах и свободном направлении и усилении своего умственного образования (стр. 54—55)“. Положение выражено решительно, без надежды на смягчение или исключение. Однакож мы осмеливаемся намекнуть и на возможность исключений: как бы кто ни смотрел во второй половине XIX в. на взгляды и цели „Дружеского учёного общества“, но оно вышло не из министерства. Может быть, найдутся и другие явления, сходные по характеру с этим обществом. Оговорив таким образом форму положения, признаем самый факт, им поставленный, тем более, что на изображении его были потрачены необъятные литературные усилия, особенно в обличительной литературе конца 50-х и начала 60-х годов. Сознавая с этого факта приведенные эпитеты, в которые он облечён исследователем, и рассматривая его сам в себе, легко видеть, что он действует с самых первых шагов нашей духовной жизни, его действие можно уследить во все века нашей истории: к концу древней Руси он в соединении с другими условиями вызвал необходимость энергического правительственного руководства народным образованием и доселе поддерживает эту необходимость, признаваемую, повидимому, и самим автором (например, на стр. 56). Итак, этот факт есть условие зарождения, одна из причин умственной опеки, а не результат её. Не опека виновата, если в мире Простаковых и недорослей возлагаемая правительством обязанность учиться встречала не только равнодушие, но даже вражду и умственное бессилие, если бригадиров сын, обходивший казённую школу, попа

дал в пансион, дирижируемый французским кучером; но как скоро в обществе преобладают подобные явления, то легко предвидеть, что правительственная опека над народным образованием неизбежна и будет действовать долго.—Прагматический интерес исследования ещё усиливается, когда оно предпринимает объяснение выведенного им результата опеки. Автор ставит вопрос: почему народообразовательная опека правительства, в полтора века своего действия, не развила в русском обществе „самостоятельной“ мыслительности, способности к самостоятельной рациональной инициативе в вопросах умственной жизни России? На этот вопрос читаем ответ: во-первых потому, что опека „имела существенной своей задачей не свободное развитие русской мысли, а согласное с видами правительства направление и регулирование её и сообразное с тем покровительство и вспомоществование ей казёнными средствами и учреждениями (стр. 60)“. Переводя эту аргументацию на простую будничную речь, узнаем, что опека не развила свободной самостоятельной мыслительности в обществе, потому что не развивала этой мыслительности. Приводя и это в простейшую формулу, найдём такое отношение между вопросом и ответом: почему это было так?—потому что было так. Далее, что значит правительственная опека, совершающая свободное развитие народной мысли, а не направляющая её и не помогающая ей казёнными средствами и учреждениями? Понятен школьный устав, дающий известную свободу преподаванию или не дающий её; понятен метод преподавания, развивающий более мышление учащихся, чем их память; но правительственная опека, действующая не как опека, есть непонятное понятие или игра слов, как „тьма без темноты“ в известной поэме: она может дать поэтический оборот, но не научный аргумент. У нас правительственная опека в деле народного образования потому и пришла, что самостоятельное умственное развитие народа было невозможно в той степени, в какой это требовалось условиями дальнейшей исторической жизни народа: естественно, началось усиленное принудительное развитие тех сторон образования и в тех элементах на-

рода, которые прежде и больше всего требовались нуждами государства. Но опека, действуя на такую среду, в связи с другими историческими влияниями, может довести несвободное образование народа до уровня, на котором существенно изменяется её задача, когда в самом обществе прочно утверждаются известные умственные интересы, словом, когда становится возможным уже свободное самостоятельное его развитие. Наконец, смотря с этой последней точки зрения, неужели у нас опека ничего не сделала, чтобы приблизить общество к этому уровню, произвела только „умственное рабство народа“? Такой вывод был бы очень безотраден: тем необходимее показать в исследовании достаточность его оснований. К счастию, и на коротком сравнительно пространстве полутора столетий, встречаем явления, не позволяющие вполне принять этот вывод. Опека, как бы она ни действовала, всё же проводила в общество знание, европейскую науку, т.-е. давала материал для умственного развития. И уже чрез полстолетие сказалось действие русской мысли над этим материалом,— сказалось в критическом отношении её к самому энергическому двигателю опеки, к Петру Великому. Когда растворялись окна русской умственной жизни, в них спешила выглянуть русская мысль иногда со странным, невзрачным лицом для носителя идей второй половины XIX в.; но заблуждения ничего не значат,—они падают, как осенние листья; дорога жизненная сила, которая с новой весной оденется новой листвой, важна способность умственного напряжения. Сам г. Щапов в других местах своей книги высказывает мысли, о точности которых мы не судим, но которые не легко примирить с указанным его выводом. Так читаем, что Петр В. „восточный *умственный* склад русского народа преобразовал в иноземский, европейский,“ что он же „стал вводить *умственную* жизнь русского народа в период *высшей* рассудочной работы, в период *рациональной* теоретической мыслительности (стр. 40 и 92).“

Такова аргументация в общих, широких выводах исследования. К сожалению, та же неуловимость, мимолетность встре-

чается и в развитии подробностей. Исследуя силу, с какою укоренился в русской умственной жизни допетровский поверхностный сенсуализм, г. Щапов указывает следы его преобладания над теоретическим мышлением, бессилие одолеть теоретические научные системы без их наглядного, осязательного представления даже в третьем, после-петровском поколении. В доказательство этого, среди фактов, хорошо подобранных для умственной характеристики поколения, встречает подобные следующему: „местные педагоги (1830—1860 гг.) замечали, что ученики гимназий не могли понимать и усвоять естественных наук в теоретической системе, и потому предлагали совет, чтобы они преподавались не в системе, а *ходя по лѣсам и полям*“ (стр. 110). Ступим еще один шаг далее и получим новое доказательство в пользу вывода автора, еще более поразительное и притом одинаково приложимое не только к третьему, после-петровскому, но и ко всем грядущим поколениям, сколько их суждено пережить России: из произведенного во всех гимназиях империи опыта оказалось, что самые опытные педагоги не могли растолковать ни одному ученику первого класса, что такое монада Лейбница и синтетическое суждение a priori Канта, до такой степени туго русское общество на теоретическое понимание и отвлечённое мышление!

Та же неясность и в постановке фактов, и в проведении их исторической логики заметно отразилась и на той части книги, которая вызвала настоящие заметки, на исследовании о действии византийской воспитательной доктрины у нас. Этой доктрине, другому из двух главных изученных автором социально-педагогических условий нашего умственного развития, пришлось действовать на среду, умственное состояние которой г. Щапов характеризует вышеуказанным двойным фактом, стоящим во главе его исследования. Этот факт состоит с одной стороны в вековом преобладании низших познавательных способностей у нашего народа, с другой — в отсутствии „предварительного“ развития в нём мыслительных способностей. Как и откуда выведен этот факт? Автор

выписывает из „Космоса“ Гумбольдта место, в котором находит, что непрерывное и успешное стремление к открытиям в пространстве, к умножению познаний о земле, пробудившееся с эпохи Колумба, подготовлялось долго различными путями, например, небольшим числом смелых средневековых мыслителей, возбуждавших и к всеобщей самодеятельности мышления, и к исследованию явлений природы, далее—возобновлённым в Италии знакомством с греческой литературой и проч. (стр. 2—4). Это и есть „предварительное, генеративно-последовательное историческое развитие и изощрение теоретической мыслительности путем всеобщей, философской самодеятельности мышления“ (стр. 4). В умственной истории русского народа не было такого явления, и при многочисленных повторениях приведенной фразы на пространстве всей книги, это отсутствие предварительного развития и изощрения характеризуется обыкновенно эпитетом *ненужного*. Факт выведен аналогически, из явления умственной жизни западной Европы: естественно ожидать, что автор и докажет его аналогическим путем, изложив отсутствие у нас условий, производивших это предварительное умственное развитие на западе, или присутствие помех этому развитию, там не существовавших. Г. Щапов начинает положением, что предварительного развития, подобного западному, и связанного с ним появления мыслящего класса у нас не могло и быть „в начале, в эмбриологическом зародыше нашей истории“ (стр. 4). Что значит „предварительное, генеративно-последовательное, историческое развитие в начале, в эмбриологическом зародыше нашей истории“? Насколько можно понять эту фразу, такое явление едва ли встречается и на западе в начале его истории. Итак, у нас, как и на западе, в самом начале истории не было и не могло быть того, что создается долгим процессом истории: это положение доказывается четырьмя доводами, хотя оно неопровержимо само по себе, ибо предикат в нём есть только повторение или аналогическое развитие субъекта. Первый довод краниологический; сущность его—в том, что несчастное курганное племя, разрытое в курганах Московской губернии,

„в среде которого зарождался зачаток Московского государства, по строению черепа, по развитию прогнатизма и субдолихоцефализма и проч., не могло, очевидно, собственными интеллектуальными силами начать могучую умственную деятельность“ (стр. 5—6). Отстраняя краниологическое сравнение, кажется и на западе не одними собственными интеллектуальными силами начали могучую умственную самодеятельность. Второй довод мифологический: в мифологической мыслительности славян нисколько не развита была „высшая логическая сила отвлечения“. Знал ли мир мифологию с высшей силой логического отвлечения? Третий довод жреческий: „вследствие общей неразвитости умственных способностей“ класс славянских ведунов и волхвов не успел организоваться в жреческую касту и стать „рационально-мыслящим классом народа“, ибо ведунство славяно-русское „не основывалось на здравых, рациональных началах мышления и знания“ (стр. 7—8). Наконец, последний довод историко-экономический: вековая физическая работа, в которую погружён был наш народ, не давала ему досуга обсуждать и обобщать наблюдения, выносимые из сферы его работы: рабочему нашему народу „чужда была *высшая* философская мыслительность, в особенности чуждо было ему это германское философское глубокомыслие“ (стр. 8—9). Довод сильный, но самой силой своей, кажется, разрушающий себя: высшей философской мыслительности не найдём, к сожалению, не у одного только русского рабочего народа. Между тем нетрудно было бы, оставив эмбрион нашей истории, цельнее взглянуть на весь её ход и, с помощью программы Гумбольдта в выписанном отрывке, указать действительные особенности нашей истории, не существовавшие на западе и объясняющие, почему у нас не было умственных движений, подобных западным в средние века или в начале нового времени.

Определив первоначальный, характеристический факт умственной жизни русского народа, автор рассматривает его под действием образовательного условия церковно-византийской доктрины. Автор не совсем ясно определяет отношение

этой доктрины к указанному факту: её действие является у него то одной из причин, обусловивших этот факт, то как будто следствием этого же факта, то, наконец, просто условием умственного развития народа, хотя, повидимому, это три совершенно различные понятия (все три значения доктрины см. на стр. 11). Принимая образовательное влияние Византии в этом последнем смысле, указанном в общем заглавии сочинения, видим, что автор приписывает ему более раннее и продолжительное действие у нас, чем другому условию — правительственной народообразовательной опеке: он говорит, что славяно-русский народ, при самом выступлении своём на поприще истории, подчинился византийскому клерикальному, церковно-учительному классу.

Первая черта, останавливающая на себе мысль в этом условии развития Руси, состоит в том, что оно—внешнее влияние, пришедшее со стороны, из среды другой цивилизации. История не знает двух совершенно одинаких цивилизаций: тип цивилизации, развившийся на известной почве, в среде известной народности, доселе не переносился целиком на другую почву, не воспроизводился вполне другою народностью. Одни и те же элементы и условия, действующие в историческом развитии, являются постоянно в новых, чрезвычайно разнообразных сочетаниях, отнимающих всякую надежду на успех у попыток конструировать историю. Между тем историческое движение человечества не состоит в чередовании цивилизаций, развивающихся совершенно независимо и уединённо, без наследства от предшествующих и без воздействия на позднейшие. В Европе, особенно отличающейся разнообразием и резкостью типов исторического развития, ни один из них не может быть назван вполне самобытным, по крайней мере в начальную пору своего развития. Эта преемственность влияний делает историю человечества связным непрерывным движением развития. Отсюда вытекают необходимые условия для изучения внешних образовательных влияний, действовавших на известный народ, т.-е. для определения его исторической связи с более ранними цивилизациями. В

каждом таком влиянии различаются три момента, изучением которых и достигается полная историческая оценка его: это, во-первых, элементы развития, какие могла принести влияющая среда, далее—те из этих элементов, какие могли быть усвоены средой, подвергшейся влиянию, и, наконец, изменения, какие претерпели усвоенные элементы под действием особенностей этой последней среды, новые культурные образования, созданные ею из этих элементов. Россия также получила некоторую долю в историческом наследстве Европы, принесённую ей Византией, или, по выражению автора, восточно-византийской доктриной.

Предпринимая определение действия восточно-византийской доктрины на умственное развитие Руси, автор исходит из двойного положения: эта доктрина не имела задачей научно-мыслительного развития русского народа, возбуждения в нём всеобщей самодеятельности мышления; единственным назначением её было нравственно-религиозное воспитание народа, развитие греко-восточной христианской веры и нравственности (стр. 12). Византия начала влиять на Русь, когда в научном отношении сама находилась в глубоком упадке. Она перенесла на Русь свои догматические, канонические и другие церковные творения вместе с внешней, обрядовой стороной христианства, но не передала ей своего научного запаса, заключавшегося в произведениях древне-греческого гения. Этот научный запас передан был Византией Западу и повёл здесь к возрождению наук, к возбуждению могучей научной мыслительности. Таким образом, заключает исследователь, классицизм не был историческим началом интеллектуального развития в России, каким был на Западе (стр. 12—20). Вот основные мысли, в которых автор развивает первую половину своего положения,—мысли, ставшие неизбежной принадлежностью всякой книги, всякой статьи по истории древне-русской духовной литературы. Гораздо реже можно прочитать, как и почему все это случилось. Мы могли заметить у автора два объяснения, мимоходом вставленные им в изложение: во-первых, Византия „не могла импульсировать

развитие научной мыслительности в русском народе", ибо наука её потеряла жизнь и не развивала дальше содержания, завещанного ей древней Грецией, выродилась в пустое словоизлитие: во-вторых, порабощённая и угнетённая потом турками Византия не могла „умственно возродиться и возродить юную умственную жизнь русского народа идеями своего классического гения и знания" и вследствие *такого* положения не завещала нам ни одного цельного произведения древних греческих писателей" (стр. 14). Больше, кажется, нет никаких объяснений у автора. Однакож греческие дидаскалы, пропитанные выродившейся византийской наукой, переселившись в Италию, значительно содействовали пробуждению здесь могучей мыслительности, по признанию самого автора. С другой стороны, большинство греков, занимавших на Руси церковно-иерархические должности, выносили из византийских школ образование, которое при всех своих недостатках ставило их в научном отношении, вероятно, гораздо выше, например, архиепископа новгородского Василия (XIV в.), не умевшего отличить Св. Писания от апокрифической легенды. Что касается второго объяснения,—сколько известно, образовательное действие Византии на Русь с XV в. ослаблялось не столько тем, что турецкое иго лишало её возможности возродиться умственно и возродить Русь, сколько вследствие уменьшения прежнего её православного кредита в глазах русских людей, которое началось раньше турецкого ига и независимо от него. Вообще г. Щапов не всегда метко схватывает факты и ставит их лицевою стороной. Объясняя, как мало научного передала нам Византия, он замечает: „все её древние рукописи достались не России, а Западу (стр. 18)". Неточность этого известия не изменяет сущности другого, за ним следующего: „таким образом западные умы, *предвосхитивши* произведения классического греческого гения, наперёд импульсированы были их идеями к могучему научному развитию, а Россия лишилась и этого импульса и отстала от Запада". Так вся отсталость России от Запада случилась от того, что она не успела унести из Византии эллинские

рукописи. В объяснении той же слабости научного влияния Византии г. Щапов замечает, что древне-русские писатели „усердно переводили в течение 5 или 6 столетий книги библейские, богослужебные и свято-отеческие, но вовсе не переводили и не знали физических и математических произведений Аристотеля, Эратосфена, Эвклида“ и т. д. (стр. 17—19). Если угодно, мы скажем даже больше: древне-русские писатели не переводили усердно и свято-отеческих книг; сочинение, переведённое с греческого русским писателем, вообще довольно редкое явление в древне-русской литературе, особенно, если под русским писателем не разуметь ни грека, ни южного славянина, приезжавшего на Русь; масса церковно-славянских переводов, обращавшихся в нашей древней письменности, сделана была не в России и не русскими писателями. Но следует ли отсюда то, что автор извлекает из отсутствия переводов Аристотеля и Эвклида, сделанных русскими писателями, т.-е., что Византия не проводила на Русь, не передала ей и своей церковной литературы? Автор смотрит на одну Византию, т.-е. смотрит слишком односторонне. Во всяком случае, при всевозможных задачах своей доктрины, Византия могла передать Руси только то, что последняя могла принять. Обратив внимание на эту воспринимающую среду, он увидел бы, что классицизм не потому не стал историческим началом и импульсом умственного развития древней Руси, что Византия не передала нам древне-греческих рукописей, предвосхищенных западными умами: задолго до всякого предвосхищения, вспомнил бы он, не мало русских людей живало в Греции, в её книжных средоточиях, усердно списывало церковно-славянские переводы свято-отеческих творений и уносило с собой в Россию; но они не захватывали с собой ни в подлинниках, ни в переводах произведений древне-греческого гения, к которым подходили так близко. И на Западе не одни хризолорасы и другие греческие переселенцы были источником овладевшего европейской интеллигенцией в конце средних веков стремления к изучению классической древности. Позволим себе небольшое пре-

увеличение: путешественник едва ли найдёт в избах и школах крещёных алтайских инородцев Аристотеля или „Социально-педагогические условия“; если он напишет в своих заметках, что русские миссионеры не импульсировали в своей пастве научной мыслительности, ибо не дали им лучших произведений ни греческого, ни русского ума, он не сделает большой ошибки, но едва ли обнаружит и особенно многосторонний и острый исторический взгляд.

Переходим ко второй половине положения г. Щапова к развитию его мысли, что исключительным назначением византийской доктрины было воспитание в народе нравственно-религиозного чувства. В чём осязательно выразилось это направление? В ответ на это читаем картину нравственно-религиозной жизни древней Руси, нарисованную довольно яркими чертами (стр. 24—27). Воспроизводим их по возможности буквально словами автора. Византийские учители имели огромное влияние на развитие в древней России „психо-педагогического“, нравственно-воспитательного начала. Византийская система воспитания, руководясь педагогическим сочинением Златоуста, всегда неусыпно преследовала в России поставленную им задачу—воспитывать детей в благоверии, благочестии и всякой добродетели. Все училища в России со времён Владимира св. до конца XVII в. имели собственно не умственно-образовательный, а нравственно-воспитательный характер. Они устроялись вовсе не в видах светского образования, а единственно в видах христианского учения, в них не столько преподавались „словеса книжного учения“, сколько внушались правила веры и нравственности, благонравие, правда и любовь. Вот почему *даже* философия, развивающая теоретическую мыслительность, не преподавалась в древне-русских училищах. То же направление господствовало в литературе и обществе. Русская мысль вполне жила верою и не требовала теологической учёности. Вера вполне преобладала над мыслию, нравственное начало—над разумом. Какая христианская Аркадия во вкусе Шатобриана,—подумает иной, прочитав это место книги г. Щапова. Особенно идеальною является на

картине древне-русская школа. В самом деле, о чём напрасно мечтали Монтень, Локк и Руссо, о чём безнадёжно тоскует педагогия XIX в., — чтобы не столько учить „словесем книжного учения“, сколько нравственно-воспитывать учащихся, — эта высшая педагогическая задача вполне осуществлялась в древне-русской школе г. Щапова. В этой картине можно заподозрить с первого взгляда руку слишком пристрастную в пользу доброй Византии. Но стоит прочесть несколько далее, чтобы видеть, что автор не только не склонен преувеличивать блага византийской доктрины, напротив, готов приписать ей невыгодные явления, в которых она, может быть, не виновата. Самое вероятное, чем можно объяснить происхождение таких густых светлых красок,—в том, что набожные желания древне-русских книжных людей, высказанные отрывочно и робко, автор принял за действительные исторические факты, дополнив их силой своего воображения. Едва ли о древне-русских училищах может быть речь, как о чём-то правильно-организованном, построенном на определённых педагогических началах, имевшем в виду известную систему воспитания, и как будто мы не знаем, чем разрешались в действительности педагогические идеалы, попадающиеся в некоторых произведениях нашей древней литературы. В известиях, относящихся к разным временам, взятых из различных источников, ясно одно, что если чему-нибудь ещё учили в этих так называемых школах древней Руси, то именно „словесем книжного учения“ в самом простом, ремесленном смысле; напротив, и в условиях, и в обстановке ученья трудно подметить что-либо, в чём осязательно выражались бы систематические нравственно-воспитательные задачи. Автор может припомнить знаменитое послание архиепископа новгородского Геннадия к митрополиту Симону, ярко рисующее, какую школу образования проходили в XV в. люди, вступавшие в класс священнослужителей: учат ребят мужики невежи, пишет Геннадий; первое выучит ученик вечерню, за это мастеру принеси кашу да гривну денег; то же за заутреню и за часы, всё это сверх условленного за ученье „могорца“;

а отойдёт от мастера, и ничего не умеет, только бредёт по книге. Ещё любопытнее проект духовных училищ, о заведении которых бил челом государю тот же Геннадий, один из высших и самых энергичных представителей того византийско-славянского церковно-учительного класса, которому г. Щапов приписывает неусыпное преследование строгой византийской системы нравственно-религиозного воспитания в России: „мой совет о том, что учить в училище,—пишет Геннадий,—прежде всего азбуку, потом псалтирь с следованием"; изучивший это может „конархать" и читать всякие книги. Он советует учить и попов ставленных; к нему приходили ставиться люди, которых он должен был сажать ещё за азбуку. Таково было обыкновенное образование в среде духовенства; с ним можно сравнить воспитание в боярской среде начала XVI в. Отбрасывая риторические украшения, неразлучные с древне-русским житием, получим такие черты школы, пройденной в юности митрополитом Филиппом: в надлежащее время родители повелевают вручить его художной хитрости божественного Писания, и он ясно вразумляется книжному учению; потом приставили к боярскому сыну неблазненных отроков, чтобы обучать его верховой езде: но он не особенно занимался этим, только из угождения родителям, по своему *отечеству*; очевидно, не по отечеству, а по внутреннему влечению дома он всегда взирал в благодатные и памятные книги, как жили прежние досточудные мужи; потом вразумляется и воинской храбрости. В Стоглаве читаем жалобу, что искавшие поставления в дьяконы и священники мало грамоте умеют, ибо учатся у своих отцов и мастеров, которые сами мало умеют, а больше им учиться негде. Перейдём к началу XVII в., чтобы видеть условия образования в крестьянской среде. Вот как образуется сын зажиточного олонецкого крестьянина, впоследствии пустынник Кирилл, основатель обители на реке Суне, наконец увлечённый в ряды первых выгорецких подвижников древнего благочестия: пожелав учиться грамоте и одолев сопротивление отца, не позволявшего сыну отрываться от земледелия и рыболовства, мальчик уходит за 5 вёрст

в село к священнику „во училище„ и там скоро „изучися букварь и часослов и псалмы Давидовы читать добре навыче, и отпущен бысть в дом к родителем своим". Везде словеса книжного учения в смысле мастерства, книжной хитрости; этим ограничивает свою задачу древне-русская школа, предоставляя питомцу самому сделать из приобретённого мастерства употребление, какое найдёт нужным; остальное случайно и достигается вне школы, одними личными усилиями. Даже Стоглавый собор, постановив заведение училищ в домах священнослужителей для детей духовенства и мирян, в программе для них не простирает своих требований далее обучения грамоте, книжному письму, церковному пению псалтырному и чтению налойному; нравственно-воспитательные задачи ограничиваются увещанием беречь питомцев от вопиющих пороков; не указывается ни на какое определённое руководство, ни на какой катехизис для преподавания начал христианской веры и нравственности. Итак, совершенно справедливо, что древне-русская школа не имела задачей правильного умственного развития; но столь же справедливо, что она не поставляла своей целью и систематического нравственно-религиозного воспитания, что так настойчиво утверждает автор; на это не было у неё самых элементарных средств, что, впрочем, разумеется само собой при тогдашнем уровне общественного развития.

Поставив факт преобладания религиозно-нравственного начала над интеллектуальным в древней Руси, г. Щапов указывает его следствие. Здесь он наносит тяжёлый удар своему прагматизму. Он замечает, что те же педагогические начала, какие он видел в древней Руси под руководством византийской доктрины, проводились нашим правительством во второй половине XVIII в., в период деятельности Бецкого и Комиссии народных училищ 1782 года: тогда также отдавали преимущество нравственному развитию пред умственным, требовали от школы больше воспитания изящнейшего сердца, умонаклонения к добру, а не к научно-теоретической мыслительности. Откуда же произошло это пе-

дагогическое направление по мнению г. Щапова? Преобладание нравственно-религиозного начала над интеллектуальным в древней Руси, говорит он, отозвалось и в умственной жизни новой России, именно в екатерининской системе народного воспитания (стр. 27—29). При этом не указывается никакой осязательной связи педагогического плана Екатерины II и Бецкого с его древне-русским источником: в плане этом отозвалась жизнь древней Руси—и только. Не указана даже та наружная связь, которая могла бы подать повод к сближению: известно, что педагогический план Екатерины особенно поддерживали и развивали люди, которые, критически относясь к петровским реформам, обращались с преувеличенным сочувствием к древней Руси. Со стороны историка, исследующего развитие внутреннего содержания народной жизни, движение понятий и знаний, совершенно неожиданно встретить такое внешнее отношение к явлениям, готовность во внешнем сходстве видеть историческую причинную связь. Почти в одно время с докладами Бецкого и „Наказом“ Екатерины те же педагогические начала излагал в записке королю Тюрго, министр Франции, которого автор, вероятно, не заподозрит в привязанности к древне-русским началам; Тюрго также нападает на многоучение в школах, выставляя необходимость нравственно-гражданского воспитания. Для воспитательных заведений, которые заводились под руководством Бецкого, писались уставы, образцами которых служили воспитательные уставы Западной Европы. Всё это показывает, откуда идёт движение; ещё яснее говорят об этом самые педагогические начала, в сущности очень мало напоминающие древнюю Русь. Сам г. Щапов согласен, что древне-русское воспитание преследовало исключительно религиозные цели. В педагогических сочинениях Екатерины и в докладах Бецкого эти цели поставлены в тени; от новых педагогов веет гражданским рационализмом, на помощь страху Божию мотивами воспитания являются *честь и стыд*; система построена на естественном, свободном и всестороннем развитии человека к самодеятельной жизни,

на терпимости и мягком обращении. Вообще едва ли можно предполагать воспроизведение древне-русского, церковно-византийского идеала воспитания в нарисованном Екатериной киевском царевиче Хлоре, которым руководят киргизская ханша и её сын—Разум, и который ищет на горе высокой розу без шипов; по крайней мере современники Екатерины выводили её педагогическую систему совсем из другого источника, из идей „философского века“, не смешивая „Стоглава“ и „Домостроя“ с Локком и Руссо.

Неправильность в основном взгляде на действие византийской доктрины мешает ясному изложению и других её следствий для умственной жизни России. Г. Щапов находит, во-первых, что пренебрежение развитием теоретического мышления в народе замедляло и самое нравственное развитие, бывшее главной задачей доктрины; во-вторых, отдаляло и даже совершенно отчуждало народ от наук вообще; далее, господство веры без развития знания и разума породило в народе бессмысленную склонность к религиозным спорам, к богословствованию (стр. 29—34). Если первые два следствия ещё можно связать с их причиной, то связь третьего кажется совсем неуловимой. В другом месте автор приписывает византийскому влиянию две характеристические умственные особенности древней Руси: *совершенное* преобладание нравственного начала над мыслью и совершенное преобладание византийского теологического начала над классикокосмологическим (стр. 12). Но теологизм, богословствование во всяком случае есть нечто более отвлечённое, теоретическое, и повидимому не вытекает непосредственно из господства нравственного деятельного направления. Самый факт склонности русского народа к теологизму настолько нов, что нуждается в обстоятельном развитии путём доказательств; между тем г. Щапов ограничивается указанием на богословствование, возбуждённое расколом. Но это, во-первых, явление исключительное, имеющее свои особые причины, а потом нельзя читать без удивления, что г. Щапов украшает громким эпитетом *теологических* те вопросы, которые, по словам иеро-

монаха Кохановского, в 1720 г. составляли „тую дьявольскую бабскую богословию", вроде толкования 12 годовых пятниц и т. п. Сам Кохановский говорит об этой *богословии* иронически; историк в интересе точности мог бы назвать её другим именем и сделать иной вывод. Наконец, можно было бы пожелать большей широты взгляда и для последнего указываемого автором следствия византийской доктрины: она произвела отчуждение России от передовых европейских наций, религиозную антипатию русского народа к их интеллектуальному влиянию (стр. 35). В начале упоминается и об участии „географических и этнологических условий" в этом факте; но в развитии положения эти условия совершенно забыты и ненависть к Западу, даже в партии старых бояр первой половины XVIII в., является созданием единственно византийского влияния. Антагонизм против Запада выражался прежде всего в религиозной сфере, это бесспорно; но одна византийская доктрина с своей полемикой против латинян и даже с привлечением географических и этнологических условий едва ли объяснит вполне сущность и причины той национальной исключительности, в которой жила древняя Русь. Указывая далее невыгодные следствия этого отчуждения, автор, между прочим, видит их в том, что многие и в XVIII в., имея средства, ни сами не ездили учиться за границу, ни детей своих не посылали, ни дома не призывали европейских учителей (стр. 40). Если эти известия второй половины XIX в. выражают жалобу на недостаток нашего общения с Европой в XVIII, порождённый византийским отчуждением, сожаление, что не все русские со средствами ездили за границу и учились у европейских учителей, то известия самого XVIII века говорят с горечью и сожалением, что мода на заграничные путешествия для образования была развита выше меры и надобности, молодёжь со средствами ездила без подготовки и пользы, что русские непростительно доверчиво принимают к себе учителями всяких пройдох и невежд из Франции. Между следствиями умственного отчуждения русских от европейцев встречаем и вражду с немцами в нашей академии

наук в XVIII в. (стр. 41); неизвестно, этим ли же умственным отчуждением от Европы объясняется то, что вождём русских академиков в борьбе с немецкими был Ломоносов. Наконец, нельзя не заметить излишней субъективности в положении автора, будто „влияние киевской схоластико-теологической учёности", составившейся из византийских и католических средневековых элементов, в большей части нашего общества и доселе преобладает над влиянием европейской мысли и науки (стр. 42—43).

Мы коснулись лишь некоторых выводов г. Щапова относительно византийской доктрины, в которых его мысль, повидимому, двигалась свободно, выставляя в неприкрытом виде манеру своей исследовательности; оставляем в стороне другие выводы, где прагматизм его, может быть, стеснялся сторонними соображениями и не мог облечься в учёное и философское всеоружие. Нельзя, например, найти в книге достаточных оснований, чтобы убедиться, как византийский догматический консерватизм сдерживал в самых зародышах рациональную русскую мыслительность, как эта последняя семь или восемь веков до Петра В. не могла иметь никакого свободного движения даже в занятии какою-нибудь отречённою книгой, даже в области житейского опыта (стр. 73—75). Обобщая вышеизложенные заметки, мы надеемся указать некоторые характеристические черты исследования г. Щапова, которые считаем его главными недостатками. Во-первых, взгляд исследователя редко обнимает весь открывающийся пред ним кругозор; обыкновенно, поместившись на одном пункте, на одном явлении, он игнорирует остальное, забывая, что в истории, как и в природе, ничто не действует одиноко, особняком. Особенно сказывается эта черта там, где автор выводит следствия из факта: он готов приписать одному факту, например, хоть византийской доктрине, явления, над которыми работало много сил, много условий. Поэтому же, приступив к своему историческому труду с известными заранее и помимо его усвоенными взглядами и понятиями, он делает их обязательными для всех времён, за-

бывая о существовании исторических возрастов, и готов поражаться, как характеристической чертой, отсутствием „высшей философской мыслительности“ в рабочем русском народе времён Нестора, или сердиться, когда не замечает в обществе особенной охоты к естественным наукам. Далее, г. Щапов слишком пренебрегает требованием разборчивости, чувством меры при постройке своих фактов, довольствуется иногда самой внешней стороной при обобщении явлений. Кто-нибудь иронически пожалуется на количество сочинений другого, утомляющее память; мальчик пожелает большей наглядности преподавания: исследователь обратит это в камни для создания вывода, что в обществе низшия способности преобладают над теоретической самодеятельностью мышления. Наконец, мы позволяем себе педантическую заметку о языке книги: он труден и в лексическом, и в синтаксическом отношении. Каждая страница обильно усеяна эпитетами, как *психо-педагогический*, *сенсуально-реалистический*, *указно-уставный*, *хронически-психопатический*, *физико-физиологический*, или оборотами в роде *театрально-туалетного сенсуализма*, *естественно-научного рационализирования мирозерцательной рабочей и экономической мыслительности народа*, *могуче-двигательного движения* и т. п. Такие слова и обороты, требующие особого лексикона, не только затрудняют читателя, но и самому автору мешают ясно представлять логический ход собственной мысли, увлекают его к выводам, которых он не сделал бы, выражаясь простой литературной речью. Так из совокупного действия византийской и государственной опеки автор выводит, что наш рабочий народ, „*преобладавший* над *интеллектуальным* классом, *не имевший* во главе своей умственной жизни *мыслящего* класса, несмотря на всю свою естественную, *непосредственно-чувственную наклонность к естественно-научному* сенсуализму и реализму, сам не мог добраться и додуматься до рационально-теоретического, естественно-научного реализма (стр. 91)“.

В прямую связь с этими общими недостатками надобно

поставить те частные несообразности, какие встречаются в отделе об умственном влиянии византийской доктрины. Главная из них состоит в том, что внесена несколько-схоластичная диалектика туда, где требовался простой исторический анализ. В книге довольно ясно выступают наружу моменты, пройдённые мыслью автора при составлении исследования о византийской образовательной опеке. Требуется доказать, что эта опека не возбуждала умственной самодеятельности народа. Спрашивается: имела ли опека задачей „научно-мыслительное" развитие народа? Нет, не имела. Какую же задачу следует приписать ей? Одно нравственно-религиозное воспитание народа.—Результаты исследования вполне соответствуют приёму: научно-мыслительное действие опеки отвергнуто, а для изображения нравственно-религиозного действия у автора не оказалось в запасе достаточного исторического материала и пришлось пополнить его воображением. Но указанная аргументация удобна только тем, что может обойтись без всякого исторического изучения; её можно вести совершенно абстрактно, почти a priori. Зато она не имеет ничего общего с историческим исследованием, которое разъясняет не то, чего хотело или не хотело известное явление, а то, что оно действительно производило и что из этого вышло. Речь идет о движении понятий народа и о том, каким образом подействовала на это движение византийская доктрина, как образовательное условие умственного развития народа. Исследователь вооружается скальпелем и в духовном запасе народа выделяет содержание, внесённое этой доктриной. Первобытная умственная жизнь нашего народа характеризуется чувственной непосредственностью сознания, и совершенно справедливо. Греческий или южно-славянский священник приносил на Русь два порядка понятий, которые одинаково разрушали эту непосредственность: он приходил с известной доктриной, системой вероучения, даже мироучения; сверх этого он приносил еще известную дисциплину, систему нравоучения. То и другое являлось облечённым в „сенсуальную" одежду образа, обряда. Эта привычная для

непосредственного ума одежда и была точкой соприкосновения его с пришлым миром непривычных понятий; её действие и есть первый новый факт в умственной жизни Руси, принесённый церковно-византийским влиянием. Непосредственное сознание состоит в том, что мысль останавливается на явлении и не идёт дальше. В церковном обряде русская мысль едва ли не впервые встретила сенсуальный образ, на котором нельзя было остановиться, который увлекал её в область не сенсуальных представлений. Далее, непосредственное миросозерцание характеризуется той чертой, что мир явлений есть для него себе довлеющая, последняя граница бытия. Первое слово византийской доктрины раздвигало эту границу, ставило для неё источник и цель вне, выше её и низводило её до значения изменчивого, преходящего проявления высшей воли. С наибольшей полнотой выражает эту перемену в непосредственном сознании древне-русский летописец своим взглядом на события мира и явления природы, которые для него— прозрачные воплощения законов духовного мира; взгляд летописца, положим, выше народного, но едва ли уходит от него в заоблачную высоту. Когда за пределами мира явлений пред сознанием открывается этот другой мир, какой бы он ни был, — в этом позволено видеть некоторый успех умственной жизни, некоторое расширение умственного взгляда. Наконец, непосредственное сознание характеризуется тем, что из чувственного миросозерцания оно заимствует и круг своих моральных представлений. Византийская дисциплина приносила систему морали, заимствованную совсем из других источников и идущую наперекор чувственным впечатлениям, игнорирующую их. Таковы, по нашему мнению, основные, первоначальные влияния, которыми византийская „опека“ разрушала первобытную непосредственность русского сознания. Они важны тем, что действовали в большей или меньшей степени на массы народа. Если имеется в виду действительная история народных понятий и является желание изучить византийскую доктрину, как условие их развития, то можно было бы вскрыть в наших исторических памятниках

следы указанных влияний и по ним проследить ход разрушения русской умственной непосредственности, его успехи и задержки. Такое изучение несколько труднее деления вопроса на научно-мыслительные и нравственно-религиозные задачи, труднее указания на преобладание в древней Руси византийского теологизма над классическим космологизмом Аристотеля, Гиппарха и т. д.; но оно введёт исследователя в действительные процессы, совершавшиеся в духовной жизни Руси, как бы ни были они скудны и незначительны в сравнении с естественно-научными идеалами нашего времени. Есть и ещё сторона в византийском влиянии, действовавшая также в смысле разрушения русской непосредственности, хотя, может быть, в менее обширной среде народа: своим образовательным запасом, принесённым на Русь, оно ослабляло народную, местную исключительность. Если припомнить внешние условия нашей древней жизни, то можно сказать, что Византия была для нас тогда единственным авторитетным источником, откуда заимствовались элементы европейской жизни. Знания, получавшиеся из этого источника, впервые выводили русскую мысль из тесного круга домашних понятий и явлений и знакомили с преданиями, идеями и порядками другого исторического мира. Каковы бы ни были размеры и свойства этого знакомства, оно ослабляло главное условие застоя и расширяло умственный взгляд народа.

Все эти влияния Византии проводила в русскую жизнь церковь, сообщая им свой отпечаток. Может быть, это придавало им некоторое однообразие; но это же указывает главнейшие стороны в значении церкви по отношению к умственному развитию народа в древней Руси. Церковь и внешними своими формами и внутренним содержанием разрушала первобытную языческую непосредственность и местную исключительность русского сознания и давала ему новые образовательные элементы, без которых невозможна европейско-христианская жизнь: вотъ простая и ясная сущность её значения в умственном развитии народа. Впродолжение веков церковь была у нас единственною силой, работавшей в этом

смысле: вот особенность её положения в сравнении с церковью на Западе, где кроме неё над тем же самым работало много других сил. Понятно, что действие одной силы ведёт к менее быстрым и сложным результатам. Такова, на наш взгляд, точка зрения, с которой можно было бы или бросить общий взгляд на умственно-образовательные результаты церковно-византийского начала в древней Руси, или предпринять обстоятельный обзор их; может быть, она вернее наперёд составленных вопросов и ответов предохранит исследователя от опасности проглядеть или преувеличить действительно-существовавшее.

Впрочем, мы остаёмся при мысли, что книга г. Щапова именно недостатками своими принесёт пользу и заслужит автору такую же признательность со стороны публики, с какою относимся к ней мы: редко можно встретить исследование, которое резче обнаруживало бы научные потребности русско-исторической литературы. В конце книги автор ярко рисует отсутствие серьёзного духа сомнения в нашей умственной жизни; практическое осуществление этого духа прежде всего желательно в самой исторической литературе.

В. К.

О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и св. синода (988—1738 гг.).

Свящ. М. Горчакова. Спб. 1871 г. [1]).

Короткое предуведомление от сочинителя и довольно пространное введение описывают рождение, воспитание и появление в свет, так сказать биографию обширного учёного труда. Первое, что́ здесь выступает всего яснее, это — почтенное усердие, положенное автором на этот труд. По первоначальному плану занятий, предположенному автором, он думал издать монографию о патриарших и синодальных приказах, почти уже оконченную. Но разные чисто-учёные соображения заставили исследователя отложить на время эту монографию и остановиться лишь на одном из приказов, на патриаршем дворцовом, и обработать вместе с его историей историко-юридическое развитие его ведомства, то-есть института земельных владений высшей правительственной власти русской церкви. Во время двух летних вакаций учёный исследователь, „насколько было у него времени и сил для занятий, старался изучить архив дворцового приказа, собрать в нём сведения о предмете, соединить находимые в них частные однородные факты, найти им общие формулы, составить из формул цельное изображение всем составным частям института патриарших и синодальных вотчин и после того свои результаты проверить новым рассмотрением частностей и подробностей, дополнить и исправить“,—одним словом, говоря мастеровым, прозаи-

[1]) „Православное Обозрение“. 1871. №№ 9 и 11.

ческим языком, прочитать материал, сделать выписки, расставить их по периодам и отделам, устранить неизбежные пропуски и ошибки, и в заключение изложить всё это так, как принято в учёных книгах. Два старые сборника актов о митрополичьих землях как-то затерялись; исследователю „хотелось естественно отыскать их". Он лично беседовал об этих сборниках с Н. В. Калачовым, который пользовался ими, когда они были ещё живы. К счастию, почтенному искателю помог И. Д. Беляев, который владеет копией с одного из сборников. Во введении обязательно и с подробностью указаны разряды, достоинства, число актов, послуживших материалом для исследования: обозначено и то, где можно прочитать эти акты. Оказывается, что их очень много; оказывается, что в управлении своим хозяйством наши древние главы иерархии умели развивать необыкновенную деятельность и письменность своих канцелярий, которая своими размерами вызвала бы удивление исследователя и в гораздо более грамотной стране сравнительно с древней Россией. О существовании этого факта подозревали и прежде: но введение о. Горчакова делает его несомненным.

Поставив себе задачей утверждаться только на ясных указаниях первоисточников и не „наполнять неполноты теориею, не опирающеюся на положительных данных" (стр. 22), исследователь признаётся, что хотя, быть может, он не сумел надлежащим образом воспользоваться своим богатым материалом, однакож его работа, „как первая монография в своем роде, послужит не бесполезным пособием для будущего исследователя того же предмета (стр. 38). Руководимый такими мыслями, автор определяет точку зрения и стороны, с которых он исследует избранный предмет. Он исследует земельные владения высшей правительственной власти русской церкви прежде всего „как имущественный институт, в историческом его проявлении по указаниям науки гражданского права". Притом эти земли были связаны с общим строем государственной жизни народа, имели на себе сёла, деревни, волости, в которых совершались отправления, вхо-

дившие в область государственного права. Наконец, сверх той и другой стороны, рассматриваемые земли имели ещё третью: они были имуществом церкви, следовательно входят в круг предметов церковного права. Итак, земельные владения высшей иерархической власти рассматриваются исследователем как церковно-имущественный и общественно-государственный, или общинно-государственный институт (стр. 3 и сл.). Читатель, специально близкий к делу, руководствуясь указаниями и приёмами автора, без труда может сам, ежели пожелает, расширить программу и ввести в неё новые стороны предмета. Нет сомнения, что на землях митрополитов и патриархов, как и на всяких других, совершались убийства, грабежи и кражи: следовательно они могут быт рассмотрены и с точки зрения уголовного права. Митрополит Киприан в митрополичьем подмосковном селе Голенищеве писал житие св. Петра, переводил Литургиарий и „многи книги своею рукою писаше“, хотя бесспорно такие явления на митрополичьих, как и на других землях в древней Руси, и не были особенно часты: следовательно можно взглянуть на эти земли и с точки зрения истории древне-русской литературы. Без всякого сомнения, будущий исследователь предмета рассмотрит его и с этих сторон, пользуясь указаниями о. Горчакова, но это не отнимет у последнего заслуги почина.

Таким образом, общие очертания, задачи и приёмы исследования ясны; остается устранить некоторые неясности во второстепенных подробностях постановки вопроса. Автор говорит, что земельные владения, им исследуемые, как и всё на свете, первоначально возникли „на юридической почве своего времени“, далее развивались рука об руку с ходом всей юридической жизни русской и кончили своё вековое существование также „по тесной естественной связи с ходом развития русского государства и по началам чисто-русского права“, то-есть были отобраны у церкви государством, хотя нечто подобное бывало и за пределами той почвы, на которой действовало чисто-русское право. Потому, развивает свою мысль автор, исследуемый институт никогда не выделялся

вполне из общего строя русского государства, „всеми сторонами и составными частями соприкасался с общей юридической жизнью народа и с общим устройством государства“, в главных чертах своего строя был „совершенно сходен с другими видами землевладения в древней России и имел особенности только сравнительно с однородными с ним институтами“ (стр. 38 и 39). А на первых страницах введения читаем, что этотъ институт в митрополичий периодъ постепенно развивался „в своих своеобразных отношениях в государстве“; въ период патриарший окончательно сложился „в особое среди государственного строя ведомство, со многими отличительными, ему одному свойственными особенностями“, и после патриархов, вышедши из управления церковной власти, „не потерял окончательно своей особенности и отдельности от других ведомств“. Не трудно заметить, что в основании этих мыслей нет никакого противоречия; некоторая неясность в выражениях объясняется тем, что автор не всегда бережливо черпает из запаса общих учёных мест, в которых выражается, так сказать, философия исследуемого предмета.

Объяснив предмет, материал и общие приёмы исследования, о. Горчаков указывает далее его части. Он утверждает, что развитие изучаемого им института представляет четыре периода, которые отделяются друг от друга „важными переменами“ в истории русского права, государства и церкви. Первый период идёт до учреждения патриаршества (1589 г.), второй до смерти последнего патриарха в 1701 г., третий до учреждения св. Синода в 1721 г. и четвёртый до перехода синодальных вотчин в ведомство Коллегии экономии в 1738 г. Если угодно, не будем спорить, что именно в эти годы совершались важные перемены в русской церкви, подействовавшие и на рассматриваемый институт; будем ждать, как автор выяснит важность этих перемен и их действие на церковное землевладение. Но недоумеваем, какие перемены совершились в промежутке между 1588 и 1590 г., настолько важные перемены, чтобы ставить здесь столб периода в исто-

рии русского права и государства, хотя не думаем, чтобы эти перемены ограничились тем, что дьяки бывшего митрополичьего дворцового приказа должны были теперь привыкать к новому титулу главы церковной иерархии. Точно также и в 1720 и 1722 г. всё повидимому оставалось на своём прежнем месте как в русском праве, так и в государстве, один и тот же великий корабельщик продолжал стоять у руля России. Во всяком случае в основании деления, избранного автором, положена лишь одна из трёх сторон, с которых он рассматривает свой институт, то-есть сторона церковная и притом в довольно внешнем её проявлении. В строе и ходе русской жизни можно заметить глубокие переломы в XII веке, въ XIV, в XV, в начале XVIII, и если земельные имущества митрополитов и патриархов шли в своём развитии рука об руку с этой жизнью, если они всем существом своим были в государстве и народе, по выражению автора, то, разумеется, не могли быть безучастны в этих переломах и не могут быть изучены научно отдельно от последних. Но если отложить в сторону „важные перемены“ и принять указанные годы за внешние хронограни, облегчающие группировку материала, деление автора будет просто и понятно.

Рассмотренные черты введения показывают, с какою силой тяготеют общие места и условные манеры учёного света даже над исследователем, который по знакомству с предметом исследования имеет полное право на совершенно свободную и твердую поступь. Это знакомство выяснено о. Горчаковым во всём исследовании с такою очевидностью, дальше которой было бы трудно и даже излишне итти. Выяснение этого составляло, очевидно, одну из важнейших задач исследователя, которую он, несмотря на её прикладной характер, ни на минуту не выпускал из глаз, даже забывая иногда о других, более прямых и ближе лежащих к основному вопросу исследования. Здесь источник новых недоразумений, которые встречают читателя на дальнейших страницах книги. Первый вопрос, решаемый автором в изучении митрополичьих

земельных владений, состоит в их историческом происхождении и развитии до конца XVI века, когда остановилось их дальнейшее расширение. В этот период, как говорит автор, митрополичьи земли слагались по частям, устроялись и укреплялись за кафедрой, юридически объединялись и сосредоточивались в московском государстве, получая вид особого цельного института. В длинном ряде обширных примечаний и приложений о. Горчаков ставит своего читателя близким зрителем той учёной работы, путём которой он шёл к решению указанного вопроса. Изложив по порядку изданных и неизданных документов собранные им известия о митрополичьих землях, исследователь приходит к заключению, что этих известий достаточно, чтобы с значительною обстоятельностию проследить постепенное увеличение митрополичьих владений, но недостаточно для того, чтобы определить точно „в числовых цифрах" количество этих владений в каждый данный момент изучаемого периода (стр. 63). Действительно, такого определения книга не представляет, а без него, разумеется, трудно с значительною обстоятельностию проследить и самое увеличение митрополичьих земельных имуществ. Автор в потоке своей работы заметил и указал две вполне уважительные причины этого недостатка: это недостаточность известий в источниках, которыми пользовался исследователь, и потом отсутствие способов для точного определения земельных пространств в древней Руси. Читатель, как сторонний зритель, может заметить две другие причины, одна из которых также вполне уважительна по отношению к автору: одна из них—трудность самой задачи, если вспомнить время, которого она касается; другая — некоторые приёмы исследователя. Рассматриваемый трактат в его книге не лишён выводов и замечаний, своей неожиданностию затрудняющих и без того нелёгкий процесс — составить себе по учёному изложению о. Горчакова ясное представление о постепенном земельном обогащении митрополичьей кафедры в древней Руси. Так, описывая положение митрополичьих земель в удельных княжествах, исследователь говорит, что

они естественно тянули к Москве, где сосредоточивалось управление ими, откуда они получали своих посельских и приказчиков, а также защиту для своего населения от посторонних лиц; „кафедра вводила во всех своих владениях более или менее однообразные порядки и устройство, и без сомнения под влиянием юридических понятий московского княжества“; благодаря этому население митрополичьих земель в удельных княжествах привыкало к мысли о слиянии с московским великим княжеством (стр. 53). Этих черт достаточно, чтобы характеризовать не только хозяйственное, юридическое и административное, но так сказать и политическое единство митрополичьих владений, их внутреннюю цельность и связность, как бы ни были они рассеяны по удельным княжествам. И однако-ж немного выше (стр. 44) читаем, что до объединения северо-восточной Руси под властию московского государя земельные владения митрополичьей кафедры в удельных княжествах слагались из отдельных участков, не объединённых законом одного государства, что „каждый участок стоял особо от других участков в одном княжестве и считался не имеющим ничего общего и одинакового с участками, находящимися в других княжествах, кроме имени владельца“. В одном месте очень наглядно развита мысль, что владелец вносил в свои владения не только хозяйственное и административное, но даже некоторое политическое единство, прежде чем объединились княжества, по которым были разбросаны эти владения; в другом месте столь же убедительно доказано, что эти владения ничего не имели общего, кроме имени владельца, и юридическое объединение их мало-по-малу развивалось только „по мере исчезновения удельных княжеств“ в московском государстве. Всего вероятнее предположение, что и здесь нет противоречия, а есть только излишняя трата заученных учёных терминов, от которых отстать нет сил или охоты. Благодаря этому, исследователь становится неясен всякий раз, как покидает описание документов или изложение простых фактов и обращается к объяснению явлений. Так он

желает (стр. 51—53) раскрыть побуждения, по которым „князья и удельные, и московские до половины XVI в.“ помогали митрополичьей кафедре обогащаться земельными приобретениями в такой степени, что в XV в. она имела земли в *удельных* княжествах нижегородском, можайском и друг. Прежде всего нелишним считаем напомнить исследователю древне-русского права, что князь удельный и князь московский до половины XVI в. не всегда представляли величины, несоизмеримые или друг друга исключающие, и что нижегородское княжество в XV в. не было особым удельным: после 1390 года, когда оно было примышлено к московскому княжеству, оно перешло вместе с другими владениями к Василию Тёмному, а последним передано вел. кн. Ивану III. Далее, самые побуждения излагаются не совсем согласно с рутинной житейской логикой. Автор доказывает, что в этих побуждениях сходились удельные и великие князья. Между прочим княжества первых не только ничего не теряли от развития митрополичьего землевладения в их пределах, но даже извлекали из него выгоды, ибо митрополиты успешно заселяли свои земли и своей администрацией снимали с князей, по выражению автора, заботу, едва ли впрочем тяжкую, ставить в них своих наместников и волостелей. Приобретение кафедрой земель в удельных княжествах было выгодно и для великих князей, ибо её управление приучало крестьян этих земель к мысли о соединении с московским княжеством. Таким образом удельные княжества ничего не теряли от рассматриваемого факта в то время, когда теряли самые основы своего существования. Мы понимаем, что исследователь, оглядываясь на минувшее из своей исторической дали, может находить эту потерю выгодной для удельных княжеств и совершенно справедливо сказать, что „московские государи не могли не понимать такого значения митрополичьих земель“; но трудно предположить, чтобы и удельные князья с своей стороны не догадывались об этом значении или чтобы они разделяли патриотический взгляд исследователя. По крайней мере достоверно

известно, что они сильно сердились, когда митрополит покинул Владимир и перенёс свою кафедру в стольный город московского князя.

К сожалению не одни выводы и обобщения, но и элементарные факты стоят у о. Горчакова не всегда прямо. Так, объясняя летописное известие 1096 г. о церкви митрополита Ефрема в Суздале с сёлами (стр. 47, прим. 2), он указывает на другое известие летописи о том, что „бе преже в Переяславле митрополья", где Ефрем построил „великую церковь", и потом прибавляет: „*если* это был Переяславль северо-восточной Руси, Рязанский, *то* построение великой церкви даёт основание полагать, что при митрополии были и земли". Во-первых, неясно внутреннее основание выраженного в этой фразе условия: во-вторых, летопись и церковные историки достаточно ясно показывают, что Переяславль, где временно помещалась кафедра первых митрополитов, был не Рязанский и не Залесский, а Переяславль *Русскій*, то-есть южный, где Ефрем в 1089 году, ещё до своего поставления в митрополита, освятил построенную им большую церковь св. Михаила, не раз упоминаемую в летописи.

Повторяем: описание документов у исследователя может не бояться самых притязательных требований науки, но критика фактов и выводы часто страдают неясностию. В обзоре развития способов, существовавших в древней России для определения пространства земельных владений, о. Горчаков останавливается на *разъезжих грамотах* и утверждает, что они явились впервые в XV веке, потому что древнейшая из них, доселе известная, относится к 1425 г. Но довольно отвлечённое размышление автора (стр. 67 и сл.) едва ли вполне убедит читателя в том, что появление таких грамот в XV в. было „естественным результатом развития прав земельных владений вследствие увеличения народонаселения в государстве, способного и готового обладать землями". Развитием земельных прав нельзя назвать их ослабление, а в XV и XVI в. землевладельческие права не столько вырабатывались и развива-

лись, сколько сглаживались и падали перед государственными требованиями. Повидимому, сам автор разделяет эту мысль, говоря в других местах (стр. 131 и 151), что с половины XV в. начало действовать такое отношение государства к частному землевладению, вследствие которого последнее превратилось из частной собственности в государственное имущество. Зато процесс разъезда или развода земельных владений, как он изображается в разъезжих грамотах, воспроизведён исследователем с фотографической точностью. Также поступил автор с другими актами, имевшими целью описание земельных имуществ, с *писцовыми книгами*. Чтобы не оставить будущему исследователю ни одной неподмеченной черты в наружности этих книг, о. Горчаков не забыл указать, что в начале каждой из них обыкновенно ставилось заглавие и перед исчислением митрополичьих владений обозначалось, что они—сёла и деревни—митрополичьи. Но вместе с этим исследователь пытается раскрыть источники и побуждения, из которых вышли писцовые книги в конце XV в. Здесь встречаем у него несколько любопытных по новизне замечаний о происхождении государственного межеванья в древней России. Митрополит Фотий, вспоминая в своей прощальной грамоте о расстройстве, в каком он нашёл митрополичьи владения при начале своего святительства на Руси, оставляет на волю Божию, что пропало из этих владений „от мору, и от меженины, и от татарских нахожений“. Далее о. Горчаков нашёл правую грамоту времён вел. кн. Ивана III, в которой старожильцы говорят, что они помнят о владельце спорной земли лет за 60, „за два года до великие меженины“. Эти известия документов вызвали исследователя на такие соображения: „Успехи гражданской жизни, развитие права и государственной жизни России создали необходимость в конце XIV или в начале XV в. „меженины в том или другом княжестве“. Развитие государственного склада в великом княжестве московском шло твёрже и успешнее, чем в удельных княжествах. В нём, как и в других княжествах, была „великая меженина“ ранее половины XV в. Но несомненно, что при Иване III состоялась

„общая меженина во всём государстве“ (стр. 76). В другом месте автор замечает, что для устранения неудобств, происходивших от недостатка способов измерения земли в древней России, в XIV в. начались попытки меженины (стр. 65). Прежде всего нельзя не заметить некоторой темноты в выписанных словах: непонятно, почему автор именно здесь указывает на более твёрдое и успешное развитие государственного склада в Московском княжестве сравнительно с удельными, если „великая меженина“ была и в последних, как в первом. Притом неожиданна эта сухость и сдержанность, с какою исследователь выражается о таком необыкновенно важном факте Русской истории, как генеральное государственное межевание в России около половины XV в., особенно если вспомнить, с какими трудностями сопряжено было это даже во второй половине XVIII в. Этот факт, научно поставленный и доказанный, мог бы перейти навеки в русскую историографию с именем автора, как перешёл в механику закон Ньютона. К величайшему прискорбию русской историографии, едва ли не следует отказаться от столь важного открытия, как от плода той опасной критики, с которой исследователь церковных имуществ в древней Руси обращается к изучению своих источников. Нам помнится, что слово „меженина“ не раз встречается в древне-русских летописях и житиях святых; повидимому, оно было очень употребительно и всем понятно в древней Руси и везде значило одно—голод с его обычными следствиями, дороговизной, увеличением смертности и т. д. В таком смысле было оно известно доселе всем, заглядывавшим в древне-русские исторические памятники. Впрочем, слово это не есть достояние лингвистической палеонтологии: из словарей гг. Даля, Рыбникова и др. видно, что оно удержалось доселе в народном языке с некоторыми изменениями в своей этимологической форме и имеет значение засухи, жаркой поры. В древней Руси это слово означало голод, неурожай вообще, происходил ли он от засухи или от других причин: так в Никоновском летописном сборнике читаем о меженине при царе Борисе, происшедшей от неумеренных дождей летом и от слишком ранних морозов

(ч. 8, стр. 47). „Великая меженина“—очень памятное печальное явление в России XV в. В так называемой Софийской первой летописи читаем под 1423 годом: „глад бысть велик по всей Русской земли“. В Софийской второй летописи под тем же годом замечено: „поча быти глад велик, и бысть три лета, люди людей ели, и собачину ели по всей Русской земле; а на Москве оков жита по рублю, а на Костроме по два рубля, а в *Новегороде Нижнем* по двести алтын“. А в так называемой Тверской летописи 1423 и 1424 годы отмечены такими известиями: „бысть меженина в Новегороде Нижнем: купили половник ржи по 100 алтын, по 150 алтын; бысть мор в Кашине и меженина, по полтине купили оково ржи“. Сцены во время мора, которым сопровождался этот голод, живо изображены в рассказах современника Пафнутия Боровского, записанных его учениками. Значит, правая грамота времён Ивана III, составленная почти 60 лет спустя после великой меженины, относится к 1480-м годам. Изложенные замечания с выписками из летописей имеют целию показать, как легко было без учёного напряжения объяснить великую меженину и избежать ошибки; вместе с тем они помогут ослабить впечатление, какое может произвести на читателя рассматриваемое место исследования. У нас вообще привыкли питать мало доверия к изысканиям русской учёности в области русского прошедшего, и нельзя сказать, чтобы эта привычка не имела оснований в значительной части русской исторической литературы. Недоверчивый читатель, просмотрев выписанные выше слова о. Горчакова, уже во всех его учёных выводах будет подозревать великую меженину, т. е. будет несправедлив к автору.

Выше было замечено, что исторические источники не дали о. Горчакову возможности воспроизвести вполне процесс возрастания земельного богатства митрополичьей кафедры. В конце главы об „историческом развитии митрополичьих земельных владений в количестве и объёме“ он представляет добытый им общий вывод: по изученным им писцовым книгам он насчитал за митрополитом в начале XVI в. сёл и дере-

вень 531, дворов в них 1825, людей 1818, земли 57½ сох (стр. 81). Но он прибавляет, что сделанный им счёт далеко не полон: осталось ещё много писцовых книг, не подвергнутых автором изучению, в которых он подозревает сведения о других неизвестных ему митрополичьих землях; некоторые из последних, по его мнению, даже вовсе не были описаны в писцовых книгах; наконец, земельные владения митрополитов продолжали увеличиваться до 1584 г. Потому автор думает, что насчитал не более половины того, чем действительно владела кафедра в конце XVI в. Но даже признав соображения исследователя вполне справедливыми, трудно в наше время взвесить тогдашнее действительное значение высчитанных им цифр и определить, какое место по богатству занимал митрополит среди землевладельческой русской знати XVI в. Исследователь, надеемся, не найдёт с нашей стороны неуместным желание дополнить его исчисление известиями из других источников, не могущих соперничать с его цифрами ни в новизне, ни во внутреннем качестве, но не лишёнными интереса в двух отношениях; они определяют ценность митрополичьих земельных владений во всей их совокупности и притом относятся именно к тому времени, около которого автор положил конец дальнейшему умножению этих владений. Антоний Поссевин определяет ежегодный доход митрополита в 18.000 талеров или почти в 13.000 золотых [1]). Это известие любопытно в том отношении, что им объясняется показание другого иностранца, бывшего в Москве немного позже Поссевина. Флетчер уверяет, что ежегодный доход патриарха с земельных имуществ, не считая других статей, простирается до 3.000 рублей. Флетчер не везде надёжный источник, хотя в своих статистических показаниях не раз ссылается на книги московских приказов; но, сравнивая его известие о земельном доходе патриарха с цифрами Поссевина, можно скорее заподозрить английского посла в уменьшении, чем в преувеличении действительной суммы дохода.

---

[1]) Metropolita ad duodeviginti milia talerorum, qui circiter tredecim avreorum nummum milia faciunt. e reditibus annuis percipere digitur.

Из известий об отношении русского денежного курса к иностранному, какие находим в записках иностранцев, бывших в России в начале XVII века, наприм., Маржерета, Петрея, Олеария, видно, что цена рейхсталера в Москве колебалась между 36 и 45 копейками, а цена червонца—между 54 и 63 коп. Значит, земельные и другие доходы митрополита по показанию Поссевина составляли сумму около 7.000 рублей. Хозяйственное значение московского рубля в конце XVI в. можно восстановить приблизительно по тогдашним рыночным ценам, что труднее сделать с такими неопределёнными единицами, как деревня, село или крестьянский двор. Если цифрам Флетчера нельзя давать цены безукоризненно точных известий, они заслуживают внимания по крайней мере как отражение рассказов людей, имевших короткие связи с московским Кремлём. Притом они указывают на то, в каких размерах представляли тогда в Москве земельное богатство первого иерарха русской церкви сравнительно с крупными землевладельцами из светской знати: Флетчер уверяет, что доход первостепенных князей и бояр, составлявших московскую знать, с пожалованных царём земель, так как наследственных у них осталось мало, простирался до 1.000 рублей в год. Из цифр Флетчера видно также, что патриарх не был в его время самым богатым землевладельцем между русскими епископами: богаче его был владыка новгородский, получавший с своих земель дохода, как сказывали Флетчеру, около 10.000 руб. ежегодно. Это известие находит некоторое подтверждение в ревизии 1744 года: тогда за московским архиерейским домом считалось крестьян 18.681, а за новгородским 21.500 душ.

В рассмотренных частях книги о. Горчакова, т. е. во введении и трактате об историческом развитии митрополичьих земель в объёме, мы следили больше за приёмами автора, чем за его выводами, ибо последних здесь не особенно много. В дальнейших частях их больше, и мы надеемся обзором их убедить читателя, что было бы не совсем справедливо с его стороны искать во всей книге одной меженины.

Читая немногие сравнительно с объёмом книги отступления, в которых о. Горчаков переходит от простого описания и сопоставления фактов к их критике и объяснению их внутренней связи, не раз подумаешь, не виноват ли самый предмет исследования в характеризующем эти скудные отступления недостатке ясности и глубины. Из истории древне-русского церковного землевладения автор выделил свой предмет не поперечным, а так сказать продольным разрезом, предпринял исследовать не всё церковное землевладение в известный, достаточно ограниченный период, а лишь одну довольно тонкую струю его, земельные имущества главной кафедры в русской церкви, но зато от самого зарождения последней и почти до половины XVIII века, т. е. на протяжении семи с половиной столетий. Но существовали ли в этих имуществах выдающиеся особенности, которые оправдывали бы отдельное историко-юридическое изучение их и которые только на них и можно было бы изучить? Митрополиты древней Руси и потом патриархи не были самыми богатыми землевладельцами в церковной среде: некоторые монастыри были богаче их землями; даже между высшими иерархами русской церкви глава её не был самым крупным земельным собственником, уступая в этом отношении новгородскому владыке. Еслибы исследователь задумал определить, как и с какою силой отражалось церковное значение землевладельца на юридическом, экономическом и нравственном быте его вотчин, он также обратился бы прежде всего к монастырям, которые, не уступая высшим иерархам во владельческих привилегиях и других последствиях влиятельного общественного положения, могли проводить в крестьянскую жизнь своё церковное влияние гораздо шире и разнообразнее уже потому, что стояли к ней ближе, и не одна барщина с денежным и хлебным оброком служила взаимной связью обеих сторон. Монастырь был не только землевладельцем, но и земледельцем, являлся не только вотчинником, но и местом богомолья для окрестного населения; последнее ходило туда поклониться гробу угодника и там могло наблюдать уставную дисциплину общинной монастырской жизни; в свою очередь и землевладелец в лице

архимандрита, игумена или строителя, по нескольку раз в год ездил в объезд по своим сёлам для дел монастырских земских, для дозирания хлебного и управы крестьянской, на пиры и братчины к крестьянам ходил и дары принимал. Епископ не мог иметь ни таких близких сношений с своими вотчинами, ни таких разнообразных средств влияния на своих крестьян. Таким образом, главнейшие моменты юридической и экономической истории церковного землевладения в древней России сказывались с наибольшей полнотой не в судьбах вотчин первой церковной кафедры, и на какие бы вопросы эти последние не наводили исследователя, он должен для полноты разрешения их обращаться к другим древне-русским церковным землевладельцам. Легко заметить, что такой документальный учёный, как о. Горчаков, чувствовал себя в великом затруднении всякий раз, как ход исследования приводил его в соприкосновение с другими сферами церковного землевладения в древней Руси, которых он не успел ещё изучить с привычной специальностью.

Итак, изучение земельных имуществ нашей митрополичьей и потом патриаршей кафедры, взятых отдельно, повидимому, не представляет особенного, самостоятельного, с ними одними связанного научного интереса. Отсюда впрочем вовсе не следует, чтобы эти имущества не могли стать предметом особого исследования: возможность книги о. Горчакова, содержащей в себе 558 страниц текста и 271 стр. приложений, достаточно доказывает противное. Учёный, привыкший в подробностях прошедшего наблюдать действие общих исторических условий, может и в изучении названных имуществ поставить вопрос, разрешение которого имеет общий русско-исторический интерес: как соединение собственно-церковных элементов с обще-русскими в нашем церковном землевладении отражалось и какими последствиями обнаруживалось на земельных владениях первого по иерархическому положению церковного землевладельца в древней России? Не надобно только выпускать из глаз действия этих обще-русских исторических условий. Положение церкви среди них и послед-

ствия, вышедшие для неё из этого положения, глубоко поучительны в научном отношении. В начале нашей истории церковь явилась первой организованной общественной средой. В то время, когда светское общество погружено было в хаос случайных, неопределившихся отношений, когда в нём среди розни, внесённой господством мелких частных и местных интересов, ещё недавно пришедших во взаимное столкновение, не существовало крепкой, установившейся, объединяющей силы,—в это время церковное общество представляло сравнительно стройное целое, организованное по готовому образцу, управляемое готовыми твёрдыми законами, вынесенными им из купели. В то время, когда слабые зародыши народного единства только что начали развиваться, когда элементы единства внешнего политического, казалось, готовы были погибнуть среди беспорядочной борьбы, происшедшей от неприменимости узкого родового начала с одной стороны к расходившимся все более линиям княжеского рода, с другой— к управлению обширной страной, нуждавшейся в государственном порядке,—в это время одна церковь хранила в своём учении и устройстве прочное начало и образец объединения и порядка. Церковные недвижимые имущества начали слагаться в то время, когда развитие частного землевладения должно было задерживаться в служилом классе кочеваньем дружины из волости в волость вслед за князьями и неуверенностью в рабочих руках, а в крестьянской среде — обилием пустынных земель, колонизацией, отсутствием безопасности, когда господство родовых отношений сильно мешало утвердиться в обществе даже понятию о частной собственности. Церковь была уже значительным земельным собственником, когда в XIII и XIV вв., при потомках Всеволода III, в северо-восточной Руси появились княжества, основанные не на родовом, а на вотчинном начале, и вместе с тем стала входить некоторая определённость в общественные отношения, бо́льшая осёдлость по крайней мере в среде князей и их служилого класса. Естественно, что некоторые последствия, вытекавшие из практического утверждения права земельной

собственности, должны были обнаружиться прежде всего в церковном землевладении. С большим основанием полагают, что поместье—та форма частного землевладения, которая впоследствии получила такое широкое развитие в государстве и поглотила вотчину,—впервые сложилось у нас на церковных землях. Легко можно допустить предположение, что московское государство, устроясь в XIV и XV веке, для некоторых подробностей управления и суда находило готовые образцы в организации церковного управления и суда. Сам о. Горчаков своими указаниями готов поддержать это предположение. Рассуждая о происхождении писцовых книг, он говорит, что Иван III между прочим в порядке ведения при кафедре митрополита всероссийского описных книг церковным землям „нашёл значительную подготовку для учреждения таких актов, в которых бы заключались сведения о состоянии землевладения во всём государстве“ (стр. 77). Соображая время действия обстоятельств, которые вызвали появление писцовых книг в Московском государстве, автор утверждает, что эти книги явились при Иване III, в конце XV века. Не посягая на неподлежащую спору учёность исследователя, можно однакож заметить, что некоторые следы существования таких книг встречаются и раньше конца XV века, притом с указанием на новое, у автора не отмеченное побуждение, которое их вызвало. В завещании великого князя Василия Васильевича сыновьям, писанном в 1461—1462 году, читаем: „а как почнут дети мои жити по своим уделом, и моя княгини и мой сын Иван и мой сын Юрий, и мои дети пошлют писцов да уделы свои писцы их опишут по крестному целованью, да по тому письму и обложат по сохам и по людем, да по тому окладу моя княгини и мои дети и в выход учнут давати сыну моему Ивану с своих уделов, а переменит Бог Орду, и моя княгини и мои дети возмут дань себе с своих уделов“. Нет основания думать, чтобы распоряжение Василия было неслыханной дотоле новостью, как не была новостью доставка ордынской дани великими князьями. Димитрий Донской, разделив свои владения

в завещании на пять уделов, мог с точностию расчислить долю, какую каждый из них должен был вносить в сумму ордынской дани или выхода. Московские князья вообще любили иметь точные сведения о том, чем владели: у Ивана Калиты был „великий свёрток“, в котором записаны были купленные люди князя. Всё это, впрочем, нисколько не ослабляет вероятности выраженного о. Горчаковым предположения, что при составлении писцовых книг Московского княжества могли служить готовым образцом поземельные описи, составление которых церковное законодательство делало обязательным для митрополитов.

При дальнейшем развитии землевладения в той части Руси, где завязалось зерно Московского государства, исторический интерес землевладения церковного увеличивается. В этой части Руси начали определяться общественные отношения, до тех пор остававшиеся неопределёнными. Особенности страны и ход её заселения русскими дали здесь перевес началу вотчинности над родовыми понятиями, прежде господствовавшими в княжеском владении. Под влиянием этого вотчинного начала северо-восточная Русь в продолжение XIII и XIV в. раздробилась на множество княжеских уделов, наследственных в известных княжеских линиях. Полными представителями стремлений, вытекавших из этого начала, явились князья московские, потомки Даниила Александровича. В продолжение XIV в. они куплей и другими способами примышляют себе сёла, волости и целые княжества. Всем этим они распоряжаются как простые частные землевладельцы, не обнаруживая правительственных, государственных понятий и стремлений. С таким же характером являются и другие князья того времени в северо-восточной Руси. Княжества удельные теряют значение общей родовой собственности, превращаются в частную земельную собственность князя, которой он распоряжается на правах частного владельца. Князь переяславский, умирая бездетным, отказывает свой удел приятелю своему князю московскому помимо старшего дяди, великого князя владимирского; удельный князь

тверской точно также завещает свой удел другому удельному, двоюродному брату, руководствуясь единственно личной своей волей и забывая, что у него остаётся родной брат; один из смоленских князей женится на осиротевшей княжне ярославской и получает в приданое княжество её отца; один из потомков его, князь заозерский, точно также получает в приданое княжество Кубену. Утверждение вотчинности между князьями не осталось без влияния на положение боярства в северо-восточных княжествах: этот класс вместе с князьями становится более оседлым, и землевладение получает более значения в его хозяйственных интересах. В среде боярства XIV в. начинают являться крупные землевладельцы, подобные московскому Свиблу, владевшему не одним десятком сёл и деревень в уездах ростовском, переяславском, юрьевском, устюжском и в Бежецком крае. Но служба попрежнему остаётся главным интересом боярина. Не заметно стремления приобрести помимо службы самостоятельное и видное положение в обществе в качестве землевладельца. Попрежнему право отъехать, уйти от одного князя к другому служит для боярина единственным обеспечением от обид и притязаний со стороны князя. При таком праве и при распределении уделов между сыновьями князя часто случалось, что боярин становился слугою не того князя, во владениях которого находились его земельные имущества. Это вызвало необходимость в точном определении отношений боярина к князю по земле и по службе. Из этих определений, как они излагаются в договорных грамотах князей XIV—XV века, всего яснее видно, насколько интерес службы преобладал в боярской среде над интересом землевладения. После объединения Руси Москвою это обстоятельство оказало решительное влияние на политическую участь боярства. До того времени, пока это решение не настало, указанное обстоятельство мешало боярам приобрести экономическую самостоятельность в отношении к князю. Едва ли можно предполагать значительное развитие землевладения в других классах светского общества того времени. В XIV в. встречаются богатые купцы—землевла-

дельцы, подобные московскому Некомату или нижегородскому Тарасу Петрову Новосильцеву. Но такие примеры очень редки; притом и тогда, как видно, со стороны князей действовало стремление, впоследствии проникшее и в законодательство, переводить землевладельцев неслужилых в служилый класс: упомянутый Тарас Петров Новосильцев за услуги, оказанные нижегородскому князю Димитрию Константиновичу, был пожалован боярством. Наконец, известны исторические и экономические условия, не позволившие развиться классу крестьян-собственников в древней Руси. Таким образом, в светском русском обществе XIV—XV в. только у служилых людей высших чинов можно искать значительного развития частной земельной собственности. Но различные исторические условия, не мешая образованию даже крупного землевладения в боярстве, неблагоприятно действовали на его юридический характер, не позволяли окрепнуть праву земельной собственности в этом классе. Московское боярство сложилось из разнообразных сбродных элементов, собравшихся в Москву с разных сторон, иногда издалёка, в продолжение того периода, когда северо-восточная Русь собиралась около Москвы. Между способами приобретения земельной собственности в этом боярстве едва ли не преобладающее значение имело княжеское пожалование. Рассматривая по родословной книге состав московского боярства в XVI веке, не трудно заметить, что самый крупный элемент по числу фамилий составляли потомки русских князей Рюриковичей, превратившиеся из удельных самостоятельных владельцев в слуг своих родичей князей московских. При этом превращении они удерживали за собой часть своих измельчавших удельных вотчин, отбиравшихся в пользу великого князя московского, но удерживали их также в виде пожалования от последнего, и это в юридическом отношении уравнивало их родовые вотчинные владения с теми землями, которыми московский государь жаловал служилых выходцев, приезжавших в Москву из Орды или Литвы. Можно думать, что эти обстоятельства не остались без действия при опре-

делении общественного и политического положения боярства в Московском государстве. Это положение определилось под влиянием двух движений,—борьбы, которую боярство вело с московскими государями в XV—XVI в. без достаточных средств для успеха, и потом под влиянием всё возраставшей государственной потребности в низших служилых людях и в средствах для их хозяйственного обеспечения. Последствия этих движений сильно отразились на юридическом положении боярских вотчин. Сперва служилые князья, потом бояре были ограничены в праве распоряжаться своими вотчинами, и это ограничение сделано во имя государственного интереса. В частную земельную собственность боярина внесён был государственный элемент, обязательная служба для владельца, и эта собственность, таким образом, превратилась из полной в условную, из владения на частном праве во владение на праве государственном,—вотчина приблизилась по своему юридическому характеру к тому типу землевладения, какой представляло в государстве поместье. Среди этого превращения частной земельной собственности в государственное имущество и собственников в вечно-обязанных служилых людей одно церковное землевладение нашло в себе и обществе достаточно средств, чтобы удержать свой первоначальный юридический характер, хотя указанная государственная потребность и на него простирала своё действие; одно духовенство на соборах XVI века могло выставить такие исторические и юридические основы своей земельной собственности, которые устояли и против государственных соображений, и против экономических интересов боярства, и против нападений со стороны известного круга в среде самого духовенства.

Таким образом, земельная собственность древне-русской церкви в ходе своего образования представляет много любопытных особенностей сравнительно с другими видами частного землевладения в древней Руси; по характеру и общественному положению своих владельцев она должна была представлять в своём строе и отношениях такие черты, которых нельзя искать на землях других частных древне-рус-

ских владельцев; наконец, по своим юридическим и историческим основам и по положению в государстве это был единственный вид частной земельной собственности с прочным правом владения, по крайней мере в то время, когда определялись положение и отношения различных общественных элементов в Московском государстве. Таковы стороны, с которых изучение церковного землевладения в древней Руси может открыть исследователю много поучительных выводов. Если не вполне, то некоторыми чертами эти особенности должны были находиться и в судьбе земельных имуществ древне-русской митрополичьей кафедры. Первая из указанных сторон изображена о. Горчаковым не вполне удовлетворительно: его очерк происхождения и развития митрополичьих земель в объёме не только не ставит последних в историческую связь с общими условиями и ходом развития частного землевладения в древней Руси, но не даёт читателю достаточно ясного и цельного представления даже о постепенном образовании и объёме земельной собственности всероссийского митрополита в известные периоды. Надобно думать, что главной и даже единственной причиной этого недостатка была скудость сохранившихся исторических источников. Зато автор посвящает большую часть своей книги всестороннему изображению внутреннего строя и управления исследуемых земельных владений с их административными, финансовыми и судебными отношениями к государству. Чтобы видеть, какими последствиями обнаруживались церковный характер и иерархическое положение владельца на строе и управлении этих владений, воспользуемся двумя отделами книги о. Горчакова, описывающими этот строй и управление в период митрополичий и потом патриарший, то-есть в то время, когда рассматриваемыми имуществами заведывала русская церковь в лице своего высшего представителя, а не светская власть посредством известных церковно-административных учреждений (стр. 169—307 и 345—442). При этом легко будет заметить, какие стороны юридического быта этих владений развиваются и какого рода интересы наиболее занимают по

отношению к ним правительственное внимание иерарха-владельца. Постараемся сделать этот обзор выводов исследователя возможно короче, внося в него наиболее существенные для нашей цели черты.

Кафедра всероссийского митрополита одною частью своих земель владела и пользовалась непосредственно, в другой части уступала известные владельческие права другим установлениям или частным лицам. К первому разряду земель относилась и „домовая пашня“ митрополита, большая часть которой к концу митрополичьего периода сосредоточивалась на митрополичьих землях, ближайших к местопребыванию владельца. Впрочем, автор говорит мало об этом разряде земель. Далее, кафедра отдавала свои земли на известных условиях частным лицам в пожизненное владение или в поместья, даже продавала во владение наследственное, но с тем, чтобы уступленная земля возвратилась к собственнику, как скоро род купившего её „изведётся“. Большая часть земель находилась в бессрочном владении так-называемых „домовых митрополичьих монастырей“ и крестьянских обществ. Существенные особенности, отличавшие домовый митрополичий монастырь от других, состояли в том, что он находился не на своей, а на митрополичьей земле, и настоятель его не избирался братией, а назначался митрополитом. В половине XVI в. таких монастырей было 35. Поселения крестьян на митрополичьих землях носили названия починков, займищ, деревень, сёл и т. д. Здесь можно заметить мимоходом о некоторых любимых приёмах автора. Мы видели, например, что он расположен к общим местам более, чем сколько нужно для разрешения задач учёного исследования. В описании форм крестьянских поселений найдём известия, что по свидетельству летописи русские славяне жили сёлами ещё до призвания князей и что каждый поселенец на митрополичьих землях, садясь на определённой местности, ставил себе двор; но отличие одной формы поселения от другой не указано ясно. Притом некоторые пристрастия идут за пределы излишнего, не только не объясняют, но даже запутывают дело.

Автор очень любит этимологические толкования. По одному примечанию (на стр. 195) видно, что он принадлежит к той школе филологов, которые производят слово „село“ от глагола „селиться“. Такая филология очень опасна в исторических и юридических изысканиях. Автору не нравится слышанное им от кого то производство слова „деревня“ от слова „дерево“; он предпочитает производить его от корня глагола „драть“ и сближает с словами „дерень“, „одерень“, означавшими на юридическом языке древней Руси приобретение в бессрочное и неотъемлемое владение; и „и деревня, продолжает он, как учреждение юридическое, была предметом бессрочного и неотъемлемого владения её обывателей“ (стр. 201). Читатель недоумевает, как могли быть предметом такого владения, например, деревни, поставленные крестьянами на владельческих землях, с которых землевладелец мог сослать обывателей по закону каждый год в известный срок. В изложенном ниже юридическом определении деревни сам автор показал, как бесплодно филологическое объяснение, так сказать, снятое со слова на глазомер: „итак, рассуждает исследователь, деревнею в древней Руси называлось такое крепко установленное земледельческое поселение, во владении и пользовании которого находился определённый участок земли, состоявшей в бессрочном распоряжении обывателей его для земледелия“ и т. д. Здесь нет уже самой существенной черты, напоминающей этимологическое происхождение деревни от слова „одерень“, именно неотъемлемости деревни у её обывателей; зато трудно понять, какие явления обобщены словами „крепко установленное“, зная, что деревни исчезали так же легко, как и возникали, и в юридических актах довольно часто встречается выражение: „пустошь, что была деревня“ такая-то.

По мере усложнения дел и отношений чисто светского характера, входивших в ведомство митрополичьей кафедры, расширялся круг состоявших при ней служилых светских людей, бояр, детей боярских, дьяков. Происхождение и образование этого класса не раскрыто исследователем с достаточ-

ной ясностью. До половины XVI в. митрополиты принимали на свою службу и меняли этих людей так же свободно, как удельные князья. В силу соборного постановления 1551 г. перемены в составе митрополичьего боярства кафедра не могла делать „без царева ведома". В XV в. в случае войны старые бояре митрополита, предки которых служили кафедре до митрополита Алексия, выступали в походах под начальством особого митрополичьего воеводы; другими начальствовал воевода великого князя. Из этих служилых людей назначались кафедрой органы для управления её земельными имуществами в делах недуховного характера. Во главе этого управления стоял при кафедре *дворецкий*. Автор только предполагает, что появление этой должности при кафедре было подражанием устройству княжеского двора, но ничем не подтверждает, что это было так, а не наоборот. В известных источниках она является впервые в половине XV века, когда её занимал чернец; впоследствии эта должность поручалась большею частью светским лицам. Она выделилась из должности казначея, ведавшего митрополичье хозяйство. Прибавим к этому для сравнения, что при новгородской архиепископской кафедре казначеем впервые был назначен инок при архиеп. Симеоне (1415 — 1421), „якоже и лепо есть", прибавляет биограф архиеп. Евфимия: „прежде бо того в древних вси казначеи миряне бяху". При дворецком по управлению землями митрополита состояли дьяки и подьячие, называвшиеся дворцовыми. С XV в. одною из форм вознаграждения служилых людей за службу является в актах раздача митрополичьих земель в поместье, которой, как и назначением на должности сельских управителей, заведывал дворецкий.

Управление кафедры предоставляло крестьянам, селившимся на её землях, средства и право формироваться в сельские общества и заботиться о поддержании этих обществ; последнее, заметим мимоходом, автор подтверждает тем, что если крестьянин выходил из села, огноивши свой двор, оставшиеся крестьяне села, по распоряжению уставной митропо-

личьей грамоты, должны были ставить тот двор на свой счёт. „чтоб берегли друг друга, чтоб двор не огноен был". Очевидно, здесь землевладелец, которому принадлежал огноенный двор, заботится только о своём интересе. Община сама заботилась о раскладке отведённой ей земли между своими членами. Эта раскладка „всегда в митрополичьих землях лежала на обязанности самих общин". Впрочем, в другом месте автор говорит, что деятельность их в этом отношении находилась под контролем управления кафедры, и из напечатанной в приложениях грамоты митрополита Симона (стр. 41) видно, что кафедра иногда сама распоряжалась раскладкой: узнав, что крестьяне одного митрополичьего монастыря пашут пашни на себя много, а на монастырь мало, митрополит указывает перемерить землю и отвести крестьянам во всех трёх полях по 5 десятин, а на монастырь пахать шестую десятину. Волостями и сёлами митрополита управляли волостели, приказчики и посельские, которых для домовых земель назначала кафедра, а для земель домового монастыря—настоятель с братией. Чтобы составить понятие об условиях, на которых митрополичьи крестьяне пользовались землёй, перечислим повинности, которые отбывали крестьяне домового Константиновского монастыря по уставным грамотам в XIV и в начале XVII в. По уставной грамоте митр. Киприана крестьяне монастыря обязаны были—„большие", т. е. зажиточные, имевшие лошадей, церковь наряжать, монастырь и двор обводить тыном, хоромы ставить, игуменскую часть пашни пахать взгоном, сеять, жать и свозить, сено косить десятинами и на монастырский двор свозить, сады оплетать и на невод ходить, пруды прудить, на бобров ходить, на Велик и на Петров день приходить к игумену с приносами, что у кого в руках; пешеходцы, неконные крестьяне, к празднику рожь мололи, хлеб пекли, солод мололи, пиво варили, давал игумен лён на село—и они пряли; на праздник все люди давали игумену яловицу; приезжал игумен в село на братчину—давали овёс коням его. По уставной грамоте патриарха Иова 1602 г. крестьяне того же Константиновского

монастыря пашню пахали на монастырь по десятине на выть (крестьянский участок), сеяли монастырскими семенами, хлеб с тех десятин жали, на монастырское гумно возили и складывали, молотили и в житницы ссыпали, навоз возили на монастырскую пашню с дворов конюшенного, коровьего и гостинного на выть по 80 телег, сено косили для монастыря по 20 копён на выть, за сыр, масло, яйца, пшеницу, коноплю и овчину платили оброка в монастырскую казну по полтине с выти, делали крупы и толокна на выть по 4 четверти гречи или овса из монастырского хлеба. При поездках в Москву архимандрит брал раз в год по подводе с выти. Крестьяне также ронили и возили лес, где промышлял его архимандрит, и тем лесом монастырь городили и кельи ставили, делали дворы конюшенный, коровий и гостинный, городили огороды и гумна монастырские, возили дрова по сажени на выть. Крестьяне другого домового Новинского монастыря сверх повинностей и оброка монастырю платили ещё игумену на платье по 10 денег с выти. Разумеется, крестьяне кормили также управителей, данных им кафедрой или домовым монастырём, приказчиков, посельских, доводчиков, например, осенью платили посельскому с выти 9 денег, доводчику алтын, приказчику с доводчиком вместе куря и поярок шерсти или вместо того по деньге с выти. Кроме суда, домашние дела и хозяйственные сделки крестьян между собою, даже их неаккуратность служили источниками дохода для кафедры, домового монастыря или их чиновников: выдавая дочь замуж за человека из другой волости, крестьянин платил гривну приказчику; если женился сам, платил доводчику алтын или приказчику 10 денег; продавая или меняя лошадь или корову, он платил приказчику „явки“ две деньги; переходя из двора во двор на житьё, платил также 2 деньги; если, переходя из двора во двор на житьё, того же дня не заявлял об этом приказчику, платил последнему 4 алтына ½ деньги протаможья; варя пиво, платил явки с четверти по деньге; сварив без явки, платил пени монастырю по 2 р. (стр. 217—225).

Переходим в XVII век и встречаем такие новые черты в

устройстве и управлении патриаршіх вочтин. Система приказной администрации, существовавшей в государстве, проникла со всеми своими особенностями и в ведомство патриарха: и у патриарха явились приказы: патриарший Разрядный, патриарший Казённый, патриарший Дворцовый. В последнем сосредоточено было управление патриаршими вотчинами. Автор относит его учреждение к 1613—1620 г. В этот приказ перешёл служебный состав прежнего вотчинного управления: во главе приказа стоял дворецкий, которому подчинены были дьяки, сначала один, потом двое, подьячие, стряпчие и пристава приказа. Дворецкий обыкновенно назначался государем и получал от патриарха определённое денежное и хлебное жалованье. По указу патр. Адриана 1698 г. денежный оклад дворецкого простирался до 400 руб. Точно также определённые доходы шли в пользу прочих чиновников приказа. Как у царских приказов, так и у патриаршего Дворцового при входе стояли площадные дьяки, считавшиеся приписанными к учреждению, но без жалования: они кормились тем, что писали бумаги для людей, имевших дела в Дворцовом приказе, и прикладывали руки за неграмотных. Как и прежде, земли патриарха состояли или в непосредственном управлении и пользовании кафедры, или в управлении домовых монастырей, или, наконец, в поместной раздаче. В домовых вотчинах от земли, отданной во владение крестьянам, отделялась „десятинная“ пашня, которая обрабатывалась на патриарха „задельем“, барщиной. В 1700 г. домовой десятинной пашни было 1142 десятины. Вотчинное управление кафедры продолжало принимать крестьян на патриаршие земли и в XVII в. и притом в таких размерах, что правительство должно было особыми мерами сдерживать побеги крестьян от помещиков на земли патриарха и облегчать возвращение их к прежним владельцам. До 1641 г. начать в патриаршем Дворцовом приказе иск против приказных патриарших людей за принятие беглого крестьянина можно было только в три срока в году. В 1641 г. по просьбе дворян эти сроки были отменены. Дворяне жаловались на

судебные льготы в патриарших вотчинах. Очевидно, условия пользования патриаршей землёй манили к себе крестьян с вотчин и поместий других владельцев. Кафедра менее последних чувствовала недостаток в крестьянских рабочих руках. Этим объясняется отчасти, почему вотчинное управление кафедры и после указа о прикреплении крестьян менее других владельцев стесняла переход своих крестьян на чужие земли и с меньшим усердием отыскивала ушедших. О. Горчаков уверяет, что он не встретил ни одного акта, из которого можно было бы видеть, чтобы управление кафедры в XVII в. отыскивало или насильно возвращало на патриаршие земли убежавших крестьян (стр. 380). Управление и повинности крестьян в общих чертах изменились в XVII в. очень мало как в домовых патриарших вотчинах, так и на землях домовых патриарших монастырей. Число последних уменьшилось: из 35 домовых монастырей всероссийского митрополита уцелело после смутного времени только 13; зато в продолжение XVII в. приписалось к патриаршему дому 11 новых, которых не было в числе прежних домовых монастырей кафедры. В актах XVII—XVIII в. автор нашёл более точные известия как о размерах патриарших вотчин, так и о количестве денежных и хлебных доходов, которые получала с них кафедра. В 1666 г. в патриарших вотчинах значилось по приказным бумагам 6432 двора; Котошихин считал за патриархом более 7000 дворов. В начале XVIII в. патриарший Дворцовый приказ считал в своём ведомстве по 1701 год 9326 дворов, мужских душ в них 26.899, из них 16.103— на домовых патриарших землях, остальные—на землях домовых монастырей. Сумма денежных доходов патриарха простиралась до 30.000 руб. в год, хлебных с десятинной пашни и оброчного хлеба до 9000 четвертей, не считая столовых запасов, яиц, масла и т. п., доставлявшихся на патриарший двор с вотчин в большом количестве (стр. 343—345, 429).

Легко заметить, в каком направлении шло дальнейшее развитие патриарших вотчин. Постановления соборов XVI века не закрыли кафедре всех путей к увеличению её земельного

богатства, и патриарх, подобно прежнему всероссийскому митрополиту, принадлежал к числу немногих богатейших землевладельцев на Руси. Хозяйственный интерес оставался по прежнему единственным, который преследовала кафедра в отношении к крестьянам своих земель. Хозяйственные отношения кафедры к крестьянам определялись точнее; вотчинная администрация стала сложнее, получила большую бюрократическую выработку. В приложениях к исследованию о. Горчакова напечатан документ, из которого видно, какого вотчинного управителя кафедра считала хорошим. В 1697 г. патриарх назначил правителем Дворцового приказа монаха Иосифа Булгакова со званием дворцового судьи. Через полгода патриарх пожаловал его хорошим денежным окладом в награду за „его службу и многое радение к дому Пречистые Богородицы и за денежную и хлебную многую прибыль, которую показал он“, и этот указ патриарх велел записать в приказную книгу, чтобы „ему, судье Иосифу, и впредь надёжно было к дому искать прибыли, а иным на то смотря также раденье казать и прибыли искать“. Вместе с тем во всех подробностях вотчинное патриаршее управление ещё более приблизилось к строю государственной фискальной администрации: в административных приёмах и целях трудно было найти разницу между приказами патриаршими и теми, в которых сосредоточено было управление государственными делами светского общества.

Уже в XVI в. эта церковная администрация производила на некоторых представителей общества впечатление, соответствующее её характеру. Одинаковые вотчинные стремления проводились из домов не только всероссийского митрополита, но и других высших иерархов русской церкви, не только в канцелярии митрополичьего дворецкого, но и в других сферах церковного управления,—и ростовский священник Георгий Скрипица после собора 1503 г. в послании своём к русским святителям упрекал их в том, что они не наблюдают за священниками и не посылают в города и сёла испытывать, кто как пасёт церковь Божию, а надзирают за свя-

щенниками по царскому чину, чрез бояр, дворецких, недельщиков, тиунов, доводчиков, ради своих прибытков, а не по достоинству святительскому, что должно пасти церковь священниками благоразумными, а не мирским воинством. Внешний вид церковного управления в XVII веке еще более оправдывал подобные упрёки. Явившись организованным обществом в то время, когда светское общество еще не вышло из хаоса, церковь в своих внешних отношениях принимает потом формы того устройства, какое сложилось в последнем, является во всеоружии того административного аппарата, посредством которого двигалось государственное управление. И не только форма, но и дух московского царского приказа проник в церковное управление. О митрополите XV века, о Фотии, летописец мог написать, что он закреплял за собой доходы, пошлины, земли, воды, волости и сёла на прокормление нищих и убогих, потому что церковное богатство—нищих богатство. В архивных бумагах вотчинного патриаршего управления автор нашёл много доказательств хозяйственной заботливости и распорядительности кафедры; но не видно, чтобы она оставила в своих архивах и вотчинах много следов деятельности в том направлении, какое летописец заметил в хозяйственных заботах митрополита Фотия. Из этого вышло, что в 1762 г. правительство, собираясь отобрать церковные недвижимые имущества, почло себя в праве выразить „соболезнование“, что церковное управление мало думало об осуществлении правил, которые бы в простом народе учреждением благоразумно воспитанных и обученных священников прямой путь к исправлению нравов открывали.

Вместе с перенесением в церковную администрацию форм и духа учреждений, посредством которых действовала светская власть, в XVII в. обнаружился во внешних отношениях церкви другой факт, полное подчинение церковного управления светскому. В ведомстве патриарших вотчин этот факт повёл к любопытным переменам. Во время междупатриаршества блюстителем патриаршего престола для ведения текущих дел кафедры становился митрополит крутицкий; но

делами патриаршего Дворцового приказа он управлял не от себя, а от имени и по указу царя; последний иногда непосредственно давал указы по делам патриарших вотчин, поручая исполнение их своим сановникам (стр. 350). Назначение дворецкого зависело в большей части случаев уже не от патриарха, а от царя. Класс служилых людей патриарха, дворян и детей боярских в XVII веке достиг значительных размеров: в 1690 году их считалось 209 человек. Они получали поместья из земель патриарха. Поместная система в патриарших вотчинах усвоила те же формы и основания, какие действовали в испомещении служилых людей государя. Но вместе с тем и патриаршие дворяне и дети боярские стали в положение государственных служилых людей; на них и патриарших землях, которыми они владели, лежала та же обязанность государственной службы, как и на других помещиках. Таким образом, по выражению о. Горчакова, поместная система в патриарших вотчинах превратилась из частного вотчинного учреждения в государственный институт, состоявший в ведении патриарха (стр. 399). Эти и другие подобные перемены в положении патриарших вотчин привели исследователя к выводу, что „церковно-имущественное значение этих вотчин исчезло совершенно, что они к концу XVII в. не были уже частным земельным имуществом кафедры, а превратились в государственное достояние, пожалованное патриарху во владение и управление на время его служения.

Автор объясняет это превращение рядом соображений, заслуживающих внимания (стр. 310 — 329). Воспроизводим главнейшие черты его рассуждения. В сане патриарха всероссийского совмещались две стороны, два элемента церковной власти: патриарх был и епархиальным архиереем в патриаршей епархии и высшим правительственным лицом в поместной русской церкви. С учреждением патриаршества вотчины патриарха стали принадлежать „не епархиальной кафедре московского архиерея, а патриарху, как высшей церковной власти в поместной русской церкви“. Вместе с этой пере-

меной в церковно-юридическом значении земельных владений патриарха они получили и новое название „патриарших вотчин“. Вместе с названием они стали разделять и судьбу других вотчин в государстве, а эти вотчины, вследствие изменения отношений государства к частному землевладению, тогда уже находились в одинаковом положении с поместьями, потеряли значение частной земельной собственности и по служебному государственному значению своих владельцев сделались владениями на государственном праве. Далее цари, жалуя кафедре различные льготы на её земли, постепенно развивали в себе мысль, что они жалуют ей и самое право на владение этими землями. Этому помогло ещё прикрепление крестьян. Благодаря ему кафедра потеряла право свободно распоряжаться своими землями, на которых жили крестьяне. Отношение между крестьянами и управлением кафедры стали теперь определяться под влиянием государственного закона. Притом в состав владения закон внёс, сделал объектом вотчинного права и прикреплённых крестьян. Но государство никогда не могло выпустить последних из своего распоряжения, оставить их в положении „исключительно частной, имущественной собственности“ их землевладельцев. Следовательно, чрез крестьян оно получило право распоряжаться для своих целей и теми вотчинными землями, с которыми они были неразрывно связаны указом о прикреплении. Так руке государства открылся юридический доступ и к патриаршим землям. С другой стороны, исторические события, следовавшие за прекращением династии Рюриковичей, открыли патриархам чрезвычайную государственную деятельность. Благодаря этому патриарх сделался первым после царя лицом в государстве, получил значение высшего государственного сановника. „Но в XVII веке“, говорит о. Горчаков, „всякий государственный сановник владел вотчинами только потому, что служил государству“, и его вотчины имели значение не частной, а государственной собственности. Следовательно и патриаршие вотчины в юридическом смысле были равны вотчинам и поместьям служилых людей государя. Наконец, патриар-

шими вотчинами, как особой территориальной областью в государстве, управлял патриарший Дворцовый приказ, по устройству и ведомству своему совершенно сходный с государственными учреждениями этого рода. Вотчинное и государственное управление вполне совпадало в патриарших вотчинах. Естественно, заключает автор, что цари XVII века стали смотреть на патриаршую вотчинную область, как и на прочие области государства, состоявшие в управлении того или другого приказа.

Легко заметить, что здесь среди замечаний верных и не новых есть доводы, из которых одни не объясняют разбираемого факта, а сами им объясняются, другие имеют к нему внешнее и случайное отношение, и что вообще вся аргументация страдает некоторой искусственостью и не захватывает корня вопроса. Впрочем, мы далеки от мысли разбирать воззрения автора на историю отношений представителя русской церкви к представителю русского государства. Это вопрос сложный и по выходе рассматриваемой книги остающийся нерешённым. Заметим только, что в судьбе патриарха с его вотчинами сказалась судьба русской церкви с её поземельными и другими отношениями, а условия, определившие отношение этой церкви к государству, начали действовать и обнаруживаться не в патриарший период. Можно думать, что самый характер отношений церковных землевладельцев к их земельным имуществам и жившим на них крестьянам не остался без влияния на их судьбу. Таким образом, переход в собственность государства патриарших вотчин, повидимому имевших вместе с другими церковными землями столь прочные юридические основы, после приведённых мыслей автора требует дальнейшего разъяснения. Мало помогает этому разъяснению и изложенный в другом месте книги (стр. 132—168) трактат о теории неотчуждаемости церковных земель, сложившейся, по мнению автора, к началу XVI века: на происхождение и значение этой теории он смотрит довольно смутным и односторонним взглядом. Но внутренний строй и управление патриарших вотчин, юридические и экономические

отношения, в них действовавшие, изображены гораздо лучше: читатель найдёт здесь много любопытных указаний и новых фактов, хотя и не встретит ответа на некоторые, возникающие при чтении вопросы, и это исследование могло бы стать капитальным, еслибы внесено было больше осмотрительности и отчётливости в анализ фактов и больше ясности и отделки в изложение.

К.

Аллилуиа и о. Пафнутий [1]).

Позвольте, многоуважаемый редактор, обратиться в вашу газету, как орган общественного мнения, с диагностическим описанием одной келейной болезни и вместе с кратким разъяснением одного полузабытого архивного вопроса. Несколько недель тому назад в вашем издании помещено было довольно точное описание происходившего в здешнем университете диспута, на котором я защищал свою диссертацию о древнерусских житиях. В этой диссертации, между прочим, подвергнуто разбору известное житие преп. Евфросина Псковского, написанное в XVI в. священником Василием. В этом житии, как вы знаете, есть подробный рассказ о любопытном и жарком споре, который происходил между Евфросином и представителями псковского духовенства и предметом которого был вопрос о том, следует ли петь сугубое „аллилуиа“, как это делал Евфросин в своём монастыре, или должно троить эту церковную песнь, как утверждала противная сторона. Церковные историки думали, что подробности этого рассказа в житии вымышлены биографом Василием, что он клеветал на греческую церковь и на Евфросина, уверяя, будто последний двоил „аллилуиа“ и руководствовался при этом обычаем греческой церкви. Василий был не первым биографом Евфросина. Я имел в руках повесть первого жизнеописателя этого пустынника, остававшуюся неизвестной церковным историкам. Она описана и разобрана в моей книге. Сравнив эту

---

[1]) Письмо редактору „Современных Известий“. „Современ. Изв.“ 1872, № 75.

повесть с сочинением Василия, я указал, что последний почти дословно выписал свой рассказ о споре из первой и следовательно не может быть обвиняем в вымыслах. Потом известиями других источников я доказал, что нет достаточных оснований сомневаться в содержании и главных обстоятельствах псковского спора, как рассказывает о нём первый биограф, писавший в монастыре Евфросина немного спустя после кончины пустынника со слов его сподвижников: из этих известий видно, что и в греческой, и в русской церкви XV века и двоили и троили „аллилуиа“, и что в России двоение делалось в некоторых местах даже раньше XV века. Я не имел при этом в виду отношения разбираемого вопроса к церковному богослужению или церковному уставу, не думал о существующих теперь разногласиях об этом предмете: я строго держался в пределах задачи, какую поставил для своего исследования, ограничился исключительно критикой исторического памятника и восстановлением исторического факта давно минувшего времени.

Но в последнем выпуске (№ 11 от 12 марта) *Московских Епархиальных Ведомостей* какой-то г. Б. напечатал рассказ *О воскресных собеседованиях в Чудове монастыре*. Собеседования ведёт о. Пафнутий. В этом рассказе читаем об одном из этих собеседований, при котором присутствовал автор г. Б.

„Доказав правильность троения (песни „аллилуиа“) по древним рукописным памятникам времён митрополита Фотия, а также по вывезенной из Соловецкого монастыря св. Филиппом митрополитом рукописи, хранящейся в Московской Синодальной ризнице... о. Пафнутий присовокупил, что за сим не странным ли оказывается, что в стенах Московского университета как бы поддерживается заблуждение раскольников, и для небывших на прежних беседах поясним: *оправдание* двоения „аллилуиа“ изложено между прочим в недавно защищавшейся в зале университета диссертации г. Ключевского *Сказания о житиях Святых в историческом отношении*, в которой г. Ключевский в разборе жития св. Евфросина Псков-

ского, ссылаясь на виденный будто бы г. Тихонравовым письменный документ в библиотеке Троицкой Лавры, утверждает, что двоение „аллилуиа“ употреблялось еще в 12 веке“.

Больше ничего не сказал о. Пафнутий о странной моей апологии раскольнического сугубого „аллилуиа“, то-есть ничего больше г. Б. не поведал читателям *Московских Епархиальных Ведомостей* из беседы о. Пафнутия об этой апологии. О. Пафнутия, восставшего против моих раскольничьих наклонностей в стенах Чудова монастыря, я не имел удовольствия видеть в числе моих учёных оппонентов на диспуте. Я даже не знаю, точно ли передал г. Б. его замечания, посвящённые моей книге. Но я буду предполагать в выписанных строках г. Б. воспроизведение слов о. Пафнутия: если это воспроизведение неверно, о. Пафнутий или редактор *Московск. Епарх. Ведомостей* восстановит искажённую истину, и ответственность за искажение падёт на голову насмешливого г. Б.

Во-первых, нападая перед своими слушателями на одно место в моей книге, о. Пафнутий (или г. Б.) не знал, как эта книга называется. Заглавие, выписанное г. Б. в приведённых строках его, не имеет смысла, потому что оно создано разумением о. Пафнутия или г. Б., а не мной. Моя книга носит заглавие, напечатанное на первой странице и доступное простому невооружённому глазу: *Древне-русские жития святых, как исторический источник.*

Во-вторых, читая книги, о. Пафнутий или г. Б. затрудняются понимать настоящий смысл читаемого. В моей книге изложено не *оправдание* двоения „аллилуиа“, как надумались о. Пафнутий или г. Б., а высказаны соображения, основанные на исторических источниках и доказывающие, что в русской церкви XV века существовало разномыслие в вопросе об „аллилуиа“. Я был и остаюсь равнодушен и к двоению, и к троению, вообще к количеству „аллилуиа“, и в этом равнодушии меня поддержат из своих блаженных загробных жилищ Димитрий Грек и архиепископ Новгородский Геннадий: „ино как ни молвит человек тою мыслию, так и добро“,—

писал об „аллилуиа“ первый ко второму, и второй вполне согласился с первым. Повидимому, этим количеством в сознании о. Пафнутия или г. Б. исчерпывается весь смысл церковной песни. Если бы г. Б. или о. Пафнутий были вместе с биографами Евфросина явлениями XV—XVI века, я, по долгу специалиста, не отказался бы объяснить критически их отношение к „аллилуиа“, но по прежнему не стал бы ни обвинять, ни оправдывать их в таком отношении.

В третьих, содержание прочитанного, неточно понятое, недостаточно долго и исправно держится в памяти у о. Пафнутия или г. Б. Я не утверждаю в своей книге, что двоение „аллилуиа“ употреблялось в XII веке, а доказываю, что оно имело место на Руси и в XV, и раньше XV века, и доказываю это не одним письменным документом Троицкой Лавры, а и несколькими другими свидетельствами древне-русских исторических памятников.

К рассмотренным воскресным замечаниям о. Пафнутия г. Б. прибавил несколько собственных размышлений. Узнаём, что он присутствовал на диспуте, разумеется, безмолвным слушателем, ибо иначе я не узнал бы о его просвещённом внимании к моей диссертации и к русской науке впервые из его собственного повествования об этом. „Бывши на защищении этой диссертации, пишет он, я *хорошо* помню *именно* это место, как возбудившее некоторый спор“. Но, запомнив именно это место, он, повидимому, не понял, по крайней мере не сообщает, в чём состоял этот „некоторый спор“. Передаём его вкратце. Один из оппонентов указал, что выводы, сделанные мною из разбора жития преп. Евфросина, подтверждаются не только теми свидетельствами источников, которые я привёл, но и некоторыми другими, мною не упомянутыми. Я был очень рад почувствовать себя после этого возражения ещё сильнее, чем чувствовал до этой минуты. Другой оппонент, сколько помнится, заметил, что рукопись Троицкой Лавры, упомянутая мною, едва ли служебник XII века, а не стихирарь более поздний, века XIV. Я отвечал, что в моей цитате возможна некоторая неточность, но так как

рукопись не позже XVI века, то эта неточность нисколько не изменяет моего вывода.

Потом г. Б. сетует, что на диспуте было мало духовных лиц, несмотря на предмет диссертации и на ожидания г. Б., и притом немногие присутствовавшие духовные лица не принимали участия в споре. Сколько можно догадаться по неясному, ветвистому изложению г. Б., рискуя впрочем ошибиться, он считает именно этот недостаток духовных свидетелей и участников диспута „явлением во всяком случае прискорбным", следовательно прискорбным и в случае присутствия, например, о. Пафнутия, лица несомненно духовного. Немногие присутствовавшие лица из образованного духовенства, не приняв участия в прениях, зато и не приписывали мне того, чего я не говорил и не писал. Останется ли о. Пафнутий благодарен за косвенный комплимент, посланный ему слушателем его г. Б. через епархиальную газету?

Г. Б. привлёк к выражению своей скорби и университет, удостоивший меня учёной степени за раскольническую диссертацию, и издателя, который напечатал книгу. Конечно, ни тот ни другой не нуждаются в защите от скорби г. Б. Но эта скорбь напоминает одну черту характера древне-русского человека: он имел привычку в крупном разговоре приплести и дедов, и родителей, и знакомых своего противника.

Наконец, г. Б. восклицает: „честь и слава о. Пафнутию, блистательно отразившему *учёную ложь*"! Жестоки были бы эти слова, если бы были благоразумны. Но вы видите, г. редактор, что никакой учёной лжи не было сказано и не было отражено. Я доказывал исторический факт, а г. Б. не выставил *ни одного* исторического возражения ни в замечаниях, которые он приписывает о. Пафнутию, ни в своих собственных коротких размышлениях. Ложь есть нравственный факт, который до тех пор, пока не будет доказан, лежит на совести того, кто в нём обвиняет. А что, если благоразумный о. Пафнутий ответит на торжественный возглас своего Пиндара г. Б.: „не честь и не слава господину Б., внесшему в печатный рассказ о беседах под кровлей святой обители и с

святой целью защиты православия неблистательный хаос своего собственного неучёного недомышления"! Есть места, где шутить не должно; есть предметы, о которых позволено говорить только серьёзно; есть, наконец, люди, от которых привыкли ждать только дельных, основательных речей. К таким местам принадлежат церковь и обитель; к таким предметам принадлежат вера и наука; к таким людям принадлежат те, кого зовут *отцами*. То-есть я желаю сомневаться, что о. Пафнутий действительно сказал то, что приписал ему г. Б. А если о. Пафнутий сказал это или нечто подобное, он, надеюсь, повторит сказанное на страницах *Моск. Епарх. Вед.* или другого издания собственными точными словами, а не в искажении какого-то г. Б. Тогда мы готовы дать желаемое разъяснение того, что „оказывается для некоторых странным".

А г. Б. своей статьёй возбуждает подозрение, не белокриницкий ли он раскольник, под впечатлением беседы о. Пафнутия решившийся покаяться в своих заблуждениях. Но в таком случае ему подобает за порогом православия, в притворе кающихся и оглашенных, в интересе духовной гигиены православного общества, освободиться от той болезни ума, которую один русский писатель XVIII века, говоря о расколе, назвал „бабской богословией".

Преподобный Евфросин прозвал своего главного противника в споре об „аллилуиа", священника Иова, *столпом мотыльным*. Меня г. Б. пожаловал в единомышленники пустынножителя, причисляя себя самого, разумеется, к ученикам Иова. Неужели ему хочется разделить с своим древним учителем честь полученного последним прозвания?

Примите и пр.

В. Ключевский.

Разбор сочинения о. Горчакова.

„О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и Св. Синода [1]).

О. Горчаков посвятил свой обширный труд исследованию юридического и отчасти экономического развития земельных имуществ, принадлежавших кафедре первенствующего иерахра русской церкви. Для изучения этого предмета автор старался воспользоваться всеми известиями и памятниками, какие остались от жизни и многообразных отношений этих имуществ. Перечень и описание изученного материала представлены автором во введении к исследованию. Среди других источников для изучения земельных имуществ всероссийских митрополитов, о. Горчаков воспользовался большим рукописным сборником проф. И. Д. Беляева, копией с одного из тех двух древних сборников, которые содержали в себе поземельные акты митрополичьей кафедры и до 1836 г. хранились в Московской синодальной библиотеке. С XVII века, когда появляется патриарший дворцовый приказ, как центральное место вотчинного патриаршего управления, обильный материал для изучения патриарших вотчин открывается исследователю в архиве этого учреждения, составляющем теперь часть Московского архива министерства юстиции. С XVIII века эти материалы становятся еще обширнее: к делам дворцового приказа, почти вполне сохранившимся, присоединяются бумаги архива Св. Синода, также Коллегии экономии и других учре-

[1]) Отчёт о 15-м присуждении наград Гр. Уварова. Спб. 1874.

ждений, дела которых внесены в состав упомянутого архива министерства юстиции. Из всего этого рукописного запаса, слишком 200 актов, большею частию целиком, помещены в приложениях к книге.

На основании такого обширного материала, мало известного и разработанного, о. Горчаков предположил решить очень специальную задачу. Земельные имущества, принадлежавшие русской церкви, подвергались изучению в различных своих частях и отношениях. Церковь занимала такое место в юридической жизни древней Руси, что литература по истории русского права и общества не могла не касаться её с той или другой стороны. Едва ли не большинство юридических памятников, оставленных нам древнею Русью, принадлежит церкви; многие юридические и экономические отношения древней Руси мы изучаем преимущественно по актам старых церковных архивов; из всех видов древне-русского поземельного владения наиболее обстоятельно мы знаем или можем изучить землевладение церковное. Наконец, недвижимые имущества русского духовенства в полноте своей судьбы были предметом специального обширного исследования В. Милютина. О. Горчаков избрал для своего труда особенную, довольно своеобразную задачу. Он задумал, в рассматриваемой книге, исследовать не историю всего церковного землевладения в России и не состояние его в какой-нибудь период нашей истории, а выделил из него одну довольно тонкую полосу, развитие которой проследил с самого начала русской церкви до 1738 года, когда бывшие патриаршие вотчины, вместе с другими церковными землями и управлявшею ими Коллегиею экономии, выделены были из ведомства Св. Синода и переданы в непосредственное управление государства. В таком виде вопрос обособляется впервые, и с этой стороны исследование о. Горчакова можно назвать первым опытом в нашей историко-юридической литературе.

Согласно с задачей, так поставленной, о. Горчаков делит юридическую историю исследуемых земельных владений на четыре неровные периода, определяющиеся переменами в

судьбе их владельца: 1) до учреждения патриаршества, т.-е. до 1589 года, 2) до смерти последнего патриарха Адриана в 1700 г., 3) до учреждения Св. Синода в 1721 г. и 4) до передачи синодальных вотчин „в заведывание Коллегии экономии“ в 1738 г. Как внешние хронологические межи, на которых может остановиться исследователь в изучении непрерывно сменяющихся явлений, эти периоды не вызовут возражения. Но сам автор видит в них гораздо более: по его мнению, они „отделяются между собою важными переменами, происшедшими в истории русского права, государства и церкви и имевшими влияние на историю института“ (стр. 41). Едва ли кто согласится с мыслью, что указанные автором пределы периодов точно соответствуют „важным переменам“ в истории русского права и государства; связывая тесно юридическую судьбу своего предмета с этими переменами, исследователь должен был бы значительно переставить грани своих периодов, по крайней мере большей их части. Затем, в каждом периоде предмет исследуется по одинаковой в главных чертах программе, с четырёх сторон: в количественном развитии или уменьшении этих земельных владений, в их юридическом существе по отношению к владельцу и государству, в их внутреннем вотчинном устройстве и управлении и, наконец, в их административных, финансовых и судебных отношениях к государству.

По специальности задачи и состоянию материала, впервые столь тщательно разобранного о. Горчаковым, в книге его не может показаться неожиданным недостаток литературной обработки, хотя блюститель чистоты русского языка, без сомнения, упрекнёт, его, например, за слишком частое повторение выражения „*бывые* (бывшие) патриаршие вотчины“, потому что здесь нет ни лексической нужды, ни грамматической правильности, в этом старинном приказном причастии. Автор старался держаться возможно ближе документов в изображении означенных выше сторон своего предмета, особенно двух последних. Впрочем, он не только сократил бы объём своей книги, но и облегчил бы её чтение, если бы не так

часто наполнял целые страницы выписками из актов, уже напечатанных, или им же в приложениях, или в других столь же доступных изданиях. О. Горчаков больше описывает, чем исследует, большею частью ограничивается сопоставлением простых фактов и реже входит в их внутренний анализ или подвергает их обобщению. При этом он оставляет в густой тени две стороны предмета, освещение которых необходимо, чтобы ясно понять развитие остальных, им исследуемых. Вотчины первенствующей кафедры в русской церкви составляли лишь один из элементов русского церковного землевладения и, конечно, отражали на себе родовые особенности последнего. С другой стороны, церковное землевладение необходимо должно было подчиняться общим условиям русского землевладения и в значительной степени разделять судьбу других нецерковных его видов. Сам автор сознается, что институт митрополичьих земельных владений „всем существом своим был в государстве и в народе, всеми сторонами и составными частями соприкасался с общей юридической жизнию народа и с общим устройством государства (стр. 38)“. Но он мало рассматривал этот институт со стороны общих поземельных условий древней Руси, не поставил его в прямую связь с последними; только в трактате о неотчуждаемости церковных земель и о положении патриарха в государстве, да отчасти в немногих других местах книги, он пытался показать действие политических условий на церковное землевладение. Это лишило его средств ясно рассмотреть и видовые особенности, отличавшие земельные имущества высшей правительственной власти русской церкви от других. Он замечает в другом месте (стр. 2 и 4), что изучаемый им институт всегда сохранял свои отличительные особенности, ему одному свойственные. Но читая подробное описание хозяйственного строя, юридического и экономического быта митрополичьих владений, читатель не видит, что̀ здесь принадлежит им наравне со светским землевладением и что̀ отличает их от последнего, как вотчины церковные, что̀, наконец, составляет их особенность сравнительно с другими видами церковных земель. В

этом отношении автор редко идет дальше мелких или внешних сближений. Эти пробелы объясняются не столько недостатком изучения, сколько свойством самой темы и выведенной из неё программы исследования. Предмет слишком обособлен сам по себе и развитие его поставлено в зависимость только от одной стороны, от положения владельца в государстве. Но историческое происхождение митрополичьих земель и характер отношений к ним владельца были таковы, что на их истории и только по актам, к ним относящимся, трудно изучить в полноте и с точностью все особенности церковного землевладения в древней Руси, а без этого легко не понять или поставить неправильно тот или другой факт в истории исследуемого института. С другой стороны, общие юридические и экономические условия древне-русского землевладения далеко не одинаковы с теми, которые определили церковно-политическую судьбу всероссийских митрополитов или патриархов. Поясним сказанное одним примером. В статье о суде в митрополичьих земельных владениях (стр. 286—307) автор обещает „отметить особенности судоустройства и судопроизводства в землях митрополита, насколько они встречаются в актах, относящихся до земель кафедры". Описав суд митрополичий и смесный, о. Горчаков подробно излагает процесс в поземельных тяжбах кафедры с посторонними лицами. Но только об одной подробности, о случаях доклада великому князю в таких тяжбах, автор заметил мимоходом, что „всё это допускалось не только в спорах о землях митрополита, но вообще при спорах между землевладельцами"; а в какой мере это замечание приложимо к другим описанным подробностям, этого ясно не видно.

Указанные пробелы иногда затемняют даже описательное изложение, господствующее у автора в главах о внутреннем строе и государственных отношениях изучаемых земель. В статье о финансовых отношениях этих земель к государству, автор говорит (стр. 282), что льготы, какие давали им государи, могли быть отменяемы указами последних, а в доказательство приводит отмену „всяких тарханов" *собором*

1584 года. Выше (стр. 272) автор заметил, что особенности финансовых отправлений с митрополичьих земель в пользу государства состояли в сравнительном количестве податей и повинностей и в форме их отправления. Ниже, пересчитав виды податей и повинностей с податного населения государства, он говорит (стр. 278), что „с митрополичьих земель шли, при обыкновенных обстоятельствах положения их в княжествах, *все* дани и пошлины в пользу княжеств, как и с других земель", а ещё ниже (стр. 283) читаем, что, за исключением исчисленных автором случаев, земли митрополита подлежали государственным платежам наравне со всеми другими видами землевладения, а об исчисленных льготных случаях не сказано, что подобных льгот не получали земли других владельцев. Наконец, в последних строках статьи, автор утверждает (стр. 286), что *главная* особенность финансовых отправлений в пользу государства с митрополичьих земель состояла лишь „в особых органах управления этими отправлениями", т. е. совершенно отказывается от первой половины своего первоначального положения на стр. 272. Он пишет также (стр. 273), что платёж выхода ханам прекратился „в начале XV в., с прекращением монгольского ига". По учебникам, иго прекращается несколько позднее, а о платеже ордынских выходов не перестаёт говорить Иван III даже в своей духовной, писанной около 1504 г., определяя, кто и сколько должен платить.

У о. Горчакова заметно стремление сопоставить ту или другую сторону в строе митрополичьих владений с общим государственным устройством. Но эти попытки только яснее обнаруживают указанные пробелы. Статью об отношении земель митрополита к государственной администрации он начинает словами: „Удельные княжества древней Руси разделялись, в правительственном отношении, на административные округи, которые назывались волостями. Московское княжество, по присоединении к нему удельных княжеств, *стало* делиться на уезды; уезды его дробились на станы и волости, так что стан московского государства соответство-

вал волости удельного периода, а волость московского царства сначала была равна стану“ и т. д. (стр. 258). Это не вполне ясно. Присоединением удельных княжеств к Московскому автор намекает, повидимому, на время не раньше XV в. Но уездное деление существовало раньше: это доказывают не только документы XIV в., но и учёные, на которых о. Горчаков сослался в примечании к этой статье, например, гг. Беляев и Градовский. В духовных Ивана Калиты уделы, назначаемые сыновьям, называются уездами: „мыты, которыи в которого (сына) уезде“. Духовная Симеона Гордого говорит о сёлах на Москве „в городьском уезде“. По духовной его брата Ивана удельный князь Владимир Андреевич „ведает уезд отца своего“. Удел жены Ивана Калиты в договоре вел. кн. Василия Димитриевича (1389 г.) с тем же Владимиром назван „княгининым уездом Ульяниным“. Были уезды и в значении более мелких административных единиц или частей княжества, притом не только в Московском, но и в других, от него независимых, княжествах. К Коломенскому уделу принадлежала волость Похране; в духовных Калиты упоминается село в Похрянском уезде. Духовная Донского в перечне Звенигородских волостей называет и Рузу-городок; сын Донского Юрий, которому достался Звенигородский удел, в жалованной грамоте Сторожевскому монастырю 1404 г., ставит рядом с Звенигородским и Рузский уезд. Договор Рязанского князя Олега с Московским Димитрием 1381 г. упоминает в числе старых Рязанских мест на правом берегу Оки, отходивших на некоторое время к Москве, и „уезд Мстиславль“. В грамоте другого Рязанского князя Ивана Фёдоровича, писанной до присоединения Рязани к Москве, около половины XV в., князь жалует Солотчинскому монастырю село свое Филипповичи „с уездом“. В 1399 г., т. е. прежде чем Нижегородское княжество было упрочено за Москвой, некто Савва Сюзев дал Благовещенскому монастырю пустошь „в Курмышском уезде“ (Собр. г. гр. и дог. I. А. И. I, №№ 15 и 36. А. до юр. б. I, стр. 442). Все эти ранние указания на уезды не укладываются в общее положение автора, что Московское

княжество стало делиться на уезды „по присоединении к нему удельных княжеств“. Подобное же можно сказать и о станах. Существование их известно уже по актам XIV в., т. е. удельного времени. О станах с административным значением говорят грамота Калиты Юрьеву монастырю и духовная его сына Ивана; последняя поименовывает один из московских станов—Васильцев. В договоре вел. кн. Димитрия с князем Владимиром 1371 г. читаем выражение: „с города и с станов“, а в другом их договоре 1388 г. великий князь пишет: „чим мя благословил отец мой в городе в Москве и в станех“, по этой же грамоте оба князя шлют даньщиков „в город и в станы“. В духовной Димитрий благословляет старшего сына на старейший путь „в городе и в станех“ и говорит о бортниках „в станех городских“, а в договоре этого сына с дядей Владимиром читаем: „а городских судов и становых, что к городу тянеть, того ми без твоего наместника не судити“. Из всех этих указаний актов XIV в. прежде всего открывается связь станов со старинным городским делением на сотни: Васильцев стан в духовной Донского назван „Васильцевым стом“; чёрные люди по одним грамотам XIV в. тянут к становщику, по другим к сотнику. Потом, самые выражения, в которых являются станы, указывают на ближайшее отношение последних к городской администрации сравнительно с волостями, которые не называются городскими. Следовательно, станы уже в удельный XIV в. имели то же значение, с каким они являются в конце XV-го. Белозерская грамота 1488 г. различает три элемента в населении уезда: горожан, становых и волостных людей; она предписывает наместникам поделить станы и деревни своим доводчикам, которых должно быть 2 для города и 8 для станов, кормы наместничьи сбирать в станах *сотским* и отдавать наместникам в городе; „а станов к городу: Городецкий стан да Напорожский стан да Заозерский стан“. Всё это поддерживает мнение гг. Градовского (цитируемого автором) и Чичерина, что станом, в собственном смысле, называлась часть округа, приписанного к городу и непосредственно

подведомственного наместнику, который от себя посылал в станы тиунов и доводчиков, тогда как волости были особыми округами, имевшими своих волостелей (Ист. местн. управл., стр. 262 и след.—Област. Учрежд., стр. 62 и след.). Затем, стан иногда является в актах подразделением большой волости; иногда, наоборот, волость составляет подразделение большого стана. Так, в одной межевой грамоте Ивана III (Собр. гос. гр. и дог. I, № 138) указываются два стана, Большой и Бортный, в переяславской волости Юлке. Напротив, грамота 1601 г. (А. А. Э. II, № 18) указывает в упомянутом выше заозерском стану белозерского уезда волость Шубацкую. При таких указаниях грамот сказать, что Московский стан XV—XVI в. соответствовал волости удельного времени, а московская волость сначала была равна стану и следовательно также соответствовала волости удельного времени,— значит сказать очень гибкую, но ничего осязательного не выражающую фразу.

Благодаря той же неопределённости, иногда целые страницы в книге пропадают для читателя, напрасно усиливающегося отдать себе отчёт в связи мыслей автора. В главе о внутреннем строе митрополичьих владений он замечает, что одною из древнейших форм крестьянских поселений на Руси было село, что сёлами жили русские славяне ещё прежде призвания князей и до самого XIV в., и что с XV в. доселе русский народ живёт преимущественно в деревнях (стр. 195—200). Деревни о. Горчаков встретил в актах не раньше XIV в., а в летописях не встретил их вовсе, и отсюда заключает, что „русская деревня не столь древняя форма общинного быта, как село“. Здесь, разумеется, автору прежде всего следовало бы спросить себя, часто ли встречается деревня в летописях позднее XIV в. и много ли дошло от времени до XIV в. таких актов, в каких с XIV в. встречаются деревни? Однако же деревни упоминаются в летописи и до XIV века: в 1096 г. Половцы сожгли около Киева „Стефанеч монастырь и деревне и Германеч“. Об этом известии автор рассуждает: „по смыслу речи, здесь нельзя разуметь

деревни, как известного рода поселения, а следует читать „деревня“ (древний), как и пишется в некоторых списках летописи“. Но 1) из списков, обозначенных в издании Археографической Комиссии, так читается только в одном (Троицком), не принадлежащем к числу лучших; 2) автору следовало бы хотя одним примером из старинных русских памятников подтвердить употребление слова „деревнеи“ в значении древнего; 3) непонятно, зачем летописец в 1096 г. назвал древним один из упомянутых монастырей, когда оба они основаны во второй половине XI в., т.-е. были не старше самого летописца; 4) если уж не нравились в известии летописи деревни, было бы лучше объяснить по Карамзину (II, примеч. 174) чтение „деревней“ в смысле деревянного. В словопроизводстве о. Горчакова столько же филологии, как, например, в производстве имени Древян или Древлян от слова „древний“ или „древлий“. Та же филология помогла автору придать серьёзное значение производству *села* от глагола *селиться* (стр. 195) и в длинном примечании (стр. 199—202) производить *деревню* от одного корня с словами *драть*, *дёргать*, *одерень* и т. п. Но такая филология только вводит автора в лишние юридические мысли. В XV в., рассуждает он, „купить в одерень“ значило приобрести в бессрочное и неотъемлемое владение: „и деревня, как учреждение юридическое, была предметом бессрочного и *неотъемлемого* владения её обывателей“. Но деревни были и на землях частновладельческих, которые юридически, конечно, не составляли неотъемлемого владения их обывателей-крестьян. Впрочем, неотъемлемость вставлена здесь лишь кстати, для словопроизводства: за неё не стоит и сам автор, совершенно умолчав о ней в другом юридическом определении деревни одной страницей ниже (стр. 203). Приведём ещё два примера подобной нетвёрдости в различении понятий. Автор пишет (стр. 209): „она (крестьянская община на митрополичьей земле) заботилась о поддержке своей общины“. Вслед затем и в доказательство этого он выписывает из одной уставной грамоты митрополита распоряжение, чтоб крестьяне меж себя дворов

не огнаивали, а кто выйдет из села за волость, огноивши двор, этот двор ставить крестьянам, которые останутся, на свои деньги. Здесь, очевидно, нет ничего, кроме заботы землевладельца о поддержании и сохранении принадлежащих ему в селе построек. В другом месте (стр. 279) читаем: „Вообще *земли* и поселяне митрополита освобождались от податей и повинностей князьям не столько потому, что они жили на землях (значит, и земли жили на землях) кафедры, сколько по уважению к их *личному* положению (значит, по уважению к личному положению и земель)".

Несмотря на преобладание фактического описания в книге, о. Горчаков в некоторых частях её не мог избегнуть исследования, критики и обобщения фактов. Остановимся на некоторых таких местах, чтобы познакомиться с этой, в научном отношении важнейшей, стороной учёного труда.

В первой главе исследуется „историческое развитие митрополичьих земельных владений в количестве и объёме". В истории образования митрополичьих земельных имуществ первый вопрос: к какому времени относится их начало? О начале церковного землевладения на Руси в нашей литературе есть несколько неясных или сомнительных известий, источников и несколько разноречивых учёных суждений. Извлечённым из отчётливого критического разбора тех и других разъяснением этого вопроса относительно владений митрополита с пользой открылось бы специальное исследование об этих последних. „Нет сомнения,—так начинает о. Горчаков,— что самые первые христианские русские князья св. Владимир и Ярослав предоставили митрополиту всея Руси *право* владеть земельными имуществами". Но в примечании к этим словам (стр. 46) автор отстаивает против Милютина самый факт существования вотчин у митрополита уже в то время. Милютин собственно не отвергает вероятности появления церковных вотчин, по крайней мере, при Ярославе: он доказывает только, что известия, относящиеся ко времени Владимира и Ярослава, не выдерживают критики и не могут быть приняты за несомненные доказательства действительного

существования этих вотчин. Такие доказательства он находит в источниках впервые уже по смерти Ярослава. Доказывая свое мнение, о. Горчаков говорит, что Милютин опустил из вида свидетельство грамоты вел. кн. Василия Дмитриевича 1403 г. (П. С. Р. Лет. VI, 83), подтверждаемое указанием грамоты киевского кн. Александра Владимировича 1441 г. (А. Ист. I, № 259). „Едва ли, прибавляет автор, можно подвергать сомнению достоверность этого свидетельства“. Известие первой грамоты, в начале попорченное, говорит, что по св. Владимире „правовернии велиции князи тоже приняли готово, а к тому и много приложили, создавше церкви Божии и монастыри и епископью, городы, погосты, села, виноградy, земли, борти, озера, реки и волости дали со всеми прибытками“. Но 1) это свидетельство почти буквально сходно с известием Степенной книги, разбираемым в труде Милютина; оно 2) очень позднего времени и 3) ясно говорит о пожаловании недвижимых имуществ церкви только преемниками св. Владимира, не указывая, какими именно. Ещё менее определённости в показании второй грамоты: она говорит лишь о том, что издавна придано к церкви Божией, как держали *исстарины первые* митрополиты. Следовательно, приведённые о. Горчаковым соображения в сущности не подвигают ни на шаг разбираемого вопроса. Принимая с доверием сомнительные известия о митрополичьих землях ещё при Владимире и Ярославе, о. Горчаков опускает указания летописей, относящиеся к XI и XII в. и не отвергаемые даже Милютиным, ограничиваясь простым замечанием, что исторические свидетельства не позволяют означить, где и какие земли были тогда у митрополитов. Так в разбираемом месте он совершенно умалчивает о митрополичьих городах в южной Руси, Милютине и Синельце „с уездами, волостьми и сёлами“; лишь о втором из них он мимоходом упоминает совсем в другой главе книги (стр. 236). За то, с другой стороны, он без критики даёт веру сомнительным известиям о земельных владениях митрополита в северной Руси ещё в XI в. Выписав из летописи по Лаврентьевскому списку известие о сожжении

Суздаля Олегом в 1096 г. („токмо остася двор монастырьский Печерьского монастыря и церкы, яже тамо есть св. Димитрея юже бе дал Ефрем и с сёлы"), о. Горчаков приводит заимствованное у Милютина сопоставление этого известия с соответствующим местом Никоновского летописного сборника, где Ефрем назван митрополитом. Но 1) это место изменено в Никоновском сборнике, который вместо двора Печерского монастыря поставил двор и монастырь митрополич; следовательно, и название Ефрема митрополитом, может быть,—не более как догадка составителя сборника; 2) в этом известии, так объяснённом, останавливает на себе внимание та подробность, что митрополит делает епархиальное распоряжение, даёт церковь в Суздале, имевшем своего местного архиерея. Из послания Симона к Поликарпу известно, что около этого времени епископом в Суздаль был поставлен киевопечерский постриженник Ефрем. В большей части списков ростовско-суздальских архиереев имя Ефрема следует непосредственно за именем Исаии, скончавшегося в 1090 г. (П. С. Р. Л. IV, 102. VII, 313 и друг.). В сказании ключаря А. Фёдорова о граде Суздале Ефрем поставлен, на основании местного предания, вторым собственно суздальским епископом после первого ростовско-суздальского архиерея Феодора, который, как думают, по удалении из Ростова, умер в Суздале (Времен. Общ. Ист. и Др. XXII, отд. 2, стр. 22). Всё это заставляло исследователя предварительно разобрать летописное известие и доказать, что оно относится к митрополиту, а не к суздальскому епископу Ефрему, тем более, что преосв. Макарий, в своей Истории русской Церкви, уже давно написал (по 1 изд., т. 2, стр. 62 и 234), что именно епископ суздальский и ростовский Ефрем подарил Печерской лавре двор в Суздале с церковию св. Димитрия и с сёлами, принадлежавшими, следовательно, не митрополиту. Ещё неосторожнее другое доказательство, приводимое о. Горчаковым вслед за рассмотренным: „Ещё под 1088 г. (*надо читать*: 1089 или 1090 по другим спискам) Лаврент. I, стр. 89 и Воскрес., т. VII, стр. 4, говорится, что „бе преже в Перея-

славле митрополья“ и что митрополит Ефрем (ум. 1088; *надо читать*: ум. 1096) устроил там „велику сущу церковь“: если, продолжает автор, это был Переяславль северо-восточной Руси, Рязанский, то построение великой церкви даёт основание полагать, что при митрополии были и земли (стр. 47, примеч. 2)“. Какой бы это ни был Переяславль, не известно, почему построение церкви там даёт основание полагать, что при митрополии были и земли. Но очень хорошо известно, что Переяславль, где было временное местопребывание киевских митрополитов и где митрополит Ефрем построил известную в своё время Михайловскую „велику сущу“ церковь, был не северо-восточный, Рязанский или Залесский, а *Русский*, т.-е. южный.

Таким образом, очерк первоначальной истории митрополичьих земельных владений у о. Горчакова нельзя назвать удовлетворительным, ни в фактическом, ни в критическом отношении. И в дальнейшей истории встречаются неточности, останавливающие на себе внимание при первом чтении. Автор пишет, например (стр. 49), что митрополит Киприан владел, кроме земель, унаследованных от предместников, сёлами Голенищевым и Селятиным около Москвы. Но в примечании, которым сопровождается это известие, он делает выписку из акта, откуда видно, что на Голенищевской земле по р. Сетуни был „Алексеев чудотворцев сад,“ а по р. Рамени на той же земле село Селятино получило своё название от жившего там прежде митрополичьего коровника Селяты, и на том месте ещё митрополит Феогност поставил церковь; следовательно, земля этих сёл задолго до Киприана принадлежала митрополиту. Точно так же автор замечает (стр. 50), что при митрополите Фотии была митрополичья Сенежская волость и *волость* при Св. Озере около Владимира. Но выше (стр. 49) он же написал, что земли Сенежские принадлежали кафедре ещё при митрополите Алексии, а из цитаты в третьем месте (стр. 56, примеч. 5) видно, что и Светоозеро входило в состав той же волости Сенежской.

Очерк развития земельного богатства митрополитов сопровождается несколькими попытками автора объяснить то

или другое явление в этом процессе. Здесь встречаются места, которые не все можно назвать прямыми ошибками, но которые страдают неясностью, недоконченностью критической работы над фактами. Ограничимся немногими примерами. О. Горчаков пишет (стр. 51), что земельному обогащению митрополитов содействовали „князья, и удельные, и московские, до половины XVI века". Но до половины XVI века князь удельный и князь московский не всегда были явлениями различными или противоположными. Содействие московских князей приобретению земель митрополитами в уделах автор объясняет политическими соображениями (стр. 53). „Все митрополичьи владения, в каком бы княжестве они ни находились, естественно тянули к Москве; в Москве сосредоточивалось управление ими: кафедра вводила во всех своих владениях более или менее однообразные порядки и устройство, и, без сомнения, под влиянем юридических понятий Московского княжества из Москвы шла населению защита от посторонних лиц... Понятно, что население митрополичьих владений всех княжеств приобретало навык стремиться к слитию с Московским великим княжеством". Вся эта картина хозяйственного, юридического, административного и даже политического единства и цельности митрополичьих вотчин, может быть, безупречна сама по себе; но немного выше у автора написано (стр. 44), что в период митрополитов, их владения „слагались из отдельных, не только географически, но и юридически необъединённых участков; каждый участок стоял особо от других участков в одном княжестве и считался неимеющим ничего общего и одинакового с участками, находящимися в других княжествах, кроме имени владельца". Объясняя своё положение, что *разъезжие* грамоты—отличительная принадлежность юридической жизни Руси XV и XVI в., о. Горчаков говорит, что происхождение их было естественным результатом развития прав земельных владений в это время, вследствие увеличения народонаселения в государстве, способного и готового обладать землёю (стр. 66 и 67). Ни автор и никто не знает, сколько

в это время прибавилось народонаселения, способного и готового к землевладению. По следствие, выведенное из этого недоказанного факта, становится *темно* рядом с другим, более вероятным положением о. Горчакова, что с половины XV века государство стало в такие отношения к частному землевладению, которые превратили последнее из частной собственности в государственное имущество, обязанное тяглом или службой (стр. 131 и 151); значит, права частного землевладения падали, а не развивались, по крайней мере с той стороны, которой они обращены были к государству. В связи с развитием поземельных отношений о. Горчаков ставит два явления, относимые им ко времени Ивана III. Потребность в поземельной описи сделалась ещё сильнее с появлением поместий. „Иван III, говорит автор (стр. 77), твёрдым образом установил в Московском государстве принцип, чтобы земля не выходила из службы государству, и *на этом основании* ввёл раздачу земли служилым людям в поместья". Здесь 1) едва ли верно приписано Ивану III *введение* раздачи поместий: следы владения на поместном праве встречаются раньше, и этого не отвергает г. Градовский, ссылкой на которого подкреплено выписанное положение; он относит ко времени Ивана III появление *системы*, окончательную установку, выяснение принципа поместного права; 2) было бы, кажется, исторически вернее в положении о. Горчакова переставить основание и следствие одно на место другого; понадобилась раздача поместий в обширных размерах, и на этом основании Иван установил принцип и проч. Частный случай подтвердит такое отношение фактов в то время. В 1477 г., разъясняя Новгороду своё государство, Иван говорил: „волостями, сёлами нам владеть, как владеем в Низовской земле, чтобы было на чём быть нам в нашей отчине". Требуя этих волостей и сёл, Иван прибавлял: „понеже нам великим князем государство своё держати на отчизне нашей без того нелзе". Взятые земли, как известно, пошли в поместную раздачу. Мотивом, основанием требования, принципа выставлена потребность, а не наоборот. У

другого летописца требование мотивировано несколько иначе: „беша бо те волости великих же князей, ино они их освоиша (П. С. Лет. VIII, 204)“. Неизвестно, какие захваты со стороны новгородцев разумеет здесь летописец; но и здесь нет указания на принцип службы. Вторым явлением был опыт государственного межевания. Если, рассуждает о. Горчаков (стр. 76), появление *разъезжихъ* грамот, в которых описывались межи и границы отдельных владений, вызвано было естественным развитием права и гражданской жизни России, то эти же успехи права и гражданской жизни создали в конце XIV или в начале XV веков необходимость „меженины“ в том или в другом княжестве. Указания на неё автор нашёл в прощальной грамоте митрополита Фотия и в одной правой грамоте времён Ивана III: в первой владыка, умирая в 1431 г., говорит о своих усилиях восстановить митрополичьи владения, „истерявшиеся от мору и от меженины и от татарских нахождений“; во второй старожильцы говорят на суде, что помнят о владельце спорной земли лет за 60, „за два года до великие меженины“. „Развитие государственного склада, продолжает о. Горчаков, в великом Московском княжестве шло твёрже и успешнее, чем в удельных княжествах. В нём, как и в других княжествах, была великая меженина ранее половины XV века. Но несомненно, что при Иване III состоялась общая меженина во всём государстве“. Жаль, что все эти рассуждения вышли из простого недоразумения: „меженина“ значит засуха, голод, неурожай от засухи или голод вообще от какой бы то не было причины, — и в этом последнем смысле названное слово довольно часто употребляется в древне-русских исторических источниках. „Великая меженина“ была в 20-х годах XV века и отмечена или подробно описана в наших летописях.

Хотя о. Горчаков замечает в одном месте (стр. 63), что сохранившихся сведений о митрополичьих владениях достаточно для того, чтобы с значительною обстоятельностию проследить их постепенное увеличение, однако можно пожалеть,

что исследователь не присоединил к своему очерку удобно составленного хронологического списка митрополичьих владений, по которому и читатель мог бы легко проследить процесс их размножения до XVI века. Не находим и полного итога земельных богатств, скопившихся у митрополита к концу XVI века, когда приостановлено было их дальнейшее расширение. По собранным отрывкам из писцовых книг о. Горчаков насчитал в начале XVI века за митрополитом сёл и деревень 531, дворов 1825, людей в них 1818, земли 57½ сох (стр. 81). Но 1) сам автор признаётся, что в этот итог не вошло множество владений кафедры; 2) земельные имущества митрополитов в XVI веке продолжали увеличиваться до 1584 года, а итог относится к началу XVI века, и автор думает, что он насчитал не более половины действительных владений кафедры в конце XVI века; 3) даже приняв эту оговорку, из выписанного итога трудно извлечь понятный ответ на вопрос о земельном богатстве митрополита в конце XVI века. Думаем, не разъяснятся ли хотя несколько цифры автора сведениями из источников, которых он не имел в виду. Эти сведения встречаются у Поссевина и Флетчера, следовательно, относятся именно к тому времени, за которое их недостает в книге о. Горчакова, хотя, разумеется, их нельзя сравнивать по достоинству с показаниями писцовых книг. Поссевин пишет: „Metropolita ad duodeviginti milia talerorum, qui circiter tredecim aureorum nummûm milia faciunt, e reditibus annuis percipere dicitur“. Поссевин говорит обо всех доходах митрополита, а не с одних земельных имуществ. Флетчеру (гл. 21) сказывали в Москве, что ежегодный доход патриарха с земельных имуществ, не считая других статей, простирается до 3.000 рублей. По известиям конца XVI и начала XVII веков рейхсталер стоил в Москве 36—45 коп., а червонец 54—63 коп. Значит, сумма всего митрополичьего дохода, показываемая Поссевином, простиралась приблизительно до 7.000 рублей. Некоторый интерес цифрам Флетчера сообщает то, что в них можно видеть отражение рассказов близ-

ких к кремлёвским дворцам людей о земельном богатстве митрополита сравнительно с другими крупными землевладельцами. По словам Флетчера (гл. 9), бояре вообще, не говоря об исключительных случаях, получают с жалованных царём земель,—ибо наследственных осталось у них мало,—около 1.000 рублей в год, да денежного царского жалованья около 700 рублей. Богаче патриарха считался владыка новгородский: он получал с своих земель 10—12 тыс. рублей в год. Оба они, впрочем, не были самыми богатыми духовными землевладельцами: Троицкий Сергиев монастырь, как сказывали Флетчеру, получал с своих имуществ до 100 тыс. рублей.

Во второй главе отдела о митрополичьем периоде выступают некоторые другие особенности исследования о. Горчакова. Эта глава посвящена разбору юридического происхождения и существа земельных имуществ митрополита. И здесь встречаются неточности или недосмотры, подобные указанным. Говоря о способах приобретения земель кафедрою, автор замечает (стр. 85), что вовсе нет актов о пожаловании ей земель от князей московских. Единственная грамота удельного периода с пожалованием земли кафедре дана нижегородским князем Борисом Константиновичем домовому митрополичьему монастырю Благовещенскому; других случаев пожалования митрополичьей кафедре, когда она была уже в Москве, мы не знаем, прибавляет о. Горчаков. Но он знает и другой случай, не подозревая его, и именно случай пожалования от удельного московского князя с княгиней. Говоря о вкладах частных лиц (стр. 89), вслед за повторённой ссылкой на пожалование кн. Бориса Константиновича, автор приводит в примечании длинный ряд вкладных грамот частных лиц и между ними грамоту „кн. Владимира Андреевича и его супруги Новинскому монастырю на село Кудрино (А. до Юр. б. II, № 178)“. Этот Владимир Андреевич—не частное лицо, а известный князь серпуховский (ум. 1410), двоюродный брат Донского, что видно из имени упоминаемой в грамоте жены его Елены Олгердовны. Село Черкизово на

стр. 86 названо куплей митрополита Петра, а на стр. 49 куплей митрополита Алексия. Летопись рассказывает, что Рюрик роздал города мужам своим, что Ярополк в 977 году посадил посадника своего в Новгороде и т. п. О. Горчаков, цитируя эти места летописи, пишет (стр. 105): „Известно, что князья древней России отдавали (в управление) города и области сначала „мужам", потом с 977 года посадникам, затем с половины XII века наместникам" и т. д. — Но не останавливаясь на мелочах, обратимся к содержанию рассматриваемой главы.

Описав юридические способы приобретения кафедрою земель и определив субъект права на владение ими, о. Горчаков рассматривает существо принадлежности кафедре её земель. Он ставит вопрос: заключалось ли в этой принадлежности право полной частной собственности? Исследование фактов приводит его к утвердительному ответу, ибо митрополичья кафедра, по отношению к своим частным землям, имела все составные права, входящие в понятие о праве полной собственности". Эти земли приобретены способами, согласными с юридическим бытом древней Руси; кафедра владела ими и распоряжалась одинаково с другими частными собственниками; наконец, она могла отчуждать свои земли посредством мены, продажи и проч. Но в XVI веке право кафедры на её земли изменилось в своём существе под влиянием явившейся теории неотчуждаемости церковных имуществ. Явлению, произведшему столь важное действие, его происхождению, развитию и следствиям автор посвящает довольно пространный разбор (стр. 135—168).

Надобно, впрочем, оговориться, что довольно трудно воспроизвести сущность этого трактата: он страдает, как бы сказать, некоторым недостатком отчётливости, по крайней мере в изложении мыслей. Автор начинает положением, что теория неотчуждаемости церковных имуществ родилась не на русской почве: она перешла к нам через Кормчую из грекоримской империи, где её родина. Рассмотрев церковные правила с толкованиями на них, он приходит к заключению, что

теория неотчуждаемости не создана законодательством ни церкви вселенской, ни поместных—константинопольской или русской. „*Создана* же она, продолжает автор, в греко-римской империи государственным законодательством V и VI в.—особенно при Юстиниане I (стр. 142)". Но из разбора нескольких новелл Юстиниана о недвижимых имуществах церкви он выносит (стр. 144) следующий вывод: „Таким образом, самый принцип неотчуждённости имуществ церковных установлений был *разрушен*, а определены лишь правила, которые должны соблюдаться при их отчуждении". Между тем „принцип" и „теория" неотчуждаемости являются в изложении автора терминами близкими по значению и иногда заменяются один другим, и в опечатках обе указанные страницы ничем не отмечены. Попытаемся однакож передать вкратце основные мысли автора. Так как в законодательстве вселенской церкви и греко-римских императоров нет твёрдых и прямых оснований для теории неотчуждаемости, то главного источника её автор ищет в условиях русской юридической жизни. В XIV веке, когда русская жизнь начала оживляться от татарского погрома, оказалось, что слишком много земель частных лиц перешло вкладом во владение церкви среди бед и опасностей ига. Следствиями этого были неблагоприятный взгляд на вклады в обществе и стремление частных лиц и общин воротить церковные земли в светские руки. С половины XV века к этому стремлению примыкает и правительство в интересе обеспечения служилых людей. Духовенство, которому отнятие у церкви законно приобретённых имуществ без вознаграждения казалось, по выражению автора, обидой церкви, стало в нравственных поучениях своих проводить мысли о неотъемлемости церковных земель. С другой стороны, родичи вкладчиков, по данному им от государства праву, старались выкупать отказанные церкви земли, а духовенство, чтобы отклонить это стремление, заставляло вкладчиков вписывать во вкладные грамоты условие о вечной неотъемлемости отказываемой земли и этим условием защищаться в тяжбах на суде, преувеличивая зна-

чение этого доказательства. Потом, хотя в канонах нет прямого подтверждения теории, но русское духовенство умело находить его, смотря в правила церкви с предвзятой мыслью, в пылу ревности за церковь, и таким образом чисто нравственное увещание возвело на степень канонического положения. Наконец, оно старалось основать свою теорию на историческом происхождении церковных имуществ, на государственном законодательстве Византии и Руси, будто бы признававшем за этими имуществами характер неотчуждаемости. Таковы три момента, различаемые о. Горчаковым в развитии теории: она окончательно сложилась к концу XV века и „явилась прежде всего в сознании русских духовных лиц XV века не как юридическое положение, но как нравственная мысль", как протест против захватов общества и государства; потом она получила значение мнения одной из тяжущихся сторон, далее стала каноническим правилом и, наконец, обязательным для государства юридическим положением (стр. 154 и 163).

Повидимому, автор различает эти моменты и хронологически: теория явилась в XV в., и прежде всего как нравственная мысль без юридического характера; следовательно в остальные моменты она вступила несколько позднее. Но 1) в доказательство этого о. Горчаков указывает на памятники XIII и XIV в., на послания владимирского епископа к сыну Александра Невского и на послание митрополита Киприана (стр. 153 и след.); 2) ещё прежде он процитировал послание митрополита Филиппа 1467 г. (стр. 150), а здесь теория является уже с признаками всех трёх указанных автором моментов; 3) и до XV в. можно набрать длинный ряд памятников, в которых встретим все основные мысли, какие развивались защитниками теории неотчуждаемости в XVI веке; таковы некоторые выражения в уставах св. Владимира и Ярослава, в жалованных княжеских грамотах XII в., в ханских ярлыках, в упомянутых посланиях владимирского епископа и митрополита Киприана и проч. Нам кажется, определяя моменты в развитии теории, о.

Горчаков не обратил должного внимания на её элементы: разъясняя обстоятельства, вызвавшие теорию в духовенстве, он не остановился на вопросе, что собственно подвергалось посягательствам со стороны общества и государства: право ли церкви на собственность вообще, или право только некоторых церковных установлений на собственность именно в форме земельных имуществ. Это помогло бы ему рассмотреть истинный характер своей теории. Любопытно проследить, какие частные явления до XV и в XV в. вызывали проповедь духовенства о неотъемлемости церковных имуществ. В 1175 г. князья Ярополк и Мстислав просто отняли сёла и слободы у владимирской кафедральной церкви; в 1224 г. смоленский епископ покинул кафедру, потому что много обид делали церкви властели, отнимая имения, обижая вдов и сирот; епископ владимирской жалуется князю, что церковь Божия ограблена и домы её пусты; митрополит Фотий, вступая на кафедру, нашёл, что дом и казна митрополита опустошены, а волости расхищены князьями, боярами и всякими людьми и т. д. Между тем право церкви на поземельную собственность не оспаривалось православным обществом в принципе; первый, кто усомнился в этом праве относительно монастырей, был защитник неотъемлемости церковных имуществ и глава иерархии, митрополит Киприан. Напротив, задолго прежде, чем теория неподвижности имуществ церкви вступила у о. Горчакова в первый момент своего развития, представитель светской власти, Дмитрий Донской, подтверждая в духовной 1371 г. завещание отца, отказавшего село Павловское „святому Олександру“ на Костроме и некоторые доходы „к святей Богородице на Москве и к св. Михаилу“, прибавляет: „а того не подвигнуть“. Русская церковь со своими правами стала среди общества, в котором право уважалось, только когда являлось в сопровождении силы и власти. В таком обществе особенно плохо понимают право юридического лица и всего менее такого, как церковь. Иосифу Волоцкому многие откровенно говорили, что нет греха взять что-нибудь у монастыря; некоторые вельможи серди-

лись на него, делая ему простодушный упрёк: с собою что-ль принёс, смерд? монастырского не даёт! ведь не обнищает от того монастырь. Во всём этом нас может занимать теперь состояние общественных понятий времени, а не практическое отношение к интересам той или другой стороны. В новгородском обществе XV в. восставали против обычая давать в церковь неправдами нажитое имущество „измоления ради вечных мук“ и однакож давали, а в то же время отнимали вклады, совершённые правильно с юридической стороны. Всего нагляднее рисует это положение церкви Кирилл Белозерский в своей духовной: прося удельного князя оберегать неподвижными сделанные им монастырю пожалования, игумен прибавляет: „занеже, господине, нам, твоим нищим, нечим боронитеся противу обидящих нас, но токмо Богом и Богородицею и твоим, господине, жалованием“. Значит, так называемая теория неотчуждаемости не была каким-либо новым или, по выражению автора, „весьма оригинальным“ созданием русского духовенства XV века: это очень старая теория, старше самой истории, и она выражается в немногих правилах, ставших известными, как люди себя запомнят: не крадь, не грабь, не бери, что не твоё. Если русское духовенство облекало эти правила в выражения „неподвижна, непродаема, вдана Богови“, то эти термины оно заучило по тексту церковных правил и толкований в старых списках своей Кормчей. Под теорией неотчуждаемости проводилась просто теория имущественной безопасности.

XV—XVI в. вопрос ставится сложнее: выступает второй элемент спорного дела. О. Горчаков, не различая этих элементов, излагает исход дела довольно просто (стр. 163—165). В полном объёме теория неотчуждаемости была выражена собором 1503 г. в ответе Ивану III, и великий князь уступил: так теория духовенства возведена была на степень государственного закона. Такая развязка вопроса с самой теорией не была однакож неизбежной, по мнению автора: если бы государство предложило какой-нибудь выкуп, собор, вероятно, согласился бы. В уме читателя автор

оставляет такой ряд условий и следствий: не будь теории— Иван предложил бы выкуп; предложи он выкуп—ему не ответили бы теорией. Теория была каким-то роковым недоразумением с обеих сторон. Кажется даже, что она является некоторым недоразумением и с третьей стороны. Если автор придал теории такое важное значение, она заслуживала с его стороны большего внимания. Против монастырских сёл восстали с двух сторон: люди из среды самого монашества и потом правительство с частью боярства. Теперь нападение ведено было против самой формы монастырской собственности в принципе, но не юридическом. Первая сторона действовала во имя нравственно-иноческого идеала, вторая во имя своих экономических потребностей. Здесь заслуживает внимания как то, что спор шёл только о монастырских сёлах, так и то, что в ответе собора вопрос обобщён, распространён на земли всей церкви. Есть мнение (наприм., в дельном по обработке фактов, хорошо написанном сочинении г. Павлова „Очерк секуляр. церк. земель в России“, ч. 1, стр. 48), что это обобщение сделано Иваном III. Мнение это может иметь некоторое основание разве только в словах Иосифа, приводимых Вассианом Косым, что великий князь, созывая собор 1503 года, хотел отнять сёла у церквей и монастырей. Но Иосиф в том же обвинял и Вассиана; однако последний откровенно отвечал: „сие, Иосифе, на мя не лжеши, что аз велю великому князу у монастырей села отымати, а не у мирских церквей“. Беспристрастный же современник говорит прямо, что собор был вызван речами Нила Сорского только о монастырских сёлах. О. Горчаков вовсе не касается этой важной для него подробности. Мы думаем, что обобщение принадлежит самому собору. Из хода вопроса видно, что Иван действовал нерешительно. Ничто не заставляет предполагать, чтобы он, допуская заволжских старцев поднять вопрос на соборе, имел практически подготовленный план его решения в своих видах. Повидимому, он хотел прежде справиться о настроении духовенства. Собор мог предвидеть одно из двух решений: или экономическую секуляризацию

монастырских вотчин с соответствующим вознаграждением, или политическую конфискацию их, с милостыней, какая будет угодна казне. Неопределённая постановка вопроса и интерес церкви побуждали собор в обоих случаях распространить вопрос на все церковные земли, но в первом случае—для утвердительного ответа, во втором — для отрицательного. Допускают возможность первого решения; но забывают, что историческая возможность определяется условиями *того* времени, а не понятиями и желаниями людей спустя три века. Любопытно, что практический Иосиф даже не опровергает проекта о вознаграждении или выкупе. Ни одна прямая черта в известиях того времени не указывает на существование такого проекта в предположениях или планах правительства. Такая огромная финансовая операция, как перевод земельного церковного капитала в движимые ценности, едва ли была по силам государству в начале того века, конец которого решил вопрос об экономическом обеспечении служилого класса прикреплением крестьян. Итак, вопрос вышел из нравственно-иноческих побуждений, встретил молчаливое сочувствие в экономических нуждах правительства и разбился об экономическое противоречие времени, заключавшееся в надобности для государства церковной земли и в невозможности создать другое равнозначащее обеспечение церкви. С этой точки зрения теория неотчуждаемости освещается несколько иначе, чем у автора.

Непрямой и недостаточно широкий взгляд исследователя на происхождение и смысл вопроса сказался в следствиях, какие он вывел из своей теории неотчуждаемости (стр. 166—168). Эти следствия постигли или все церковные имущества вообще или имущества митрополита в частности. Остановимся на общих, как более характеристичных. Их три. Первое то, что, вследствие теории, все церковные установления потеряли принадлежавшее им до XVI в. право полной собственности на свои земли: духовные власти не могли уже попрежнему продавать их, менять и т. п. Создавая это следствие, о. Горчаков не вспомнил, когда и по какому ближайшему поводу

прямо ограничено было право отдельных установлений церкви распоряжаться своими землями. Собору 1551 г. царь намекнул о частных случаях произвольного отчуждения вкладных земель монастырскими властями вопреки правилам церкви и воле вкладчиков (Стоглав, по казанск. изд., стр. 60). Собор постановил: вотчин, данных Богу в наследие вечных благ, и других монастырских земель впредь не отдавать и не продавать. Значит, следствие вышло не из торжества теории неотчуждаемости, а из забвения правил неотчуждаемости на практике. Второе следствие: церковные земли явились вследствие теории особым, *небывалым* в России видом землевладения по существу права: „они *стали* неполной собственностью своего правового субъекта". Это 1) сходно в сущности с первым условием; 2) нового здесь только *небывалость* в России такой неполной земельной собственности. А земли князей, бояр, вообще вотчины служилых людей в XVI в., разве были полною собственностью?—Третье следствие: церковные власти навсегда лишили себя возможности выгодными сделками превращать свои земли в денежный капитал. Но, чтобы дать этому следствию какое-нибудь реальное значение, следовало бы решить стоявший впереди его вопрос: а представлялась ли эта возможность тогда или после? Все три следствия, т.-е. то, что есть в них действительного, фактического, могло явиться и явилось помимо *теории*. Автор закрывает глаза перед очевидною несообразностью: все его следствия идут в сущности против тех интересов духовенства, для ограждения которых, по его мнению, придумана была теория, произведшая эти следствия. В понятии неотчуждаемости церковного имущества—две стороны: одна обращена к мирскому обществу, другая к иерархии. Первая не допускает простого захвата внешнею властью, другая—произвольного отчуждения *своими* отдельными властями и установлениями. В своей теории автор смотрит только на первую сторону неотчуждаемости, а следствия выводит только из второй, им не рассмотренной. Отсюда внутренняя нескладность его трактата. Притом он, кажется, смешивает некоторые понятия. Церковные земли—

собственность лиц юридических; но в данную минуту ею владеют живые люди, лица физические. Последние не могут иметь прав на церковное имущество, какие имеет владелец на свою личную собственность, — не могут расточать, чего не собирали, по выражению одного правила старинной Кормчей. Законодательство церковное и государственное ограничивало произвол этих лиц, стоящих во главе церковных учреждений, а о. Горчаков в этом видит ограничение права собственности самой церкви. Источник ограничения лежит в юридической природе такой собственности, а автор ищет его в какой-то теории XV—XVI в. Ко всему этому надобно прибавить, что перед глазами исследователя проходили явления, которые могли бы поправить его взгляд, если бы он обратил на них должное внимание. По его мнению, теория неотчуждаемости, после собора 1503 г. возведённая на степень государственного закона, лишила церковные власти принадлежавшего им дотоле права отчуждать свои земли меной или продажей. Но ему известны меновые акты XVI в., в которых митрополиты отчуждают меной свои земли так же свободно, как они делали это прежде. С другой стороны, вот факты, приводимые автором в доказательство права митрополитов отчуждать свои земли продажей (стр. 133 и 174). В 1453 г. некто Иван Пополутов купил земли у митрополичьего Новинского монастыря: „а купил есмь до своего живота, а после моего живота то Спасское и Борок и с всем тем Преч. Богородицы в дом в Новой монастырь на поминок моих родителей и по моей душе и по моих детех“. В 1490 г. Ушаков купил селище у того же Новинского монастыря себе и своему роду, „доколе род его изведётся“, с обязательством платить монастырю ежегодный оброк по 3 четв. ржи: „а изведётся род мой Андреев, и то селище в дом Введенья Преч. Богородицы на Новое да и митрополиту по старине: а того мне селища в прок себе и моим детям не осваивати, ни продати, ни применити“ и т. д. Очевидно, это—продажа в потомственное пользование, а не в полную собственность. В третьем цитируемом у автора акте (А. до юр. б. № 147, XIV) дворецкий

митрополита в 1524 г. выкупает у одного из Филипповых сыновей Кузьминых купленную им землю того же Новинского монастыря. Но купчая Филипповых неизвестна, и мы не знаем, какие условия в ней обозначены: очень вероятно, что Филипповы купили землю у митрополичьего монастыря на одинаковых условиях с Ушаковым, тем более, что они были служилые люди митрополита, а кафедра выкупила у одного из них свою землю ещё при его жизни. Следовательно, автор не нашёл в актах ни одного случая полной и безусловной продажи митрополичьей земли ни в XVI в., ни прежде.

Прежде, чем расстаться с теорией о. Горчакова, остановимся ещё на одном его положении, развитом в той же главе. Одним из следствий теории собственно для митрополичьих владений автор выставляет и то, что волости, *управляемые* кафедрой, уравнялись с землями, принадлежавшими ей на правах частной собственности. От частных земель кафедры о. Горчаков строго отличает волости, которые давали князья митрополитам только в управление. Здесь владыка был не собственником, а только кормленщиком, совершенно таким же, как боярин или даже сын боярский, получивший от князя за службу наместничество или волостельство в кормление. Большая часть земель в таких волостях принадлежала не кафедре, а общинам или частным владельцам. Короче, одни волости князья отдавали в кормление служилым своим людям, а другие митрополиту. Этот факт очень любопытен и, если не ошибаемся, впервые вызван на свет о. Горчаковым, по крайней мере, так прямо. Он заслуживает подробного рассмотрения. В каких явлениях усмотрел его автор? Чтобы этот факт поставить научно, надобно найти в актах прямые указания: 1) на то, что эти митрополичьи волости были такие же административные единицы, как и округа волостей, 2) что на все земли такой волости митрополиты имели не права собственности, вотчинные, а права управления, административные. Автор говорит об этих волостях в трёх местах (стр. 125—131, 106 и 107, 214—216). В тексте он излагает общие положения, а в примечаниях рассеял немые цитаты для их подтверждения. Пересмотрим эти последние. Цитируется акт (А. до юр. б.

№ 63, XIII), которым некто Феодор Давидович даёт митрополиту Филиппу (около 1470 г.) участие в своей рыбной ловле (в Южском езу) вместе с купчими грамотами своего отца на этот ез. Это Ф. Д. Хромой, великокняжеский московский боярин, потомок Свибла. Продавцы, поименованные в акте, у которых Хромой купил ез, Григорий Иванович и братья Фёдоровичи— это Монастырёвы, дядя с племянниками, удельные московские бояре XV в. Их легко отыскать в родословных. Но в акте нет ни слова о волости, управляемой митрополитом. Потом автор ссылается на купчую дворецкого Тихона (там же № 147, II), купившего митрополиту Ионе селище у Петровского монастыря: об административной волости митрополита и здесь—ни слова. Затем обозначена купчая (там же № 147, IV) на село и деревню в Можайском уезде, купленные Симоновым монастырём у братьев Ильиных,—акт, вовсе не касающийся митрополичьих владений. В подтверждение мысли, что в митрополичьих волостях „оставались митрополичьи волостели, конечно, на таких же основаниях, на каких были княжеские волостели в других землях," автор приводит сперва подтвердительную грамоту вел. кн. Василия Дмитриевича на уставы св. Владимира и Ярослава (П. С. Лет. VI, 86), где читаем: „А что деется в домовных людях и в церковных и в самех монастырех, а не вступаются княжи волостели в то, а то ведают их *епископи* волостели". Речь идёт, очевидно, не об одних митрополитах, даже не об одних кафедральных, митрополичьих или епископских землях и всего менее о волостях, отданных митрополиту в кормление. Рядом с этой цитатой поставлена другая, довольно странная (А. до юр. б. №№ 157—178). Под этими №№ в обозначенном издании Археографической Комиссии находим 37 разных актов. Из них два первые, XVII в., говорят об имуществах митрополита, но не всероссийского, которого тогда уже не было, а новгородского; третий содержит сделку, предметом которой была рыжая кобыла; из остальных 20 вовсе не относятся к владениям митрополита, 12 касаются митрополита, но не упоминают ни о какой его волости и ни о каком волостеле, и только в двух (№ 178, II и III) говорится о митрополичьих

волостелях Карашском и Селецком. В примечании к положению, что митрополиты старались обращать в своё владение земли частных лиц, находившиеся в их волостях, встречаем ссылку на две отписные записи (там же № 118, IX и X), в которых лица, получившие от митрополита в пожизненное пользование земли и кафедры, обязуются не освоивать и не отчуждать их; здесь также нет ни слова о митрополичьих волостях. Все эти цитаты можно было бы зачеркнуть в примечаниях автора без всякого вреда для дела и не без пользы для читателя. Затем остается ряд актов (А. до юр. б. № 63, XVI и № 147, V, XVI—XXI, № 156, II, XV и XVI), в которых разные лица продают, меняют или отдают митрополиту свои земли в митрополичьей волости Сельцах или в митрополичьей же волости Романовском. Автор рассуждал так: если в этих волостях были частные землевладельцы, у которых сами митрополиты покупали земли, значит, в этих волостях митрополиты имели только права управления, а не вотчинные. Из указаний означенных грамот прежде всего видно, что митрополичья волость, называвшаяся Сельцами, разбросана была по двум станам Московского уезда, Быкову и Манатьину. Ясно, что она не была особой единицей в административном делении уезда. Потом о. Горчаков напрасно не обратил внимания на лица, которые меняют и продают свои земли митрополиту. Купчие, помещенные в цитируемом у автора издании (А. до юр. б. № 147), говорят о покупке митрополитом земель Некрасовой дочери, братьев Соболевых, Филипповых детей Кузьминых, многочисленной фамилии Елдегиных, Чертовых, Парфеньева, Перепечиных и проч. Некрас был из фамилии митрополичьих бояр Фоминых; отец его был правнук Феофана, родного брата митрополита Алексия. Соболевы, Парфеньевы, Перепечины, Филипповы-Кузьмины, Чертовы были митрополичьи дети боярские и служили кафедре дьяками, тиунами и т. п. Приводимая о. Горчаковым выписка (стр. 54) из актов объясняет побуждения, руководившие покупщиком и продавцами в этих сделках. В Московском уезде была митрополичья волость и сельцо Качалка (она же и вышеназванная Селецкая волость, как видно

из сличения этой выписки с грамотами в А. до юр. д. № 156, XVI и № 217), в той волости „в Сельцех жили митрополичьи дети боярские, вотчинники, которые бивали челом митрополитам, чтобы их отчины взяли в дом Преч. Богородицы, и митрополиты им за те отчины деньги платили, а те сёла купили в дом Пречистыя". В числе этих земель указана далее пустошь „чтó пришла к митрополичьим землям Селецким". Служба, конечно, устанавливала связь с митрополитом и по землевладению. В той же волости Сельцах было поместье за митрополичьим сыном боярским Семёном Якшиловым, а он, освоив землю кафедры „отчиною", продал её другому митрополичьему же слуге; землю, разумеется, отписали у покупщика к кафедре (стр. 55). Сын этого Семёна, выменив в той же московской Селецкой волости у митрополита отчину у Окулова, дед которого был управителем этой волости, завещал приобретённую землю племяннику в прок, но с условием не отчуждать её „мимо митрополита без митрополича ведома" (А. до юр. б. № 63, XVI). Но эта связь, вовсе не административная, основана не на правах кормления. Находились ли земли частных владельцев, рассеянные между сельцами митрополичьей волости, в таких же отношениях к кафедре, в каких они должны были бы находиться к княжескому волостелю или наместнику? Об этом автор ничего не говорит фактического, основанного на актах, а в актах, им цитируемых, незаметно следов административной деятельности митрополита, похожей на административные отправления кормленщиков в их округах и простирающейся на эти частные земли; нигде митрополит не является только кормленщиком, без прав вотчинника. По тем же грамотам легко заметить, что у митрополитов не было ни одной волости без их земельной собственности, что эта собственность не была сплошная, а разрывалась мелкими вотчинами других владельцев, чтó митрополиты старались уничтожить, скупая и выменивая чужие вотчины. Достаточно просмотреть напечатанные купчие и меновые грамоты митрополитов, чтобы видеть это стремление приобресть землю, которая „пришла" к тому или другому селу или деревне митрополита. Этим

несколько проясняются изложенные указания грамот. Есть акт, цитируемый о. Горчаковым и наглядно представляющий, что́ такое были и как слагались эти митрополичьи волости; вместе с тем он открывает и путь, каким сложилось недоразумение автора. Доказывая стремление кафедры приобретать в собственность земли частных владельцев в волостях, данных ей в кормление (стр. 129), автор говорит, что это видно особенно ясно из акта о правах владения землями в *митрополичьей* Ликуржской волости (А. Ю. № 8). Из акта видно, пишет о. Горчаков, что волость эта в старину управлялась *митрополичьими* волостелями, но только три сельца принадлежали кафедре, как частная собственность. В XV веке от поветрия крестьяне волости разбежались, а митрополичьи волостели захватили опустевшие деревни. Лет через 40 волостные крестьяне начали иск против помещиков, которым митрополит в 1498 г. отдал свои Ликуржские деревни, но проиграли дело, и „Ликуржская волость до сего времени стала *вся* митрополичьею на праве частной собственности, а не на праве только управления", добавляет автор. Здесь действительные черты акта перемешаны с недосмотрами исследователя. Волость Ликурги, ни до поветрия, ни после, не была митрополичьей. В первой половине XV в. ею распоряжаются московские князья, и она переходит от кн. Юрия Димитриевича к его брату Петру и т. д. (Собр. гос. гр. и дог. 1, №№ 43 и 44, 71). Сам о. Горчаков напечатал (Прил. стр. 20) грамоту 1474 г., в которой великий князь определяет отношения митрополичьих крестьян в Ликуржской волости „к волостелям своим ликургским и их тиунам", следовательно волость управлялась не митрополичьими волостелями. Наконец, в акте о тяжбе прямо указано, что спор шёл только о 16 деревнях и 4 починках, а не обо всей волости, что и после поветрия уцелело в волости 6 деревень волостных с людьми, которые не могли быть присвоены кафедрой; здесь же поименованы некоторые земли великого князя в волости тяглые, которые обе стороны считали „неспорными" во время процесса. Акт об этой тяжбе так представляет дело: в Ликуржской княжеской волости митрополиты

издавна имели три сельца в разных местах. После повстрия они заняли и заселили покинутые тяглые земли между этими сельцами: на промежуточное положение новых селец среди старых прямо указано в конце акта. Игумены тамошнего митрополичьего монастыря Благовещенского на тех сельцах бывали волостелями и сажали по лесам новые починки за митрополита. Так среди княжеской административной волости образовалась митрополичья хозяйственная *волостка*, как и называет её великокняжеская льготная грамота 1477 г., напечатанная автором (Прил. стр. 22). Тяжебный акт об этой волостке выражается: „а словут Сельца“. Таково же было образование и московской Селецкой волости, сходной с костромской и по названию. Из межевой грамоты начала XVI в. (Собр. гос. гр. и дог. I, стр. 373) видно, что в станах московского уезда Быковом и Манатьином и в смежном Вышегородском стану дмитровского уезда находились вотчины митрополичьих детей боярских Ивана Кривого Некрасова, Чертовых и др. Из митрополичьих купчих почти того же времени узнаём, что эти вотчины лежали среди или вблизи митрополичьих селец в митрополичьей волости и быстро переходили в частное владение кафедры. Писцовые книги переяславского уезда 1492 г. (Прилож. стр. 1) описывают митрополичье „сельцо“ Романовское, окружённое митрополичьими же деревнями; но среди них лежало село Русановское сына боярского Остеева и деревня Ивакина Тутолминых; митрополиты выменили эти земли; но в меновых грамотах приобретаемые кафедрой село и деревня обозначаются в митрополичьей волости Романовской (А. до юр. б. № 156, II и XIV). Подобное явление встречаем и в митрополичьей Карашской волости или слободке (ростовского уезда горского стана). В конце XV в., когда кафедра имела здесь много сёл и множество деревень, среди них оставалась ещё чужая деревня („промежь митрополичьих деревень Карашских“), которую вотчинники в 1473 г. отдали митрополиту (Прилож. стр. 19, 15, 6 и 74). Однакож зависимости этих частных владельцев от митрополита, как кормленщика, волостельских отношений его к их землям не заметно и не указано автором.

Решив, что такие отношения существовали, о. Горчаков говорит (стр. 127, примеч. 2), что они довольно ясно видны из уставной грамоты вел. кн. Василия Димитриевича (А. А. Э. I, № 9). Затем читаем неясные слова, что по этой грамоте Сенежская и Луховская волости митрополита имеют отношение к князю и митрополиту: „кое князя великого, то князя великого, а кое церковное митрополиче, а то митрополиче". Но это выражение грамоты: 1) относится к одной Сенежской волости, а не к обеим, 2) значит только, что в Сеньгу, рядом с митрополичьими землями, были и великокняжеские, чёрные или дворцовые, что подтверждает одна меновая грамота митрополита конца XV в. (А. до юр. б. № 156, XI): здесь среди митрополичьих Сенежских земель указываются и деревни „великого князя". Далее автор приводит запрещение уставной грамоты покупать земли в обеих волостях боярам и слугам князя и митрополита и заключает: „Таким образом земли в Сенежской и Луховской волостях митрополита принадлежали не митрополиту, не князю, не дружинникам, а тем общинным установлениям, сёлам и деревням, из которых слагалась волость". Но 1) и это запрещение грамота относит лишь к одной Луховской волости; 2) в Сенежской волости были земли и у митрополита, и у князя, и у служилых людей: всё это видно из той же меновной грамоты, где рядом с княжескими и домовными митрополичьими землями обозначена отчина Елизара Неронова, отца его купля. Притом изложенные черты уставной грамоты, приложимые и к частным землям, не доказывают, чтобы обе волости были даны кафедре в кормление. Следовательно автор не доказал ни того, что чужие земли в волостях кафедры находились в административной зависимости от неё, ни того, что её административные права здесь нисколько не зависели от землевладения, не были следствием её вотчинных прав. Автора спутало сходство в терминологии и характере частного вотчинного управления и государственной администрации. И государственная волость ведалась княжеским кормленщиком-волостелем, и частное сельцо с деревнями в той же волости управлялось владельческим волостелем и звалось волостью; а

о. Горчаков подумал, что эта последняя волость была также кормлением, а не частной вотчиной. С другой стороны, княжеский волостель судил, сбирал пошлины и подати, и сельский приказчик привилегированного землевладельца делал тоже в его имении; но это значит не то, что землевладельцу сельцо отдано было князем в кормление, а то, что права управления и кормления соединялись с правами землевладения, совпадая с последним в поземельных границах. Очень хорошо известен факт, что древне-русский привилегированный землевладелец был в своей вотчине не только хозяином, но и князем, с большей или меньшей суммой верховных прав. Он получал от государства полномочия в своём имении, какие принадлежали государственным органам, наместникам и волостелям. Если отчина состояла из села, окружённого значительным количеством деревень и починков, она становилась особым административным округом, независимым от управителя государственной волости, в которой находилась, и по праву усвояла себе обычный административный термин волости. Но таких волостей мы найдём много и у монастырей, и у служилых людей. Их однакож легко отличали от кормлений, в которых не было вотчинного землевладельческого элемента. Иная частная волость оправдывала это звание и своим объёмом: по писцовым книгам 1501 года, митрополичья волость Карашь состояла из 6 сёл и 203 деревень. О. Горчаков не указал случая приобретения митрополитом в собственность целой государственной волости или стана. Но подобный случай находим в поморских вотчинах Соловецкого монастыря. Среди них, в XVI веке, была волость Кемь. Но эта монастырская волость составляла лишь половину государственной Кемской волости выгоозерского стана; другая половина была за царскими оброчными крестьянами. В 1591 году, за услугу государству по защите границы, монастырю отдана была вся Кемская волость „в вотчину в прок“ с угодьями, с крестьянами, тамгою, судом. Зато именно права кормления не были подарены вместе с вотчинами: монастырь обязался платить в казну с волости дани и оброка за тамгу и волостелин доход по 134 р. ежегодно.

В центральных волостях подобным случаям мешало большее развитие и разнообразие вотчинного землевладения: Селецкая волость митрополита в московском уезде тянулась по двум станам рядом или чересполосно с землями великого князя, Новоспасского монастыря, разных вотчинников и помещиков. Здесь, вследствие размножения частных привилегированных волостей с особым управлением, мало-по-малу даже разложилось прежнее государственное волостное деление уезда. Таким образом автор создал факт из собственного недоразумения: он утверждает, что, кроме частных земель, кафедра имела ещё волости, данные ей только в кормление; между тем эти волости были те же частные владения митрополичьей кафедры, только соединённые с правами кормления. Нет нужды останавливаться на выводах, какие делает автор из этого факта, например, на том, что митрополиты не имели права распоряжаться чужими землями, находившимися среди их волостей, или на том, что, вследствие теории неотчуждаемости, волости митрополита уравнялись юридически с его земельной собственностью: эти выводы или выходят совсем не из того факта, или вместе с самим фактом лишены исторического содержания.

Слишком продолжительная остановка на кормлении митрополита оправдывается единственно целью показать, что книгу о. Горчакова нельзя читать без поверки. Последняя оказывается необходимой даже там, где читатель желал бы поверить автору на слово. В перечне домовых митрополичьих монастырей (стр. 181 и след.) Ильинский на Воре поставлен не между московскими, а в самом конце, вслед за Череповским белозерским: автор, повидимому, затруднялся найти ему место. Он находился в дмитровском уделе Московского княжества, что указывается именем реки, на которой он стоял. В числе Московских монастырей автор поместил Воскресенский на Пресне; но в акте, процитированном здесь в примечании (А. до юр. б. № 178), речь идёт о Введенском на Пресне, или известном Новинском, который однакож обозначен вслед за Воскресенским, как особый монастырь. Точно также в числе костромских встречаем два монастыря на Уно-

раже—Воскресенский и Благовещенский; но в актах, указанных в примечании, нет и имени Воскресенского на Унораже.

Мы не берёмся за подробный разбор второй, меньшей половины исследования о состоянии патриарших вотчин в XVII и начале XVIII веков. Но можно заметить, что и эта половина не лишена недостатков, отличающих первую. Так и здесь встречаем неясность в употреблении слов и понятий. Автор говорит, например (стр. 486), что „общинное самоуправление в патриарших вотчинах, в течение периода 1700—1720 гг., по объёму своему расширилось". В доказательство этого он приводит новые обязанности, возложенные кафедрой на крестьян, например, охрану казённого имущества в патриарших сёлах и т. п. Мы привыкли думать, что права влекут за собою обязанности, но что самоуправление состоит не из одних обязанностей, и если усложняются последние, то едва ли расширяется в объёме первое. Точно также, говоря об отличии Петровских коллегий от прежних приказов, о. Горчаков пишет (стр. 448 и след.): „Существо перемены в этом устройстве состояло в том, что заведывание во всём государстве определённым родом предметов, входящих в состав государственного строя, предоставлялось особому учреждению с именем коллегии; тогда как *многие* приказы заведывали областями в государстве по всем сторонам государственной их жизни". То есть в характеристику существа коллегий не внесена именно коллегиальность.

Несколько нелишних черт для характеристики исследования даёт рассуждение автора о перемене в юридическом положении исследуемых владений, происшедшей в XVII веке (стр. 310—327). Сущность этой перемены та, что патриаршие вотчины утратили церковно-имущественное своё значение и превратились в государственное имущество. Два обстоятельства, по мнению автора, главным образом произвели эту перемену. Одним из них было прикрепление крестьян. Оно, во-первых, дало государству влияние на право кафедры распоряжаться своими землями. Отношения патриарха к крестьянам с того времени определялись уже государствен-

ным законом, а не добровольной гражданской сделкой обеих сторон. Но государственное законодательство, заметим мы, и до прикрепления имело влияние на определение взаимных отношений крестьян и землевладельцев: Юрьев день, как общая мера, установлен, надеемся, не взаимной гражданской сделкой. Потом, что же определил новый закон? Указал ли он, например, точно пределы прав вотчинника и обязанностей крестьянина?—Нет, он только запретил последнему покидать участок первого. Прикрепление, по взгляду автора, лишило патриарха, как и других землевладельцев, права отнимать землю у крестьянина. Однако же впоследствии не только снимали крестьянина с участка, чтб бывало и до прикрепления, но и самого продавали, чего прежде не бывало по праву, и государство, хотя с оговорками, признало теперь за владельцем право и на это. Прикрепление, продолжает автор, сделало крестьян объектом вотчинного владения или, говоря проще, частной собственностью владельца. Но государство не могло отказаться от своих прав на крепостного, а так как он неразрывно связан был с вотчинной землёй, на которой жил, то государство стало считать себя вправе распоряжаться и этой последней, как своим достоянием. Этот силлогизм можно было бы назвать софизмом, если бы он был менее прозрачен. Выходит, что государство отказалось от некоторых прав на лица, ему принадлежавшие по его существу, чтобы приобрести некоторые права на земли, ему не принадлежавшие по его существу. Кажется, автору следовало бы предварительно разрешить для себя вопрос: были ли земли, для которых совершено прикрепление, полною вотчинною собственностью владельцев накануне прикрепления и возможно ли было бы последнее со стороны и по инициативе государства, если бы они были полною вотчинною собственностью владельцев?—Второе обстоятельство несколько другого рода. Московские князья старались возвысить значение митрополитов в государстве для собственного возвышения. Так, царь Фёдор учреждением патриаршества только осуществил мысль своих предков—иметь своего патриарха, рав-

ного восточным, чтобы он мог с одинаковым правом совершать венчание русских царей. В смутное время и после, в продолжение XVII века, патриархам открылась важная государственная деятельность, патриарх стал первым после царя государственным сановником. Но в XVII веке всякий сановник владел вотчинами только под условием государственной службы. Поэтому и патриаршие вотчины, как владение государственного сановника, уравнялись юридически с вотчинами и поместьями государевых служилых людей. Значит, не будь у царей суетного желания украсить патриархом церемониал коронации, и будь Гермоген, Филарет, Никон ничтожными лицами в государстве, они спасли бы свое вотчинное право и самостоятельность. Fabula docet: они сделали себя слабыми слугами, став могучими владыками.

Сведём результаты изложенного разбора. Книга о. Горчакова имеет характер первоначальной, как бы сказать предварительной обработки сырого материала. Там, где специальная работа над этим материалом вводила автора в критическое исследование фактов или ставила его перед общими историко-юридическими условиями древне-русской жизни, окружавшими изучаемый им предмет,—там часто его покидала и точность наблюдения подробностей, и верность или меткость исторического суждения. Но труд, положенный на изучение, отчасти выкупает эти недостатки. В изображении патриаршего и последующих периодов истории исследуемых земельных владений автор впервые вскрыл обширный материал, лежавший в архивах, и не растерялся в нём, по крайней мере в его сортировке. Изучающий юридический и экономический быт Руси до половины XVIII века не обойдётся без его книги; исследователь истории земельных имуществ русской церкви найдёт в книге о. Горчакова обильный запас новых и любопытных данных для дальнейшей учёной обработки предмета. Такие работы очень нужны и полезны при настоящем состоянии и потребностях русской исторической литературы. Всё это даёт основание сказать, что сочинение о. Горчакова заслуживает учёной награды.

Докторский диспут г. Субботина в Московской Духовной Академии [1]).

Этот диспут, происходивший 18 апреля в Московской духовной академии, наделал очень много шума и в тамошнем посаде, и в некоторых кругах московского общества. И действительно, всё соединилось, чтобы сообщить торжеству характер зрелища необычайного. И диспутант своею вступительною речью, и оппоненты своими возражениями внушали публике, что совершается учёное событие. Переполненная публикой зала, появление в ней людей, про которых можно решительно утверждать, что ни на каком уже другом диспуте их не увидишь, духота, запоздавшая дама, принуждённая стоять на стуле в толпе студентов, чтобы удовлетворить своему любопытству,—впрочем, вся внешняя обстановка диспута подробно изображена уже в корреспонденциях посада, появившихся в разных изданиях: в Московских Ведомостях, Московских Епарх. Ведомостях, в Церковно-общественном Вестнике.

Но мне, свидетелю происходившего на диспуте, кажется, что появившиеся о нём корреспонденции, — не в упрёк им будь сказано, — недостаточно изобразили, даже не ставили себе задачей изобразить внутреннее содержание диспута. Между тем это содержание имеет свою цену и заслуживает возможно точного воспроизведения. Прежде всего предмет диссертации, происхождение Белокриницкой или австрийской

---

[1]) „Православное Обозрение“, 1874, № 5.

иерархии старообрядцев, сам по себе есть любопытный эпизод из позднейшей истории раскола. Далее, автор очень долго и усердно обрабатывал его по документам, переданным ему из белокриницкого архива присоединившимися к церкви членами этой иерархии. Потом автор имеет не одно учёное, но и практическое отношение к предмету своего исследования: он содействовал присоединению к церкви некоторых лиц австрийской иерархии, чем практически помогал разрушению того, против чего в диссертации своей действует путём учёно-историчсского изыскания; редко в одном лице соединяются столь почтенным образом столь различные функции, и братство св. Петра поступило основательно, увенчав после диспута своего собрата, как деятеля внутренней миссии, серебряной чернильницей. Наконец этот диспут любопытен как продолжение тех нескончаемых церковных прений, которые возбудил раскол в русском обществе: он может служить наглядным указателем, насколько эти вековые прения изменились, стали серьёзнее под действием времени и науки. Вот почему было бы жаль, если бы подробности прений 18 апреля исчезли без следа в печати. Усердный читатель, и даже почитатель сочинений г. Субботина по истории раскола, я хочу возможно точно и беспристрастно воспроизвести ход споров по собственным воспоминаниям и наведённым справкам, основательно не надеясь, чтобы это сделали сами участники этих споров. В ниже представленных диалогах содержание возражений и ответов изложено кратко, или с некоторой близостью къ подлинной форме тех и других, смотря по тому, как удержала их моя память. Наперёд прошу и диспутанта и оппонентов не взыскать за какую-либо отдельную неточность или значительный пропуск в передаче их беседы.

Вступительная речь диспутанта содержала в себе историческое изложение хода отношений православного общества к расколу со времени возникновения последнего и подробный рассказ об участии диспутанта в деле обращения к церкви членов белокриницкой иерархии. Желательно было бы видеть эту речь в печати.

Официальные оппоненты—ректор, протоиерей А. В. Горский, и профессор Е. Е. Голубинский.

О. Ректор. Автор диссертации, рассказывая о происхождении белокриницкой иерархии с полемической целью, очень мало занялся раскрытием неправильности этой иерархии в каноническом отношении. Между тем одно историческое изложение событий, относящихся к учреждению австрийского архиерейства старообрядцев, без такого канонического исследования, далеко недостаточно, чтобы убедить в незаконности иерархии.

Г. Субботин признаёт важность и необходимость канонического исследования, но прибавляет, что его задача была историческо-полемическая, он хотел показать неправильность австрийской иерархии самой историей; притом, рассуждение о несообразности этой иерархии с канонами могло бы составить особую диссертацию, и внести такое рассуждение в историю происхождения белокриницкой иерархии значило бы нарушить художественную цельность и симметрию защищаемой книги. С своей стороны он не находит, чтобы и историко-полемическое изложение было далеко недостаточно для дела: нечистые средства, пущенные в ход при учреждении иерархии, интриги и хитрости, недостойные свойства и поступки виновников и участников дела, так же убедительно говорят о несостоятельности последнего.

О. Ректор. Во всём этом нет ничего особенного, характеризующего собственно раскол. Нечистые средства, недостойные поступки и свойства можно найти и в отдельных лицах и событиях из истории православной иерархии, что, конечно, не может служить доказательством её церковной неправильности и незаконности. — Далее, Павел Великодворский, один из главных искателей древнеправославного архиерейства для Белой Криницы, в написанных по этому поводу сочинениях высказывает мнение о благодати в таинстве священства, очень сходное с мнениями писателей католической церкви, каково, например, его сравнение благодати священства с ветхозаветным огнём, скрытым на время вави-

лонского плена в землю. — Оппонентъ обстоятельно изложил мнение западных церковных писателей об этом предмете, представив обильные цитаты из Августина, Грациана, Петра Ломбарда и др. Павел Великодворский сталкивался с католиками при своих хлопотах в Вене и Львове о приобретении архиерея для старообрядцев. Указанные мнения не были навеяны ему среди этих столкновений?

Г. Субботин. Это можно принять лишь как выраженную догадку. Но едва ли нужно искать источников, из которых черпал Павел, так далеко, когда он мог достать их дома, у русских раскольников. Те же самые мнения о таинстве священства развивались в знакомых Павлу сочинениях беспоповцев; самое сравнение вещества, формы и совершительной силы таинства с веществом, формой и обжиганием глиняного сосуда есть в сочинениях беспоповца Ивана Алексеева (автор известной *Истории о бегствующем священстве*). Сходные места мог найти Павел и в *Поморских ответах*, даже в Большом Катихизисе...

Г. Голубинский. Сначала сделаю несколько частных замечаний. Вы пишете (стр. 2 примеч.), что Павел Коломенский действовал против Никона по личной вражде к нему. Чем вы можете доказать это?

Г. Субботин. У меня сказано в том же месте, что Павел был земляк Никона. Потом это доказывается тесными связями Павла с исконными врагами Никона, Нероновым, Аввакумом.

Г. Голуб. Землячество здесь ничего не значит. А чем вы докажете, что Неронов и Аввакум действовали по личной вражде против Никона?

Г. Субб. Это ясно из всего хода событий.

Г. Голуб. Такой неопределённый ответ ничего не доказывает. Вы укажите, откуда именно это ясно.

Г. Субб. Достаточно для этого прочитать их сочинения, тон которых проникнут личным озлоблением против Никона, в которых, например, Аввакум честит Никона псом, долгоносым, толстобрюхим и т. п.

Г. Голуб. Такая брань была в обычае, особенно против людей, которых считали еретиками, как эти первые расколоучители—Никона. Я прошу вас представить прямое и положительное доказательство того, что они руководились только личной враждой к патриарху.

Г. Субб. Но я не знаю, какие же вам нужны положительные доказательства?

Г. Голуб. Разве вы не знаете, какие бывают положительные доказательства? Например, свидетельства современников.

Г. Субб. Прямых свидетельств о личной вражде, таких мест из современных сочинений, где бы было упомянуто самое слово *вражда*, я представить не могу; но сочинения первых расколоучителей дышат этой враждой и историческое чутьё, которое приобретается внимательным изучением раскола, говорит мне, что именно она была пружиной, двигавшей первыми вождями раскола. Это чутьё внушило мне внутреннее убеждение, которым я руководился в этом случае.

Г. Голуб. Историческое чутьё—это такая неясная вещь, которой часто злоупотребляют и ссылаются на него иногда лишь для прикрытия произвольных вымыслов. Я требую ясного и положительного доказательства.

Г. Субб. Да я же говорю, что доказательство — вся литература первых расколоискателей. Всякий, кто сколько-нибудь знаком с ней, согласится с этим. Познакомьтесь с сочинениями Аввакума, и всё увидите.

Г. Голуб. Знаком достаточно, читал и ничего подобного не нашёл.

Г. Суб. Перечитайте ещё раз. Если же вам этого недостаточно, то представьте и с своей стороны положительные основания.

Г. Голуб. Мое основание то, что нет никаких оснований для вашего положения. Мне доказывать нечего, я ничего не утверждаю, а от вас добиваюсь доказательства того, что вы утверждаете. Если у Аввакума заметно озлобление против Никона, оно развилось уже потом, под влиянием церковной борьбы, под влиянием мнений. Тут нет личной вражды, ко-

торая по вашему была причиной их церковной борьбы. Между тем мнение о личной вражде первых расколоучителей к Никону требовало бы с вашей стороны особенной осмотрительности и учёной доказательности, потому что оно устанавливает совершенно особый взгляд на происхождение раскола... Перейду к другому предмету. Почему вы называете в вашей книге *Проскинитарий* Суханова подложным?

Г. Суб. Потому, что в нём есть очевидные раскольнические вставки позднейшего времени.

Г. Голуб. Почему вы думаете, что эти вставки сделаны позднейшими раскольниками?

Г. Суб. Потому, что в них очевидно тождество с раскольническими мнениями о неправильном поливательном крещении у греков, о падении православия на Востоке и т. п.

Г. Голуб. Но следовало бы доказать, что эти места внесены именно позднейшими раскольниками, а не принадлежат самому автору. Я знаю свидетельство современника, Фёдора дьякона, который ссылается на *Проскинитарий* именно Суханова и приводит из него выдержку, которой нет в так называемом подлинном *Проскинитарии*, а она есть в вашем подложном.

Г. Суб. Это только показывает, что искажение было сделано очень рано. А Проскинитария без вставок разве вы не признаете подлинным?

Г. Голуб. Нет, признаю.

Г. Суб. Стало-быть, вы думаете, что было два *Проскинитария* Суханова?

Г. Голуб. Да... думаю...

Г. Суб. Как же это? Едва ли...

Оппонент переходит к возражениям более общего характера. В выводах, которыми оканчивается диссертация, автор излагает основанные на исследованных им фактах положения, из которых явствует полная несостоятельность белокриницкого священства по самому его происхождению. Оппонент указывает на то, что нет нужды доказывать неправильность белокриницкой иерархии православным, которые в том и не

сомневаются. Надобно доказывать это раскольникам, но доводами, имеющими силу с их точки зрения. Исключительная, односторонняя точка зрения мешает притом беспристрастному отношению к делу. Между тем в положениях, представленных автором, все доказательства незаконности австрийской иерархии убедительны только для православных, а не для раскольников. Со стороны последних иные явления, признаваемые православным обществом за неправильные канонически, представлялись совершенно законными. Оппонент указывает на первый тезис, утверждая, вопреки ему, что мысль об утверждении своей собственной иерархии возникла у поповцев не в первой четверти нынешнего столетия, а гораздо раньше, попытки в этом смысле начались уже с начала XVIII в. Далее, почему автор ставит возникновение этой мысли в зависимость только от того, что меры правительства в нынешнем столетии пресекли раскольникам возможность по прежнему приобретать беглых попов от православной русской церкви и, таким образом, подвергли старообрядцев опасности совершенного оскудения бегствующего священства, почему он выводит их мысль об отыскании себе епископа из этого внешнего и случайного обстоятельства, а не даёт силы существующему у поповцев убеждению в необходимости архиерейского чина в церкви Христовой?

Г. Субботин. Этого убеждения у поповцев прежде и не существовало, они мирились с отсутствием архиерея в своём обществе помощию превратного учения о чинах церковной иерархии и помощию нелепых обрядов, с какими они принимали к себе беглых попов, в роде того, например, что перекрещивали последних в священническом облачении, чтобы не смыть священства, принесённого ими из православной церкви. Более старое и правильное понятие об иерархии, о значении в ней архиерейского чина существовало не у поповцев, а у беспоповцев. Пока у поповцев не было недостатка в беглых священниках, последние не только не смущались отсутствием архиерея в секте, напротив, сами старались подавлять возникавшие в их пастве попытки приобрести себе собственного

архиерея, без которого им было привольнее. Поэтому и учредители белокриницкой иерархии руководились в своём предприятии не сознанием существенной необходимости для церкви полной в трёх чинах иерархии, а именно тем извне пришедшим обстоятельством, что им стало угрожать в нынешнем столетии прекращение прилива беглых попов, полное оскудение священства в их обществе. Притом в тезисах есть доводы, убедительные и для самих раскольников. Так, указано, что учредители белокриницкой иерархии употребляли для своей цели очевидно бесчестные средства и вообще всё это дело было запутанным сплетением лжи, происков и обмана. Конечно,—добавил диспутант,—ни старообрядцы, ни взявший их под своё покровительство оппонент не примут таких средств за доказательство законности австрийской иерархии.

Оппонент хотел далее показать недостаток авторитетности в доказательствах автора с раскольнической точки зрения во всех изложенных им тезисах, но так как для этого потребовалось бы очень много времени, то, к сожалению, он прекратил спор на полудороге.

Следовали возражения частных оппонентов.

Г. Мельников (автор *Очерков поповщины*). Так как вы сказали, что имели на первом плане историческую задачу, то я и сделаю несколько замечаний, касающихся чисто-исторической стороны вашей книги. Из вашего рассказа неясно, как это случилось, что черновицкий крейзамт, — по нашему уездное полицейское управление, и высшие власти в Вене охотно содействовали предприятию австрийских старообрядцев учредить архиерейскую кафедру в Белой Кринице, а губерниальное управление в Львове, средняя инстанция, всеми мерами этому противодействовало. Я объясню вам, от чего это происходило. Наместником Галиции был в то время эрцгерцог, по нашему великий князь, Фердинанд д'Эсте. Он, как у нас говорят, находился под башмаком у своей жены и был вообще человек недалёкий. У эрцгерцогини были три близкие дамы: гофмейстерина её двора, вдова графиня Шенборн-Бухгейм, фрейлина графиня Мария Стадион и жена

гофмейстера эрцгерцогини графиня Франциска Шечени. Эти четыре дамы чрез наместника влияли на венское правительство, а ими самими руководили иезуиты. Последние в то время старались отомстить русскому правительству за воссоединение униатов с православной церковью, совершившееся незадолго перед тем, и на зло Петербургу, не желавшему учреждения раскольничьей иерархии, помогали этому делу. А губернское правление в Львове было наполнено и руководимо поляками, которые из ненависти к русским относились враждебно и к белокриницким раскольникам. Во главе этих поляков там стоял некто гр. Лазаньский. Встречей этих различных интриг и объясняется та странность, что подчинённое учреждение действовало наперекор своему высшему начальству.

Г. Субботин. Однако пан Чайковский (Садык-паша), хотя и поляк, очень охотно помогал Павлу и Алимпию, когда они искали в Константинополе архиерея для Белой Криницы.

Г. Мельников. Как, Чайковский, Михаил Семёнович Чайковский—поляк? Настоящий югозападный русский. Одно уж имя его указывает достаточно на это. Какой он поляк! знаете, как он поступал с поляками? Во время восстания он польскую шляхту кнутом порол... Потом, мне кажется, вы слишком уменьшаете значение Кочуева в деле учреждения раскольничьей иерархии. Он играл очень важную роль в этом деле.

Г. Субботин. Я не отвергаю его значения, но думаю, что му принадлежала далеко не главная роль.

Г. Мельников, настаивая на своём положении, читает отрывки из неизвестных диспутанту раскольнических писем, именно из писем самого Павла Великодворского, в которых Кочуев выставляется „главным затейником“ всего дела об учреждении иерархии,—потом прибавляет:—не забудьте, что Кочуев и по развитию стоял гораздо выше других старообрядцев, знал древние языки и даже был членом Общества истории и древностей российских.

Г. Субботин. Это ещё немного значит—быть членом ка-

кого-нибудь там Общества истории и древностей (здесь диспутант мимоходом проронил неосторожную фразу с личным намёком, которую мы опускаем). Касательно документов, оставшихся неизвестными диспутанту, на которые указывал оппонент, г. Субботин заметил, что невозможно знать их все, и что г. Мельникову знать их всего удобнее, так как он был чиновником министерства внутренних дел. Впрочем, по поводу одного такого официального документа, которым диспутант не воспользовался в диссертации, г. Мельников сказал:

— Да, ведь вы знали его, Н. И.!

Г. Субботин. Нет, не знал.

Г. Мельников. Знали! Помните, я вам давал его.

Г. Ключевский (доцент академии по гражданской истории). Я не буду делать вам никаких замечаний. Но при чтении вашей книги я встретил несколько неясных мест, о значении которых хочу у вас справиться. Ваша книга, согласитесь, имеет случайное происхождение и очень специальное содержание. Она исследует лишь начало одного факта из истории одной из сект русского раскола; притом она не была бы написана, если бы... При такой специальности вопроса научная обязанность исследователя—фактически связать исследуемое отдельное явление со всем содержанием известной науки. Происхождение белокриницкой иерархии имеет прямую связь со старообрядческой мыслью о бегствующем священстве, и вы совершенно правильно начинаете свою диссертацию рассмотрением происхождения этой мысли. Собственно, это—исходный научный пункт вашей диссертации и, может быть, важнейший. У вас этот вопрос разобран кратко; но чем короче изложение, тем оно должно быть точнее, только наиболее твёрдые и доказанные положения должны найти в нём место. Я хочу сперва остановиться на этой части книги. Спешу предупредить, что я, может быть, скажу вам много элементарного давно известного вам,—и прошу не скучать этим, тем более, что меня вы не упрекнёте в принадлежности к чиновникам министерства внутренних дел. При изучении раскола меня занимали две особенности в его истории: наклонность дро-

биться на мелкие секты и недостаток оснований для этого. Мелкая особенность в обряде, в мнении служила уже достаточным основанием для образования нового толка. Что значит такое дробление? Без сомнения, оно указывает, во-первых, на несостоятельность оснований, на которых произошло первоначальное отделение от церкви, во-вторых, на слабость руководителей, под влиянием которых произошло это отделение: при их силе не было бы дальнейшего дробления. Но, согласитесь, что дальнейшие секты, всё более удаляющиеся от покинутых церковных оснований, труднее возвратить к последним. Да?

Г. Субботин. Да.

Г. Ключевский. Мне кажется, статистически можно доказать, что беспоповцы труднее возвращались к православной церкви, чем поповцы.

Г. Субботин. Может быть.

Г. Ключ. Представьте себе теперь, что было бы, если бы раскол имел больше единства и такое церковное устройство, которое по своим основаниям было бы ближе к устройству нашей церкви. Беспоповцы отделились от поповцев, потому что не признали их беглого иерейства. Если бы их иерархия была правильнее, разделения не последовало бы, и примирение тех и других с покинутой ими церковью было бы легче. Не правда ли? Следовательно, это дробление на секты затрудняет борьбу с расколом: против каждой секты надобно действовать особыми приёмами, каждую надобно ловить и одолевать отдельно: напротив, если бы все раскольники составляли одно церковное общество, во главе с иерархией, пользующейся в нем авторитетом и близкой по своему устройству к нашей церкви, тогда осталось бы только привлечь пастырей, за которыми пошла бы и паства.

Г. Субботин допускает некоторую вероятность этих предположений и как бы в подтверждение их указывает на единоверие.

Г. Ключ. Что же значат ваши слова на 2 стр. книги, где вы пишете, что неимение епископов и невозможность с

самого же начала основать свою собственную иерархию были причиной слабости и недолговечности раскола, т.-е. лёгкости его обращения?

Г. Суб. Нет, напротив, это производило внутренние смуты в расколе, ослабляло его, показывало внутреннюю его несостоятельность, чем облегчалось противодействие ему со стороны православного общества, хотя и затруднялась теоретическая борьба с ним.

Г. Ключ. А я думаю, что со мной согласны были и некоторые из благоразумных иерархов прошлого века. Известен такой факт. К митр. Димитрию Сеченову был очень близок хитрый беспоповец Стахий Осипов, для которого он оказывал иногда покровительство поморцам и сдерживал действия консисторий против них. Однажды Димитрий сказал Стахию: хотите ли, я рукоположу вам епископа *по вашему мнению*, который ваши недостатки будет восполнять? Стахий снёсся со своими, но те не согласились на предложение митрополита. Мне кажется, это предложение выходило именно из того соображения, что против секты, не имеющей правильной иерархии, удобнее действовать, дав им таковую.

Другое замечание оппонента относилось к деятельности Павла Коломенского. Г. Субботин в книге говорил, что трудно допустить, чтобы Павел в ссылке мог иметь сношения с раскольниками, но, пользуясь неизвестностью его последней судьбы, писатели и поповщины, и беспоповщины связывают с ним происхождение своих толков; представляют его первым распространителем и поповских, и беспоповских лжеучителей. Оппонент указал на то, что есть известие о сношениях и пропаганде Павла в ссылке, более заслуживающее доверия, чем свидетельство и рассказы С. Денисова в *Винограде Российском*, которые приводит автор, чтобы отвергнуть их: это— известие Андрея Денисова, сообщённое им в проповеди, при многих свидетелях, что его отец имел сношение с Павлом, как тот жил в Палеострове. В том, что известия о пропаганде Павла в поповщинском смысле впервые находим у менее достоверного Ионы Курносого, оппонент видит лишь побу-

ждение относиться с большим доверием к рассказам поморцев о Павле, чем к известиям поповцев.

Г. Ключ. Потом вы пишете, что даже при первом обнаружении раскола, когда в нём ещё не видно было решительно-раскольнических признаков, один Павел из всех епископов явился сообщником расколоучителей. Но как вы относитесь к известиям, из которых видно, что не только тогда, но и после, когда в расколе уже вполне стали видны его раскольнические признаки, некоторые епископы склонялись в сторону его учений, сочувствовали им? Вы, наприм., пишете, что никакие исторические свидетельства не подтверждают раскольнических сказаний о Макарии новгородском, будто бы склонявшемся на сторону раскола. Но разве свидетельство такого раскольнического писателя, как Иван Филиппов, не может быть историческим? А вы помните, что он рассказывает в своей истории Выговской пустыни об отношении Макария к расколу? Опускаю известное предание о приверженности к расколу Исайи нижегородского. Вам известно дело Талицкого, бывшее в 1700 г.? Вы не будете отрицать, что в его пропаганде был сильный раскольнический элемент. А помните, кто был его соумышленником, с умилением и слезами слушал его тетрадки о наступлении последнего времени, об антихристе, лобызал их, дал Талицкому пять рублей на составление их?.. Игнатий, епископ тамбовский.

Г. Суб. Да, это так; но всё же Игнатий не был раскольническим епископом.

Г. Ключ. Т. е. не перешёл формально в их общество. Но это потому, что его скоро растригли и отправили на Соловки в тюрьму. При возможности разве он не мог бы стать во главе раскола и сделаться вторым Павлом Коломенским? Далее, вы говорите о распространившихся между раскольниками фантастических сказаниях о древлеправославной иерархии, пребывающей где-то в далёких странах на Востоке. Это, очевидно, известные легенды о Малевских обителях, о граде Китеже и т. п.

Г. Суб. Да.

Г. Ключ. Позвольте узнать, из каких источников вы почерпнули их?

Г. Суб. В письменности раскольников есть такие *Путеводители*, *Путешественники*, в которых...

Г. Ключ. Мой вопрос относится к более материальной стороне источников: какого времени те памятники, в которых впервые являются эти сказания?

Г. Суб. Они довольно позднего времени; кажется...

Г. Ключ. Я хочу узнать, известны ли вам письменные источники этих сказаний, более ранние, чем указанные в *Очерках поповщины* (г. Мельникова), или вы заимствовали их только из этого сочинения?

Г. Суб. Более древние, я не знаю, существуют ли.

Г. Ключ. Следовательно, они не выходят раньше второй половины XVIII в. Между тем у вас эти легенды играют важную хронологическую роль. Вы именно пишете, что этими сказаниями старообрядцы примиряли противоречия своего безъиерархического положения *на первый раз*, т. е. в первое время существования раскола, или, как вы говорите дальше, пока были у него священники древнего до-никоновского ставления. Значит, этими сказаниями старообрядцы успокаивали свою встревоженную каноническую совесть ещё до разделения на секты поповцев и беспоповцев. К какому времени относите вы это разделение?

Г. Суб. Оно произошло довольно рано, так к концу XVII в.

Г. Ключ. Так обыкновенно и думают. Следовательно, упомянутые легенды действовали на совесть старообрядцев ещё 90-х годов XVII в., когда становятся известны первые случаи практического разделения указанных сект. Чем вы докажете, что эти сказания уже тогда были распространены в старообрядческом обществе и производили указанное действие?

Г. Суб. Упоминая об этих легендах, я хотел только указать на то, какими средствами старообрядцы, оставшись без архиереев, оправдывали такое своё положение. Ведь это понятно само собою, что эти сказания выдумывались и распространялись в невежественной массе именно под влиянием

чувства неправильности церковного положения старообрядцев, как распространяются и теперь.

Г. Ключ. Я с вами согласен, что именно отсюда могли они распространяться. Но я говорю не о способе, а только о времени их появления, о том, что вы поставили факт не на своём хронологическом месте: явление, которое становится заметно в раскольничьей письменности уже во второй половине XVIII в., вы отнесли ко второй половине XVII.

Г. Суб. Здесь у меня только некоторая неточность в изложении.

Г. Ключ. В связи явлений, хотите вы сказать. Мы ведь знаем, чем именно первые расколоучители оправдывали канонические противоречия своего положения. Но в этих оправданиях у первых старообрядческих писателей есть ли где-нибудь указание на упомянутые легенды о скрывающемся где-то их священстве древнего благочестия?..

Г. Субботин отвечает отрицательно.

В связи с этим оппонент спросил диспутанта, неужели он серьёзно считает единственной причиной отделения беспоповцев от поповцев и появления беспоповского учения о священстве лишь оскудение беглых попов древнего ставления, как это выходит по его изложению, тогда как уже в сочинениях первых вождей раскола существенные основания беспоповского учения являются готовыми. Но этот вопрос, как показалось мне, был преждевременно покинут спорившими сторонами.

В последнем возражении, в продолжение которого обе стороны также, повидимому, спешили закончить продолжительные прения, оппонент указывал на некоторые неточности и неясности в рассказе автора о первых раскольнических поселениях в Австрии и об основании Белой Криницы и представил объяснение происхождения имени *Липован* или *Филиппон*, основанное на том, что в одной какой-то раскольнической истории учреждения австрийской иерархии первые поселенцы—раскольники—в австрийских владениях названы новгородцами, а в новгородской области в то время сильно распространялась беспоповская секта филипповцев.

О. Нечаев возвратился к канонической стороне предмета и сказал диспутанту, что при недостаточном выяснении её в книге автора старообрядцы могут доказывать законность своей иерархии, ссылаясь на некоторые правила вселенских соборов и на пример древней христианской церкви, которая принимала к себе священников из еретических обществ новациан и донатистов с *тем же чином*, какой они имели в ереси.

В связи с этим оппонент поставил вопрос, не может ли русская церковь принимать к себе обращающихся в единоверие старообрядческих архиереев в том же сане.

О. Ректор. Здесь не время и не место говорить об этом.

Диспутант, оговорившись, что вследствие утомления он не может теперь разъяснить вполне этот важный вопрос, заметил только, что, правильно истолкованные, эти правила и примеры неприложимы к белокриницкой иерархии. Далее оппонент заметил, что во вступительной речи диспутанта брошен камешек и в огород православных священников; именно, г. Субботин указывал на равнодушное отношение духовенства к расколу, чем облегчаются успехи последнего.

О. Нечаев заявил, что в этих успехах виновато не духовенство, а скорее светское общество, в котором одни равнодушны ко всяким религиозным предметам, а другие прямо сочувствуют расколу не по религиозным побуждениям, а иные, именно некоторые писатели, художественным изображением быта и истории раскола поддерживают сочувствие к нему в обществе. Публика, справедливо или нет, увидела в этих словах намёк, между прочим, на присутствовавшего тут автора рассказов *В лесах* и *За Волгой*.

О. Виноградовъ высказал в своих замечаниях, что автор недостаточно ярко выставил в книге недостойные поступки некоторых участников в деле учреждения белокриницкой иерархии, и между прочим указал на известие, что Амвросий подвергся запрещению и отлучению от патриарха ещё до перехода в общество австрийских старообрядцев,—прибавив, что для поверки и разъяснения этого известия и теперь не потеряно еще надёжное средство, так как жив ещё тогдаш-

ний русский посланник в Константинополе, без сомнения хорошо знающий это дело: стоит только спросить его.

О том, как встретили публика и студенты единогласный приговор академического совета, признавшего защиту диссертации вполне удовлетворительной, достаточно обстоятельно писано в газетных коресподенциях.

В заключение, соединяя своё собственное впечатление с отзывами других лиц из публики, которые мне привелось слышать, я могу сказать, что к живому интересу, возбуждённому и отчасти удовлетворённому диспутом, примешивалось некоторое недоумение, отчего почтенный диспутант не счёл нужным или возможным дать определённый ответ или разъяснение именно на те возражения, которые являлись наиболее важными для большинства публики, интересующейся самим расколом, а не разными подробностями и случайностями его внешней истории, не имеющими, по справедливому замечанию о. ректора, ничего характеристического собственно для раскола. Возражения г. Ключевского и г. Голубинского давали диспутанту повод и даже требовали от него уяснить более удовлетворительным образом, нежели это сделано в самой защищаемой книге, связь специального предмета диссертации с общей историею раскола, а следовательно и значение самой этой истории, без чего научный интерес специального предмета диссертации остаётся проблематичным; к сожалению, г. Субботин от такого разъяснения старательно уклонялся, и все его ответы гг. Ключевскому и Голубинскому были, так сказать, дефективного свойства, оставляя постороннего слушателя в недоумении о причинах такой неожиданной скромности диспутанта, именно в той части его предмета, которая одна имеет научное значение и интерес; я говорю о скромности потому, что нельзя же допустить, чтобы почтенный профессор, приобретший такую вполне заслужённую известность в области раскола, действительно не имел определённого научного взгляда на общее значение того предмета, которому он посвятил всю свою деятельность.

Очерк истории русского народа до XVII стол. Общинный быт древней Руси.

Д. Д. Сонцов. М. 1875, 160 стр. [1])

Эта книга с заглавного листа и до последней страницы поражает своею странностью. Она имеет два заглавия; второе из них указывает на её цель: этою целью, как говорит г. Сонцов в предисловии, было „желание выяснить те данные, которые могут служить доказательством развития общинного быта в истории Русского народа". Из этого видно, что предмет сочинения—не очерк истории Русского народа до XVII ст., а решение одного вопроса из этой истории. Действительно, в книге нет очерка истории нашего народа, по крайней мере нет того, что принято разуметь под этими словами, и первое заглавие совсем не идёт к содержанию сочинения. Но автор не привёл в исполнение и своего желания, послужившего истинною целью его труда. Ему хотелось выяснить данные, которые могут служить доказательством развития общинного быта в истории Русского народа. Этих данных, казалось бы, следовало прежде всего искать в истории политического и экономического устройства русской общины, городской и сельской. В предисловии, г. Сонцов заявляет себя, говоря его словами, последователем той партии в русской исторической литературе, которая „доказывает не родовое, а

[1]) „Учебно-Воспитательная библиотека". Издание Учебного Отдела Московского Общества Распространения Технических Знаний. Москва. 1876. Т. II.

общинное начало нашего отечества". Сторонник такой „партии", естественно, дорожит каждым историческим проявлением этого начала, каждым фактом, указывающим на его действие в нашем прошедшем. Между тем об общинном земском самоуправлении в Московском государстве XVI в. автор говорит местами, мимоходом, в общих неопределённых выражениях; о поземельных отношениях членов общины между собою, о признаках общинного владения и распоряжения землёй в древней Руси, об общинной раскладке податей и повинностей, об общинном суде и общинной полиции, об отношении общинного самоуправления к приказной администрации,—обо всех этих и других подобных предметах, казалось-бы, очень важных для того, кто изучает степень развития общинного быта в древней Руси, г. Сонцов не говорит ничего. Он как будто и не признаёт или не подозревает, что всё это очень близко касается его задачи. Только „о порядке владения землёю у Славяно-Руссов" он написал несколько строк (стр. 104—105), где высказал такие элементарные или неопределённые замечания, которых было бы недостаточно и для учебника, не только для „исследования", как он назвал свой труд в предисловии. О чём же автор пишет в своей книге?—Ответить на этот вопрос довольно трудно. В книге нет никакого оглавления, ни подробного, ни краткого, она просто разделена на пять отделов, обозначенных римскими цифрами. Да и не легко было бы составить какое-либо оглавление, благодаря разнообразному содержанию книги. В ней говорится о расселении славянских племён в пределах России и их первоначальном быте, об окружавших их инородцах, о Новгороде, о Польше, о русских боярах, потом опять о Новгороде, о призвании князей, о скандинавских сагах, затем опять о боярстве и его отличии от западной феодальной аристократии и опять о Новгороде, далее .опять о славянских племенах в России и их быте, между прочим ещё раз и довольно много о Новгородцах, о духовенстве и религиозных гонениях, о норманской и древнерусской женщине, о скальдах, о рабстве и крепостном праве, о московских князьях,

о Иване Грозном и о многом другом, имеющем такое же отношение к вопросу о древне-русской общине. Очевидно автор понял свою задачу слишком по-своему. Задача эта состоит в решении вопроса: в чём, в каких явлениях древнерусской жизни видно господство общинного быта? Начиная чтение книги, читатель ждёт, что автор покажет ему следы этого быта в древне-русском праве, в законах, управлении, в общественных и экономических отношениях людей, в обычаях и понятиях народа. Книга г. Сонцова приводит читателя совсем к другому, ставит его на иные точки зрения. Выписываем с буквальной точностью её последние строки, в которых автор пытался выразить сущность того, что написано в его книге: „Общинный быт Руси виден во всём: в горе и радостях, бедствиях и счастьи русского народа, в его последующей славе и могуществе и погибели прочих славянских народов, изменивших своему вечевому укладу".

Не менее своеобразен г. Сонцов в изложении отдельных фактов и мыслей. Во многих местах книги он приводит известное место древней летописи: „Новгородцы бо изначала и Смоляне и Кыяне и вся власти якоже на думу на веча сходятся" и т. д. К этим словам летописи, как к самому решительному доказательству, автор обращается всякий раз, когда ему нужно доказать общинный быт в какой-либо области древней Руси (см. стр. 1, 68, 81 и др.) Всякий раз эти слова он приписывает „нашему знаменитому летописцу Нестору" и ни разу не догадался справиться и узнать, что они принадлежат вовсе не Нестору, а летописцу города Владимира на Клязьме и помещены им в рассказе о суздальских событиях 1176 г., когда Нестора давно уже не было на свете. Галицию г. Сонцов всю относит к западному славянству, а Литовцев считает северо-западными соседями Новгородцев (стр. 37 и 59). По мнению автора, великий князь Василий Тёмный присоединил к Москве и Верейский удел (стр. 43, прим. 31), тогда как в этом уделе и при сыне Василия Иване III до 1485 г. сидел ещё князь Михаил Андреевич. На стр. 126 г. Сонцов решительно уверяет, что Русь, как древняя, так и новая, не

употребляла костров, железа и воды против еретиков; в примечании к этому положению (на стр. 129) он допускает уже сожжение Аввакума и других расколоучителей, но объясняет это начавшейся тогда реформой древне-русского быта, повеявшим на Русь влиянием Запада, следовательно, отступается от новой Руси, но продолжает стоять за древнюю, говоря, что и в ней были ереси—жидовская и стригольников, но „они кончали своё существование без кровопролития, прекращались убеждением слова“ (стр. 128), как будто он не знает или притворяется, что не знает, как поступали именно с стригольниками и жидовствующими. Или вот ещё образчик изложения исторических фактов в книге г. Сонцова. Царь Иван Грозный в письме к кн. Курбскому, вспоминая, чего натерпелся он с братом в юности от бояр, говорит: „Бывало мы играем, а кн. И. В. Шуйский сидит на лавке, локтем опершись о постель нашего отца, ногу на неё положив“. Г. Сонцов, имея в виду это же место письма царя Ивана, пишет (стр. 153. прим. 110): „Бояре в правление своё не давали ни малейшей свободы Иоанну, стесняли его во всём, даже в пище и одежде,—клали на него свои ноги, разговаривая с ним“.

Промахами, подобными указанным, очень богата книга г. Сонцова; к ним следует ещё прибавить крайнюю небрежность издания. У автора, очевидно, не было хорошего корректора, а сам он не хотел или не умел заменить его. Книга эта обилует такими опечатками, которые одни, помимо других её качеств, не позволяют дать её в руки неопытному, но желающему поучиться читателю,—тем более, что к ней не приложено обычного в неисправных изданиях списка погрешностей. Кн. Иван-Берладник назван Берлоидиком, Ольговичи—Омовичами, Ольгердовичи—Омердовичами, Герсике (или Герцик), город Полоцкого княжества,—Берсиком; багдадский учёный X в. Ибн-Хаукаль и наш современный ориенталист г. Хвольсон слиты в одно имя Ибн-Гаукал-Хвальсон (стр. 55, 87, 158, 117 и 17). Встречаем выражение: рыцари среднего века (стр. 85 в прим.). Но особенно оригинальны в книге г.

Сонцова цитаты. Г. Костомарову приписано что-то, обозначенное буквами Русск. Ист. в IV столетии (стр. 40, прим. 28). Выше приведено известие автора о том, как бояре клали ноги на Иоанна,—известие, составленное помощью искажения слов Иоанна в письме к кн. Курбскому. При этом известии в скобках поставлена цитата: Письмо Иоанна Курбского. В другом месте (стр. 133) автор просит любопытствующего обратиться за сочинением Стрингольма к чтению „Истории древностей Руси". Так обозначено в книге г. Сонцова известное издание: „Чтения в Обществе Истории и Древностей Российских". Очевидно, в некоторых из таких цитат виноват не один наборщик. Не один же наборщик виноват, например, в вычислении, посредством которого определено количество квадр. саж. в десятине. Читаем (стр. 105 в примеч.), что четь, древне-русская мера пахотной земли, „равнялась ½ десятины в 80 саж. длины и 40 ширины или 60 в квадр." Наборщик виноват лишь в том, что не догадался, как получились эти 60 кв. саж., и не уничтожил их при наборе. А получились они, вероятно, очень просто: 80 саж. длины сложены с 40 ширины, сумма разделена на 2 и—квадрат готов.

И в стилическом отношении труд г. Сонцова не свободен от недостатков. Изложение у автора так же небрежно, как и издание. Им едва ли не первым изобретены такие слова, как племенность, уделизм (удельная система), осуществовывать (стр. 78, 26 и 156). Но иногда и очень часто его речь идёт прямо против логики и грамматики. В одном месте мы читаем: „Всякий результат есть явление известной причины" (стр. 142); в другом: „Князья избежали удачно и эту ошибку Афинской республики" (стр. 44). Не всякий поймёт грамматическое строение такой, напр., фразы: „В удельно-вечевой Руси охранение княжеских прав лежало на княжеском съезде, служилых сословий служебная дума, общинное вече, духовенство—на церковном соборе" (стр. 24 в примеч.). Нелегко понять и следующее выражение (стр. 64): „Они (своевольные и себялюбивые Новгородцы) чуждались общих для всего рус-

ского народа слияний, где их желание первенства и своекорыстия должно было подчиниться наравне с другими". Автор упоминает ещё (стр. 140) о польском сейме, на котором шляхта требовала закона, определяющего одежду не для дворян (читай для недворян). Такие выражения, показывающие, что по книге не прошла рука грамотного корректора, встречаются почти на каждой странице у г. Сонцова.

Г. Сонцов приступил к сочинению своей книги безо всякой подготовки и без серьёзной мысли об ответственности за печатное слово. Сам по себе труд его не заслуживает рецензии. Единственным побуждением, заставившим поместить его разбор на страницах „Учебно-воспитательной библиотеки", было опасение, что книга г. Сонцова по неосторожности попадёт в библиотеку учителя или учащегося. Эта книга совершенно бесполезна для того и для другого. Первому она не даст ни одного нового обработанного и приготовленного для преподавания исторического факта, второму не поможет ни лучше усвоить, ни дополнить сообщённое ему преподавателем. Автор почему то посвятил свою книгу „памяти уважаемого профессора Ив. Дм. Беляева". Трудно сказать, остался ли бы доволен И. Д. Беляев, если бы получил такое посвящение при жизни.

В. Ключевский.

Новый труд по церковному праву:

О ЦЕРКОВНЫХ НАКАЗАНІЯХ.

Опыт исследования по церковному праву. *Н. Суворова.* Спб. 1876 [1]).

Каждое новое и дельное сочинение по церковному праву, появляющееся в нашей литературе, заслуживает особенно радушного приёма со стороны читающего общества не потому только, что для последнего, благодаря излишней скромности и осторожности наших канонистов, новое сочинение по церковному праву составляет довольно редкую учёную новость. Есть другое побуждение, заставляющее читателя обращаться с особенным вниманием к каждому новому русскому труду по каноническому праву,—побуждение, которое простой читатель чувствует, может быть, даже живее, чем специалист по церковному праву. Перемены, совершившиеся в нашем гражданском обществе, вызвали потребность в преобразовании и тех отношений, которые действуют в кругу общества церковного. С другой стороны, известно, как случилось, что в значительном количестве членов церковного общества возникли и утвердились понятия и чувства, которых ещё не было заметно, когда складывались некоторые доселе действующие в этом обществе порядки. Отсюда возникли вопросы, предметом которых были устройство церковного управления и суда, положение духовенства в гражданском обществе, участие мирян в церковных делах и т. п. Когда возбуждены были эти во-

[1]) „Православное Обозрение“. 1877. № 5.

просы, они застали читающее общество в беспомощном состоянии, вызвали разнообразные толки, но большею частию исполненные смутных или произвольных суждений о том, что можно и нужно преобразовать, создать вновь, сохранить или восстановить. Оказалось, что ни начала, на которых держится существующий церковный порядок, ни исторический процесс, которым этот порядок созидался, не представлялись с достаточной ясностию общественному сознанию. Одни подчас слишком поспешно готовы были освятить авторитетом канонической, неприкосновенной старины церковные установления таких веков, для которых времена апостолов и вселенских соборов были едва понятной стариной; другие по скептической привычке смело объявляли позднейшим неканоническим вымыслом всё, что не согласовалось с конституционными понятиями новейшего фасона. Итогом этой толкотни мнений было неожиданное и тревожное для многих открытие, что значительная часть общества, считавшая себя имеющей прямой доступ к миру высших идей человеческой культуры, не умела отделить подлинное от поддельного, постоянное от случайного в строе того церковного общества, в котором сосредоточивались высшие духовные интересы многих десятков поколений. Здесь наступила очередь знатоков: они должны были вразумить смущённые совести, смущение которых проистекало из того, что в зрелом возрасте ничего не было прибавлено к познаниям, вынесенным из гимназических уроков Закона Божия. Поэтому всякое добросовестное исследование по церковному праву, появляющееся в нашей литературе, становится не только научным приобретением, но приносит и практическую пользу, содействуя рассеянию сомнений и недоразумений, которые тревожат совесть людей, принадлежащих к русскому православному обществу.

Кто с подобными соображениями обратится к книге г. Суворова, тот наверное прочтёт её с удовольствием. Вопрос канонического права, избранный автором для исследования, имеет не специально-научный только, но и общий интерес. Церковные наказания принадлежат к числу средств, употре-

бляемых церковию для нравственного исправления и очищения совести верующего человека; изложить историю церковных наказаний значит рассказать, как действовал в разные времена и в разных местных церковных обществах один из самых чувствительных и деятельных нервов того нравственно-религиозного организма, который называется церковию. Как при существующих людских отношениях и понятиях религиозное общество может поступать с теми своими членами, которые нарушают установленный в нём порядок,—это один из трудных вопросов современной церковной жизни, и разрешение его вовсе не облегчается тем, что в текущих заботах нашей церкви он затрогивается слабее других. Но когда и он станет на очередь, тогда потребуются у знающих людей заботливые справки и указания из церковной практики прошедших времён. Издавая своё исследование, г. Суворов понимал это практическое значение избранной им темы. „Исследование,—пишет он в предисловии,—с которым я являюсь на суд публики, представляет собою попытку изобразить в ряде исторических очерков судьбу церковно-правового института, с которым стоит и падает жизненная сила самого общества церковного, с которым неразрывными узами связан вопрос о внутренней крепости этого общества, о благе его членов, о чести и достоинстве Церкви".

Автор рассматривает исследуемый предмет во всей широте его канонического и исторического содержания. Он разделил свое исследование на два неравные отдела: в одном изложена история *общих* церковных наказаний, т.-е. таких, „которыми затрогивается общее положение членов в среде церковного общества", в другом—история наказаний *особенных*, дисциплинарных, которые касаются „специального положения клириков и церковно-должностных лиц вообще". В обоих отделах автор излагает сперва историю церковных наказаний в древней вселенской церкви, от неё переходит к западным церквам, римско-католической и евангелическо-лютеранской, и, наконец, с особенным вниманием останавливается на истории наказаний, применявшихся в нашей отечественной церкви: этой последней

части программы посвящена бо́льшая половина всей книги. Историческому изложению предписано введение, в котором автор рассуждает об основаниях наказующей власти церкви, о существе церковных наказаний, об их целях и, наконец, описывает общие черты системы церковных наказаний.

Едва ли можно упрекать автора за то, что история наказаний в древней вселенской Церкви и на православном Востоке позднейших веков, а ещё более в церквах римской и протестантской изложена у него в слишком беглых, сжатых очерках и недостаточно приведена в связь с нравственными понятиями и общественными отношениями, среди которых действовали эти церкви, недостаточно проведено то сближение начал церковного права с воззрениями времени, которое в предисловии он сам считает „неоспоримым и неизбежным“: эта сжатость рассказа была естественным последствием широкой программы, по которой составлена книга. Гораздо легче было избежать некоторых внешних особенностей, которыми отличается изложение г. Суворова. Наш учёный язык, благодаря небрежному обращению с русским лексиконом, стал превращаться в неуклюжий и неудобопонятный жаргон, который только мешает распространению и ясному пониманию идей, добываемых учёными работами. Г. Суворов вообще выражает свою мысль ясно и просто; но иногда и у него заметно пристрастие к той самодельной, искусственной терминологии, которая портит литературную речь и ничего не прибавляет к её точности и выразительности. Такие простые выражения, как наказующая власть Церкви, состояние светского права, почему то кажутся автору менее уместными в учёном трактате, чем изысканные и несовсем по-русски составленные фразы: „церковно-наказующая власть“, „светское правосостояние“; подобно этому понятие о содержании церковного права он выражает словами: „церковно-правовая материя“. Такой язык приводит только к тому, что простые и понятные сами по себе вещи представляются в учёном изложении очень мудрёными, тогда как для выполнения истинной задачи науки следует, кажется, поступать совер-

шенно наоборот. Впрочем, надобно прибавить, что в этом автор, очевидно, поддался невольно влиянию множества немецких книг, которые он прочитал для своего исследования, а также некоторых русских сочинений по церковному праву, на которые он без всякого вреда для своей монографии мог и не смотреть, как на образцы для подражания.

В книге г. Суворова есть недостатки и более серьезные, по крайней мере, в том отношении, что их легче было не заметить самому автору. Развивая свою мысль в направлении известных исторических фактов, он не всегда в должной степени был внимателен к другим, которые однако побудили бы его расширить или ограничить доказываемое им положение. Так читатель придёт в недоумение, следя за его рассказом о том, как публичное покаяние, практиковавшееся в древней Церкви, потом превратилось в систему денежных штрафов за церковные преступления. Это извращение, по мнению автора, совершилось среди германских и славянских племён по принятии ими христианства, под влиянием господствовавшей в их обычном праве системы композиции и вир, т.-е. денежных взысканий за преступления. Между тем первый случай такого извращения он же встречает в Ирландии, т.-е. не у германского и не у славянского племени,—именно на соборе, бывшем в Ирландии под председательством св. Патриция в V в., постановлены были правила, носившие на себе очевидные признаки влияния туземного права, заменявшие церковное покаяние известным денежным вознаграждением (примеч. на стр. 89). Показывая, как и в России туземные славянские воззрения содействовали замене церковного покаяния денежным выкупом, автор ссылается на известное место *Вопросов* Кирика, где Нифонт, епископ новгородский, не одобряет замены епитимии заказными литургиями: автору хочется найти здесь след противодействия греческих церковных понятий местным русским, и он замечает, что указанную замену Нифонт осудил „как грек“ (стр. 124, прим. 1). Но мнение, будто Нифонт был грек, есть чистая догадка, которую даже пытавшийся доказать её Зер-

нин выразил в виде очень нерешительного вопроса. Согласно со свидетельством старинного жития этого епископа и других древних русских памятников остаётся господствующим мнение, что он был урожденец Киевской земли и постригся в Печерском монастыре, откуда возведён был на новгородскую кафедру. Вообще все те страницы книги, откуда заимствовано это замечание о Нифонте и на которых автор рассуждает о том, как подействовали на систему практиковавшихся в русской церкви наказаний два влияния, византийское и народно-славянское, едва ли удовлетворят читателя, а некоторые положения автора наверно смутят его своею неожиданностию (стр. 112—128). Наряду с другими русскими церковными соборами против еретиков г. Суворов говорит и о том, который судил Сеита, замечая, что эти „соборы, состоявшие из представителей иерархии с одной стороны, и великого князя, впоследствии царя Московского с его синклитом с другой, присуждали еретиков к таким наказаниям, которые в принципе всегда считались делом светской власти (прим. на стр. 114)". Но едва ли автор укажет надёжные свидетельства исторических источников, из которых ясно было бы видно, какой собор судил Сеита, из кого составлен был этот собор, как судили и наказали еретика и даже кто такой был этот Сеит: под неопределённым выражением написанного митр. Киприаном жития св. Петра, что еретика „святый препре и непокоряющася того проклятию предасть, иже и погибе", едва ли можно разуметь именно наказание, которое в принципе всегда считалось делом светской власти. Автору хочется думать, что ересь и волшебство в древней Руси были государственными преступлениями, следовательно и карательные меры против них должны быть рассматриваемы не как последствия церковного суда, не как церковные наказания, а как наказание за преступление против государственных законов. Но он не указал и едва ли мог указать до XVI в. такой древне-русский государственный закон, в котором ересь или волшебство прямо были бы обозначены, как преступления против государства. Недостаточно

ясными могут показаться читателю и соображения автора о происхождении телесных наказаний в практике русского церковного суда: в одном месте, говоря о византийском влиянии, автор как будто думает вывести их из этого источника; ниже, под особой рубрикой о телесных наказаниях, он, кажется, готов объяснить их появление крепостным правом, установившимся в России, и землевладельческими отношениями церкви.

Можно было бы отметить ещё несколько подобных мест на указанных и на других страницах книги г. Суворова. Но и сделанных замечаний довольно, чтобы видеть образчики промахов и неточностей автора; крупнее тех, которые приведены выше, едва ли можно найти в его исследовании. Впрочем и эти промахи надобно скорее приписать тому, что автор здесь недостаточно отчётливо выражал свои мысли, а не тому, что он мало знал или недостаточно понимал, о чём говорил. Подобные недостатки можно встретить в любой диссертации.

Но эти недостатки совершенно исчезают в массе хорошо обработанных фактов и выводов, которых довольно в книге г. Суворова. Он положил не мало труда и размышления на своё исследование. Повидимому, им хорошо изучены источники канонического права; по крайней мере у него всюду заметно основательное знакомство с памятниками русского церковного права; редкая черта этих памятников, сколько-нибудь важная для предмета исследования, осталась неразобранной и не занесённой на своё место в книге. Читателю автор даёт много готовых соображений, с помощью которых можно было бы уяснить себе поставленный в исследовании вопрос и в теорическом его содержании, и в историческом развитии. Широкая программа сравнительного изучения открыла исследователю возможность проследить избранную им сторону церковного суда во всём разнообразии её местных и временных изменений и в изображении этих изменений провести одну основную мысль, которая может пригодиться при практическом разрешении вопроса об отношении церкви

к тем её членам, которые нарушают установленный в ней канонический порядок. Выражение этой основной мысли автора, сквозящей во многих местах его исследования, можно видеть в следующих строках его предисловия. „Рассматривая церковь в области права, как явление внешнего мира, как общество людей, развивающихся и усовершающихся, передающих потомству и наследующих массу исторического опыта и сумму добытых наукою права положений, — я смотрю на церковные наказания, как на один из тех институтов церковного права, которые не могут замкнуться в неподвижные формы, при рассмотрении которых притом возникает неизбежный вопрос о границах между церковною и государственною жизнию, между положением человека в церкви, как члена её, и между положением человека в государстве, как гражданина его. Отсюда исторический прогресс и усовершимость внешних церковно-общественных учреждений в тех их сторонах, которые не стоят в неразрывной связи с догматическими положениями церкви". Автор, может быть, согласится, что он не успел или не решился ни в теоретических своих размышлениях, ни в анализе исторических явлений церковной жизни ясно обозначить границы между церковию и государством, насколько касался их вопрос о церковных наказаниях; он не будет также настаивать, что самый этот вопрос разъяснён им окончательно и сам в себе, как вопрос церковно-судебной практики, и в своём развитии, как вопрос церковной истории. Зато книга его даёт достаточно указаний, чтобы видеть, как следует понимать тот исторический прогресс, ту усовершимость церковно-общественных учреждений, о которых он говорит. Излагая формы наказаний в древней вселенской церкви, автор берёт исходной точкой рассказа известное евангельское место, где указано, как должно поступать с согрешившим братом. Следя далее за тем, как в последующие века на Востоке и в других местных церковных обществах изменилось первоначальное христианское отлучение нераскаянного или тяжкого грешника, исследователь изображает очень поучительный нравственно-

исторический процесс. В христианском обществе долго господствовало убеждение, что церковный закон не знает телесной кары. Вслед за отлучением явилось церковное покаяние, как средство восстановления порванной связи грешника с Церковию. Но первоначально и покаяние не имело характера наказания: оно было таким же испытанием для возвращающихся к Церкви, какое проходили оглашенные, в неё вступающие. В правилах Василия Великого покаяние получает уже значение наказания. Прежде это был путь, которым кающийся грешник освобождался от церковного отлучения; теперь оно само получило характер и название отлучения, как средства для очищения совести. В номоканоне Иоанна Постника такой характер покаяния получил дальнейшее развитие: в его предписаниях, сколько класть поклонов за этот грех и сколько за другой, из-за нравственно-исправительных стремлений уже показывается побуждение иного свойства; нравственное настроение кающегося получает здесь определённую меру; скоро оно получит и определённый вес в возникшем обычае откупаться от церковных последствий греха деньгами. Но ещё в XI в. держалось мнение, высказанное патр. Николаем Грамматиком, который считал номоканон Иоанна Постника книгой опасной, погубившей многих. К власти церковной пришла на помощь и государственная со своими мерами, сообщившими наказаниям за церковные преступления ещё более материальный характер. Со времени имп. Юстиниана за некоторые грехи стали заключать виновных в монастырь. К монастырскому заключению потом присоединилось и имущественное последствие: треть состояния женщины, не сохранившей супружеской верности, шла в монастырь, куда её заключали. В западной церкви средних веков римский формализм и утончённая схоластическая казуистика встретились с феодальным аристократизмом и грубыми понятиями кельтских и германских племён о преступлении и наказании: следствием этой встречи была сложная система интердиктов местных, личных и смешанных, отлучений больших и малых, простых и тор-

жественных, денежных штрафов и проч., какая развилась в римской церкви. В судебной практике папского правительства тонкость юридических определений, унаследованная от старых римских законоведов, шла об руку с первобытными воззрениями варваров на религиозно-нравственные предметы: город Бреславль подвергся интердикту за то, что муниципальный совет его не снял пошлины с пива, потребляемого духовенством кафедрального собора. Отлучённый по прошествии года становился дикой птицей, по выражению одного папы; его можно было убить безнаказанно и безгрешно; оправдывали даже предательское его убийство. Как известно, подобным изменениям подверглись древне-христианские церковные наказания в практике и русской церкви, и г. Суворов первый в нашей церковно-исторической литературе обстоятельно рассказал об этом; только, разумеется, в явлениях нашей церковной истории он не мог найти той утончённой казуистики и той учёной жестокости, какими отличалась система наказаний, сложившаяся в римско-католической церкви. Если, проследив многовековый процесс нравственно-религиозной жизни, скрывающийся за рассказанной в книге г. Суворова историей церковных наказаний, остановимся на одном из последних его моментов и отсюда оглянемся на то, чем начался он; если, например, измерим нравственное расстояние, лежащее между публичным церковным покаянием грешника, как оно является в первые века христианства, с предписанием всероссийского патриарха Адриана бить нещадно шелепами соблазнителя, не говоря уже о бреславльском интердикте и римско-католическом учении о том, как поступать с непокаявшимся отлучённым: тогда нам не только наглядно представится значение исторического прогресса, о котором говорит автор в предисловии, но и откроются задачи будущего, выполнение которых могло бы оправдать веру в „усовершимость внешних церковно-общественных учреждений“.

Книга г. Суворова так обильна содержанием, что любознательный читатель найдёт в ней много поучительного ма-

териала для разных других соображений. Если не ошибаемся, это—первый печатный труд автора; следовательно новый учёный хорошо начал. Недавно с этим сочинением произошла печальная история. Автор представил его юридическому факультету С.-Петербургского университета для получения степени магистра церковного права. Диссертацию рассмотрели и допустили до диспута. Судя по описаниям диспута, появившимся в печати, возражения оппонентов не были особенно разрушительны, а г. Суворов не оставался безответным; некоторые из возражавших признали несомненные учёные достоинства в книге, и действительно можно насчитать много диссертаций, удостоенных искомой степени, которые по большей мере не лучше книги г. Суворова. Однако по окончании диспута факультет *публично* отказал г. Суворову в степени магистра, а совет университета, разумеется в непубличном заседании, признал его в этой степени. Уверяют и притом печатно, что г. Суворов пострадал от того, что большинство факультета хотело на подвернувшемся под руки молодом учёном выместить своё неудовольствие на меньшинство, к которому принадлежит руководивший работой г. Суворова и одобривший его книгу профессор церковного права в том университете.

Крепостной вопрос накануне его законодательного возбуждения [1]).

Сочинения Ю. Ф. Самарина. Т. 2. Крестьянское дело до Высочайшего рескрипта 20 ноября 1857 г. Изд. Д. Ф. Самарина. Москва. 1878.

Весь этот том, несмотря на внешнее разнообразие помещённых в нём статей, отличается внутренним единством и цельностью. Издатель Д. Ф. Самарин соединил в нём сочинения покойного своего брата по крестьянскому делу, написанные до рескрипта 20 ноября 1857 г.; следовательно в ту ещё пору, когда вопрос об отмене крепостного права оставался человеколюбивым мечтанием немногих или только что, и притом весьма негласно, начинал подготовляться к законодательному разрешению. Кроме довольно обширного и уже прежде известного исследования об упразднении крепостного права в Пруссии, составленного в 1856—8 гг., все остальные статьи этого тома являются в печати впервые. Здесь прежде всего заслуживает внимание большая, продуманная и обработанная записка „о крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе“: автор работал над ней года три, несколько раз переделывал, переписывал и пустил в рукописное обращение к осени 1856 г. В тесной связи с ней находятся четыре записки о некоторых частных вопросах, возбуждённых крестьянской реформой, и ещё пятая записка „о мерах для смягчения и облегчения крепостного состояния“.

---

[1]) „Критическое обозрение“. 1879. № 3.

Все эти записки составлены были в 1857 г. и вызваны постановлениями открытого тогда в С.-Петербурге секретного комитета по крестьянскому делу, работами которого началось практическое разрешение этого трудного и великого вопроса. Здесь находим также неоконченную „программу сведений, необходимых для определения законодательным порядком отношений помещиков к крестьянам", предназначавшуюся для того же комитета, и несколько других разновременных заметок и отрывков по крестьянскому делу. Том начинается отрывочными заметками об инвентариях, введённых в юго-западных губерниях в 1847 и 1848 гг. Все эти статьи изданы большею частью по черновым рукописям автора и пояснены примечаниями издателя со всей внимательностью, какой заслуживают труды такого писателя. Итак, по всему тому проходит одна тема, с первой страницы до последней проведена одна мысль, которая не покидала автора даже при изучении им судьбы прусского крепостного права.

В набросанных наскоро заметках и трудолюбиво обработанных трактатах читаем размышления, наблюдения и проекты образованного и умного помещика, который задолго до законодательного разрешения крестьянского вопроса много передумал о том, как лучше разрешить его. Эта дума стала задачей его жизни; для неё собирал он наблюдения и указания на службе в комитете по устройству быта лифляндских крестьян, и в истории прусского землевладения, и в крепостной самарской деревне; она заставляла его, философа и богослова, сделаться сельским хозяином. Издатель привёл в предисловии любопытные слова из письма Ю. Ф. Самарина: „Мы должны, писал он из деревни ещё в 1853 г., своё дело сделать, т. е. освободить труд; все мои занятия направлены к этой отдалённой цели; теперь я составляю подробную статистику имения; мне хочется до возможной точности определить сумму вынуждаемого труда и вывести его несоразмерность.

Благодаря этому книга читается с напряжённым интересом. Люди, которым она только напоминает, что они думали в те годы, может быть, удивятся такому запоздалому дей-

ствию мыслей, давно ими передуманных и частью забытых; но те, кто едва успел прочитать Корнелия Непота, когда был учреждён секретный комитет 1857 г., найдут в записках Самарина много нового и даже совсем неожиданного. Исторический вереД, каким было крепостное право на теле русского общества, созрел и готов был прорваться социальной катастрофой. Просвещённейшее меньшинство дворянства сознавало необходимость предупредить беду своевременным отречением от того, что опасно было отстаивать долее. Это сознание выразилось в появлении множества „записок об упразднении крепостного права“, которые в 1856 и 1857 гг. ходили по рукам в Москве и Петербурге и оттуда распространялись по всей России.

Большая записка самого Самарина „о крепостном состоянии“ принадлежала к этой же рукописной литературе, подготовлявшей общественное мнение к неминуемому факту. Автор её писал в октябре 1856 г.: „записка моя пошла в ход и имеет большой успех“. И вот что прежде всего неожиданно для тех, чьи общественные воспоминания начинаются позже тех лет; в этом глубоко взволнованном обществе не только не знали, какой путь изберёт законодательство для разрешения занимавшего всех вопроса, но не могли сказать наверное, будет ли возбуждён вопрос законодательным порядком. В записке Ю. Ф. Самарина и примечаниях издателя рассеяны указания на это, любопытные в высокой степени. В 1856 г. взгляд правительства на вопрос о крепостном праве ещё не был заявлен, его намерения для большинства были ещё „предметом сомнения“; „самое робкое слово, замолвленное в пользу освобождения крестьян“, подвергало того, кто его произносил, двойной общественной опале: с одной его клеймили „как человека, правительством подкупленного и угождением прокладывающего себе дорогу“; с другой на него указывали „как на врага правительства и порядка“. В 1857 г. ещё запрещено было печатать что-либо по крестьянскому вопросу. Только в этом году возник комитет по этому вопросу и только в следующем году он пе-

рестал быть секретным; журналом 18 августа 1857 г. этот комитет только ещё решил собрать материалы и сведения, „необходимые для постановления тех мер, кои должны быть впоследствии приняты к освобождению крепостного сословия;— и ровно через три года шесть месяцев после того огромный закон, которым разрешался коренной, многими веками запутанный вопрос нашей внутренней жизни, был готов вполне и совершенно. Если бы понадобилось доказать, что люди 1850—1860-х годов были способны к напряжённой, ускоренной работе и не были лишены отваги, достаточно указать на Положение 19 февраля. Далее — опыт 18-ти лет научил нас не только ценить совершённую этим Положением реформу, но и внимательно считать затруднения, которыми она сопровождалась. Разбирая эти затруднения, находим, что они не политические, а экономические. Реформа прошла, не нарушив революционным образом ничьего права, признанного законом, не поколебав основания государственного порядка и общественной безопасности. Но пока она входила в жизнь, развитие освобождённого народного труда запуталось столькими узлами, что наша экономическая будущность остаётся под сомнением, и изучающий сметы государственных доходов над графами прямых налогов с тревогой ставит знак вопроса.

Изучая источники этих затруднений, находим, что они не вызваны Положением 19 февраля, а скорее всего развились оттого, что недостаточно были предусмотрены его составителями. Довольно известно, что по всему акту 19 февраля проходят две струи, заметно несогласные между собой. С одной стороны план устройства мирского крестьянского самоуправления отличается заботливым вниманием к интересам крестьян; как бы не доверяя достаточной зрелости их, чтобы распоряжаться разумно самими собой, составители Положения старались дать им простые и ясные, подробные наставления и предписания, оградить их мир от всяких сторонних вторжений и влияний, не дать ему сойти с прямого пути и, так сказать, принудительно воспитать в нём привычку к самостоятельности. С другой стороны, как

бы считая их одинаково с помещиками созревшими для понимания и устройства своих хозяйственных дел, они предоставили обоим разлучившимся сословиям, которые сцеплены были друг с другом так долго и так насильственно, рассчитаться между собой полюбовно, стараясь возможно менее стеснить договаривающиеся стороны, боясь охладить их взаимную уступчивость излишней регламентацией: на это указывают и менее заботливая разработка практических подробностей, и меньшая настойчивость в проведении основной мысли. Смотря на дело не как на вопрос законодательства, а как на факт, уже совершившийся, с точки зрения почти 20-ти-летнего опыта, мы готовы спросить: отчего произошло это различие во взглядах творцов Положения на „сельское общественное управление“ и „на земельное устройство“ крестьян, как случилось, что они легче относились ко второй, несравненно более тяжёлой половине своей задачи, и никто не указал им, людям несомненно доброжелательным, на риск, какому они подвергают экономическую будущность народа, открывая слишком широкое участие в её устроении всяким случайностям.

В заметках, наблюдениях и проектах Ю. Ф. Самарина находим, может быть, лучшее, что было говорено и писано о крепостном праве у нас, и, читая их, начинаем понимать, как это случилось, откуда возникли несбыточные опасения и неоправдавшиеся надежды.

В большой записке о крепостном состоянии автор старался соединить всё, что могло склонить людей его сословия к убеждению в необходимости и возможности отмены этого состояния. В первой половине записки он размышляет о влиянии, т. е. вредных последствиях крепостного права, во второй предлагает меры к замене его гражданской свободой. Первая часть не имеет практического интереса для нашего времени, но она любопытна как исторический памятник, в котором отмечены факты общественного и нравственного сознания того времени, указаны понятия, тогда державшиеся ещё на поверхности общественного мнения, а теперь погру-

зившиеся на дно общества и донашиваемые где-нибудь в забытом углу старой усадьбы.

Значит,—думаешь невольно, читая записку, в 1856 году ещё надобно было доказывать людям вред крепостного права. Мы начали было—и очень охотно—забывать о существовании такой надобности в то время, хотя не далее как в 1852 г. издана была инструкция для женских учебных заведений, в которой предписывалось внушать воспитанницам на основании св. писания, что крепостное право следует беречь как учреждение божественное, как одну из заповедей Божиих. Искренно и последовательно, иногда с материнской диалектикой, автор раскрывает вред крепостного права для общественной нравственности, для государственного благоустройства и народного хозяйства. Он отметил и внешний толчок, возбудивший в обществе помыслы о внутреннем неустройстве и, следовательно, о крепостном праве после продолжительного самообольщения мыслью о внешнем могуществе и внутреннем порядке государства: этот толчок дан был исходом Восточной войны, т.-е. „утратой нашего политического и военного первенства“. Автор указывает на суровое побуждение разрешить как-нибудь крепостной вопрос: он предвидит насильственное и кровавое его разрешение самими крепостными в случае дальнейшей его отсрочки правительством и призывает своё сословие к чистосердечному содействию ожидаемым мерам правительства, чтобы подготовить мирную развязку. Гораздо важнее для нас вторая половина записки, где автор развивает свой план, выходя из крепостного состояния к гражданской свободе. Основная его мысль предоставить определение условий этого выхода добровольному соглашению помещиков с крепостными. Так автор возвратился к мысли указа 2-го апреля 1842 г. об обязанных поселянах, которым помещику разрешалось освобождать своих крестьян от крепостной зависимости, полюбовно договорившись с ними о поземельном наделе и о размерах повинностей за уступленную им землю.

Так как этот указ страдал неполнотой, неясностью, то-

ропливостью обработки и сопровождался распоряжениями, стеснявшими его действие, то он не имел успеха. По плану Самарина его нужно было разъяснить и дополнить и в исправленном виде издать вновь под новым названием. Новый закон должен был определить в общих чертах только юридические отношения помещиков к освобождаемым крестьянам и обеспечить казённые интересы при заключении сделок; затем „все хозяйственные условия, касающиеся до надела землёю и угодьями, до числа рабочих дней, способа производства работ, количества оброка и т. п. следует предоставить обоюдному соглашению договаривающихся сторон, в том убеждении, что выгоды их оградятся их собственною о себе заботливостью гораздо действительнее, чем контролем чиновников (стр. 113). Отдельные лица могли выходить на волю без согласия помещика и без земли, уплатив определённый законом выкуп; но целые сельские общества выходили из крепостной зависимости в положение обязанных крестьян не иначе как с землёй и по соглашению с помещиком; это условие ставилось для сохранения общинного крестьянского владения землёй. В ожидании, пока помещики решатся воспользоваться законом, автор предлагает ряд мер для прекращения дальнейшего развития крепостного права, запрещение переводить крестьян с пашни во двор, с оброка на барщину. Для первых крестьян, которые станут в положение обязанных, он проектирует временный порядок управления, в котором, надобно это отметить,—помещик удерживал больше власти над крестьянами, чем сколько оставило за ним Положение 19 февраля, ему предоставлялась не только вотчинная полиция, но и суд над крестьянами в известных пределах с правом применять наказания, определённые в сделке с обоюдного согласия, лишь бы они не превышали законом установленной меры; точно также право помещика удалять из сельского общества вредных и неисправимых членов в проекте Самарина шире и применение его легче нежели в Положении 19 февраля (ср. Самарина, стр. 107 со ст. 158 Общего Положения).

Такова сущность плана добровольных сделок. Верил ли сам автор в успех этой своей реставрации закона 1842 г., который в свою очередь был новой редакцией закона 20 февраля 1803 г.? Едва ли. Он сам признаётся, что имеет в виду „немногих и лучших из сословия поместного дворянства", и тут же оговаривается, что это ещё вопрос, воспользуются ли они предлагаемой мерой (стр. 120). Потом он предлагает несколько вспомогательных средств для поощрения к добровольным сделкам: пример сверху от владельцев удельных имений, разрешение капиталистам-недворянам приобретать населённые имения с обязательством представлять при купчей проект добровольной сделки с крестьянами приобретаемого имения, так же разрешение увольнять крестьян по духовным завещаниям ради спасения души; но в этих мерах, если нет иронии, гораздо больше уныния, чем надежды на успех проекта. Самарин был слишком умён, чтобы верить и во внутреннее достоинство своего плана, не только в его практический успех. На возражение, что крестьяне, обрадованные небольшим облегчением, не будут в состоянии при заключении сделки соблюсти свои выгоды на будущее время, он отвечает только „патологической вероятностью": ожидание лучшей будущности так укоренено в крестьянах и они так дорожат этой надеждой, что не согласятся променять её на ничтожное облегчение в настоящем (стр. 118). Что заставляло его так настойчиво доказывать преимущество добровольных сделок перед введением принудительных отношений законодательной властью,—это у него не совсем ясно: может быть, боязнь испугать помещиков решительными мерами; может быть, недостаток собственной решительности; всего вероятнее—взгляд на положение дела, не соответствовавший действительности. По крайней мере через год после того, как записка о добровольных сделках была пущена в ход, при первом соприкосновении с действительным положением дела, как только вопрос в комитете стал на путь практического разрешения, произошла значительная перемена во взгляде Самарина: „признавая, пишет он в другой записке,

предназначавшейся для комитета, необходимость, справедливость и пользу указа, имеющего цель облегчить и поощрить заключение добровольных сделок, надобно заранее убедиться, что этим путем Россия не выйдет из крепостного (стр. 428) состояния.

Благодаря этому взгляду и несмотря на предвидение катастрофы от дальнейшей отсрочки развязки крепостного вопроса, Самарину не было повидимому страшно протянуть операцию слабо понуждаемых добровольных сделок на неопределённо-продолжительное время. У него незаметно сознания неотложности развязки дела; он нигде не останавливается даже на приблизительном определении желаемого срока, к которому вся масса крепостных путём сделок перешла бы в положение обязанных поселян, и как будто не видит надобности ускорить превращение обязанных в полных собственников. В одной из четырёх записок, составленных для комитета в 1857 г., возражая на мнение, повидимому довольно распространённое в то время, что освобождение крестьян без пашни, только с усадьбой и выгоном, дало бы средство развязать узел без экспроприации и следовательно без вознаграждения помещиков, невозможного будто бы при тогдашнем состоянии государственных финансов, Самарин находит в этой мысли только недоразумение, потому что можно и пашню укрепить за крестьянами без финансовой операции: помещик, сохраняя право собственности на эту пашню, уступает её крестьянам в вечное владение и распоряжение за известный постоянный доход в виде барщины или оброка (стр. 160). Как бы соглашаясь молчаливо с мыслью о невозможности вознаграждения, он здесь и возбуждает вопрос о выкупе. Между тем ещё прежде, в конце своего проекта о добровольных сделках, развивая взгляд на дальнейший ход освобождения крепостного сословия, он предвидит только в неопределённом будущем необходимость и назначения последнего срока для сделок и обязательных положений для запоздавших и выкупа крестьянских повинностей посредством внутреннего или внешнего займа (стр. 134 сл.).

По некоторым намёкам Самарина (прим. на стр. 426) можно заключить, что перед открытием губернских комитетов утверждался такой взгляд на дело; у правительства недостанет средств для выкупа наделов и нет „*никакихъ*“ данных о настоящем положении крепостных отношений, чтобы развязать их принудительно посредством готового и во всех подробностях разработанного плана; потому остаётся ограничиться переходом крепостных в положение обязанных, а определение условий перехода предоставить полюбовному соглашению заинтересованных сторон. Отсюда выходил такой политический и культурный софизм: правительство ещё не знало, как развязать крепостные отношения; значит, это уже знали и могли сделать сами помещики и крестьяне без указаний правительства. Для нас этот софизм изощряется ещё указанием опыта: в 1861 г., давая крестьянам и помещикам в руководство при добровольном соглашении подробное Общее Положение, законодатель нашёл необходимым присоединить к нему длинный ряд дополнительных правил и местных положений, предостерегая, что „*во всех тех случаях, когда добровольные соглашения между помещиками и крестьянами не состоятся, надел крестьян землёю и отправление ими повинностей производятся на точном основании местных положений*“; а четыре года назад думали, что дело пойдёт серьёзно без таких дополнений и предостережений, по одному простому слову: уговаривайтесь полюбовно, как знаете!

Все черты этого взгляда, вскрывающиеся в суждениях и намёках Самарина, любопытны для истории великого факта, закреплённого законом 19 февраля. Теперь поздно полемизировать против этого взгляда и было бы неблагодарностью порицать за него людей того времени, подобных Самарину, по мере разумения старавшихся помочь разрешению труднейшего вопроса, какой когда-либо разрешался в нашем народе и во всём пространстве пережитых им столетий. Но происхождение этого взгляда, кажется, есть простая научная задача, разрешить которую может попытаться всякий, же-

лающий уяснить себе факты своего времени, никого не порицая, — и задача тем более обязательная, что только её решением можно объяснить себе многое в том порядке вещей, какой стал складываться после 19-го февраля. Кажется, дело шло таким образом. Прежде всего важно соображение, заставившее Самарина отвергнуть применимость инвентарной системы юго-западных губерний к разрешению крепостного вопроса в остальной России. Инвентарные правила, по его мнению, это контракт, которому не достаёт только одного добровольного согласия связанных им сторон, т. е. именно того условия, на котором основывается внутренняя законность и прочность всякого договора, а вся сила в том, что в области *гражданских отношений* предписанию начальства только подчиняются, тогда как *„добровольная сделка связывает совесть, возбуждая сознание гражданской свободы и нравственного долга“* (стр. 87 и сл.)

В своём проекте он представляет помещиков и крестьян сторонами, свободно договаривающимися для заключения частной сделки. Хотя, рассуждая о праве крестьян на землю, он, повидимому, не согласен видеть в них простых постояльцев, а в помещике хозяина дома (стр. 146), однако легко заметить, что его план добровольных сделок построен именно на таком взгляде, и если правительство подходит ближе к этим сделкам, чем к отношениям домовладельцев и постояльцев, то лишь потому, что сделки касаются судьбы много-миллионного класса, чрезвычайно важного для интересов государства и мало обеспеченного. Итак, помещики и крестьяне— гражданские стороны, заключающие простые сделки, не выходящие из сферы гражданского права. Разделял ли сам Самарин такой образ мыслей или только хотел основать свой проект на взгляде, тогда господствовавшем в дворянстве,—в том и в другом случае этот взгляд—не более как учёное предположение, которое довольно трудно доказать. Это предположение основано на мнении, что помещик есть простой частный землевладелец, а его земля простая гражданская собственность. Трудно разобрать, каким образом

это мнение всплыло наверх, когда возбуждён был вопрос об отмене крепостного права; только оно было юридическим недоразумением, потому что русский помещик вплоть до 19 февраля 1861 г. владел своей землёй не на гражданском, а на политическом праве, потому что это владение неразрывно связано было с такими обязанностями, которые по действовавшему гражданскому праву не связаны были с простой поземельной собственностью. Эти обязанности впервые отменены были законом 19 февраля (см. ст. 9. Общ. Полож). Исторический ход развития такого землевладения довольно известен. К концу XVII века и вотчины и поместья одинаково стали землевладением, обусловленным государственной службой землевладельцев; впрочем, между ними оставалась юридическая разница, одни наследовались по праву завещания, другие только фактически переходили к сыновьям или родственникам. В начале XVIII века, в эпоху страшной путаницы понятий и отношений, закон 1714 г. о единонаследии, установляя одинаковый порядок наследования для вотчин и поместий, забыл отличить действовавшее право от действовавших фактов: тогдашний законодатель был вообще равнодушен к такой юридической метафизике и смешал поместья с вотчинами. Закон 1731 года, отметив этот порядок наследования, подтвердил это смешение. Однако они не утратили характера владения на политическом праве: государственные обязанности, под условием которых они были утверждены за владельцами, не только не были сняты с последних, но ещё усложнились после первой ревизии податной и полицейской ответственностью за крепостных, приписанных ко владельцу. Закон 18 февраля 1762 г. о вольности дворянской снял с дворян землевладельцев служебную, военную повинность, но повинности правительственные, обязанности по управлению крепостными и их продовольствию и призрению, как и ответственность за них в известных отношениях, не были ослаблены, а расширены, точнее формулированы позднейшим законодательством. Вся перемена, произведённая законом 1762 г., состояла в том, что из обязательного гвардейского рядового или армей-

ского офицера, наделённого за это землей с крестьянами, помещик превратился в участкового помощника уездного исправника, стал правительственной особой в своём поместье. Он поддерживал общественный порядок между своими крестьянами и дворовыми, судил их и наказывал, отдавал в рекруты и ссылал в Сибирь неисправимых, устроял средства и порядок продовольствия крепостных и обсеменения их полей, отвечал за них по взносу податей и всех казённых взысканий, был их попечителем, ходатайствовал за них в суде по делам гражданским и уголовным. Одним словом, в его лице гражданское право поземельной собственности слилось с властью и обязанностями правительственного агента: дело само по себе простое и бывалое как в Европе, так и в древней России, хотя не совсем своевременное в век Монтескьё и Вольтера, книжки которых были настольными у русских правительственных лиц того времени. Здесь, впрочем, важен не политический анархизм, а то, что только под условием этих правительственных обязанностей помещик удержал за собой право поземельной собственности с прикреплёнными к ней крестьянами, после того, как избавлен был от служебной повинности, которая создала ему эту собственность. Если дворянство, принимая такой условный дар, не протестовало против его условий, то лишь потому, что видело в них скорее заманчивые права, чем обязанности, которые могли стать тяжёлыми.

В нынешнем столетии помещики, пытавшиеся понять своё владельческое положение не помощью тонких соображений цивилиста, а на основании непосредственных фактов действительности, приходили к заключению, одинаковому с мнением имп. Павла, что они не столько простые собственники своих имений, сколько их политические управители. Сам Самарин приводит несколько таких определений (стр. 31—32 в примеч. и др. м.). Так в Земледельческом Журнале за 1821 г. напечатано было: „помещиком я разумею наследственного чиновника, которому верховная власть, дав землю для населения, вверила через то и попечение о людях населённых;

он есть природный покровитель сих людей“ и т. д. Самарин с негодованием восстает против такого определения, и мы с ним согласны, что оно не имело никакого основания кроме... закона. Такое значение владельца крепостных душ не осталось в кругу политических идей, но пошло дальше учебников русского государственного права: оно решительно подействовало на характер и приёмы помещичьего хозяйства. Сельское хозяйство помещика в нынешнем столетии всё больше усвояло себе приёмы сельской администрации, и сам он из землевладельца-агронома всё более превращался в крепостного душеправителя. Этот факт слишком ещё памятен, чтобы его надобно было доказывать, и Самарин в своих записках не раз подтверждает его. Рассматривая в записке 1856 г. влияние крепостного права на народное хозяйство, он показывает, как постепенно вопросы о почве, удобрении и т. п. уступали место в помещичьем хозяйстве выдвинутому на первый план вопросу „об управлении крестьянами, как рабочим механизмом, заменяющим у нас оборотный капитал“, и здесь же приводит характеристический отзыв секретаря Общества Сельского хозяйства в 1835 г.: „многие помещики жалуются, что опытность хозяина должна состоять теперь более в умении управлять самими крестьянами, нежели их работами“ (ст. 52). Ещё в прошедшем столетии возник взгляд на крепостное право, прямо противоположный действовавшему законодательству и понятиям, господствовавшим в дворянстве; в царствование Александра I из него вышел целый ряд освободительных проектов, которые даже обсуждались в правительственной среде. Этот взгляд, нападая на крепостное право, как на государственное установление, видел в утверждённой законом власти помещика над крестьянами великую неправду; но этот протест возбуждался собственно злоупотреблением помещичьей власти, проявлениями дикого и грязного произвола со стороны владельцев. Такой взгляд привёл к практическому заключению, что для прекращения зла достаточно законодательным порядком уничтожить личную власть помещика над крепостными, дать последним лич-

ную волю, подарив им усадьбы или просто пустив их на все четыре стороны, как в древнее время отпускали холопов перед смертью, лишь бы не было этого ежедневного постыдного жертвоприношения возмутительному помещичьему произволу. В этом воззрении было много идиллического чувства и очень мало практической сообразительности; его проповедовали люди, которые, подобно императору проникнуты были гуманными идеями просветительного века и никогда близко не присматривались к быту русской деревни. Плохие хозяева не могли понять, что в занимавшем их деле есть сторона, несравненно более важная и тяжёлая, чем негодяи управляющие из своих или немцев, розги и похождения с крестьянками: экономическая, поземельная сторона вопроса совсем ускользала от их внимания, возмущённого чувством скорби и стыда за крепостное отечество. Любопытно читать откровенный рассказ одного из этих неопытных энтузиастов о том, как он хотел освободить своих крестьян. Возмущённый слухами о неистовствах помещиков, он решил, что необходимо прежде всего поставить крестьян в совершенно независимое положение от помещиков. Он составил очень простой план освобождения без тяжёлой операции выкупа: крестьянам отдавались даром в полную собственность дворы их со скотом и всем имуществом, с усадьбами и выгоном, остальную землю помещик удерживал за собой, предполагая половину обрабатывать вольнонаёмными рабочими, а другую отдавать в наём своим крестьянам. Когда в 1819 г. он предложил этот план крестьянам своей смоленской деревни и на их вопрос о пахотной земле ответил, что она будет принадлежать ему, а крестьяне будут властны нанимать её, они, несмотря на худое качество этой земли, прямо объявили доброму барину: „ну так, батюшка, оставайся всё по старому: мы ваши, а земля наша“. А это был человек бескорыстный, руководившийся только желанием добра крестьянам; вскоре он сам убедился и признался в негодности своего плана. Этот взгляд или, говоря точнее, весь круг понятий, из которого он вышел, имел более важное практическое

значение, чем обыкновенно думают: он действовал и тогда, когда уже покинули мысль об осуществлении какого-либо основанного на нём плана эмансипации. Он утвердил или по крайней мере поддержал одностороннее отношение к делу. Вопрос о крепостном праве решительно превратился в вопрос о власти помещика над крестьянами; перед лицом законодательства и общественного мнения остался правитель ревизских душ и исчез землевладелец, на земле которого жили миллионы государственных плательщиков. Эту односторонность легко заметить в законодательстве текущего столетия о крепостном состоянии и в мнениях той среды, где формулировались законы. Сперанский, например, в исторической записке о землевладении и крестьянах, составленной в 1836 г., признавая крепостное состояние „столь же законным, как и все другие“ по его происхождению, восстаёт только против злоупотреблений законным правом, но возлагает надежды во-первых на смягчение нравов и развитие лучших понятий о распределении труда при содействии „простого рассчёта обоюдных выгод“, и во-вторых на то, что самый закон со временем путём благоразумного дополнения „может быть приведён в такую ясность и полноту, что отступления от него сами собою должны будут прекратиться“: это та же сельская идиллия, какая господствовала в царствование Александра I, с присоединением самоуверенности кодификатора. Проект Перовского, разбиравшийся 10 лет спустя после этой записки, также основан только на постепенном законодательном ограничении правительственной власти помещиков. Известно, как законодательство 40-х годов оправдало надежды Сперанского. Самарин горько жалуется на непоследовательность и колебание этого законодательства (стр. 67—75); но жаловаться можно только на его последовательность и верность традиционному направлению. Достаточно перечислить важнейшие из законов того времени: закон о праве крепостных быть заключёнными по требованию помещика в смирительных и рабочих домах не долее 3 месяцев, закон о праве крестьян приобретать недвижимые имущества с дозволения

помещиков, закон о праве крепостных выкупаться на волю с землёй при продаже имения их помещика с аукциона и т. д. Всё права и права и нигде нет мысли о факте, о возможном и необходимом: недоставало только закона о праве крепостных воспитывать своих дочерей в заграничных пансионах или открывать банки с основным капиталом не меньше 5 миллионов. Дали право выкупиться при продаже имения с публичного торга и ничего не сделали, чтобы помочь крестьянам добыть нужные для выкупа деньги в назначенный законом 30-ти дневный срок. С конца прошедшего столетия изданы были сотни распоряжений о разных правах и пределах власти, и во всей этой массе, если не ошибаемся, было только два закона, прямо и близко входивших в хозяйственные, поземельные отношения крестьян к помещикам, пытавшихся установить обязательные нормы этих отношений; разумеем закон 1797 г. о трёхдневной барщине и постановление 1827 г. о том, что помещик не может продать свою землю, не оставив крестьянину, на той же земле водворённому, до $4^1/_2$ десят. земли. Так вопрос о крепостном праве перенесён был из области экономической политики, где и родилось оно, в чуждую ему область юридической диалектики. Не смотря на возражения, которые можно предвидеть, мы думаем, что такое преобразование вопроса совершилось описанным выше процессом. Имение русского помещика, населённое прикреплёнными к земле крестьянами, никогда не было простой полной собственностью на гражданском праве. Помещичье землевладение возникло под влиянием экономических потребностей государства из сочетания служебных обязанностей помещика с податными повинностями крестьян, как порядок их взаимных поземельных отношений, обязательно установленный законом, но не определённый в подробностях. После отмены обязательной службы дворян из обязанностей помещика, происходивших от возложенной на него законом ответственности перед правительством за своих крестьян в известных отношениях, возникла землевладельческая и судебно-полицейская власть его над крестьянами. Даль-

нейшее законодательство собственно определяло свойство и пределы этой власти, а не регулировало созданный временными нуждами государства порядок поземельных отношений крестьян и помещиков, видоизменяя его согласно с потребностями своего времени. Благодаря этому помещик стал сознавать себя не столько землевладельцем, сколько наследственным вотчинно-полицейским правителем поселённых на его земле крестьян; этот взгляд отразился и на приёмах его сельского хозяйства. Либералы, восставшие против этой власти за злоупотребление ею, не стали на одну точку зрения с законодательством, её создавшим: они видели в помещике только правителя, облечённого по закону властью, которой он не умеет пользоваться. Это столкновение либерального образа мыслей с направлением законодательства,— оно преимущественно, хотя не оно одно утвердило в умах мнение, что узел крепостного вопроса заключается, главным образом, в личной власти помещика над крестьянами в этом „правительственном установлении“, как она названа в ст. 288 Уложения о наказаниях, а не в поземельных отношениях обеих сторон: лишь бы удалось развязать этот узел, а поземельные отношения можно было бы свести тогда на почву гражданского права и разверстать простой полюбовной сделкой землевладельца с нанимателем земли и продавца с покупщиком.

Люди 1850-х годов, заговорившие о необходимости отмены крепостного права и сообщавшие мнение и сведения комитету 1857 г., не были вполне свободны от такого взгляда на дело. Весь рассматриваемый том сочинения Самарина доказывает это. Самарин лучше предков знал действительное положение крепостных крестьян, он даже очень хорошо знал его, и не смотря на то думал, что задача законодательства может ограничиться при разрешении вопроса определением юридических отношений между помещиком и крестьянами, приведением власти первого над последними в должные границы; поэтому, составляя план управления крестьян, перешедших в положение обязанных путём добровольной сделки с помещиками, он замечает, что

вопрос об окончательной организации сельских обществ, „которого самое возбуждение было бы преждевременно, по важности своей едва ли имеет равный себе“ (стр. 97).

Затем поземельное устройство крестьян он считал возможным предоставить соглашению между ними и помещиком, как двумя равными гражданскими сторонами. Во 2-ой половине XIX столетия было бы поздно доказывать, что отмена правительственной власти помещика над крестьянами ещё не снимала с него государственных обязанностей, на которых она основывалась, так как эти обязанности давали оправдание не одной этой власти, но и самому праву собственности над землёю помещика. Но любопытно то, что ряд вопросов, который и после того предстояло разъяснить и который на наш взгляд должен был бы пойти впереди при обсуждении дела, в записках и проектах Самарина не затронут. Так добровольная сделка предполагает две свободно договаривающиеся гражданские стороны. Но ведь помещик не мог отказать в земле своим крестьянам, заменив их приглашёнными вольнонаёмными рабочими, и не захотел бы, если бы даже мог, а крестьяне не могли переселиться на другую землю; таким образом добровольная сделка между ними без подробных указаний законодательной власти была бы похожа на договор Сиамских близнецов о том, как им относиться друг к другу. При том план освобождения, основанный на юридической фикции свободного гражданского договора двух вовсе не свободных и не гражданских сторон, при последовательном своём проведении вёл к таким последствиям, которые могли бы далеко разойтись с действовавшей системой государственного хозяйства и даже затруднить её преобразование. Люди 1850-х годов, добросовестно передумавшие такое количество мыслей об освобождении и устройстве крепостных крестьян, никак не хотели остановиться на скромном заключении, что им прежде всего предстояло решить очень сложную, это правда, но только статистическую задачу, надобно было определить с возможной тогда точностью, какое количество земельных средств требовалось в данной местности труду наличных рабочих сил для удовле-

творения как их собственным необходимым потребностям, так и государственным требованиям, какие падали на представляемое ими количество ревизских душ. Каждая точно высчитанная цифра в ответ на этот вопрос дала бы законодательству более твёрдое основание для решения дела, чем любой проект управления обязанных крестьян.

Если бы оказалось, что наличное количество помещичьей земли, находившейся в крестьянском пользовании, не давало возможности установить равенства между обеими найденными величинами, тогда было бы гораздо легче изыскать и привести в действие вспомогательные средства, например, правильно устроенный порядок переселений, чем стало теперь. В числе этих средств могла бы быть и добровольная сделка, но не как юридический принцип, а только как вспомогательное практическое средство, призванное для определения подробностей, недоступных законодательной регламентации. Самарин также повидимому не хотел признать всей суровой серьёзности этой задачи и остался на точке зрения, в которой нельзя не заметить смелого оптимизма. В одной из составленных для секретного комитета в 1857 г. записок, отстаивающей освобождение крестьян с землёю в количестве, необходимом для их пропитания, он оправдывает возможность предоставить определение этого количества добровольному соглашению сторон, указывая на то, что: „конечно никто лучше самих крестьян не знает меры действительной их потребности“,—и вслед затем читаем строки, имеющие значение исторического документа (стр. 161): „поэтому до тех пор пока добровольное их согласие почитается необходимым условием всякой сделки с помещиком, правительство может безопасно допускать заключение и таких договоров, по которым они должны остаться при одних усадьбах и огородах или с малой частью прежних своих полей; где крестьяне откажутся от всей пашни или от некоторой её части, смело можно поручиться, что там они точно в ней не нуждаются“. Это не мешало ему в той же записке ставить целью законодательства создание состояния вольных крестьян-собственников, так как земля составляет

„необходимое условие материального существования крестьян, как самостоятельного сословия". В другой записке, отвечая на вопрос комитета о мерах для более точного определения повинностей крепостных крестьян их помещикам, он высказывает уверенность, что в этом вопросе и будто бы только в этом,—заключена вся сущность вопроса о крепостном праве (стр. 419).

Кто знает,—может быть, если бы люди 1850-х годов не стояли на этой точке зрения, теперь бы не было обоюдных жалоб и затруднений, при которых обыкновенно ссылаются на ст. 122 и 123 мест. Положения для великорусских, новороссийских и белорусских губерний. Издатель обещал в скором времени выпустить третий том, куда войдут дальнейшие труды Ю. Ф. Самарина по крестьянскому вопросу, когда последний был уже возбуждён открыто; сверх того, в предисловии к этому тому издатель намерен: „представить краткий очерк общественной и литературной деятельности Ю. Ф. по освобождению крестьян от крепостной зависимости в связи со всем ходом крестьянского дела в России". То и другое в высшей степени любопытно, тогда можно будет если не оправдать, то истолковать некоторые черты его взгляда на дело, которые во втором томе остались не вполне развитыми, потому что автор не имел случая или побуждения извлечь из них все практические последствия. Так, для истории реформы любопытно знать, нашли ли место в дальнейшей разработке вопроса Самариным исторические заключения, высказанные им в записке 1857 г. „о праве крестьян на землю" (стр. 144 и сл.). Тогда обозначатся яснее и самые основания его первоначального взгляда на крестьянское дело вместе со всем кругом его исторических и политических понятий. Можно предвидеть, что принятое Самариным после 20 ноября 1857 г. практическое участие в разрешении вопроса уяснило ему самому одни из его прежних мнений и изменило другие; признаки этого изменения показываются уже во втором томе. Самарин был одним из последних представителей цельного, законченного образа мыслей, воспитанного идеями и событиями первой половины нашего века; один из немногих он спас свой умственный и нравственный груз от

крушения среди качки, какая началась во второй половине и от которой разбилось столько надежд и убеждений. Любовь к отечеству заставляла этих людей покидать их любимую сферу отвлечённых идей и нисходить в мир грубых печальных явлений действительности. Сюда они приносили приёмы размышления, к которым привыкли на своей метафизической высоте: они ставили нравственные принципы и юридические тезисы там, где действовали статистические цифры и экономические факты. Читатель, обсыхающий на берегу после тревожного 18-ти летнего плавания, с эстетическим наслаждением читая Самарина, с удивлением замечает, что на том берегу ещё господствовало такое настроение духа, при котором можно было углубиться в психологический и патологический анализ крепостных отношений и вырабатывать формулы гражданского права для разрешения этих психологических и патологических отношений. Очень жаль, но можно и опасаться, что когда практические последствия этих возвышенных, но несвоевременных упражнений обозначатся ещё яснее, они подадут повод к такому приговору: эти люди были слишком философы и эстетики, чтобы стать деловыми устроителями народного хозяйства; они так много занимались познанием сущности вещей, что для их абстрактной мысли исчезали конкретные различия между камнем и куском хлеба и, когда у них попросили последнего, они в философской рассеянности взялись за первый. Такое суждение было бы слишком искусственно и не совсем справедливо. Можно объяснить дело проще и вернее: эти люди были так воспитаны; вера спасла их благодушную и иногда, как в Самарине, сильную мысль от уныния, потому что какая же другая сила кроме веры во что-то, не то в русский здравый смысл, не то в русское „авось“, могла внушить им надежду на успех простой добровольной сделки без прямого законодательного регулирования и понуждения или подсказать слова, написанные некогда Я. И. Ростовцевым: „Исход крестьянского вопроса представляется мне в радужном свете: крестьяне получат свободу полную; зачнут они богатеть“ и т. д.

История московской духовной академии до её преобразования (1814—1870 г.).

С. Смирнова. М. 1879 г.[1]).

Автор известных исторических сочинений о Славяно-греко-латинской академии и Троицкой лаврской семинарии, из которых одно издано более 20 лет назад, а другое более 10, не покинул своих работ над историей духовного образования в московской епархии и теперь издал большую книгу, в которой изложил историю высшего духовно-учебного заведения, сменившего собою старую Славяно-греко-латинскую академию. Эту новую книгу многие прочтут с большим интересом. Мы говорим не о тех только читателях, которые вышли из Московской духовной академии и теперь работают на различных житейских поприщах: они не только найдут в книге нынешнего ректора этой академии о. Смирнова свои имена, но и прочтут в ней часть собственной биографии, притом часть наиболее для них дорогую, которая касается лучших лет их жизни, учебных и учёных работ, размышлений и воспоминаний. Люди сторонние, для которых Московская духовная академия до 1870 г. факт из истории русского просвещения—не более, найдут в новом труде обильный запас любопытных сведений, полную и достоверную историю этого факта.

Автор предпринял изобразить в своём рассказе 56-летнюю жизнь академии по возможности со всех сторон. В 10

---

[1]) „Православное Обозрение". 1879. № 4.

главах книги, сказав об открытии академии в 1814 г., он описывает ход учебной части в ней, учёные труды её наставников, учебный быт студентов, с перечнем их печатных сочинений, управление академии, средства образования и экономическую обстановку, торжественные случаи в жизни академии за 56 лет её существования до нового устава; ко всему этому автор приложил список начальствующих, и наставников академии, и членов академической конференции, и рассказ о судьбах воспитанников на различных путях церковного и государственного служения с полным списком их за все 27 курсов, прошедших чрез академию до её преобразования в 1870 г. В особом приложении помещён ряд документов и объяснительных статей, касающихся внешней и внутренней истории заведения; между ними особенное внимание вызывает перечень тем, какие даваемы были студентам некоторых курсов для семестровых сочинений (стр. 285). Книга заканчивается указателем всех личных имён, упомянутых в рассказе.

Для своего труда автор имел под руками обширный запас разнообразного материала. Он отметил в своей книге, кажется, всё, что появилось в печати из-под пера наставников и воспитанников академии с самого её основания. Кроме многочисленных печатных сочинений, записок и писем, рассеянных по разным изданиям, он пользовался делами академического правления и для очерка хода учебного дела собрал большую коллекцию полных или неполных курсов, читанных преподавателями и записанных студентами. Наконец, сам автор—студент XIV курса, следовательно помнит академию с 1840 г., т.-е. за большую половину описываемого им времени, и его личные воспоминания помогли ему пополнить архивный материал или живее осветить ту или другую черту прежней академической жизни.

Внимание читателей, школьные воспоминания которых не связаны с духовной академией, наверное прежде и больше всего остановится на главе об „учебной части“. Для людей, принадлежащих по происхождению к светскому, или, выра-

жаясь языком духовно-учебных заведений, „гражданскому“ обществу, по укоренившейся ассоциации представлений с понятием о духовно-академическом образовании ещё недавно неразлучно было понятие о чём-то педантическом, о схоластике. Но это—запоздалая связь понятий, анахронизм, который поддерживался недостатком знакомства светского общества с уединённым, замкнутым миром, каким жила высшая духовная школа. Ход преподавания, по крайней мере в Московской духовной академии, не подтвердил этого светского предрассудка. Она унаследовала такую незаслуженную репутацию от старой Славяно-греко-латинской академии; но она не унаследовала того, чем оправдывалась эта репутация, и счастливо избегла искушения, какому подвергало новую духовную школу славяно-греко-латинское предание.

Гораздо серьознее была другая опасность, присутствовавшая при самой колыбели новой академии. Эта академия родилась в эпоху, когда в умах образованного европейского общества, не исключая и русского, уже утверждались идеи, точнее говоря, влечения, которые вскоре получили официальное международное выражение в акте 14 сентября 1815 года. Эпоха, самое имя которой отзывается чем-то ветхим, очень поношенным и требовавшим заплат (реставрация), открылась при великой путанице понятий, на которую горько жаловались люди, ещё стоявшие на ногах среди тогдашнего всеобщего колебания. Почти за год до открытия Московской академии, в письме из Петербурга к Штейну от 18 ноября 1813 г. С. С. Уваров, попечитель петербургского учебного округа, писал: „Состояние умов теперь таково, что путаница мыслей не имеет пределов. Одни хотят просвещения безопасного, т.-е. огня, который бы не жёг; другие (большинство) сваливают в одну кучу Наполеона и Монтескьё, французские армии и французские книги... словом, это такой хаос криков, ожесточённых партий, страстей, что долго присутствовать при этом зрелище невыносимо. Кидают друг другу в лицо выражениями: „религия в опасности, потрясение нравственности, поборник иностранных идей, *философ*,

франк-масон, фанатик" и т. п. Словом, полное безумие". Такое направление умов, становясь господствующим в высших сферах, подвергало большой опасности высшую школу. Если прежде пытались самые глубокие тайны веры низвести до простой математической выкладки или патологического процесса, то теперь явилось желание из простых геометрических фигур построить тайны каббалистики и из арифметических чисел извлечь апокалипсическое ясновидение. Сама по себе сентябрьская идея 1815 г. привинтить штык к Евангелию, как идея в высшей степени прикладная, практическая, не касалась высшей школы, ни светской, ни духовной, занимавшейся отвлечённым, чистым знанием. Но эта идея имела одно последствие, которое могло коснуться её очень близко и больно. Влиятельные люди, в молодости расстроившие свой умственный аппетит пикантными философскими и нефилософскими книжками прошлого века, до излишества приправленными солью и перцем, теперь захотели поправить его сухоядением душеполезного знания. Отсюда родился в усталом образованном обществе богословский дилетантизм. Каждый непосвящённый дилетант спешил не только наслушаться вдохновенных вещаний какой-нибудь мадам Крюденер или какого-нибудь патера Госнера, но и ощутить в себе самом действие непосредственного вдохновения, а ощутив его, вещать другим, вещать, даже ничего не ощутив. Но так как в этих людях богословский дилетантизм соединился с некоторыми прикладными стремлениями пропаганды, притом иногда вооружался неоспоримым практическим авторитетом, то легко представить себе последствия, какими грозило высшей школе это неожиданное распространение любительской теологии.

При таких предзнаменованиях родилась Московская духовная академия, открывшаяся торжественным актом 1 октября 1814 г. На этом акте прочитан был Высочайший указ 30 августа того же года, в котором сделано указание на предстоявшее открытие московского духовно-учебного округа и изъяснялось намерение императора о воспитании духовного

юношества. Комиссии духовных училищ внушалось обратить внимание на академии, „чтобы устроить их в прямом смысле *училищами истины*“. Указ выражал надежду, что на основании евангельского деятельного христианства „можно будет созидать то учение, кое нужно им (духовному юношеству) по их состоянию, *не опасаясь злоупотребления разума*, который будет подчинён освящению Вышнему“. В этом указе ещё незаметны специальные черты, которыми характеризовались язык и миросозерцание Священного союза. Но боговеды-любители без труда могли направить своё внимание исключительно на то, чтобы предохранить школу от злоупотреблений разума, более всего заботясь об огне, который бы не жёг и потому не грел. Известно, какую художественную инструкцию в этом смысле составил для директора и ректора казанского университета своеобразно-знаменитый в своё время русский ультра-роялист Магницкий, задумавший перестроить систему общественного образования в России соответственно „акту Священного союза“.

Несмотря на эти предзнаменования, новорожденная академия с первого шага пошла своей дорогой. Она не пошла прямо в противную сторону от того направления, в каком хотели повести умы авторизованные и неавторизованные толковники акта Священного союза; но она и не понесла фонаря при движении по этому недостаточно освещённому пути. В своём правдивом рассказе о ходе преподавания в академии о. Смирнов отметил только одно яркое проявление того специфического духа, которым проникнута упомянутая инструкция,—именно в лекциях по всеобщей словесности, читанных двум первым курсам новой академии (в 1814—1818 гг.) преподавателем Бажановым (Ист. М. Д. Акад., стр. 52 и сл.). В лекции о вкусе почтенный эстетик полагает, что „для положительных законов вкуса, как и для всякого положительного закона, нужна власть покровительствующая или побуждающая“, и силу этой власти он усматривает не только в суждениях так называемой просвещённой публики, она открывается ему решительнее и определённее не только в на-

ставлениях учёных обществ, покровительствуемых верховной властью, но и в руководствах главного управления касательно народного просвещения, а наконец, и „в постановлениях верховной власти, касающихся до направления свободы мыслей и вообще просвещения к целям, достойным человечества". Так свобода мыслей привела баккалавра словесности не только к проекту полиции эстетики, но и к потребности пополнить действующее государственное законодательство постановлениями о вкусе.

В рассказе о. Смирнова рассеяны обильно указания на то, как новая академия постепенно освобождалась от схоластических славяно-греко-латинских преданий. На новую академию при открытии её смотрели как на учебное заведение, которое должно было давать философское и богословское образование выше того, какое давала прежняя Славяно-греко-латинская академия. В речи, произнесённой на акте открытия, ректор архимандрит Симеон намекнул на это, сказав, что император „захотел вновь возвысить степень образования служителей алтаря и украсить жребий служения их". Действительно, в новой академии явились в числе студентов для довершения своего образования 20 лучших питомцев старой, уже прошедших полный академический курс, учившихся по 10 или 15 лет, иные из них успели уже сделаться преподавателями в старой академии (стр. 64). Прежде всего в новой академии стал спадать наружный покров, которым в прежней школе наука прикрывалась от глаз непосвящённого общества. Своеобразная школьная латынь, посаженная некогда в наших духовно-учебных заведениях преподавателями, приходившими с киевского юга, перешла с авторитетом признанного языка преподавания и в новую академию, ведя за собой и сросшиеся с ней приёмы схоластической науки. Но она не нашла поддержки в новой школе. Уже в 1819 г. Комиссия духовных училищ решила, что богословские лекции могут быть в академии читаны как на латинском, так и на русском языке, и на этом основании ректор Кирилл в 1820 г. открыл курс догматического богословия по-русски; „эта новость,

замечает автор, принята была в академии с сочувствием". Преподавание на латинском выводилось и в семинариях, и сам митр. Филарет его не поддерживал. В 1834 г. ему представлен был ревизорский отчёт о состоянии вологодской семинарии, где богословие, как доносил ревизор, преподано было частию на латинском, частию на русском языке. Митрополит дал такую резолюцию об этом: „вероятно, первое из возможного послушания уставу, а последнее по необходимости, потому что ученики не сильны в латинском языке. В таком случае требовать непременно преподавания богословия исключительно на латинском значило бы требовать неудобного и незнакомым языком останавливать распространение богословских познаний, тогда как и кроме сего владычество в православном богословии латинского языка, прежде языческого, а ныне папистического и протестантского, есть явление недовольно сообразное с духом и целию духовных училищ Церкви восточной". Поэтому он решил оставить „без преследования" чтение некоторых частей богословия по-русски (стр. 96).

Не сразу установились в новой академии порядок и приёмы преподавания. Обыкновенно новый преподаватель на первых порах входил на кафедру с курсом своего предшественника или того профессора, у которого сам слушал этот же предмет. Потом он покидал старые тетради по мере составления собственного курса. Но в преподавании некоторых предметов важным затруднением являлся вопрос: в каком отношении должны находиться лекции преподавателя к установленным печатным учебникам? Многие ограничивались пассивной ролью, только дополняя и поясняя своими лекциями учебники, тем более, что, например, учебником по библейской истории служила книга самого митрополита Филарета. Другие, более смелые и самостоятельные преподаватели отрешались от указных руководств и читали цельные оригинальные курсы. Филарет Гумилевский (архиепископ черниговский), читая в разное время различные предметы, вообще не стеснялся учебниками. Так поступал он, между прочим, и в пре-

подавании церковной истории. По его следам пошёл и А. В. Горский, слушавший этот предмет у Филарета и потом сам его преподававший в академии. Предоставив студентам отвечать на экзамене по книге митрополита Филарета, он читал им свой самостоятельный курс библейской и после-библейской истории. Но не каждому дозволялся такой простор в преподавании. В книге о. Смирнова рассказан (стр. 42 и сл.) характеристический случай, из которого открывается, что самостоятельный курс по какому-либо предмету при существовании учебной книги только терпелся из уважения к личному авторитету профессора, а вовсе не был прямой обязанностию преподавателя. С 1844 г. библейская история была отделена от общей церковной и преподавание её поручено особому наставнику. Баккалавр Побединский в 1850 г. подобно другим преподавателям написал в своём отчёте митрополиту, что преподавал библейскую историю по собственным запискам. Митрополит заметил на отчёте: „желаю видеть записки и узнать настоятельную в них надобность, когда есть учебная книга и когда для студентов много письменной работы по предметам, не имеющим учебных книг". Легко понять смущение баккалавра от этого замечания. В объяснении по этому поводу он писал, что не предназначал своих записок для изучения студентам, что это были только дополнения и пояснения к учебнику, которого он строго держался, и т. п. В заключение баккалавр просил правление академии исходатайствовать ему прощение у владыки за неточное донесение. На представлении правления, посланном с частью курса Побединского, положена митрополитом резолюция: „Смотрено. Возвратить. Прощение не нужно. Вопрос предложен был для получения сведения без предосуждения трудившемуся".

Книга о. Смирнова должна окончательно рассеять предрассудок, который доселе держится во внешнем, недуховном обществе, и в силу которого академическое преподавание представляется замкнутым, как и самое общество академических преподавателей и студентов; думают, что наука здесь шла уединённо, по-монастырски, не соприкасаясь с движе-

нием богословского знания на Западе и потому отставая от него. Напротив, скорее можно заметить, что эта наука, в ущерб собственной самостоятельности, иногда слишком внимательно прислушивалась к голосу западной богословской учёности и в первую половину 56-летней жизни Московской академии слишком охотно давала значение авторитетов западным богословам и церковным историкам. С самого почти начала редкий курс, читанный в академии, не имел в своём основании иностранных руководств. О. Смирнов в своём изложении тщательно отмечает эти руководства. Ректор Поликарп (с ноября 1824 г.) в своих лекциях по догматике руководствовался „преимущественно“ вышедшей незадолго перед тем книгой Либермана, также системами Добмайера, Фрейера и Виста; даже Филарет Гумилевский, один из лучших догматистов Московской академии, имел руководителями для себя римско-католических богословов Клея и Бреннера, книги которых появились около того времени, когда Филарет начал читать богословие в академии. Точно так же в преподавании пастырского богословия руководились Шенклем, Ценнером и др. Нет нужды говорить, какое значение имели в академическом преподавании церковной истории западные авторитеты, подобные Неандеру и Гизелеру.

Повидимому, сам митрополит Филарет не находил ничего предосудительного и опасного в этих тесных связях православной академии с богословской литературой, развивавшейся в среде чуждых исповеданий. Сам А. В. Горский пользовался при обработке частей своего богословского курса новейшими сочинениями западных богословов, Каниса, Филиппи и др. Это однако нисколько не помешало ему ни оставаться строго православным преподавателем, ни относиться со строгой критикой к богословским и церковно-историческим авторитетам Запада, особенно Тюбингенской школы. Между тем эти связи приносили возбуждение в учёный академический круг, давали толчок к новым работам, и, начавшись простым заимствованием или подражанием, завершились критическим отношением к западным руководителям и попытками самостоятель-

ного построения науки. На счёт этих иноземных и инославных учёных влияний можно отнести некоторую долю участия в судьбе двух кафедр, которые проходят особенно яркими чертами по научной истории Московской академии до 1870 г., хотя, разумеется, наибольшая доля участия в этом принадлежит личным качествам некоторых преподавателей. Это — кафедры философии и церковной истории. Значение первой создано было Ф. А. Голубинским, значение второй — А. В. Горским при некотором содействии Филарета Гумилевского. Страницы об этих преподавателях принадлежат к числу лучших в книге о. Смирнова: его можно упрекнуть здесь только в одном недостатке — зачем он не написал об этом вдвое или втрое больше страниц. Впрочем, учёная деятельность и влияние того и другого из названных преподавателей могли бы дать любопытное содержание для целой монографии. В продолжение нескольких десятилетий с философской кафедры шло самое сильное научное влияние на студентов академии. Основание этому влиянию положено было ещё даровитым Кутневичем, начавшим преподавать философию в 1815 г. Это был, судя по рассказу о. Смирнова, горячий поклонник современной ему немецкой философии и он первый пробудил в слушателях своими умными лекциями живейший интерес к её идеям. Выписывая во множестве немецкие философские книги, Кутневич знакомил с ними свою аудиторию и сообщил серьёзность студенческим занятиям философией. Студенты, несмотря на то, что Кутневич читал по-латыни, доходили при нём, по замечанию историка академии, до увлечения в изучении науки мудрости (стр. 46). Голубинский поддержал и даже усилил влияние кафедры, заменив на ней своего учителя. Он преподавал философию 36 лет (до 1854 г.), начав преподавание ещё при Кутневиче: он не был подражателем, поклонником ни Шеллинга, ни Гегеля; он, напротив, с строгой критикой относился к этим корифеям философии своего времени. Читатель найдёт в книге о. Смирнова очень сжатую, но выразительную характеристику философской системы Голубинского, немного эклектичной, отлича-

вшейся богословским направлением, но представлявшей во всяком случае замечательную попытку построить самостоятельное и своеобразное миросозерцание на началах разума и откровения (стр. 47—51). Со времени Голубинского Московской академии принадлежит первенство среди других духовных академий по кафедре философии, с успехом поддержанное его сотрудниками и преемниками.

Позже началось значение церковно-исторической кафедры в Московской академии. Истинным виновником этого значения был А. В. Горский, ставший баккалавром церковной истории в 1833 г. и 30 лет читавший этот предмет. Автор справедливо заметил (стр. 36), что сериозное изучение церковной истории, особенно отечественной, по памятникам было в начале 30-х годов совершенной новинкой в академии. По рассказам одного из лучших участников в этом изучении, покойного П. С. Казанского, в то время академическое преподавание исторических наук и особенно истории церковной было в жалком положении. Один из предшественников Горского по кафедре церковной истории Ф. А. Терновский-Платонов преподавал этот предмет так плохо, что за это перемещён был (в 1828 г.) на кафедру гражданской истории. Другой предшественник Платон по особенным своим убеждениям вместо церковной истории читал сочинение г-жи Гион, Юнга Штиллинга и других мистиков, круживших головы читателям в эпоху реставрации. В 1830 г. кафедру церковной истории занял Филарет Гумилевский. Но баккалавр Филарет, вступивший на кафедру прямо со студенческой скамьи, ещё далеко не был в церковной истории тем, чем стал впоследствии на должности ректора академии и в сане епископа и чего достиг путём неутомимого труда и размышления. В начале учёной деятельности ему не доставало ни знаний, ни уменья ясно выражать свои мысли. Притом он преподавал историю всего полтора года. В это время и слушал его А. В. Горский, вскоре занявший его место на церковно-исторической кафедре (в 1833 г.). Филарет в 1835 г. стал ректором академии. Покинув кафедру церковной истории, он не

покинул своих занятий этим предметом и, таким образом, встретился в научных стремлениях с своим бывшим слушателем, молодым и любознательным баккалавром церковной истории. Единство научных интересов, сходство характеров, несколько поэтическое настроение обоих соединили их самой тесной, задушевной дружбой. Пишущему эти строки П. С. Казанский изображал в своих воспоминаниях вступление Филарета в должность ректора началом новой эпохи для академии. Тогда стали в большом количестве выписывать немецкие книги по богословию и церковной истории; оба друга с большим рвением обратились к изучению рукописей академической и лаврской библиотек и, пользуясь приёмами обработки их, указанными Карамзиным, открыли в этом новом источнике обильный запас дотоле неведомых церковно-исторических фактов. Друг друга поддерживая и ободряя, они начали в новом виде излагать свои предметы, указывать студентам прежде им неизвестные и часто даже никем нетронутые материалы для сочинений, требовать от них новых приёмов в изучении, указывать им новые точки зрения. Так произошла, благодаря дружным усилиям обоих наставников, заметная перемена в академическом преподавании. Прежде господствовало богословско-философское направление; теперь стало возникать и усиливаться направление церковно-историческое. В связи с этим движением стоит, очевидно, черта, отмеченная о. Смирновым в характеристике курса Филарета по догматике: называя его отличным профессором-догматистом, который своими лекциями возбуждал в студентах искреннюю любовь к учёному труду, историк академии прибавляет, что Филарет внёс в свой курс новые приёмы,—критику источников, филологические соображения, а также историю догматов (стр. 20).

Так начались учёные работы Горского по церковной истории. Они ещё ждут себе оценки. Обилие и разнообразие содержания, приёмы обработки материала, самостоятельность и своеобразность взглядов вместе с формой изложения сообщали большой интерес его курсу или, лучше сказать, курсам. Он один должен был читать то, что потом разделено между

4-мя или 5-ю кафедрами, и библейскую историю, и общую историю после-библейских времён, и русскую; кроме того и патристика с археологией не были ещё отделены от церковно-исторической кафедры. Несмотря на то, в 1840—42 гг. у него был уже составлен полный курс по всем этим предметам. Слушатели его в те годы свидетельствуют о живом сочувствии, с каким они слушали его евангельскую историю. Вообще его лекции если не всегда увлекали, то всегда и сильно занимали аудиторию; они отличались живым изложением, и профессор читал их очень громко и одушевлённо. В начале 40-х годов несколько студентов (кажется XIII курса) составили, сличив записи каждого, полный курс лекций Горского. Путём переписывания этот огромный курс, листов в 400 убористого письма, каким умеют писать только в духовно-учебных заведениях, разнесён был по России и долго служил капитальным руководством в преподавании церковной истории во многих семинариях. В Горском, как в преподавателе и исследователе, соединялись два редко встречающиеся вместе качества, и это соединение придавало особенную цену его курсу и отдельным учёным исследованиям. Он рано полюбил кропотливую работу над памятниками, особенно рукописными, был мастер обрабатывать критически мелкие подробности. Люди, близко и долго его знавшие, подтверждают впечатление, выносимое читателем из его печатных трудов по церковной истории, свидетельствуя, что критический талант был, можно сказать, в самой натуре Горского. Прекрасный, хотя и сжатый анализ его церковно-исторического курса в книге о. Смирнова (стр. 36—42) открывает нам другую особенность церковного историка. План его курса отличался смелостью обобщений, широтой построения. Весь церковно-исторический процесс по этому плану распадается на три основные момента: призвание народов в недра церкви, руководство в церкви и плоды этого руководства в жизни. В первом моменте проявляется особенное действие Бога Отца, второй есть дело Главы церкви, третий обнаруживается под особенным влиянием Духа Святого. Так судьбы церкви

в изложении Горского были обнаружением таинства св. Троицы во внешних исторических явлениях. О. Смирнов называет эту основную мысль курса Горского замечательно оригинальной. Горский на церковно-исторической кафедре оставался богословом, как потом на кафедре богословия не перестал быть церковным историком.

Влияние его не ограничивалось чтениями в аудитории. Живая академическая библиотека, он был радушным и отличным руководителем студентов в их занятиях вне классов, о чём доселе его бывшие слушатели вспоминают с глубоким чувством признательности. Среди книжных шкафов академии он был как в обществе своих добрых и коротких знакомых. Но он руководил студентов осторожно и разборчиво. Сам строго православный, он боялся и в них чем-либо смутить православную совесть. Студенты не замечали в его лекциях ничего сомнительного с ортодоксальной точки зрения. Он даже не давал им в руки Неандера, чтобы они не увлекались некоторыми ложными взглядами и суждениями этого историка. Он желал, чтобы до студентов, ещё неопытных в *испытании духов*, результаты немецкой учёности доходили без конфессиональной или субъективной примеси. Это однако не мешало ему ценить немецкую церковно-историческую литературу и отлично знать её. Нынешние преподаватели Московской академии знают, какие следы внимательного и широкого изучения литературы своего предмета оставил Горский на полях иностранных книг по церковной истории. Больше других ценил он Неандера, хотя иногда и полемизировал с ним в лекциях (критический отзыв о нём из лекций приведён у о. Смирнова на стр. 40). П. С. Казанскому он говорил, что несправедлив упрёк некоторых Чельцову, зачем он пользовался Неандером: им нельзя не пользоваться, прибавил Горский, только нужно отсекать его пристрастные суждения и проверять некоторые известия, которые можно объяснить совсем иначе, чем как объясняет их Неандер.— Умалчиваем здесь о лекциях и других работах Горского по истории русской церкви, которой он стал особенно зани-

маться с конца 30-х годов и в которой был одним из крупных учёных авторитетов.

При первом взгляде трудно догадаться, как могли совмещаться и мириться в академических аудиториях влияния, шедшие с столь различных кафедр, как философская и церковно-историческая, какая цепь научных интересов могла протянуться от открытого Горским Слова русского митрополита XI в. Иллариона о пользе душевной до диалектики Гегеля, против которой предостерегал своих слушателей Голубинский в эпоху общего увлечения ею. Однако связь между столь отдалёнными друг от друг областями знания с течением времени обозначалась явственно, так сказать, в лицах. Научные струи, возникшие независимо одна от другой и долго шедшие параллельно, потом слились, и из их встречи вышло своеобразное направление богословской науки, которое создало Московской академии почётную известность в русском богословском мире, и отпечаток которого доселе заметен на людях, образовавшихся под его влиянием. Дорожа воспитавшим их направлением, они, надеемся, не посетуют на неточность выражений, если мы скажем, что его своеобразность и заслуга состояла в приложении церковно-исторической критики и историко-философского анализа к выработке богословско-догматической доктрины,—если не цельной, законченной системы, то определённых и твёрдых приёмов богословского исследования. А. В. Горский, перешедши к догматике после многолетнего чтения церковно-исторического курса, построенного им на строго-богословском основании, положил в основу своего догматического курса историю догмата, развивая, только с большими научными средствами, приёмы, испытанные одним из его предшественников Филаретом Гумилевским. С другой стороны Ф. А. Голубинский, строгий критик новейших философских систем, создал из своих историко-философских работ курс умозрительного богословия. Так церковный историк и философ сошлись и подали друг другу руку у кафедры богословия. С разных точек зрения можно различно судить о таком направлении; но едва ли какая

точка зрения откажет ему как в строгом согласии с задачами духовно-академического образования, так и в силе и самостоятельности мысли.

В беглый обзор книги о. Смирнова нельзя вместить всего, что в ней есть любопытного. Но остановившись на учёно-преподавательской жизни академии, не будет лишним присоединить к этому некоторые черты её жизни административной и учебной.

Говорить об администрации Московской академии до 1868 г. значит говорить о митроп. Филарете, о его отношениях к академии. Автор книги, указывая на единство духа и направления академического образования с самого возникновения академии до реформы 1870 г., объясняет это тем, что академия почти во всё это время находилась под водительством одного вождя „великого святителя московского Филарета", памяти которого посвящена и самая книга. Впрочем, по самому свойству отношений, описываемых в книге о. Смирнова, митр. Филарет изображается в ней более как управитель и педагог, чем как направитель учёной мысли и богослов. В жизни академии он является не столько со своими богословскими *идеями*, сколько с своими практическими *мерами* и властными внушениями. Надобно думать, что собственно научное влияние его чувствовалось более каждым отдельным преподавателем в тиши кабинета, чем обнаруживалось в таких явлениях академической жизни, которые оставили свой след в архиве этого учебного заведения. Академия, надзор за ней был важным предметом пастырской заботливости митрополита. Сколько бы времени ни потратил он на занятие её делами, он не считал этого напрасной тратой в ущерб другим более важным делам. Академия была у него в числе важнейших предметов его внимания, и он близко входил в подробности её положения.

Из рассказанного выше случая с баккалавром Побединским, по поводу отчёта о преподавании библейской истории, мы уже видели, в каких формах обнаруживался и к каким приводил последствиям бдительный надзор митрополита за

академией. По отдельным чертам, обильно рассеянным в книге о. Смирнова, митрополит ставил себе двоякую цель действия в отношениях своих к академии: он, во-первых, стоял за неё, прикрывая её от возможных невзгод извне, и потом он старался установить в ней такой порядок, который предупреждал бы возможность для неё этих внешних невзгод. С одной стороны, по замечанию о. Смирнова, он берёг тружеников науки, охранял их честь и достоинство, в случаях нужды защищал и отстаивал их, если они оказывались того достойными. Он энергично вступился за всю академическую корпорацию по поводу одной неосновательной догадки редактора „Телескопа“, что две статьи, напечатанные в этом журнале за 1834 г., присланы из Московской духовной академии. По настоянию Филарета, попечитель кн. С. М. Голицын поручил председателю московского цензурного комитета призвать издателя журнала и сделать ему замечание за произвольную догадку (стр. 265 и сл.). Та же охранительная опека сказывалась и в заботах митрополита о том, чтобы взгляд *высших* или *внешних* не упал на какую-либо слабую сторону оберегаемого владыкой учебного заведения. Он писал ректору Филарету (Гумилевскому): „берегите достоинство места, которому принадлежите“,—и сделал ему замечание за то, что он однажды приехал в Москву без разрешения: „со мною в сем суда нет, писал митрополит: но для предосторожности впредь скажу, что увольнять самого себя есть поступок весьма неофициальный, и если дойдёт до высшего начальства, могущий иметь неприятные последствия“. Когда в 1828 году потребовали из академии трёх студентов в училище правоведения, митрополит внушал обратить особенное внимание на поведение избираемых, потому что не оправдавший выбора в этом отношении „не только потерял бы много сам, но и нанёс бы урон доброму мнению о месте, из которого взят“.

Но, заботясь об академической корпорации в делах внешних, как чадолюбивый отец, он поступал с её членами как с детьми во внутренних, так-сказать домашних сношениях с

ними. В этих сношениях открываются обе существенные стороны отеческой власти — и строгость, и любовь: он наказывал любя. Он вносил в академическую жизнь и науку, и в науку, может-быть, больше чем в жизнь, строгую дисциплину. Все его резолюции и замечания академическому управлению—уроки порядка. Особенно это обнаруживалось в его замечаниях на отчёты об академическом преподавании, в отзывах на представленные ему студенческие сочинения и на академических экзаменах. Он строго преследовал малейший недосмотр, всякое уклонение дел от законного течения, даже тщательно отмечал грамматические неловкости. В своих замечаниях об одной переводной педагогической статье для задуманного академией издания он не без иронии пишет: „Дитя у вас делает преступления, и вы наказываете *дитятю*: наказывайте *дитя*, но пощадите грамматику". В замечаниях на переведённое профессорами творение Дамаскина он между прочим пишет: „Голубь, думаю, не *благовестил*, потому что благовестит пономарь на колокольне, а *благовествовал* или *возвестил* конец потопа". При другом случае он напал на любимый термин духовно-учебного языка *приступ* в смысле вступления: „*приступ* бывает к городу, а к посланию *вступление*". Перенесённая в область высшего знания, эта точность, не только логическая, но и лексическая, становилась своеобразной диалектикой. Митрополит любил обращаться к сторонам предмета, мимо которых все проходили без внимания, делать непредвиденные сопоставления, ловить противоречия и несообразности там, где их не подозревали. Эта наклонность требовать строгой точности во всём до мелочей, как в деловых административных отношениях, так и в развитии и выражении научной мысли, несомненно лежала в самой природе его ума. Современники не без основания приписывали ему большой многообъемлющий ум, в котором однако были свои особенности. Это был, если так можно выразиться, ум по преимуществу аналитический. Свойство пастырских занятий и житейский опыт, знакомство со светом, который он имел возможность наблюдать с различных сто-

рон, в самых типических его представителях, сообщили необычайную гибкость этому уму, привычку обращать внимание на подробности дела, на мелкие случаи, от которых в то время и в том кругу, с которым нередко сталкивался Филарет, всё зависело гораздо больше, чем от чего-нибудь крупного. При силе и гибкости ума редко у кого встречается такая выдержанная, дисциплинированная мысль, какою отличался митрополит Филарет. Эта выдержанность делала его крайне осторожным в деловых отношениях и крайне сдержанным в научных вопросах. Его мысль не лишена была смелости; но он не считал смелость доблестью мысли. Он старался сдерживать пытливость в себе и других, поставить её в известные границы. Истину он не любил открывать вдруг, чтобы её неожиданное появление не смутило ума или не внушило ему надменной, уверенной уверенности, что пытливому уму легко найти её; поэтому он любил долго останавливаться и останавливать других на путях, ведущих к истине. Потому же его тревожила всякая смелая научная новость, особенно если она обращала на себя внимание внешнего мира. Когда П. С. Казанский написал свою первую статью, опровергавшую принадлежность нашей начальной летописи Нестору, академик Бутков прислал митр. Филарету свою критику на это исследование. Митрополит потребовал объяснения от скептического исследователя, и нужны были подробные объяснения со стороны автора и защита его взгляда со стороны А. В. Горского, чтобы успокоить владыку.

Эти свойства ума митр. Филарета при отеческом взгляде на академию сообщали его отношениям къ академической корпорации чисто педагогический характер, и трудно сказать, кто сильнее ощущал на себе такое педагогическое влияние, профессора или студенты. В первых он едва ли не более, чем в последних старался воспитать ту же выдержанность и гибкость мысли, которой сам обладал в совершенстве. Это особенно ясно обнаруживалось на экзаменах. Он любил здесь задавать неожиданные и тонкие вопросы, извилистыми тропинками диалектики вести мысль испытуемых

к его решению. Вопросы эти, по словам одного из студентов 20-х годов, были всегда интересные, прямо относящиеся к делу; после нескольких попыток разрешить такой вопрос умами студентов и профессоров, причём Филарет прибавлениями к возражению увеличивал важность ответа,—наконец покрывал дело сам владыка, давая на свой вопрос ответ полный, ясный, светлый (стр. 187). Слушая студенческие ответы по лекциям профессоров, м. Филарет никогда не стеснялся педагогическим правилом, что перед учащимися не следует открывать слабости учителя и тем ронять его авторитет: выслушав ответ, митрополит иногда тотчас начинал опровергать его, и тогда испытание студента превращалось в экзамен самого профессора. Иногда этому экзамену митрополит сообщал очень резкий тон, который был бы неудобен и по отношению к студенту. Однажды студент отвечал из нравственного богословия о степенях совершенства нравственных действий христианских, постоянно перебиваемый профессором инспектором архим. Евлампием за то, что студент пропускал тексты. Митрополит недвусмысленно дал понять профессору, что в своём трактате он наделал глупостей, и прибавил: „вы напрасно сбивали с толку монаха (студента) и навязывали ему вашу бессмыслицу“. Но эта резкость скоро смягчалась отеческим благодушием, под влиянием которого возражения митрополита принимали несколько юмористический оттенок. Другой студент на том же экзамене отвечал по предмету Евлампия о единстве закона Моисеева и закона Евангельского, доказывая это между прочим единством законодателя, Сына Божия. „Императрица Екатерина, возразил Филарет, написала соляной устав и устав о губерниях: следовательно соляной устав и устав о губерниях суть один и тот же закон“? Тот же Евлампий на экзамене слишком буквально перевёл термин „полемическое богословие“, назвав его „воительным“. — „Отчего же, заметил Филарет, не назвать его солдатским богословием“? Этот юмор иногда вызывал на экзамене сцены, вероятно значительно облегчавшие настроение, в какое приводила испытуемых строгая требова-

тельность испытателя. „При окончании курса 1852 г., рассказывает о. Смирнов (стр. 102), один студент читал из церковной истории о гонении Диоклетиана на церковь Христову и, доведши рассказ до сожжения храма в Никомидии, сказал: „загорелся храм в Никомидии“, — и потом остановился. Митрополит заметил: „что ж? он и теперь горит“?— Нет! уже давно сгорел, отвечал студент, и затем бойко довёл рассказ до конца“. Внося всюду порядок и дисциплину, осторожный по опыту и положению, трезвый критик по складу ума, Филарет не любил теорий, особенно новых и страдавших, по его мнению, излишком синтеза. Встретив в одном представленном правлением академии конспекте 50-х годов указание на бывшую тогда в ходу теорию народности в литературе, он сделал замечание: „что за *народность* в церковном проповедании? Церковь учит *вся языки* одним учением, применяя учение к умственному и нравственному состоянию человека, а не кафтану, тулупу и блузе“. Эта нелюбовь побуждала его на экзаменах иногда резко оспаривать слишком широкие обобщения иного преподавателя, и тогда экзамен превращался в диспут митрополита с профессором. Очень характерен в этом отношении приведённый о. Смирновым рассказ А. В. Горского о его диспуте с Филаретом на публичном экзамене 1837 г. по поводу читанной студентом из курса этого профессора статьи о распространении и угнетении христианства после апостолов до Константина (стр. 198 и сл.). Слушая чтение, митрополит прерывал его замечаниями: „всё теории! к чему эти теории? надобно излагать исторические факты“. Говоря о направлении и некоторых теориях современной историографии, он выразился: „всё это пустяки“! Но тот ошибся бы, кто приписал бы митрополиту наклонность давить мысль: напротив, он требовал, чтобы на экзамене „испытуемые отвечали из ума и знания, а не слепо из учебных книг или записок“, и преподавателям внушал, чтобы они, руководствуясь учебником, не брели по чужому следу, не рассуждая.

Люди, непосредственно испытавшие на себе воспитатель-

кое, дисциплинирующее влияние знаменитого митрополита, одни могут основательно оценить значение этой дисциплины в истории научных успехов Московской академии. Но несомненно, иногда взыскательный его надзор затруднял учёным академическим работам выход за стены обители, в которой помещается академия. В этом отношении очень любопытно дело по изданию рассуждения Н. Руднева о ересях и расколах в русской церкви. История этого дела едва ли не впервые рассказана подробно по подлинным документам в книге о. Смирнова. В этом деле самое важное то, что оно тянулось 25 лет, сопровождаясь шумом и тревогами, которые далеко не оправдывались свойством сочинения, их вызвавшего. Здесь вскрывается и тот тернистый путь, которым в те времена должно было пробираться учёное академическое авторство. Занимавшиеся русской церковной или гражданской историей знают, что книга Руднева дельное исследование и давала немало нового читателю того времени, когда она вышла в свет, хотя теперь так, как она написана, не пишутся учёные сочинения. Цензор совершенно справедливо аттестовал её сочинением благонамеренным. Автор её, как видно из предисловия, трудясь над ней, руководился „любопытством благочестивым“. Он считает самым верным взгляд древних летописцев на появление волхвов, что это враг рода человеческого, лишившись многих душ с утверждением царства Христова в земле Русской, „тем с большею силою начал действовать в остававшихся ещё в его власти, дабы чрез них досаждать сынам новонасаждённой церкви Христовой“. Происхождение книги было не совсем обычно. В 1817 г. канцлер гр. Румянцев, известный любитель просвещения, предложил дать студентам Московской академии задачу о ересях в русской церкви, обещав 35 червонцев за удовлетворительное разрешение задачи. К назначенному сроку это разрешение не состоялось и было отложено на неопределённое время. Принялись за него только в 1834 г., 9 лет спустя по смерти Румянцева, по настоянию инспектора Филарета (Гумилевского). Написать трактат поручено было

студенту Рудневу. Может быть, эта медленность объясняется несколько рассказом, сообщённым пишущему это покойным П. С. Казанским. Отдельные вопросы, касающиеся задачи гр. Румянцева, в академии пытались решить прежде, нежели возложено было на Руднева общее её решение, так что книга Руднева была частию коллективным трудом многих. Это обстоятельство, по предположению Казанского, впервые и обратило А. В. Горского ко внимательному изучению рукописей. В 1836 г. сочинение о ересях и расколах было отослано на рассмотрение в Петербургскую духовную академию, согласно с условием премии, и там было одобрено с указанием некоторых недостатков, которые были вскоре исправлены автором. Доселе всё шло хорошо и сочинение было в 1837 г. представлено митрополиту с просьбой академической конференции разрешить печатание исследования. Но с этой минуты пошли невзгоды. Митрополит сделал несколько поправок. Между прочим на слова Руднева: „русская церковь богата раскольниками“ митрополит заметил: неприличная насмешка. У Руднева было написано о хождении по-солонь: „трудно решить эту премудрую задачу“. Митрополит заметил: площадный и насмешливый тон *Библиотеки для Чтения* не годится для рассуждения Московской академии о предметах церковных. Далее он не одобрил выражения „греко-русская или русская церковь“ вместо „греко-россійская или россійская церковь“. Приказано было Рудневу вновь исправить свой труд и представить ректору, а ректор, рассмотрев его, должен был представить митрополиту. Но академическая конференция прямо передала сочинение в комитет духовной цензуры, не представляя его Филарету, и цензор Делицын разрешил печатать книгу (в начале 1838 г.). Уже по напечатании нескольких листов митрополит потребовал сочинение, но по болезни не мог прочитать его и возвратил „для продолжения дела в надежде на осторожность цензуры и академического правления“. Наконец, книга отпечатана и билет на выпуск её из типографии выдан. Но, рассмотрев печатный экземпляр, Филарет поручил академической конференции подвергнуть

книгу новому рассмотрению, на цензора профессора обратить внимание, может ли он по цензорской должности пользоваться доверием начальства, вследствие чего тот подал прошение об отставке от этой должности, а печатные экземпляры книги задержать и премии автору не выдавать впредь до усмотрения. Последовал ряд заседаний конференции для рассмотрения книги и пространные объяснения цензора. Решено было несколько страниц книги перепечатать, притом две на счёт цензора, сделав ему строгое замечание за невнимательность к делу. Но Филарет нашёл поправки конференции недостаточными и потребовал более внимательного пересмотра книги. В этой утомительной процедуре, наскучившей самому митрополиту, характеристична одна подробность. Книга вооружила против себя Филарета особенно двумя местами, из коих в одном говорилось о *разделении* соборной и апостольской церкви въ XI в. на восточную и западную (а не об *отделении* отъ соборной и апостольской церкви—церкви западной), в другом о второстепенном значении преданий, как источника христианского вероучения. Цензор оправдывался в пропуске первого места ссылкой на церковную историю Иннокентия, где есть выражение „разделённая церковь“. Любопытно признание Филарета в письме к ректору академии. Указав, что это выражение заимствовано из его библейской истории, он замечает: „сочинителю библейской истории некогда было пересматривать свой давний труд, а преподаватели по сей книге брели до сих пор по чужому следу, не рассуждая, хотя им о сем часто напоминали. Вы, богословы по наряду, лучше бы сделали, если бы не застявляли других, более вас занятых доделывать дело вашей обязанности“. В резолюции митрополит указывал, что не следует в оправдание ссылаться на книги, писанные „во времена меньшей взыскательности за строгую точность“. По настоянию Филарета нашли нужным перепечатать большее количество страниц, и в таком виде книга, отпечатанная в 1838 г., вышла в свет в 1840 г. Но вероятно много экземпляров разошлось по рукам и в первоначальном виде (один из них есть

у пишущего эти строки), несмотря на приказание митрополита „отнюдь не распространять“ их. Такой экземпляр попал в руки известному в своё время богослову-любителю, превосходившему, однако, своей ревностию многих специалистов, А. Н. Муравьеву. Он-то, по выражению о. Смирнова, первый и поднял тревогу по поводу сочинения Руднева, написал на неё резкие замечания, задевшие и академию, так что даже Филарет должен был употреблять все меры, чтобы успокоить ревностного чиновника за обер-прокурорским столом. Дело кончилось только в 1842 г., когда наконец решено было выдать автору премию за его многострадальное „рассуждение“.

История книги Руднева может служить наглядным объяснением условий, при которых развивалась академическая наука. Стороннее вмешательство указывает на источник, из которого вытекала иногда взыскательность митр. Филарета, оберегавшего „мнение о достоинстве духовных училищ и образованного духовенства“. С другой стороны, становится ясным, чего стоили успехи, достигнутые академическою наукой, её работникам. Тем больше им чести и тем больше имеют они прав на признательную память о них в явившихся им на смену поколениях.

С сожалением оставляем множество других любопытных подробностей в книге о. Смирнова, которые трудно исчерпать. В дополнение к тому, что сказано об условиях жизни учёной академической корпорации, упомянем только о жаловании преподователей. С основания академии до 1870 г. ординарный профессор получал 1200 руб. асс., баккалавр— 600 руб. Если переложить тогдашние ассигнационные рубли на наши по текущему курсу, то окажется, что баккалавр 1818 г. получал менее 300 наших бумажных рублей—жалованье иного волостного писаря нашего времени.

Г. Рамбо—историкъ Россіи.

Histoire de la Russie depuis les origines jusqu'à l'année 1877. Par Alfred Rambaud. Ouvrage couronné par l'Académie française. Paris. 1878.

Г. Рамбо—не только приятный разсказчик, но и педагог в известной степени: излагая просто, большею частию без лишних фраз, события нашей истории и больше разсказывая, чем размышляя о них,—он не чуждался и тех искусственных литературных приёмов, помощию которых надеялся сильнее врезать в памяти своих читателей или сделать для них понятнее явления, сами по себе тусклые и нерельефные или настолько своеобразные, что французу было бы трудно уяснить себе их значение в простой туземной одежде. Вот почему Владимир Св. и Ярослав I в заглавии V главы названы у него русским Хлодвигом и русским Карлом Великим: мы удивимся и с недоумением спросим, чем наш Ярослав Старый похож на Карла Великого, но во Франции не удивятся и поймут, что Ярослав был политический объединитель и законодатель на Востоке, похожий на то, чем был Карл В. на Западе. С той же целью очерку внутренего состояния московского государства в XV — XVI в. г. Рамбо дал заглавие „Московская Русь и Возрождение". Как известно, ничего подобного Западному Возрождению не последовало у нас в то время ни в нравах, ни в понятиях: привозных итальянских мастеров, построивших Успенский Собор и Василия Блаженного, двух-трёх вольнодумцев, у которых закружилась ортодоксальная голова от протестантского

чада, слишком недостаточно для Возрождения, тем более, что спустя столетие с чем-нибудь г. Рамбо говорит о новом возрождении России, последовавшем в царствование Петра I. Но неточность этой гиперболической терминологии выкупится вполне, если обратить усиленное внимание французского читателя на рассказ автора и заставить лучше запомнить—хотя *Домострой* попа Сильвестра или *Четьи-Минеи* митроп. Макария. С этой стороны наклонность автора постоянно вызывать в памяти своего читателя образы и факты западно-европейской истории для лучшего объяснения явлений русского прошедшего имеет за себя неоспоримое педагогическое оправдание, хотя бы эта наклонность и не возвышалась до степени научного сравнительного метода, которым она несомненно внушена автору.

В книге г. Рамбо заметны следы старательной подготовки к предпринятому им труду. В его рассказе встречаем ссылки на гг. Костомарова, Бестужева-Рюмина, Забелина, Погодина и многих других, иногда выдержки из их сочинений в дословном переводе; даже работы г. Самоквасова по раскопке курганов ему не безъизвестны. Знакомство с русским языком и нашей исторической литературой дало ему средства, которыми он и пользуется заботливо,—воспроизводить явления нашей истории, насколько было это ему возможно, в их подлинном виде, так сказать, в туземной одежде. Он иногда довольно точно переводит названия русских учреждений, юридические и другие бытовые термины, при чём обыкновенно приводит и самые оригиналы и притом в таком виде, что их без труда можно узнать во французской транскрипции; даже не раз упоминаемые им *odnovortsi*, очевидно, суть не что иное как наши *однодворцы*. Можно также догадаться, что *conseil de régence* (стр. 479) есть просто губернское правление, а под *collège de provision* pour les hospices et l'assistance publique, вероятно, следует разуметь Приказ общественного призрения. Из любви к туземной терминологии автор иногда вставляет в текст своего рассказа и даже без перевода такие русские слова, которые нельзя назвать техническими терминами: сказав о важнейших сотруд-

яиках Петра, г. Рамбо заканчивает перечень словами: Tels furent les hommes russes du *vrèmia* de Pierre le Grand. Став пристрастием, эта любовь ведёт автора к излишествам, которые были бы невозможны, если бы он ещё меньше знал русский язык или совсем не знал его. Так *дедушка* Крылов по созвучию разжалован у него в *дядюшки* (*l'oncle* Krylof, p. 552). Третье отделение du vrèmia de Pierre le Grand, страшный своими розысками для тайных политических злоумышленников „Преображенский приказ", благодаря, вероятно, этимологическому родству слов *преображение* и *преобразование*, преобразился у г. Рамбо в *bureau de la réformation* или prikaz de réformation (стр. 391 и 429). Печальная ирония, скрытая в этом переводе, есть просто следствие неумеренного желания автора переводить всё во чтобы ни стало, т.-е. следствие злоупотребления знанием русского языка.

Не смотря на эти педагогические приёмы, рассказ г. Рамбо отличается ровностью и, так сказать, прозаической трезвостью изложения. Уклонения незначительны: лишь изредка автор обращается к запасу общих мест или риторических преувеличений, когда затрудняется сказать что-нибудь другое. Так автор уверяет, будто при объявлении турецкой войны 1711 г. „Россия вся как есть вострепетала от радости при мысли, что она вернётся на стезю древних русских князей, пойдёт в поход на Царьград, освободит восточных христиан" и т. д. (la Russie tout entière tressaillit d'allégresse à l'idée de reprendre la trace des anciens princes russes, de marcher sur la *Ville-Souveraine* etc.—p. 254 и 404). Эти редкие исключения—не более как следствие литературных привычек автора или литературного вкуса его публики и уж, конечно, ничему повредить не могут.

Но трудно понять один неосторожный шаг, какой сделал автор при издании своей книги. Надобно думать, что во французском обществе существует желание познакомиться с историей России. Книга г. Рамбо составлена так, что на первое время её достаточно для удовлетворения этой потребности: читатель найдёт в ней основные сведения по истории, даже географии и этнографии России. Но г. Рамбо нашёл полезным

распространить свою книгу и в русской читающей публике. Для легчайшего достижения этой цели он издал свой труд в особой редакции, где выпущен рассказ о некоторых событиях в нашем отечестве, которые, как он слышал, ещё рано знать нашей публике. Экземпляры этой редакции, исправленной приспособительно к изученному автором bureau de la réformation, получаются в наших книжных лавках с особым удостоверением на обёртке, что это—„специальное издание для России". Этот шаг кажется нам неосторожным, потому что он вскрыл взгляд самого автора на свой труд,—взгляд, который, без вреда для Рамбо, мог бы оставаться под спудом. Он хотел дать французской публике историю России в простом и последовательном рассказе с древнейших времён и до реформ последнего времени: это прекрасно и заслуживает автору полного сочувствия как той публики, для которой писана эта история, так и того общества, история которого описана в книге. Но г. Рамбо решил, что его книга может многому научить и русских читателей, что она восполняет чувствительный пробел и в русской исторической литературе,—и вот с этим решением позволительно не согласиться, так как оно по меньшей мере преждевременно для нашего нового историка.

Г. Рамбо, несомненно, прочитал много книг по истории России, даже еслибы и не прочитал столько, сколько выставил их в конце своего труда, в библиографическом перечне „важнейших источников", которыми он пользовался. Но он ещё не настолько вчитался в них, чтобы стоять твёрдо в новой для него сфере знаний. До сих пор он был известен в русской читающей публике недурным трудом о русских богатырских былинах [1]). Этот народный русский эпос так полюбился ему, что в своей „Истории России" он вспоминает о нём при каждом удобном случае и иногда довольно кстати. Но опыт о русском эпосе—работа скромная и самостоятельная в известной степени: здесь автор имел дело прямо с самыми памятниками народной поэзии, переводил и разбирал их, как

[1]) La Russie épique. Paris. 1876.

умел. Задумав изложить историю России так, чтобы книга читалась не только французской, но и русской публикой, г. Рамбо взялся за дело гораздо более отважное и притом оставлявшее автору меньше возможности стоять на своих ногах. Нет нужды сомневаться в знакомстве автора с русской историографией; можно охотно поверить, что он читал, как сам свидетельствует о том в библиографической заметке, и *Летопись* Нестора с его продолжателями, изданную Миклошичем, и *Домострой*, изданный г. Яковлевым, и 27 томов „Истории России“ г. Соловьёва, и даже сочинение С. Горского о жизни и историческом значении кн. А. М. Курбского. Но при самом составлении своей книги он всё-таки очутился глаз-на-глаз с русскими учебниками, принуждён был в них заглядывать чаще и прилежнее всего. В той же библиографической заметке, перечисляя важнейшие русские сочинения, из которых он „черпал“ для своей истории, он прибавляет, что „и маленькие школьные истории гг. Соловьёва и Иловайского ему были очень полезны“. Сличая изложение г. Рамбо с этими „маленькими школьными историями“, можно с некоторой точностью определить даже степень извлечённой из них автором пользы. В учебнике г. Иловайского, например, за статьёй о борьбе Мономаховичей с Ольговичами в XII в. помещён очерк отдельных княжеств или „земель“, на которые распалась Русь к половине того столетия. И у г. Рамбо находим подобный же, лишь более сжатый перечень княжеств, который есть собственно сокращение очерка г. Иловайского, только с перестановкой параграфов и с несколькими замечаниями, сделанными автором от себя (стр. 75—78). Составляя статью о Новгороде Великом, г. Рамбо раскрыл на соответствующей главе „Русскую Историю“ г. Бестужева-Рюмина, не теряя, впрочем, из вида и учебника г. Иловайского, опустил критические замечания и некоторые подробности, казавшиеся ему лишними, а остальное передал не в буквальном переводе, но с такою близостью, которая не оставляет сомнения в источнике. Ещё обильнее черпал г. Рамбо из „Учебной книги Русской истории“ г. Соловьёва, особенно из глав о внутреннем

состоянии России в то или другое время. Здесь рядом с сокращённым пересказом, в котором факты, взятые из учебника, иногда освещены и истолкованы иначе у г. Рамбо, встречаем и выдержки более близкие к подлиннику. Только для показания внимательности, с какою в таких случаях г. Рамбо относился к своему источнику,—не более, приводим одно место из главы о реформах Петра Великого (стр. 384).

„Les habitants des villes furent partagés en trois catégories: à la première appartenaient les banquiers, manufacturiers, riches commerçants, médecins, pharmaciens, capitalistes, marchands, orfèvres et batteurs de métaux, artistes; à la seconde, les petits commerçants et maîtres de métiers; à la troisième, le bas peuple des journaliers et artisans. Les deux premières catégories prirent le nom germanique de *première* et *deuxième ghildes* et furent investies de certains privilèges“ [1]).

Большой беды нет в такой близости французского текста к русским подлинникам,—притом близости недословной и неповсеместной. Если бы книга г. Рамбо предназначалась только для французской публики, можно было бы пожалеть именно о том, что он не везде и недословно переводил русские учебники. Но он не сохранил равновесия между влечениями в разные стороны: ему во-первых хотелось быть по возможности самостоятельным и во-вторых у него не достало терпения изучить и проверить все мелкие подробности своего повествования. В упомянутом выше перечне русских княжеств XII в. у г. Иловайского просто сказано, что земли Черниговская и Северская обнимали почти всю речную область Десны с Сеймом. Г. Рамбо желал обозначить географическое положение этого края обстоя-

---

[1]) Учебная кн. Русск. истории г. Соловьёва, изд. 7-е, стр. 268: „Городские жители разделены были на три разряда: к первому принадлежали банкиры, гости или крупные торговцы, лекаря, аптекари, шкипера, золотых и серебряных дел мастера и живописцы; ко второму розничные торговцы и мастера; оба эти первые разряда носили название гильдий; к третьему разряду принадлежали чернорабочие и наёмники. Два первых разряда выбирали себе своё начальство, старосту и помощника его, третий разряд выбирал себе десятских и старшин“.

тельнее и впал в погрешность: он писал (стр. 76), что эти княжества „простирались по притокам Днепра *справа*, именно по Сожи, Десне и *Сейму*“. Не говоря уже о том, что Сейм впадает в Днепр, так-сказать, из вторых рук, через Десну, вероятно, название этой последней реки ввело г. Рамбо в ошибочное мнение, будто она впадает в Днепр справа. По одним из любопытных следов древней русской колонизации вверх по рекам служит именно та особенность гидрографической номенклатуры России, что Десны, если не все, то многие впадают слева: кроме днепровской можно припомнить ещё три такие же левые Десны, из коих одна впадает в Южный Буг, другая в Зап. Двину, третья в Пахру, приток р. Москвы (в Подольском уезде Московской губ.). В другом месте (стр. 19) г. Рамбо совершенно правильно помещает Полян с Киевом на правом берегу Днепра—может быть потому, что в соответствующем месте учебника г. Иловайского о Северянах, которые жили напротив Полян, по другую сторону Днепра, прямо замечено, что они с Радимичами и Вятичами жили на восток от Днепра. В третьем месте берег реки опять не удался г. Рамбо: он знает, что Волхов течёт из о. Ильменя в Ладожское, следовательно, на север, однако, рассказывая о Новгороде В., прибавляет от себя, чего нет у г. Бестюжева-Рюмина, книгой которого он руководствовался в этом месте,— будто Софийская сторона города находилась на правом берегу Волхова. Тут же он впадает и в другую маленькую погрешность, утверждая, будто „la célèbre cathédrale“ св. Софии в Новгороде построил Ярослав Великий, а не сын его Владимир, как о том рассказывают наши летописи (стр. 104).

Не будет, кажется, слишком смелой догадкой предположение, что общей причиной всех промахов в книге г. Рамбо, крупных и мелких, было то, что автор недостаточно уяснил себе свойства дела, за которое он взялся. Он не обдумал предварительно, что он хочет и может написать, простой ли учебник, „маленькую школьную историю“, или книгу для чтения, предназначенную для взрослой публики, которая, перезабыв приобретённые в школе познания, не желает

для их возобновления возвращаться к простому учебнику, а ищет книги, в которой элементарные сведения были бы расширены и освещены соответственно её возрасту. По-видимому, г. Рамбо имел в виду больше эту взрослую публику, чем людей, сидящих на школьных скамьях. Однако этого важного вопроса о читателях он не решил окончательно: если бы он решил его в пользу взрослых, тогда свой наличный запас исторических источников, степень знакомства с прошлым России он привёл бы в большее согласие с избранной задачей. Но так как окончательное решение принято им не было, то по всей книге заметно колебание автора в разные стороны. В его рассказе обнаруживается постоянная наклонность затрогивать исторические вопросы, на которые он не заготовил ответов, углубляться в подробности событий, которые ему недостаточно ясны. Оттого стремление сообщить рассказу наибольшую фактическую содержательность, упомянуть обо всём, набрать возможно больше сведений сопровождается в книге г. Рамбо цепью мелких, иногда и крупных неточностей, которая, удлиняясь новыми звеньями чуть не на каждой странице, проходит по всему его рассказу и уничтожает впечатление фактов и мыслей, которые удалось автору верно воспроизвести из того или другого русско-исторического сочинения, им читанного.

Многие из этих погрешностей похожи на одну обмолвку, исправленную самим автором. В книге читаем (стр. 73), что две системы законодательства, из коих одна выражалась будто бы в „скандинавском кодексе Ярослава“, а другая в утвердившихся на Руси „византийских кодексах Юстиниана и Василия Македонянина“,—обе эти системы существовали на Руси рядом до того момента, когда они слились в один новый кодекс, „в *Уложение* Ивана Грозного“. В поправке (стр. 712) автор вместо этого Уложения просит читать: „*Судебник* Ивана Великого (т.-е. III-го) или Ивана Грозного“. Никто, конечно, не подумает, что *Уложение* Ивана Грозного есть описка или опечатка: это просто ошибка, происшедшая от нетвёрдости автора в элементарных фактах на-

шей истории в связи с торопливостию работы. Гораздо реже в книге г. Рамбо места, в которых сохранились следы того, что он боролся с различными воззрениями на известный факт, высказанными в нашей исторической литературе, и, не сладив с ними, склонялся то к одному из них, то к другому. Этим можно объяснить неясность, заметную у г. Рамбо в изложении того события, которым, говорит он, собственно и начинается история России, т.-е. прибытия варягов к русским славянам в 862 г. Он пишет (стр. 42), что норманны охотно нанимались в военную службу к другим народам и, воюя за других, иногда делали завоевания и для себя. „Так, продолжает он, поступили датчане в Англии, норманны в Нейстрии, потомки Танкреда в Неаполе и Сицилии; без сомнения так же поступили товарищи Рюрика и в России". Всё это пока ясно и просто. Но не далее как на следующей странице, рассуждая о том, что в сказании о добровольном призвании варягов нашими славянами можно видеть вымысел летописца с целью прикрыть „грубый факт завоевания", автор прибавляет: „на самом деле не было завоевания", — и подтверждает это тем, что какая-то „муниципальная организация" у призвавших осталась нетронутой, вече продолжало действовать рядом с князем и проч., хотя мы очень мало, почти ничего не знаем о вечах до XI в.

Таких неясных мест в книге г. Рамбо сравнительно немного. Зато можно составить утомительно длинный список обмолвок, подобных „Уложению Ивана Грозного" по значению и происхождению, только оставшихся неисправленными. Укажем лишь те из них, которые бросаются в глаза резче других и легче других могли быть поправлены автором.

Так ничего не стоило автору, если он действительно имел под руками изданную Миклошичем *Летопись* Нестора, как сам уверяет в библиографической заметке, — ничего не стоило взглянуть на стр. 181 и 182 этого издания, чтобы убедиться, что наша начальная летопись прерывается на 1110 г., и только приписка игум. Сильверста, следующая за летописным рассказом об этом годе, сделана в 1116 г. Не-

смотря на то, г. Рамбо пишет (стр. 44), что Нестор, монах киевского Печерского монастыря, довёл свою историю до 1116 года. В числе важнейших источников, из которых черпал г. Рамбо, у него не обозначена прямо *Русская Правда*, и трудно сказать, читана ли она автором. Во всяком случае, он не мог найти в „законодательстве русского Карла Великого“, т.-е. в Ярославовой *Правде*, того, что он ей приписывает (стр. 62),—именно будто убийцу преследовали частной местью „все родственники“ убитого, также будто бы *Правда* допускает судебный поединок: она допускает его разве лишь тем, что вполне о нём умалчивает. Слово *смерд* г. Рамбо производит от глагола *смердеть* (стр. 67), а цари московские у него произошли от кн. Андрея Боголюбского, а не от брата его Всеволода III (стр. 90): вероятно, автор разумел здесь происхождение в переносном смысле, в значении преемства преданий, характера и т. п. В главном памятнике новгородского права, в *Судной Грамоте*, он находит те же принципы, как и в *Русской Правде* Ярослава: будто бы эта грамота „освящает право частной мести“, выкуп за убийство, суд Божий (стр. 111). Можно различно судить о том, в какой степени новгородское право времён *Судной Грамоты* оставалось верно принципам *Русской Правды*: только в этой грамоте, определяющей преимущественно формальные подробности судебного процесса и при том сохранившейся в неполном виде, нет указания ни на частную расправу, ни на головщину, ни на испытание водой или железом, а телесные наказания, которые г. Рамбо приписывает той же грамоте, пятнание вора и виселица за третью кражу, принадлежат вовсе не тому памятнику, а Двинской уставной грамоте в. кн. Василия Димитриевича.—Описывая время царствования Ивана Грозного, когда на него имели влияние Сильвестр и Адашев, „самую счастливую эпоху“ этого царствования, г. Рамбо с ударением отмечает (стр. 219): „внутри преобразовывается муниципальное управление (1551)“. Несколько ниже (стр. 240) читаем, что „Адашев дал России в 1551 г. первые муниципальные вольности“. Трудно догадаться,

из какого источника почерпнул автор эти первые муниципальные вольности, будто бы дарованные России в 1551 г. и притом не иным кем, а именно Алексеем Адашевым. Выборное областное управление, как известно, вводилось при Грозном постепенно и далеко не повсеместно; ни откуда не видно, чтобы его начали вводить именно с 1551 г., и хорошо известно, что порядок городского и волостного самоуправления, завершившийся при Грозном заменой наместников и волостелей выборными земскими старостами, вовсе не был созданием одного этого царствования: за развитием отдельных учреждений, из которых складывался этот порядок, можно следить по документам уже с конца XV в. Точно также нет прямого указания на то, чтобы „муниципальные вольности", дарованные Грозным, хотя и не первые, были внушены именно Адашевым. Может быть, г. Рамбо неосторожно поверил наслово самому Ивану Грозному, если только читал его первое письмо к кн. Курбскому, где царь, жалуясь на Сильвестра и Адашева, пишет, между прочим, что они „вся строения и утверждения по своей воле и своих советников хотению" творили. Но немного выше сам царь предостерегает того, кто стал бы основывать на этих словах догадку, будто „муниципальные вольности" были делом Адашева. Замена наместников и волостелей выборными старостами была мерой, вызванной жалобами управляемых на этих управителей, следовательно мерой, неприятной служилым людям, кормившимся наместничествами и волостельствами, а царь жалуется именно на то, что Сильвестр с Адашевым „вместо духовных мирская начаша советовати и тако по-малу всех вас бояр начаша в самовольство приводити", так что, по уверению царя, не осталось ни единой власти, где бы они своих угодников не поставили. Рядом с муниципальными вольностями Алексея Адашева встречаем и другую обмолвку г. Рамбо: он уверяет, будто в 1566 г. Иван созвал первый земский собор, „свои первые états généraux, составленные из трёх сословий (ordres)". Предоставляя автору высчитывать, сколько было сословных разрядов или орденов в длинном перечне чинов, из которых составлен

был собор 1566 г., можно напомнить ему, что у нас принято считать первым тот земский собор, который созван был царём Иваном на двадцатом году его жизни, т.-е. между 25 авг. 1549 и 25 авг. 1550 г. Выражение Степенной книги, сохранившей известие об этом соборе, что царь „повеле собрати свое государство из городов всякого чина", прямо указывает на то, что это собрание по составу было похоже на дальнейшие соборы „всяких чинов людей московского государства". Повидимому, г. Рамбо введён был в заблуждение фразой Карамзина, которым он пользовался при описании собора 1566 г. „В эту минуту, пишет он (стр. 234), Ivan offrit à la Russie un singulier spectacle". Карамзин так именно и начинает рассказ о соборе 1566 года: «тогда Иоанн явил России зрелище необыкновенное". Эта фраза, вероятно, и привела г. Рамбо к догадке, что прежде ничего подобного не бывало. Через несколько строк от своего первого собора г. Рамбо говорит о местничестве (стр. 241) и опять впадает в погрешность, совершенно искажая смысл приговора царя с думой. Этот приговор, состоявшийся в 1550 г., как известно, точнее определил местнические отношения между воеводами разных полков с целью уменьшения спорных случаев и потом с тою же целью запретил молодым родовитым людям местничаться в полках с менее родовитыми воеводами, пока сами не сделаются полковыми воеводами. Это постановление г. Рамбо передаёт в таком неточном виде: „Иван IV запретил спорить о местах (rangs) всякому дворянину (à tout noble), который не был главою своей фамилии". Судя по некоторым оборотам речи у г. Рамбо, он и здесь имел в виду то место VIII тома *Истории* Карамзина, где излагается означенный приговор 1550 г., притом излагается недостаточно полно и ясно. Но если бы г. Рамбо внимательнее вчитался и в эти строки Карамзина, не говоря уже об учебнике г. Соловьёва, он бы вернее передал это постановление и умолчал бы о каких-то главах фамилий.—В главе XVI „Московская Русь и Возрождение" излагаются всё капитальные факты нашей внутренней жизни XV—XVI и частию XVII в. Но здесь действи-

тельные исторические черты так тонко переплетены с чертами, вымышленными г. Рамбо или, говоря точнее, происшедшими от невнимательного чтения русских книг, что иногда трудно распутать эту сеть недоразумений, недомолвок и преувеличений и угадать, где кончается правда и начинается вымысел. Иногда даже можно подивиться уменью французского историка России создавать неточность или недомолвку из самой простой, повидимому, вещи. Так он уверяет (стр. 257), будто Сильвестръ в своём Домострое, уча мужа, как исправлять жену, советует только не употреблять для этого ни слишком толстой палки, ни рогатины с железным наконечником (des épieux à pointe de fer): подумаешь, что палка не слишком толстая и рогатина без железного острия на конце допускались в семейной педагогике о. Сильвестра, как исправительные орудия для жён. Но даже этот моралист не смотрел на женщину, как на медведя: в знаменитой главе своего Домостроя, наделавшей автору столько неприятностей в позднейшей литературе, говоря о том, как „мужу над женою надзирати и страхом спасати“, он, как известно, безусловно запрещает употребление посоха или батога, всякого железного и деревянного орудия, равно и кулака, даже „за великое и страшное ослушание“. Такие неточности изложения произошли вовсе не от стремления автора рассказывать сжато, схватывая только наиболее крупные черты: нашёл же он место (стр. 258) пущенному, вероятно, каким-нибудь московским немцем пикантному рассказу Герберштейна о побоях, как самом убедительном для москвитянок доказательстве любви их мужей. Излагая общие черты реформ Петра Великого, г. Рамбо замечает между прочим (стр. 381), что в России тогда „20 миллионов человеческих существ были собственностью поземельной олигархии“. Трудно догадаться, откуда взял автор известие о 20 миллионах крепостных при Петре: в таблице у Мекензи Уоллеса, книгу которого не раз цитует г. Рамбо, показано всего населения империи в 1722 г. около 14 мил. (Russia, fourth edition, vol. II, p. 426), а Уоллес, кажется, заимствовал цифры населения до 1796 года у Кастеры

(Hist. de Catherine II, t. III, p. 226). По первой ревизии 1722 г. лиц податного состояния оказалось немного менее 6 миллионов душ; но в это число вошли далеко не одни крепостные. Нельзя понять и поземельной или территориальной олигархии г. Рамбо. В конце XVII в., в начале царствования Петра, людей только высших чинов, бояр, окольничих, думных дворян, стольников, стряпчих и дворян московских, не считая массы городовых дворян и детей боярских, числилось около 9 тысяч, и трудно сказать, кто из всех этих людей не имел либо вотчины, либо поместья. Ни откуда не видно, чтобы впродолжение царствования Петра количество землевладельцев убавилось, по крайней мере, значительно.

Перечень обмолвок и погрешностей, который можно продолжить без конца, кажется, оправдывает несколько высказанное выше мнение, что не было надобности в „специальном издании“ книги для России. Мы вовсе не хотим усомниться в добросовестности автора; но последствия, какими сопровождается отсутствие этого качества в писателе, могут вытекать и из других недостатков учёной работы. К числу их принадлежит, например, торопливость. Г. Рамбо, прочитав несколько книг по истории России, поспешил уверить себя, что сведений, приобретённых таким путём, и без пересмотра их достаточно, чтобы написать самому историю России. Отсюда же происходила некоторая небрежность в пользовании самыми лёгкими источниками. Рассказывая об освобождении крестьян России, г. Рамбо приводит (стр. 681) место из указанной выше книги Мекензи Уоллеса о том, что вес литературный русский мир поддержал предпринятое дело освобождения. В переводе слов английского писателя у г. Рамбо встречаем, что между прочим высказались в пользу этого дела и „историки философии (les historiens de la philosophie)“. Усиливаемся припомнить, какие были у нас историки философии, притом писавшие об освобождении крестьян, и, ничего не припомнив, отыскиваем приведённое место в книге Уоллеса. Здесь находим нечто совсем другое: у М. Уоллеса (т. II, стр. 277

по 4-му изд.) идёт речь не об „историках философии“, которым, вероятно, редко приходилось говорить об эманципации крестьян, а об „историках-философах“ (the philosophical historians), и русское общество знает, какие историки-философы доказывали, что „правильное историческое развитие страны требовало немедленного уничтожения этого запоздалого остатка варварства“, т.-е. крепостного права. Вследствие той же торопливости автор хватал первый подсказанный ему памятью факт, первый политический термин из истории западной Европы, чтобы сравнением объяснить какую-либо черту из истории России. Это иногда приводило автора к поразительным аналогиям и к заключениям, на которые никогда не отважится русский писатель. Так, говоря (стр. 640) о попытках императора Николая устроить правильное ведение дел на крестьянских общинных сходках, г. Рамбо прибавляет: „самодержавный царь был одним из первых законодателей всеобщего голосования (du suffrage universel) в России“. Трудно понять, что это—непонимание или ирония; но если ирония, то в ней есть один недостаток: автор не сказал бы её, если бы понял, что хотел сказать. Впрочем одной торопливостью нельзя объяснить всех особенностей книги г. Рамбо: самой этой поспешности не было бы, если бы он не смотрел на русскую публику своим особенным взглядом. Всякому писателю простительно несколько преувеличивать качества и значение своего труда, и автор не совершил никакого необычайного поступка, если о своей книге, излагающей преимущественно самую внешнюю, анекдотическую историю России, и в которой ни один общественный класс, ни одно государственное учреждение, ни один крупный факт политической жизни России не воспроизведён точно в его историческом развитии и значении,—если о таком труде г. Рамбо счёл себя в праве сказать в конце своего повествования (стр. 710): „нам пришлось рассказывать преимущественно историю русского государства; история народа русского только начинается“. Не с одним г. Рамбо бывали подобные случаи. Но он не мог не знать, как строилось его

произведение, т.-е. должен был знать, что оно собрано из лоскутков, нарванных из нескольких, преимущественно учебных книг по истории России и сшитых первыми пришедшими на ум историческими соображениями, т.-е. собственными недоразумениями автора. Знать это и предложить так составленное сочинение о России русской публике, значит сказать ей, что лучшего она и не стоит. Если бы русскому учёному пришло в голову предложить французской публике, разумеется на французском языке, книгу по истории Франции с такими, например, новостями, что феодальный hommage был не что иное как вежливый обычай вассалов снимать шляпу при встрече с сеньорами, или что Nôtre-Dame de Paris было почётным титулом, каким парижская буржуазия величала жену своего головы (prèvôt des marchands), с каким хохотом закрыл бы такую книгу французский читатель, а иной даже рассердился бы и сказал: за кого же, наконец, принимает нас этот северный варвар? Мы же ограничимся желанием, чтобы автор по крайней мере в „специальном издании“ своей книги для нас, Русских, пересмотрел bureau de la réformation и тому подобные вещи, которые в России знают несколько лучше чем во Франции.

В. Ключевский.

Право и факт в истории крестьянского вопроса.

Письмо к редактору „Руси“, 1881. № 28.

Обращаюсь к вам с запоздалым объяснением. В любопытных и многими прочитанных статьях [1]) Д. Ф. Самарин вспомнил о напечатанной мною два года назад в *„Критическом Обозрении“* рецензии II тома сочинений Ю. Ф. Самарина. Здесь, отозвавшись обо мне в незаслуженно лестных выражениях, автор обвиняет меня: 1) в том, что я ребячески высока отношусь к Положению 19-го февраля *„как к изделию помещиков, сумевших в свое время обделать свои дѣла насчёт благосостояния крестьян и подавших им камень, когда у них просили хлеба“*, 2) в том, что на могилу людей, положивших свою душу в дело освобождения крестьян, я бросил отзыв, в котором назвал их философами и эстетиками, утратившими понимание *„конкретных различий между камнем и куском хлеба“*, так что *„когда у них просили последнего, они в философской рассеянности взялись за первый“*.

Начну со второго обвинения. В моей рецензии, действительно, приведён такой отзыв; но он не принадлежит мне. Я только высказал опасение, что так будут отзываться о Ю. Ф. Самарине и людях его характера и образа мыслей, и заранее не согласился с таким отзывом и пожалел о нём. Не скрою, что так отзывались и отзываются о Ю. Ф. Самарине, и повторяю, что не согласен и никогда не соглашусь с таким приговором. Я знаю Ю. Ф. Самарина только как

[1]) „Русь“, 1881, № 1 и 12.

писателя, судил о нём как о писателе; в статье моей довольно мест, из которых видно, что я отношусь к нему далеко не в духе приведённого отзыва, и в одном из них замечено, что было бы неблагодарностью порицать за взгляд на крестьянское дело людей, подобных Самарину. Итак, да позволит мне Д. Ф. Самарин во втором его обвинении видеть одно недоразумение.

Что касается первого, то я никак не мог найти в своей рецензии ни одного места, откуда видно было бы, что я отношусь свысока к Положению 19-го февраля; я только назвал его законом, закрепившим „великий факт“ нашей истории. Точно также нигде не сказал я, что это Положение есть изделие помещиков, подавших крестьянам *„камень, когда у них просили хлеба“*, и у меня нет этих последних слов, которые г. Самарин поставил в ковычках, как моё подлинное выражение: это, очевидно, составленная самим г. Самариным парафраза не мне принадлежащего и мне антипатичного отзыва, который притом относится не к помещикам и не к Положению 19 февраля, а к Ю. Ф. Самарину и людям его характера и образа мыслей.

Мне остаётся предположить, что г. Самарин только подозревает меня в приписываемых им мне суждениях, т.-е. прочитал их у меня между строками. Я не отрицаю у читателя права такого чтения, особенно в короткой журнальной рецензии, где трудно высказать всё без недомолвок... Но и за автором можно признать право вскрывать свои междустрочия. Судя по обвинениям, г. Самарин читал между моими строками, чтобы узнать, как я отношусь: 1) к Положению 19-го февраля и 2) ко взглядам Ю. Ф. Самарина на крестьянское дело до 20 ноября 1857 г. Позвольте мне через посредство Вашего издания высказать об этом прямо и откровенно то, что я сказал бы лично г. Самарину, если бы представился случай и г. Самарин удостоил спросить меня об этом.

На вопрос о Ю. Ф. Самарине достаточно повторить сказанное мною в рецензии II тома его сочинений. Я считаю его деятелем крестьянской реформы искренним и добросо-

вестным, с сильной мыслью, хорошо знавшим дело, задолго до реформы много передумавшего о ней, для которого эта дума стала задачей жизни, но мнение которого о деле до 20 ноября 1857 г. (насколько можно судить о них по II т. его сочинений) ниже Положения 19 февраля. Что касается самого Положения, то я нахожу в нём прямой и решительный, исторически последовательный ответ на величайший и труднейший вопрос нашей истории, подготовленный веками и чрезвычайно запутанный неблагоприятными обстоятельствами нашей жизни. Объясню возможно короче, почему я так думаю.

Наша история впродолжение веков создавала бродячее безземельное крестьянство, работающее на чужой земле и с чужим земледельческим капиталом. Вопросом государственного порядка и исторической будущности России было сделать крестьянство оседлым и работающим на земле, прочно за ним обеспеченной. Государство шло к разрешению этого вопроса сквозь длинный ряд неудач и затруднений. Бродячесть, безземелье и недостаток земледельческого капитала привели к тому, что уже в XVI в. большинство крестьян на землях крупных землевладельцев было без шума, незаметно закрепощено путём долгового обязательства и подверглось опасности кабального или полного холопства, а холоп для государства—не плательщик.

Притом, тяготясь поземельным государственным тяглом, крестьяне начали уменьшать или бросать свои тяглые участки, превращаясь в бобылей и нанимая нетяглые „пустошные“ пашни в ущерб казённому интересу. Всё это заставило правительство сначала прикрепить крестьян на землях государственных и дворцовых, также на землях мелких землевладельцев, чтобы не дать крупным сманивать с них рабочие руки, а потом сделать это поземельное прикрепление общим по закону, чтобы остановить невыгодное казне сокращение тяглой пашни. Тогда страшно усилились крестьянские побеги. Против этого правительство стало усиливать власть землевладельцев над крестьянами. Но отсюда вышло новое

затруднение; земледелец привык владеть людьми, лично к нему, а не к земле прикреплёнными, своими холопами, и чем более усиливалась его власть над крестьянами, тем более старался он приблизить их к своим дворовым людям, отрывая от земли, а дворовый тоже не плательщик, не тяглец. Отсюда развились к началу XVIII века в широких размерах перевод крестьян во двор, на барскую пашню с тяглой, и продажа без земли. Против этого правительство придумало очень остроумную меру—подушную подать. Крестьянин становился прикреплённым лично к помещику, который отвечал за него перед правительством; но и прежний холоп, лично крепкий помещику, одинаково с крестьянином подлежал подушной подати, становился тяглецом.

Правительство и помещик, так сказать, установили между собой совместное владение вместо прежнего чересполосного: перед землевладельцем крестьяне приблизились к положению холопей, перед государством и холопы сравнялись с крестьянами. Последнее доселе старалось удержать за собой распоряжение личностью и трудом крестьян, оставляя за первым власть над личностью и трудом холопей; теперь, уступив землевладельцу распоряжение личностью крестьян, правительство наложило руку на часть труда холопей. Подушная подать, как она ни претит современным экономическим понятиям и вкусам, принесла стране огромную экономическую пользу. Благодаря ей Россия распахалась. Поземельная подать древней Руси содействовала упадку земледелия, сокращению крестьянской пашни. В XVIII веке душевая доля крестьянского участка редко превышала высший душевой надел той же местности по Положению 19-го февраля, чаще была ниже его и редко падала до низшего; средний пахотный участок в 6 десятин на двор и в 4 десятины на работника в некоторых имениях принадлежал к числу крупных. Посошков в эпоху введения подушной подати считал нормальным участком на двор в 6 десятин.

В конце XVIII в. и начале XIX в., опытные сельские хозяева находили, что взрослый работник должен и может

обрабатывать на себя не менее 8 или 9 десятин, не считая сенокоса. Можно собрать по разным местностям много указаний на то, что с половины XVII в. в $1^1/_2$ столетия, рядом с приростом числа работников и количество пашни на каждого увеличивалось иногда вдвое и даже более. Это понятно: подушная подать усилила податную тяжесть крестьян вдвое, по местам даже более против прежнего поземельного тягла и, падая одинаково на пашущих много и мало, побуждала пахать возможно более.

Значит, если поземельное прикрепление повело только к личному, не привязав крестьян прочно к земле, то личное укрепление, благодаря подушной подати больше прежнего привязало рабочие руки к земле, сделало крестьянский труд более прежнего земледельческим. Так положено было начало разрешения одной части указанной выше исторической задачи,—части народно-хозяйственной. Оставалась другая часть—юридическая. Разрешение её поведено было менее удачно. Подушная подать сама по себе не внесла никакого нового юридического основания в взаимные отношения помещика и крестьян: была только усилена власть и ответственность первого за последних, и введена чисто техническая финансовая перемена в системе прямых налогов, принята другая, более надёжная единица обложения, тяглая душа вместо тяглого двора или участка. Но ведь ревизская душа не психологическое понятие; это известная постоянная платёжная мера податного труда, приложенного к земледелию или промыслу, соответствующая известному пахотному участку или промысловому заработку. Так и понимают душу крестьяне, когда в развёрстке платежей и мирской земли между работниками, „братами“, дробят души на половины, четверти и т. д. Ревизия не заменила поземельного прикрепления личным, а имела целью обеспечить, утвердить первое последним. Перестав быть основанием финансовых соображений, земля не перестала служить основанием юридических отношений помещика и крестьянина. Отсюда вытекли все права и обязанности землевладельца.

В XVIII веке те и другие были усилены. Ещё до указа 1714 г. поместья, подобно вотчинам, становились наследственными; но теперь и дворянская служба окончательно стала общеобязательной и наследственной. Усилилась власть помещика над крестьянами; зато и прежняя государственная служба усложнилась обязательным обучением дворянина, ответственностью за казённые платежи крестьян, обязанностью кормить последних в неурожайные годы и т. п. Под условием этих повинностей и укреплялась за дворянами земля с крепостным населением. Этот условный характер дворянского землевладения не исчез после закона 18 февраля 1762 г. о вольности дворянства, отменена была, и то с оговорками, только обязательность государственной службы сословия, а прочие повинности остались и даже были усилены, и только поэтому 19 февраля последовало не тотчас за 18-м, а через 99 лет.

В числе этих повинностей разумелась и обязанность обеспечить крепостных крестьян землёй, чтобы они были исправными плательщиками казны, за что по закону отвечал помещик; только способ этого обеспечения предоставлен был на волю помещика, хотя закон 1627 г. о $4^1/_2$ десятинах стеснил его произвол и в этом отношении. Из сочетания этих прав и обязанностей сложилось крепостное право по закону. Но от закона следует отличать то, что временно допускалось правительством как неизбежное зло. Рядом с законным крепостным правом развилось другое, обычное, точнее говоря, не крепостное право, а крепостной факт; некоторые черты его имели большое значение в истории крестьянского вопроса. В вотчинах и поместьях древней Руси, ещё до поземельного прикрепления, образовалось различие между пашней барской и крестьянской, сначала хозяйственное, потом и финансовое, состоявшее в том, что барская пашня не подлежала государственному тяглу, какое падало на крестьянскую.

Прикрепление крестьян к земле утвердило это различие, сделав его обязательным: ни крестьянин не мог быть взят

во двор землевладельца, ни крестьянский участок не мог быть присоединён к барской пашне. На этом различии был основан простой и лёгкий способ освобождения крестьян с землёю, задуманный канцлером царевны Софьи, кн. В. В. Голицыным. Юридическую сущность поместного и вотчинного землевладения можно выразить так: земля принадлежала владельцу под условием службы, была владением на государственном праве; притом часть её обязательно находилась в пользовании прикреплённых к ней крестьян. Подушная подать не изменила этой сущности; но, приняв другую единицу обложения, она изменила основание расчисления всех повинностей, а это дало одностороннее направление законодательству по крестьянскому вопросу. С тех пор как ревизия заменила кадастр, а ревизская душа закрыла собой крестьянский участок, крестьянские повинности перенесены были с земли на души, а с тем вместе и повинности дворянские связались с душевладением. Поэтому главным предметом законодательного внимания сделалась власть помещика над крестьянами; он стал важен для правительства как полицейское орудие или, говоря словами Карамзина, как „наследственный чиновник“, которому правительство, дав землю для населения, вверило чрез то „попечение о людях, на оной жить имеющих, и за них во всех случаях ответственность“.

Вопрос разделился: подушные отношения отделились от поземельных и последние всецело отошли в круг хозяйственных соображений землевладельцев, стали делом вотчинной экономии, перестав быть задачей государственного права. И землевладельческие, и душевладельческие права помещика вытекали из одинакового источника, обусловливались одинаковыми государственными обязанностями.

Но так как правительство XVIII в. вмешивалось только в отношения помещика к крестьянам, как государственным плательщикам, регулируя власть первого над последними, но не касаясь их взаимных поземельных отношений, хозяйственных операций с землёй, населённой крестьянами, то при таком неодинаковом отношении правительства к тем и другим

правам и в дворянском обществе с течением времени утвердился неодинаковый взгляд на те и другие: на дворянскую землю привыкли смотреть, как на полную собственность владельца по гражданскому праву, а в крепостном крестьянине соглашались видеть как бы предмет совместного владения помещика и правительства.

Притом, так как при обеспечении казённых крестьянских платежей ответственностью помещика, правительство не имело более интереса поддерживать прежнее различие между пашней барской и крестьянской, то это различие перестало быть обязательным и указанный взгляд был распространён на все земли владельца.

Так подушная подать повела к важному недосмотру в законодательстве: этот недосмотр повёл к юридическому недоразумению, которое в свою очередь породило две политические иллюзии.

Когда возникли толки об улучшении быта крепостных крестьян, то восторжествовали две неосуществимые идеи: 1) правительство путём обязательного закона может предпринять только личное освобождение крестьян, не касаясь дворянской земельной собственности, т.-е. освобождение без земли, 2) определение дальнейших поземельных отношений обеих сторон может быть предоставлено вполне добровольному их соглашению без вмешательства правительства. Не удивляйтесь тому, что я связываю обе эти идеи: они родные сёстры, и юридически, и исторически, дочери одной матери, которою была мысль, что дворянская земля с крепостными крестьянами — полная гражданская собственность владельца.

Мысль о безземельном освобождении у нас взяла верх с начала XIX в., когда при содействии закона о вольности дворянства успел установиться взгляд на дворянскую землю, как на полную собственность владельцев: эту мысль встречаем в основе проектов гр. Стенбока, Сперанского (при Александре I), Мордвинова, динабургского дворянства, комитета 6 декабря 1826 г., гр. Перовского, сенатора Шипова и др.

До того времени, напротив, люди, думавшие об улучшении быта крестьян, большей частью были против их освобождения и настаивали на отводе земли в настоящее пользование крестьян за определённые законом повинности: так думали и влиятельные и государственные люди, и учёные теоретики: кн. Д. Голицын, Елагин, Поленов, Миллер и мн. др. В связи с появлением мысли о безземельном освобождении является и идея добровольного соглашения. Её высказывает в Екатерининской Комиссии об Уложении депутат Козельский, план которого составлен под влиянием поземельных отношений в Малороссии, где ещё продолжались переходы безземельного крестьянства; в связи с правом дворян увольнять своих крестьян без земли она является в „проекте прав благородных“, составленном одной из подкомиссий той же Екатерининской Комиссии; при Александре I её повторяют проекты безземельного освобождения крестьян, составленные по образцу Остзейской эмансипации.

Так юридическая часть государственной исторической задачи осталась неразрешённой. Привязав крестьянский труд к земле экономической мерой, предстояло привязать его к ней юридически, создать право крестьян на землю. Как и из каких элементов можно было создать его без законодательного переворота? Кажется, эта возможность оставалась. Неопределённость и путаницу в поземельные отношения и понятия внесли крепостные обычаи, вкравшиеся в законное крепостное право. Предстояло очистить последнее от первых. Личное прикрепление принято было как мера обеспечения поземельного прикрепления, а не уничтожения его. На помещиков возложена была ответственность за благосостояние и податную исправность крестьян. Прежде подать обеспечивалась землёй. С Петра I в народное хозяйство внесена была масса нового неземледельческого труда. Помещику предоставлено было устроять доходнейший способ приложения крепостного труда при новом положении народного хозяйства. Допущенная вследствие этого продажа крестьян без земли и другие уклонения от законного порядка были уступки, не

уничтожавшие права. Законной основой отношений обеих сторон оставалась земля.

Ещё до отмены крепостного права законодательство начало очищать это основание от примесей обычая законом о 4½ дес. и стеснением продажи без земли. При отмене личной крепости, законным основанием для определения поземельных отношений обеих сторон оставался порядок, созданный поземельным прикреплением. При этом юридически последовательно само собой восстановлялось древне-русское разделение барской и крестьянской пашни. Оно сглажено было новыми обязанностями, наложенными на помещика при установлении личного прикрепления крестьян и пережившими обязательную службу сословия. Как скоро упразднялось личное прикрепление, падали и эти обязанности; но зато часть помещичьей земли должна была отойти в постоянное пользование крестьян, оставаясь неполной собственностью помещиков, а остальная часть получала характер полной собственности на гражданском праве. Затем выкуп неполной земельной собственности помещика, отошедшей в постоянное пользование крестьян, был бы уже вопросом не права, а экономической политики.

Значит, право крестьян на землю не есть следствие исконного фактического и бесспорного владения землёй, как думал Ю. Ф. Самарин, не есть и следствие дара со стороны помещиков в вознаграждение за вековой крепостной труд, как думал некогда кн. Черкасский, а последовательно вытекает из поземельного прикрепления, видоизменённого, но не отмеченного последующим законодательством и искажённого помещичьей практикой.

Итак, начала, положенные в основание Положения 19 февраля, опираются на право, исторически сложившееся и не прекращавшееся до 1861 года. Вот почему я считаю его не коварным изделием помещиков и не законодательной революцией, экспроприацией помещичьей собственности, а законодательным актом, разрешившим величайшую задачу нашей истории—создание оседлого крестьянства, работаю-

щего на земле, прочно обеспеченной за ним законом. Кажется, мы не расходимся с Самариным во взглядах на Положение, хотя, может быть, он не согласится с моим историческим его объяснением. Буду рад, если он с чем-нибудь согласится, и благодарен, если что-нибудь поправит.

Но едва ли мы сойдёмся с ним во взглядах на мнения Ю. Ф. Самарина по крестьянскому делу до 20 ноября 1857 г. Они слишком во многом опираются на факты, допущенные в это дело в ущерб историческому праву. Основная его идея—добровольное соглашение—выросла на почве крестьянского безземелья, хотя он был за освобождение с землёй. Вольный договор и в древней Руси повёл к личному закабалению безземельных крестьян на землях крупных землевладельцев. Положение 19 февраля поставило в границу эту идею. Вот почему я счёл себя в праве сказать, что оно выше мнений Ю. Ф. Самарина, высказанных им до 20 ноября 1857 года.

Объяснение по поводу одной рецензии [1]).

Известный специалист по истории русского права г. Владимирский-Буданов удостоил несколькими критическими замечаниями начало печатаемого мною в *Русской Мысли* сочинения о боярской Думе [2]). Эти замечания помещены критиком рядом с его заметками на книгу г. Загоскина о том же предмете. Как автору, мне было приятно заметить, что первым главам моего опыта, на которые я сам смотрю как на вступительные, в рецензии оказано даже несколько больше внимания, чем почтенному и вполне законченному труду моего товарища по теме, если только о степени внимательности критика к сочинению можно судить по числу страниц, отведённых последнему в рецензии.

Правда, страницы рецензии, мне посвящённые, отличаются довольно заметной возбуждённостью тона. Я убеждён, что это произошло, если не от непривычки писать иначе, то от учёной впечатлительности, возбуждённой обилием найденных у меня погрешностей, а не от какой-либо другой причины.

По примеру рецензента я мимоходом сделаю заметку о той стороне моего опыта, которая и меня „прямо не интересует," именно о моём слоге. Он не нравится рецензенту „притязаниями на художественность," о которых я впервые узнал из рецензии: составляя своё сочинение, я думал о художественности так же мало, как и мой критик, когда писал свою рецензию. В образец приписываемого мне притязания приведена та фраза, где сказано, что „по нашим привычным представлениям новая Россия вышла из преобразовательного

---

[1]) „Русская Мысль". 1881. Февраль.

[2]) *Сборник госуд. знаний*, т. VIII, отд. крит. и библиогр., стр. 104.

горнила Петра, если не как богиня из морской пены, то как расслабленный из возмущённой воды иерусалимской Вифезды" и пр. Критику не нравятся такие образы; не нравятся они и мне; но в них не виновато моё воображение; они мне были прямо подсказаны суждениями о Петре, какие часто приходилось слышать, и в распространённых у нас исторических представлениях иногда встречаются даже ещё менее художественные метафоры. Я виноват только в излишней, может быть, точности, с какою хотел передать оспариваемые мною самим суждения, да ещё разве в столь же излишней попытке немного пародировать тон и формы этих суждений.

Впрочем, наши учёные темпераменты и литературные вкусы едва ли для кого-нибудь занимательны. От учёной критики ждут, что она укажет в сочинении ошибки, недостатки и поможет их исправлению.

Рецензент прежде всего касается моих приёмов исследования и останавливается на введении [1]). Здесь я говорю о распространённом в нашей читающей публике мнении, будто мы хорошо знакомы с политической историей своего отечества. Не соглашаясь с этим мнением, я думаю, что оно составилось под влиянием ряда сочинений нескольких знатоков истории русского права, прекрасно изобразивших строй и действие некоторых наших древних учреждений. Строй и действие правительственного учреждения я назвал, может быть, не совсем удачно, его технической стороной, а взгляд, усвоенный публикой под влиянием этих сочинений, техническим взглядом на наши древние учреждения. Затем я отметил некоторые, по моему мнению, неправильные или неясные суждения, вытекшие из той мысли, будто вопрос об учреждениях, историю которых читатель изучил по упомянутым тру-

---

[1]) Предстоящее в текущем году пятое издание *Боярской Думы* будет заключать въ себе и это введение, где автор, по его словам в настоящей статье (см. ниже 382 стр.), оправдывает самый выбор предмета для своего исследования. В отдельных изданиях 1882, 1883 и 1909 годов автор опускал эту вступительную главу, как написанную специально для общественно-литературного журнала, открывшего свои страницы его учёному труду. (*Прим. изд.*).

дам, исчерпан, что кроме строя и действия древних учреждений в них уже нечего изучать более. Я говорил только о впечатлении, вынесенном многими из известных прекрасных сочинений, не касаясь того, насколько виноваты авторы последних в вынесенном из их трудов взгляде и разделяли ли его сами. Всего менее думал я восставать против этих писателей, труды которых привык ценить высоко. Напротив, мне хотелось напомнить историкам-неюристам, к которым осмеливаюсь причислять себя, что если юристы сделали для нас так много, так хорошо решили свои задачи, то теперь очередь за нами, и мы должны сделать своё дело, осветить стороны в истории наших учреждений, оставшиеся на нашу долю, чтобы пополнить исторические познания благосклонных читателей. Вот что хотел я сказать в начале введения и, может быть, сказал недостаточно выразительно. Если это так, то я очень жалею об этом, потому что это дало рецензенту возможность или повод прочитать в моих словах совсем не то, что я хотел сказать. Ему показалось, что я „недоволен успехами наших исторических знаний," и он по пунктам перечисляет обвинения, которые будто бы взведены мною на „историко-механиков или, иначе, „историко-юристов": это именно те распространённые в читающей публике исторические суждения, в которых я не думал винить историков-юристов, нигде притом не называя последних „историко-механиками"—термином, который придумал сам рецензент в интересе иронии; я говорил об историках, изучивших „механизм правительственных учреждений," а не об „историко-механиках". Исходя из этого недоразумения, рецензент в форме вопроса упрекает меня в том, будто мне неизвестны сочинения историков-юристов гг. Градовского и Дитятина, построенные на той же мысли, какую развиваю я в своём опыте. Я мог бы увеличить перечень таких сочинений и даже включить в него некоторые труды моего рецензента, прибавив, что мы, простые историки-неюристы, вдвойне благодарны за такое направление всех этих трудов. Но ведь я говорил не об этом, а то, о чём я говорил, не вызывало меня на пере-

числение исследователей, прежде и успешнее меня разрешивших задачи, подобные моей. К сожалению, недоразумение почтенного критика простирается не только на начало, но и на дальнейшие страницы моего введения.

Попытаюсь объяснить это недоразумение, которое могут разделять и другие мои читатели. Указанное неверное мнение, встречаемое в публике, произошло не от какой-либо ограниченности взгляда историков-юристов, а от понятного пробела, какой остаётся в нашей исторической литературе, несмотря на их превосходные труды. В истории учреждений юриста естественно прежде всего привлекают стороны наиболее для него важные, именно их устройство и действие или, по выражению рецензента, их „состав и отправления“, а в этом он сам видит „две основные задачи всякого историко-юридического исследования“. За это нельзя порицать исследователей и этим я объяснил в конце введения то, что исследователи долго обходили те из наших древних учреждений, в которых „состав и отправления“ или трудно уловимы или не имеют первостепенного исторического значения. К таким учреждениям я отношу и боярскую Думу. Но в истории учреждения есть сторона, менее других важная для юриста, которою однакож может интересоваться историк, не делая её изучения своей монополией и не умаляя значения того, что ценит юрист. Эту сторону я назвал „социальным составом управления“, заметив, что изучение механизма или техники учреждений не обнимает всей их истории. Чего же не достаёт ещё? Я сказал, что не достаёт изучения их социального состава, разумея под механизмом их строй и отправления. „Мы сказали бы, поправляет мой ответ рецензент, что не достаёт ещё описания функций их (отправлений), где они и соприкасаются с целой жизнию общества“ (стр. 107). Вслед затем, сказав, что я отвечаю на этот вопрос не так, критик приписывает мне слова: „историки-технологи забывают о социальном составе управления“. Но у меня нигде нет ни термина „историки-технологи“, ни всей этой фразы, и я нигде не говорил, что историки-юристы, которые здесь, очевидно, раз-

умеются под историками-технологами, „забывают“ о социальном составе управления. Как бы то ни было, критик называет мой ответ „большою странностью“ и „остаётся в недоумении: что же такое социальный состав управления“? Я не пояснил этого выражения, думая, что оно и достаточно понятно, и достаточно употребительно, по крайней мере, не темнее и не страннее слов „личный состав управления“. Теперь скажу, что я разумел под этим выражением. Кто, например, опишет, из скольких бояр, окольничих и т. д. состояла боярская Дума Ивана Грозного, тот изобразит личный или, точнее, чиновный состав её. Но при сходном таком составе мог быть неодинаков её состав социальный. Члены Думы того времени назначались из известных только слоёв общества, которые можно обозначить с некоторой точностью. Но представим, что Дума стала составляться из людей, получивших думные чины, не потому, что эти люди принадлежали к известным слоям общества, а по каким-либо другим причинам, к каким бы классам ни принадлежали. Тогда в Думе могло не оказаться ни одного члена из слоёв, прежде её наполнявших; она могла состоять из стольких же бояр, окольничих и т. д., как и прежде, но её социальный состав вышел бы совсем иной, а с ним изменились бы понятия, интересы, весь характер учреждения. Рецензент припомнит, что нечто подобное действительно испытала некогда наша Дума, сохранив прежний чиновный состав. Этот социальный состав Думы, которую и критик считает очень тесно связанной с судьбою древне-русских классов, я и назначил главным предметом своего изучения и во введении хотел оправдать такой выбор, показать, почему считаю свою задачу нелишней. Именно появление книги профессора истории русского права г. Загоскина и заставило меня подумать, не поставить ли мне в своём опыте на втором плане изображение „технического“ устройства и правительственного действия Думы, с чем может лучше меня познакомить читателя учёный, более компетентный в таких вопросах. В виду этого, я и закончил введение замечанием, что избранная мною точка зрения оправ-

дает несколько пробелы, которые заметит читатель в моём опыте. Поэтому мне трудно объяснить себе происхождение ряда „порицаний", не совсем обычных по тону в серьёзной критике, которыми почтенный учёный встретил мой скромный опыт. Так, он стороной намекает, будто я, развивая свою мысль об изучении учреждения в связи с историей общества, смешиваю „разные предметы" и даже выдаю это смешение „за новое направление науки, за открытие". Я, напротив, боялся, что избранное мною „направление" покажется слишком узким, а узость направления, как хорошо знает мой рецензент, не только не открытие, а очень старая старина. Точно также я не смешиваю таких различных предметов, как история классов и история учреждений, не сливаю одной с другой, а напротив, может быть, слишком разделяю их, пытаясь изобразить историю социального состава Думы и отодвигая на задний план историю её правительственного строя и действия, которая смущает меня массой чисто юридических вопросов. Рецензент находит задачу и в том, что я говорю об изучении истории учреждений в связи не только с общественными классами, но и *интересами*. По его разгадке, я „повидимому желал бы, чтобы историк представлял нам, какие из учреждений вызваны были самою жизнию (а не мёртвою бумагой), в каком отношении находилась их деятельность к жизни и обратно" (стр. 108). Не знаю, как сам рецензент понимает свои слова и какие учреждения вызываются „мёртвою бумагой"; но смысл моих „интересов" очень прост. Класс общества, в руках которого находится управление и от которого зависит социальный состав его, может, пользуясь властью, преследовать различные цели: может поддерживать преимущественно интересы землевладения или преимущественно выгоды торговли, может, владея землёй, стремиться к подчинению земледельческого населения и т. п. Такие стремления я и разумел под „интересами", а не вопрос о том, какие учреждения вызываются жизнию и какие мёртвою бумагой. Поэтому я не согласен на то, что мне обязательно подсказывает рецензент вместо моего загадоч-

ного выражения, рекомендуя мне „простую юридическую терминологию“, описание *состава* и *отправлений* учреждения, что „спасло бы“ меня от напрасных усилий выразить известные мысли. Моя мысль не нова, но и не совсем та, какую подсказывает мне критик. Я именно имел в виду не всю широкую задачу исторически изучить состав и отправления учреждения, а только проследить, как отражались в истории Думы перемены в составе руководящего класса древнерусского общества, смена господствовавших в нём интересов, а это и то, о чём говорит рецензент, кажется мне, не одно и то же. Но всего менее понятен мне ещё один упрёк. Первые главы своего опыта я посвятил изучению древнейшей истории нашего города, чтобы уяснить себе любопытное и, как мне казалось, недостаточно исследованное явление нашей истории X в., присутствие „старцев градских“ в княжеской Думе рядом с боярами. Этого прямо требовала моя задача и на этом я остановился, может быть, слишком долго в ущерб симметрии целого опыта. Я вполне согласен с мыслью критики, что „для успехов дела“ необходимо „полное сосредоточение внимания на избранном предмете“. Как я исполнил эту часть своей задачи, судить не мне; замечу только, что сам критик нашёл „несколько очень здравых догадок“ в упомянутых главах. Но не находит, чтобы „всё это имело какое-либо отношение к боярской Думе“, и имея в виду эти главы, пишет, что в них „основная задача расплывается и теряется в массе привходящих предметов“ (стр. 108 и примеч. на 115). Скорее меня можно было бы упрекнуть не за потерю основной задачи, а за слишком пространное и медленное её разрешение в первых главах, за слишком продолжительное сосредоточение внимания на избранном предмете, что критик считает „элементарным принципом методологии“; но мне кажется, выдерживая метод с излишком, грешишь не против метода, а только против терпения читателя.

Все указанные упрёки вышли из недоразумения рецензента, а источник недоразумения кроется в предположении, будто я „недоволен успехами наших исторических

знаний“ и во введении обвиняю историков-юристов, так подвинувших вперёд эти знания. Почтенный специалист почувствовал себя задетым и счёл нужным вступиться за историков-юристов. Но так как я не думал нападать на них, так как те из них, которых я имел в виду, едва ли нуждаются в чьей-нибудь защите, а г. Владимирского-Буданова имел я в виду всего менее, то думаю, что его оборонительные удары падают в пространство, где нет нападающего, даже иногда направляются совсем в сторону и защита из недоразумения переходит в неправду. Во введении я пытался отметить главные моменты развития местного управления в России до конца XVIII в. Назвав моё выражение о социальном составе управления „большою странностью“, критик называет сейчас указанный очерк „удивительным примером“ и прибавляет, будто я построил его на следующем принципе: чем более усиливалось провинциальное самоуправление, тем более усиливалась административная централизация. „Иной подумает, что мы шутим“, продолжает рецензент и затем вырывает две фразы, опуская связующие их мысли, из того места моего очерка, где я говорю о местном управлении в удельное время (под которым разумею время с XIII в. до княжения Ивана III). Если уже критику угодно было обратиться к шутливой речи, то я должен согласиться, что он действительно шутит. Во-первых, я не строил своего очерка на странном принципе, мне приписанном, а сказал, что только в XVI в. земское самоуправление развивается, вытесняя наместников и волостелей, но усиливается и централизация; ниже я повторил эту мысль, сказав, что потом, после удельного времени, т.-е. в XVI в., рядом развивается и централизация, и местное самоуправление, и тут же прибавил для объяснения этой видимой странности, что самоуправление являлось тогда орудием, проводником той же централизации. Речь идёт не о каком-либо принципе, проводимом чрез всю историю нашего местного управления, не о „зависимости успехов централизации от успехов самоуправления“, как угодно было подумать кри-

тику, а о факте точно обозначенного и непродолжительного времени, об отношении местного земского управления к центральному в XVI в. Но критик в доказательство того, что найденный им у меня „принцип“ не есть его собственная шутка, приводит отрывочные фразы из моих строк не о XVI в., а об удельном времени, где нет ничего похожего на его „принцип“, прибавляя, что „читатель видит тут только образец противоречия и принуждён выбирать любое“. Смею надеяться, что положение сочинителя не столь печально, что не всякий читатель так читает, как угодно моему критику, и вероятно всякий другой выберет из читаемых строк не то, что ему „любо“, а что действительно в них сказано. Начав рассматриваемое место рецензии усвоением мне не моей мысли, критик и оканчивает его такой же напраслиной. По его мнению, весь мой неясный очерк истории местного управления совершенно затемнён „общею“ фразой: „органами централизации являются люди, которые были представителями центральной власти“. Но у меня эта непонятная в одиночестве фраза, вовсе не общая, относится не ко всей истории местного управления, а исключительно характеризует удельное управление; притом и она приведена в рецензии не вполне. Там, откуда она вырвана, резюмируется мысль, что в удельное время местные управители, назначенные центральной властью, стояли однако в такой слабой связи с правительственным центром, что их отношение к последнему трудно подвести под понятие административной централизации; в этой мысли и состоит весь „образец противоречия“, на который критик указывает читателю. В главе об удельной администрации эта мысль у меня развивается; согласится ли с этим развитием критик—его дело. Но теперь он прибавляет в заключение: „Иной подумает, что г. Ключевский отыскал какой-нибудь чиновничий сепаратизм в XV в.“. Эта моя находка была бы довольно забавна, если бы догадка о ней критика была справедлива и не вышла из его заботливости не о том, что говорит разбираемый им автор, а о том, что кто-то „иной“ подумает.

К сожалению, я не могу коснуться других замечаний критика в пределах отведённого моему объяснению места в журнале, хотя большая часть этих замечаний по характеру похожа на изложенные: это или вопросы, решаемые мною в дальнейших главах—как, об этом пусть судит мой критик,— или возражения, но довольно трудно уловимые, спрятанные под знаками вопроса или удивления в скобках. Обвинения рецензента, сколько о том могу судить, касаются преимущественно изложения композиции моего опыта и сводятся к двум главным недостаткам его: это неясность изложения некоторых мест и моя наклонность к мелким или „замысловатым“ историческим поискам, которые автор надеется совершенно упразднить своими „простыми соображениями“ (стр. 117). О втором недостатке едва-ли может быть речь: он зависит от того, как кто смотрит на дело, на обязанности исследователя: иной любит „простые соображения“, другой ими не довольствуется. Но я буду очень рад, если мои „замысловатые поиски“ упразднятся „простыми соображениями“ других: чем проще, тем лучше. Что касается недостатка ясности по местам, то я не стану спорить и против этого, а замечу только, что ясность становится понятием очень условным, когда изучающего механизм древнего правительственного учреждения называют „историко-механиком“ и видят загадки в выражениях „общественные интересы“ и „социальный состав управления“. Вообще я очень благодарен критику за его труд и за то, что он удостоил мой опыт рецензией до его окончания; это даёт мне возможность воспользоваться некоторыми его замечаниями: я всегда охотно и с признательностью выслушиваю суждения такого знатока, особенно если они будут высказаны без излишней учёной щекотливости. Наш учёный авторитет и доверие читателей к нашим суждениям нисколько не пострадают, если мы будем относиться к трудам друг друга строго, внимательно и — не скажу, доброжелательно,—а по крайней мере вежливо.

В. Ключевский.

ОТЗЫВ ПРОФЕССОРА ВАС. ОСИП. КЛЮЧЕВСКОГО ОБ ИССЛЕДОВАНИИ Г. ПЛАТОНОВА: „ДРЕВНЕРУССКИЕ СКАЗАНИЯ И ПОВЕСТИ О СМУТНОМ ВРЕМЕНИ XVII ВЕКА, КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК“ [1]).

Тему, избранную г. Платоновым, можно признать рискованною в некоторых отношениях. Литературные произведения, которые могут служить источниками для истории Смутного времени, не только многочисленны, но и очень разнообразны по своим литературным формам, по месту и времени происхождения, по взглядам их составителей на описываемые события, наконец, по целям и побуждениям, которыми вызывалось их составление. Это разнообразие и обилие материала подвергало исследователя опасности лишить своё исследование надлежащей ценности и полноты, затрудняло подбор и группировку данных, порядок изложения и выбор самых приёмов изучения. Автор не скрывал от себя этих затруднений, и они заметно отразились на его труде. Поставив себе задачей „систематический обзор“ литературных произведений великорусской письменности XVII века, посвящённых изображению и обсуждению событий Смутного времени, автор однако сам сознаётся в предисловии, что ему не удалось выдержать „единообразного приёма“ ни в общем порядке изложения, ни в исследовании отдельных произведений. Лучшей системой обзора своего материала он считал „систему хронологическую“; но отсутствие точных сведений

[1]) „Отчёт о 31-м присуждении наград гр. Уварова“. Спб. 1890.

о времени составления многих сказаний о Смуте заставило его отказаться от такого порядка изложения. Он принял более сложное деление своего материала, разбив разбираемые им памятники на три отдела, из коих один образовали произведения, составленные до окончания смуты, другой—важнейшие произведения времени царя Михаила, третий — произведения второстепенные и позднейшие, причём в числе второстепенных разобрана автором одна повесть о убиении царевича Димитрия, составленная повидимому так же до окончания Смуты (стр. 289 и сл.). Притом „автор иногда находил более удобным давать отчёт в одном месте о разновременных произведениях в силу их внутренней близости и зависимости одного от другого“ (стр. V). Поэтому обзор произведений, составленных до окончания Смуты, он начал подробным разбором так называемого *Иного Сказания*, состоящего из разновременных частей, и в связи с пятой его частью разобрал служившее ей источником повествование о смуте хронографа второй редакции, составленного после Смуты.

В таком распорядке материала есть одно неудобство: он помешал автору воспользоваться в надлежащей мере именно той особенностью разбираемых им памятников, которая всего более могла придать единство и цельность его труду. Он замечает, в предисловии, что среди разбираемых им памятников часто встречаются произведения публицистические и морально-дидактические. Я думаю, что можно сказать даже больше: на всех этих памятниках заметны более или менее явственные следы политической окраски, все они в известной степени тенденциозны. В этом отношении Смута произвела заметный перелом в древне-русской историографии: она вывела древне-русского повествователя о событиях в родной земле из того эпического бесстрастия, в какое старался, хотя и не всегда удачно, замкнуться древне-русский летописец. Это понятно: Смута поставила русских людей в такое непривычное для них состояние, которое против их воли тревожило их чувства и нервы и через них будило мысль. В этом возбуждении можно даже заметить некоторое движение:

чувства удивления и тревоги, вызванные первыми симптомами Смуты, потом переходят в политические страсти и, наконец, когда миновала Смута, превращаются в спокойные политические мнения. Итак пробуждение и развитие политической мысли под влиянием Смуты—вот вопрос, который составляет центр тяжести избранной автором задачи, и разрешение которого могло бы сообщить цельность его исследованию. В разборе некоторых произведений он отмечает, к каким партиям принадлежали, каких политических мнений держались их составители; но благодаря принятому автором распорядку материала, эти отметки не складываются в цельную картину. Можно даже заметить у автора наклонность убавлять цену, какую имеет для историка эта публицистическая тенденциозность литературных памятников Смутного времени. Обличительная повесть протопопа Терентия о видении 1606 г. очень любопытна, как энергический протест против пороков современного ей русского общества и особенно обнаружившейся в нём падкости к „мерзким обычаям и нравам скверных язык"; тем не менее автор отказывает ей в значении исторического источника (стр. 60). Обо всех сказаниях, составленных до окончания Смуты, исследователь замечает, что они „или вовсе не дают фактического материала для историка", или дают сведения, нуждающиеся в строгой критической проверке (стр. 127). Нет исторического источника, который бы не нуждался в критической проверке. Притом что называть *фактическим материалом для историка*? Исторические факты — не одни происшествия; идеи, взгляды, чувства, впечатления людей известного времени — те же факты и очень важные, точно также требующие критического изучения. Значение, какое приобретало в обществе Смутного времени иное сказание, политическая роль, едва-ли не впервые доставшаяся тогда русскому перу, — это само по себе такой важный фактъ, который стоило бы усиленно подчеркнуть в исследовании об источниках истории Смутного времени. Повесть Терентия была представлена патриарху, по царскому приказу всенародно читана в москов-

ском Успенском соборе и повела к установлению шестидневного поста во всём царстве. Повесть о нижегородском видении 1611 г. ходила по рукам в первом подмосковном ополчении. Сам король Сигизмунд признавал досадную для него силу направленной против него русской патриотической письменности и в 1611 г. жаловался московским боярам на то, что об нём тогда *писали* на Руси (стр. 95).

Можно заметить и другие пробелы в исследовании г. Платонова, имеющие некоторую связь с указанным. Если в повествовательной письменности о Смутном времени отразились политические партии и мнения, тогда боровшиеся, методологическое удобство требовало бы, чтобы в критическом обзоре этой письменности было объяснено происхождение этих партий и мнений, равно как и значение их в ходе Смуты. Благодаря тому, что это требование оставлено без ответа, исследуемые автором исторические источники являются оторванными от исторической почвы, из которой они вытекли, и его критика не исчерпывает всего материала, какой они ей дают. Приведём один пример. Пресечение московской династии сопровождалось важной переменой в московском государственном строе: наследственная отчина Даниловичей стала превращаться в избирательную монархию. Как относилось русское общество первой половины XVII в. к этой смене государей *по Божиему изволению* государями *по многомятежному человеческому хотению*, как выразился державный московский публицист XVI в. царь Иван в грамоте, посланной им к королю Стефану Баторию, и тот или другой взгляд на различие и значение обоих этих источников власти входил ли в программы политических партий того времени? Автор не возбуждает вопроса об этом, хотя и из его изложения видно, что в разбираемой им письменности можно кой-что найти для ответа на этот вопрос. Так встречаем в ней следы несочувствия к избирательной власти. Нижегородское видение 1611 года не желает царя, поставленного народом „по своей воле“; *Рукопись Филарета* считает совершенно правильным воцарение кн. Василия Шуйского,

возведённого на престол московскими приверженцами без совета всей земли, без участия земского собора (стр. 124 и 230).

Далее автор замечает в предисловии, что литературный характер произведений о Смуте очень разнообразен. Среди них встречаются *повести* или *сказания*, *жития*, *летописцы*, *хронографы*, *видения* и один *плач*. Всё это довольно выработанные в древне-русской письменности литературные формы, различавшиеся выбором предметов, приёмами изложения и даже способом понимания изображаемых явлений. Эти особенности необходимо принимать в соображение при критической оценке произведений, облечённых в ту или другую из этих литературных форм, особенно в такую, в которой явления отражались под наибольшим углом преломления. Таковы, например, *видения*, которых довольно много сохранилось в древне-русской письменности и которые производили особенно сильное впечатление на древне-русского человека. *Видение*—обыкновенно резкая обличительная проповедь с таинственной обстановкой, вызванная ожиданием или наступлением общественной беды, призывающая общество к покаянию и очищению, плод встревоженного чувства и набожно возбуждённого воображения. Можно было бы ожидать, что автор выскажет своё суждение об этих формах, о том, как надобно критику обращаться с ними, и даже укажет, насколько изменился их стереотипный склад под влиянием новых политических понятий и тенденций, которые проводили в этих формах публицисты XVII в. К сожалению, в книге г. Платонова не находим ни такого суждения, ни таких указаний, которые были тем нужнее, что в Смутное время и частью под его влиянием произошёл глубокий перелом в древне-русской историографии. Известны приёмы изложения и миросозерцание древне-русских летописцев и составителей „сказаний“. Это миросозерцание и эти приёмы и стали заметно изменяться с начала XVII в. Автор отмечает в разбираемых им памятниках любопытные новости. Повествование хронографа второй редакции о Смутном времени—уже не

тот простой погодный перечень отдельных событий, механически сцеплённый моралистическими размышлениями, какой обыкновенно встречаем в древне-русских летописных сводах: это ряд очерков и характеристик, в которых повествователь пытается уловить связь и смысл событий, выдающиеся черты и даже скрытые побуждения деятелей. Повествователь вдумывается в естественные причины явлений, не вовлекая в людскую сумятицу таинственных сил, которыми у летописца направляется жизнь людей и народов. Исторический взгляд секуляризуется. Новые приёмы и задачи повествования побуждают искать новых литературных форм, изысканных заглавий. Князь Хворостинин пишет повествование о Смуте под заглавием: „Словеса дней и царей"; но это повествование— такой же ряд общих очерков и характеристик, как и повесть хронографа; из него узнаём не столько о лицах и событиях, сколько о том, как повествователь смотрел на лица и события. По мысли новгородского митрополита Исидора, дьяк Тимофеев в начале царствования Михаила составляет *Временник*; но это далеко не временник старого летописного склада, а скорее историко-политический трактат: составитель его больше размышляет, чем рассказывает о случившемся. Он знает приёмы научного изложения и требования исторической объективности и умеет их формулировать; под неуклюжей вычурностью его изложения просвечивают исторические идеи и политические принципы. Все такие проблески политического размышления и исторического прагматизма, рассеянные в сказаниях о Смутном времени, можно было бы соединить в особый цельный очерк, который составил бы главу из истории русской историографии, изображающую один из переломов в её развитии. Такого очерка, кажется, требовала бы самая задача исследования, посвящённого критическому изучению источников нашей истории, и он мог бы повести к возбуждению вопросов, не лишённых научного значения. Укажем на возможность одного из них.

Раскрывая причины означенного перелома в развитии русской историографии, исследователь неизбежно остановит своё

внимание на том интересе, с каким относились к Смутному времени русские хронографы XVII века. Статьи об этом времени, написанные самими составителями хронографов или другими писателями, занимают видное место в составе русско-исторического отдела этих хронографов. Замечательное исследование Андрея Попова о хронографах русской редакции дало возможность проследить, с какой последовательностью и настойчивостью рос этот отдел в их составе. Первоначально известия, заимствованные из русских источников, являются в этих хронографах робкими прибавками к византийской истории без органической связи с нею. Потом эти известия приводятся в более тесную связь с византийской историей, являются не механическими приставками к ней, а её составными частями в синхронистическом изложении с византийскими событиями. В хронографах XVII в. русская история делает ещё шаг вперёд, выступает из установившихся рамок хронографа или, говоря точнее, расширяет их. Со времени падения Византии она разрывает свою связь с судьбами последней и продолжается в одиноком изложении до царствования Михаила Фёдоровича. Чем далее развивался, всё осложняясь, состав русского хронографа, тем более расширялось и это русское продолжение византийской хроники, пока наконец в так называемых хронографах особого состава русская история не выделилась в самостоятельный и притом господствующий отдел: в повествовании до падения Царяграда русские известия исчезают, вырываются из изложения византийской истории и переносятся в русское продолжение хронографа, образуя начало особого русско-исторического отдела, который, постепенно расширяясь, закрывает за собою отдел общеисторический. В этом росте русско-исторического отдела хронографов позволительно видеть отражение поворота, какой совершался в миросозерцании русских книжников, работавших над изложением всемирной истории, которую древнерусские люди изучали по хронографам. Что особенно любопытно, в одно время с этим обособлением русско-исторического отдела и в общеисторический отдел, питавшийся до тех

пор почти исключительно библейскими и византийскими источниками, с возрастающим обилием вливаются струи из источников западно-европейских, латинских хроник и космографий. Так с двух сторон расширялся кругозор русской исторической мысли. Был ли связан с этим расширением указанный перелом в русской историографии? Мы видели, что статьи о Смутном времени в хронографе второй редакции, составленном вскоре после Смуты, были одним из первых памятников, если не первым из памятников, в которых заметны и новые приёмы исторического изложения, и новый взгляд на исторические явления. В какой мере были внушены эти приёмы и этот взгляд знакомством с новыми историческими источниками и новыми историческими мирами, какие открывали русскому мыслителю XVII века польская *Всемирная Хроника* и латинская космография? Вот вопрос, изучение которого, кажется, не было бы лишним в исследовании об историографии Смутного времени.

Но если г. Платонов допустил некоторые пробелы в изучении того, что разбираемые им памятники дают для истории русской политической мысли и историографии в XVII веке, за то он старался извлечь из них всё, что находил в них пригодного для „истории внешних фактов“ Смутного времени. Эти памятники так разнообразны и так много их ещё не издано, рассеяно по рукописям разных древлехранилищ, что едва-ли кто решится упрекать автора за неполноту его критического обзора, в которой он сам сознаётся (стр. IV). Впрочем, он очень заботливо отнёсся к рукописному материалу: из приложенного к исследованию перечня видно, что ему пришлось пересмотреть более ста рукописей разных библиотек. В предисловии он перечисляет вопросы, какие он ставил себе при изучении каждого памятника: он старался „определить время его составления и указать личность составителя, выяснить цели, какими руководился составитель, и обстоятельства, при которых он писал, найти источники его сведений и, наконец, характеризовать приблизительную степень общей достоверности или правдоподобности его рассказа (стр. V)“. Такая критическая программа вполне

соответствует основной задаче автора указать, что есть в памятнике пригодного для истории внешних фактов, и исследователи Смутного времени, несомненно, будут благодарны г. Платонову за его указания, которые помогут им выяснить происхождение и фактическое содержание многих сказаний о том времени, равно как и степень доверия, какого они заслуживают. В разборе большей части памятников, по крайней мере главных, автор обращал особенное внимание на состав их и источники и здесь, благодаря критической чуткости и тщательному изучению и сличению текстов и редакций, ему удалось добиться новых и надёжных выводов. Многие памятники, как, например, *Иное Сказание* и *Временник* дьяка Тимофеева, ещё не были разобраны в нашей литературе с такою обстоятельностию, как это сделал г. Платонов. Вообще тщательная разработка критико-библиографических и биографических подробностей составляет, по нашему мнению, самую сильную сторону исследования г. Платонова. При чтении в его книге страниц о жизни князей Хворостинина, Катырева-Ростовского и Шаховского (183—191, 208—216, 232—239) внимание невольно останавливается на уменьи автора мозаически подбирать мелкие данные, рассеянные по разным источникам, и складывать их в цельный очерк, а его привычка точно обозначать источники, из которых он черпает свои сведения, облегчая проверку его выводов, вместе с тем даёт возможность видеть, чего стоила ему каждая такая страница: он подобрал в приказных книгах и обозначил в примечании до 60 мест, где упоминается имя кн. И. М. Катырева-Ростовского, чтобы на основании этих упоминаний написать в тексте исследования 5 строк о жизни князя Катырева в 1626—1629 годах (стр. 214). Биографии трёх названных писателей XVII в. можно считать ценными вкладами г. Платонова в биографический словарь русской историографии. Всё это, при основательном знакомстве автора с чужими трудами по избранному им предмету, заставляет признать его исследования плодом неторопливой, обдуманно и отчётливо ведённой работы.

Но, внушая доверие к выводам о происхождении, источниках и составе памятников, исследование г. Платонова не всегда достаточно убедительно в оценке и характеристике этих памятников, как исторических источников. Причина этого в некоторой неопределённости критической мерки, прилагаемой к ним исследователем. Мы уже имели случай заметить, что критика автора недостаточно полно захватывает содержание разбираемых им произведений, как источников для истории Смуты. Основывая свою оценку на качестве и количестве „фактического материала", какой даёт памятник историку, автор не вводит в состав этого материала политических мнений и тенденций, проводимых в памятнике, считая их только „литературными", а не историческими фактами и таким образом смешивая или отождествляя не вполне совпадающие понятия исторического факта и исторического события или происшествия. Трудно согласиться с автором, когда он говорит о келаре Авр. Палицыне и дьяке И. Тимофееве (стр. 181), что оба эти писателя „не только описывая, но и обсуждая пережитую эпоху, нередко выходили из роли историков и вступали на почву публицистических рассуждений", как будто вдумываться в исторические явления, описывая их, значит выходить из роли историка: суждение— не тенденция и попытка уяснить смысл явления себе и другим—не пропаганда. Некоторая шаткость точки зрения чувствуется и в других суждениях автора. В связи с пятой частью *Иного Сказания* он подробно разбирает тожественные с нею статьи Хронографа второй редакции о событиях 1607—1613 годов (стр. 65—77). Он очень основательно доказывает мысль, высказанную ещё Андр. Поповым, что эти статьи принадлежат составителю Хронографа, следовательно, отсюда перенесены в *Иное Сказание*, а не наоборот. Но он не соглашается с отзывом А. Попова, который признал эти статьи „оригинальным цельным сочинением неизвестного русского автора", т.-е. составителя Хронографа 1617 г. Он не признаёт цельности этого сочинения, потому что в нём связные очерки лиц и событий разрываются бессвязными и краткими

летописными известиями. Но если даже признать, что эти летописные заметки вставлены в повествование самим составителем его, а не стороннею рукой, то ведь сам г. Платонов заметил, что эти вставки часты только в начале повествования, идущего с 1534 года, и что чем более повествователь приближается к своему времени, к началу XVII века, тем менее у него кратких заметок и тем более связен его рассказ. Значит, повествователь, меньше зная о времени, которого не помнил, не умел связно изложить заимствованных сведений. Автор, кажется, смешивает цельность состава, принадлежность сочинения одному перу с литературной стройностью изложения. Он не признаёт и оригинальности произведения, потому что составитель его „не просто сочинял свои показания, а руководился литературными источниками". Едва-ли автор написал здесь то, что хотел сказать: он очень хорошо знает, что быть оригинальным историческим повествователем не значит *сочинять* показания, не руководствуясь источниками; иначе редкого историка можно признать оригинальным. Таким образом не видится достаточного повода к полемике с А. Поповым, особенно когда сам автор признаёт, что на разбираемом повествовании Хронографа „лежит весьма заметный отпечаток оригинальности слога и взглядов" (стр. 71).

По той же причине читатель едва-ли останется вполне доволен разбором *Нового Летописца* в книге автора. Обращаясь к разбору этого памятника, одного из важнейших источников для истории Смутного времени, г. Платонов замечает, что „до сих пор ничего не сделано" для того, чтобы осветить его происхождение (стр. 247). К сожалению, и колеблющиеся соображения автора недостаточно освещают происхождение памятника. Он ставит вопрос: не есть ли Новый Летописец свод данных, официально собранных при патриаршем дворе для истории Смуты? Этот вопрос внушён автору догадкой Татищева, что Летописец составлен патриархом Иовом или его келейником, а также свидетельством патриарха Гермогена, что он записывал „в летописцех" некоторые события своего времени. Наблюдения над текстом памятника приводят г. Пла-

тонова к заключению, что Новый Летописец отличается „внутренней цельностью“ повествования: он весь проникнут единством взгляда на события, что указывает на труд одного автора; в нём нет и следа личных симпатий и антипатий составителя, что указывает на позднее происхождение памятника, когда успели уже свеяться непосредственные впечатления Смуты (стр. 253). Однако из дальнейших наблюдений автора над памятником оказалось, что на одни и те же события и лица Новый Летописец смотрит совершенно различно (стр. 262), что об одном и том же лице он в одном месте говорит официально-спокойно, а в другом—иначе. Таким образом в Летописце не оказывается ни единства взгляда, ни личного бесстрастия составителя, не оказывается, следовательно, и внутренней цельности. Автор объясняет это излишнею зависимостью составителя от различных источников, которыми он пользовался, его неуменьем слить „разнохарактерные части своего свода в цельное литературное произведение“. К этому автор прибавляет ещё, что некоторые статьи Нового Летописца по своей отделке и законченности „имеют *все* признаки отдельных сказаний“. Казалось бы, всё это значит только то, что Новый Летописец есть механическая сшивка статей, написанных в разное время разными лицами, или „свод разнохарактерного литературно-исторического материала“, как выразился сам автор (стр. 264). Однако чрез несколько страниц сводя итоги своих наблюдений, автор отказывается признать Новый Летописец летописью, слагавшеюся постепенно, трудом нескольких лиц, и останавливается на том мнении, что „по всем признакам“ он был обработан с начала до конца около 1630 года и притом одним лицом (стр. 268). Сам автор считает нужным сознаться, что приведённые им данные „не решают категорически вопроса о происхождении памятника“. Он не мог решить этого вопроса, ограничившись данными одного списка Летописца, на котором он преимущественно основал свои соображения в уверенности, что этот изданный список (в Летоп. по Никон. списку, ч. 8) „счастливо“ воспроизвёл первоначальный текст памятника (стр. 246, прим. 2). Трудно

оправдать такую уверенность в издании, как известно, очень неисправном, и ещё труднее винить автора за то, что он не принял на себя действительно „громадного труда“ сличения всех многочисленных списков этого памятника, сохранившихся в наших древлехранилищах. Но пожалеть об этом можно. Списки Летописца отличаются значительными вариантами в тексте и составе памятника. Три печатные издания имеют различные начала и концы. Из трёх списков, случайно попавшихся нам в руки, один сходен с печатным Никоновским, другой начинается летописным рассказом о разгроме Новгорода в 1570 году, а третий—перечнем бояр, „кто из оных были изменники“ с 1534 года. Может быть, изучение списков памятника помогло бы уяснить его происхождение: нашлось же в списках краткой редакции Повести 1606 г. указание на время составления этого сказания.

Наконец, едва ли можно признать прочно установленным принятый автором взгляд на повествование о Смуте, внесённое в состав известного Столяровского списка Хронографа. Автор соглашается с г. Маркевичем, который считает это повествование довольно полною разрядною книгою частного происхождения; поэтому г. Платонов думает, что этот памятник до сих пор зачислялся в ряды литературных произведений лишь „по недоразумению“ (стр. 270). Итак, это памятник нелитературный и неофициальный. Можно опасаться, есть ли достаточно оснований для такого приговора. Правда, в рассматриваемом повествовании часто встречаем известия, облечённые в форму разрядной записи или росписи. Но известно, как много в московских летописях XV и XVI вв. подробных выписок из разрядных книг, что не мешает им оставаться летописями и даже литературными произведениями. С другой стороны, известия летописного склада иногда вносились в разрядные книги для связи и в пояснение военно-походных или придворно-церемониальных росписей. Но надобно отличать разрядную книгу с летописными вставками от летописи с разрядными вставками. Оба свода сохраняли свои типические особенности в композиции и приёмах изложения и имели особые цели.

Если среди разрядных росписей помещались известия, не имеющие к ним прямого отношения, обнаруживающие намерение составителя изобразить общий ход дел, значит, имелось в виду составить не канцелярскую книгу для деловых служебных справок, а историческую, литературную повесть для назидания любознательного читателя. Таких известий очень много в рассматриваемом повествовании и из них даже без разрядных выписок составилась бы довольно обстоятельная и любопытная повесть, по крайней мере до воцарения Михаила. Что касается до отсутствия риторики и „всякой попытки к построению стройного литературного изложения“ у неизвестного повествователя, то не видно, почему его изложение кажется автору в литературном отношении ниже, например, летописи по Воскресенскому списку или ниже Нового Летописца, с которым, заметим кстати, у него были и общие источники: как Летописец несомненно пользовался разрядными росписями, так и некоторые известия неразрядного характера у неизвестного повествователя напоминают рассказ Летописца, изображая одни и те же моменты сходными чертами. Итак, есть некоторые основания видеть в рассматриваемом памятнике не разрядную книгу, а летопись, составленную по разным источникам, преимущественно по разрядным росписям, не без участия и личных наблюдений и воспоминаний составителя. По свойству главного источника и по тону изложения, простому, но вместе сдержанному и форменному, трудно предположить, чтобы эта летопись предпринята была по частному почину, а не по официальному поручению. Легко может быть, что, вопреки мнению автора, мы имеем здесь перед собою памятник не только литературный, но и официальный.

От разбора отдельных памятников перейдём к общим итогам исследования г. Платонова и укажем, что им сделано по избранному предмету и что ещё остаётся сделать. В предисловии к своему труду он замечает, что „историко-критическое изучение сказаний о Смуте во всей их совокупности составляло до последнего времени невыполненную задачу в русской историографии“. Без преувеличения можно

сказать, что по отношению к ранним и основным сказаниям автор успешно разрешил принятую на себя задачу и тем выполнил один из заметных пробелов в нашей историографии: он осмотрительно разобрался в обширном и разнохарактерном материале, впервые ввёл в научный оборот несколько малоизвестных памятников, как *Временник* Тимофеева, и удачно распутал несколько частных вопросов в историографии Смуты или подготовил их разрешение. Изучающий историю Смуты найдёт в его книге достаточно указаний, чтобы знать, что каждое из основных сказаний о Смуте может дать ему и чего там не нужно искать. Автор не оставил без внимания и памятников второстепенных и позднейших, обстоятельно разобрав те из них, которые отнесены им к разряду биографических и не лишены литературной цельности и самобытности (стр. 274—314). Но позднейшие компилятивные памятники, равно как и местные сказания о Смуте характеризованы автором кратко или только перечислены с указанием их источников. Неполнота этого перечня оправдывается обилием таких памятников и трудностью собрать их. Между тем и эти компиляции, составлявшиеся впродолжение XVII века, не лишены научного значения во многих отношениях. Во-первых, самая многочисленность их показывает, как долго и с каким напряжением поддерживалось в русском обществе внимание к эпохе, столь обильной необычайными явлениями. Потом, в них можно встретить отрывки более ранних сказаний, до нас не дошедших. Наконец, эта компилятивная письменность знакомит нас с ходом историографии в XVII веке, с её приёмами и любимыми темами, с усвоенным ею способом пользоваться источниками и объяснять исторические явления. Укажу в пояснение на одну рукопись (из библиотеки Е. В. Барсова). По своей основе это список Хронографа третьей редакции, относящийся ко второму разряду её списков по классификации А. Попова (Обз. Хроногр. II, 173 и 197; Изборник стр. 257). Г. Платонов справедливо заметил, что в списках Хронографа XVII в. нет возможности установить какие-нибудь точные типы компиляций, потому что каждая

рукопись имеет свои отличия (стр. 332). Рукопись, о которой говорим, представляет попытку переделать последнюю часть Хронографа третьей редакции, изменив состав, какой она имеет в списках второго разряда. Она начинается прямо 151-й главой, рассказом о нашествии крымского хана на Москву в 1521 г., но не потому, чтобы предшествующие главы в ней были утрачены: их и не было. Первые листы списка заняты подробным оглавлением, которое точно соответствует главам, в нём помещённым. В рассказ о нашествии хана составитель вставил видение „праведного нагоходца" Василия блаженного и других благочестивых людей города Москвы, по-своему описал последние дни и смерть великого князя Василия, руководствуясь известным летописным сказанием (П. Соб. Лет. VI, 267). Вообще рассказ о временах великого князя Василия и царя Ивана здесь подробнее, чем в списках 2-го разряда 3-ей редакции Хронографа. Смутное время описывается в этих списках по второй редакции Хронографа, *Иному Сказанию* и *Сказанию* А. Палицына: в нашей рукописи встречаем извлечение ещё из *Сказания, еже содеяся*, из Соловецкого хронографа (А. Попова, Изборн., стр. 437) и каких-то нам неизвестных источников. Так в рассказе о голоде при царе Борисе встречаем любопытные черты, каких не находим в других сказаниях о том времени. По одной подробности можно догадываться, где составлена эта переделка: грамота о воцарении Василия Шуйского здесь приведена по тому её списку, какой был прислан в Тверь к воеводе З. Тихменеву, с пометой 19 июня 114 г. (ср. *Иное Сказание*, 42 и 51). Собрав подобные указания списков Хронографа, можно будет судить о том, где и как перерабатывались в XVII в. сказания о Смуте.

Особенно нуждается в пополнении обзор местных сказаний, сделанный г. Платоновым (стр. 338—342). Эти сказания служат важным дополнением основных общих источников для истории Смуты. Так в Новом Летописце есть краткий рассказ о поражении Лисовского под Юрьевцем (Никон. VIII, 117—118). В списках пространной редакции жития преподобного

Макария Желтоводского находим любопытное подробное сказание об этом эпизоде.

Впрочем, указанные пробелы не мешают признать книгу г. Платонова ценным вкладом в русскую историографию, вполне заслуживающим искомой автором премии. Такую цену придают сочинению г. Платонова в высшей степени сериозное отношение автора к своей задаче, основательное изучение материала, критическая наблюдательность и новизна многих выводов.

Разбор исследования г. Чечулина: „Города Московского государства в XVI веке“,

составленный В. О. Ключевским [1]).

Книга г. Чечулина представляет двойной интерес, собственно исторический и методологический: первый заключается в предмете исследования, второй в его материале. По свойству явлений, на которые обращено особенное внимание автора, его труд можно назвать исследованием о социально-экономическом положении городов в Московском государстве XVI в. Основным источником служили автору писцовые книги. Социально-экономическое положение городского населения едва ли не наименее изученный вопрос в истории древне-русского города, и потому задача автора сама по себе, независимо от постановки, какая дана ей в книге, может быть признана очень удачною, как рассчитанная на восполнение заметного пробела в русской исторической литературе. Писцовые книги, принимая этот термин в общем родовом значении, можно причислить к наименее разработанным источникам нашей истории. По характеру своему они требуют особых приёмов изучения и от удачного выбора этих приёмов существенно зависит успех разрешения вопросов, на которые дают ответ писцовые книги. Между тем в изучении этого источника ещё не установились твёрдые, общепризнанные и испытанные приёмы, хотя мы и имеем такие удачные опыты обработки отдельных вопросов по писцовым книгам, как известные

[1]) „Отчёт о 33-м присуждении наград гр. Уварова“. Спб. 1892.

труды гг. Перетятковича и Соколовского. Потому, следя за любопытными данными, извлекаемыми г. Чечулиным из этого источника, невольно присматриваешься и к тому, как он это делает; его методика не останется без влияния на дальнейшую разработку писцовых книг. Сам автор так ставит и так разрешает свою задачу, что методологический интерес его труда выдвигается даже на первый план. Так как автор подвергает материал, заключающийся в писцовых книгах, подробному разбору, группирует, сопоставляет и истолковывает их данные, заставляя и читателя присутствовать при этой работе, то его исследование о городах по писцовым книгам можно назвать и исследованием о писцовых книгах, насколько они касаются городов. Потому всего удобнее начать рассмотрение книги г. Чечулина с постановки его задачи и с приёмов её разрешения.

Постановка задачи у автора тесно связана с источниками его исследования. Он нашёл 44 особых описания 39 городов в книгах писцовых и других родственных им по содержанию и назначению документах, определяющих платёжные средства населения Московского государства XVI века, в книгах платёжных и приправочных, сотных выписях и т. п. Сверх того в размётном списке 1545—1546 гг. есть краткие сведения о числе дворов в городах Новгородской области и между прочим в Порхове, Старой Русе и самом Новгороде, особых описаний которых не найдено. Большая часть этого материала (27 описей из 44) извлечена автором из неизданных рукописей Публичной библиотеки в Петербурге и из московских архивов министерств Иностранных Дел и Юстиции. Значительное большинство описаний (34 из 44) относится ко второй половине XVI века. Наибольшее число городов, описания которых нашёл автор, принадлежало областям Новгорода и Пскова (22 из 39); из остальных городов один (Торопец) находился на северо-западной окраине государства, 5 в центральных областях, 3 на юго-восточной окраине и 8 на южной. Автор замечает, что не дошло описания ни одного города северо-восточной полосы, областей Двинской и Кам-

ской (стр. 22). В этом замечании есть какое-нибудь недоразумение. Ещё в начале нынешнего столетия советник пермской казённой палаты В. Берх нашёл в соликамском магистрате писцовые книги Соликамска и Чердыни с их уездами, составленные писцом Яхонтовым в 1579 г., и в своей книге *Путешествие в Чердынь и Соликамск* (Спб. 1821) привёл любопытные извлечения из этих книг. Кроме того копию с этих книг Берх послал тогдашнему любителю отечественных древностей гр. Румянцеву, и эта копия вошла в состав собрания рукописей Румянцевского музея и отмечена Востоковым в его описании (№ 308). Можно пожалеть, что автор не воспользовался этими книгами, если имел к тому возможность.

Автор тесно связал своё исследование с довольно однообразным материалом, предприняв изучение городов по писцовым книгам. Такая связь наложила на исследователя двоякое стеснение: с одной стороны, он рассматривал состояние городов только в пределах тех данных, какие представляют писцовые книги, а с другой—и в писцовых книгах он разбирал только части, описывающие состояние городов. Автор не взял ни цельного предмета, ни цельного источника, и потому избранный им источник стеснял его взгляд на предмет исследования, а предмет затруднял его отношение к источнику. Отсюда вышли два ряда неудобств, с которыми пришлось бороться автору и которые он одолевал не с одинаковым успехом: одни из них вытекали из отношения автора к основному источнику, другие из отношения этого источника к предмету исследования.

Во-первых, тем, что автор положил в основу своего труда только отделы писцовых книг о городах, можно объяснить отсутствие в его исследовании обстоятельного критического разбора его источника в полном составе. Можно согласиться с мнением автора, что в XVI в. ещё не было выработано общего плана писцовых книг и не успели установиться их виды (стр. 24 и 25). Но и помимо этого писцовые книги возбуждают много вопросов, разрешение которых необходимо

для того, чтобы правильно пользоваться этим источником. Писцовое дело в древней Руси было довольно сложной операцией, имевшей свою технику, свои приёмы, обычаи и задачи, даже свои погрешности. Вследствие того не все данные, сообщаемые писцовыми книгами, имеют одинаковую цену для исследователя. Рано, может быть ещё со времён Степана Бородатого, знаменитого московского писца и публициста XV века, на писцовые книги которого не раз ссылаются документы последующего времени, древне-русский писец начал вносить в свои описи условные знаки, термины, формулы. Важно знать, отражались ли в этих условных приёмах какие-либо действительные, житейские отношения, или они служили только техническими удобствами для писца. Ещё важнее разъяснить, какими способами и какие данные добывал писец и какую цену придавал он разным категориям данных, что он расследовал сам, что узнавал от ответственных местных показателей, окладчиков и т. п., что наконец заимствовал из прежних описей. Вообще не маловажный для исследователя вопрос—степень участия личного усмотрения писца в приёмах и составе описи, особенно в установлении единиц и размеров податного обложения; не решив этого вопроса, можно принять каприз писца за бытовую норму. Личные соображения писца несомненно находили себе известный простор и среди точных указаний писцового наказа; иначе были бы непонятны жалобы тяглых людей на то, что писец обложил их слишком тяжело. Иногда это личное усмотрение, неизбежное в таком деле, как будто даже граничило с злоупотреблением. Здесь можно припомнить место из письма к кн. В. В. Голицыну его управляющего Боева, где последний уведомляет князя, что его сыну по милости одного радетеля писец отмежевал земли на 450 четей, „а сказывают, что будет по его межеванью и на 1000 четвертей“. Вообще писцовые книги задают очень много дела исторической критике и ожидать приступа к нему в книге г. Чечулина было тем естественнее, что он положил начало этой работе в статье о переписях в России до конца XVI в. и имел образцовое

руководство в известной статье Неволина об успехах государственного межевания в России. Притом критика писцовых книг предохранила бы автора от некоторых напрасных усилий и указала бы ему, какие вопросы можно решить по ним и каких нельзя. Писцовая книга—очень хороший исторический свидетель, который может много и правдиво рассказать, но её надобно спрашивать только о том, о чём она может рассказать; иначе её показания не разъяснят, а запутают дело. Не раз автор с своей обычной добросовестностью усиливается объяснить какой-нибудь тёмный или своеобразный термин либо неясное показание писцовой книги; но так как он ищет объяснения в этой же книге, которая его не даёт, то он, как в уравнении с двумя неизвестными, делает разные предположения, которые однако обыкновенно разрешаются тем окончательным выводом, что положительно утверждать этого нельзя, что прямых указаний для решения этого нет и т. п. (см. наприм. стр. 61, 71, 232).

С отсутствием критики писцовых книг тесно связаны по своему происхождению некоторые, так сказать, технические недостатки или пробелы в обработке материала, какой черпал автор из писцовых книг. Его книга при беглом просмотре может показаться сводом сырого материала, простым пересказом городских описей. Но такое впечатление далеко не будет соответствовать настоящей научной цене рассматриваемого сочинения. Оно потребовало от автора большой черновой работы, которая осталась малозаметной для читателя, в большинстве случаев не нашедши себе места даже в примечаниях. Приходилось группировать разнообразный статистический материал, бороться с неполнотою данных и пополнять пробелы источника, проверять итоги писцов и выводить свои, высчитывать процентные отношения, составлять перечни, восстановлять смысл терминов и отношений, уже непонятных современному читателю. Кто знаком с своеобразными и часто своенравными приёмами древне-русских писцов и с неисправным видом, в каком дошли до нас многие писцовые книги особенно XVI века, тот поймёт всю тяжесть

и оценит значение таких предварительных черновых работ. Жаль только, что автор не везде доводил до конца эти работы. Он разбирал и обобщал преимущественно статистические данные писцовых книг, касающиеся населённости городов, разделения городского населения по классам и занятиям, состояния торговли и промышленности, видов и количества торгово-промышленных заведений, размеров повинностей и т. п. Чтобы сделать для читателя возможным и удобным общее обозрение этих данных, необходимы таблицы которых не находим в исследовании, и точные итоги, которые не везде выведены. Читателю приходится самому составлять те и другие, продолжая работу автора, чтобы не потерять значительной части результатов её изучения. В этих таблицах должны быть сведены данные, составляющие существенное содержание писцовых книг, и состав самых таблиц должен быть сообразён с цельным составом писцовых книг, следовательно основан на изучении последних в полном их объёме. Без этих приспособлений некоторые выводы автора, особенно его вычисления, могут вызвать недоумение [1]). Точно

---

[1]) Ограничимся немногими примерами. Определяя развитие ремёсел в новгородских пригородах, автор по книге 1500 г. насчитывает в Ивангороде ремесленников 39 чел. или 23% общего числа населения города (стр. 51). Но выше в описании этого города (стр. 38) общее число его населения не было выведено. По перечню автора мы считаем 201 чел.; но 39 не составит 23% этой суммы. Вероятно, автор принял в рассчёт только 169 торговых людей и козаков, отбросив почему-то 4 купцов, 1 попа и 27 дворников. В Орешке автор считает только двух указанных в книге ремесленников, пастуха и скомороха. Положим, что других не было. Общий итог людей и здесь не выведен (стр. 37). По частным итогам автора тяглых и нетяглых выходит 261. Но 2 не составит полного 1% этой суммы, как выводит автор. Впрочем и частные итоги не совсем ясны. Автор считает в Орешке 245 тяглых людей в 174 дворах; мы по книге 1500 г. не могли насчитать более 235 чел. в 169 дворах. В описании г. Орешка мы заметили несколько и других сомнительных цифр. Или, например, из отношения 77 к 297 по сотной г. Каргополя автор выводит 27,3% ремесленников вместо 25,9%. Может быть, здесь есть опечатки? Самое свойство исследуемых автором данных требовало особой осмотрительности как в их обработке, так и в корректуре книги.

также не выяснено достаточно отношение автора к некоторым особенностям писцовых книг, затрудняющим их изучение. Так итоги в них нередко расходятся с перечнями; это происходило от разных причин, которые необходимо выяснить в каждом данном случае, чтобы решить, принять ли итог, или перечень за основание рассчёта. Автор в таких случаях обыкновенно вводит в исследование свои итоги даже тогда, когда признаёт итог источника верным и следовательно свой неверным (стр. 60, прим. 2). В итоги обывателей дворов писцовые книги XVI в. вводят только поименованных в перечнях глав семейств, ответственных за дворовые тягла, обыкновенно не упоминая о детях и младших родственниках этих глав. Но иногда они ставят при имени главного обывателя двора глухое указание и на младших членов его семьи: „двор Якова с детьми“ и т. п. Автор усвоил себе правило принимать здесь „возможный minimum“, предполагать по двое детей или братьев и считать в упомянутом примерном дворе Якова „не менее“ 3 человек (стр. 35, прим. 1). Но таких количеств с оговоркой „не менее“ нельзя ввести в точный итог, а из итогов, так составленных, мало что можно вывести, не говоря уже о том, что нет видимой нужды в таком приёме и сами писцы не вводили таких глухих отметок в свои итоги.

Бо́льшее внимание к технике писцового дела, вероятно, удержало бы автора и от другого сомнительного приёма, имеющего более важное значение. Автор признал необходимым найти способ хотя приблизительно высчитать по данным писцовых книг полное число жителей известного города. Писцовые книги XVI в. показывают только число дворов, обозначая в каждом одного или несколько взрослых представителей, глав семейств. Можно было бы высчитать среднее число людей на двор по переписным книгам XVII в., в которых перечислялось всё мужское население дворов. Но автор справедливо полагает, что численный состав двора в XVII веке мог измениться сравнительно с XVI веком. В виду этого автор выводит такой способ вычисления (27—31). Если

в течение одного века мог измениться численный состав двора, то изменение численного отношения взрослых к детям не могло итти так быстро. По переписным книгам 8 городов (1677 г. с книгой одной слободы г. Москвы 1684 г.) он рассчитал, что на 1000 взрослых мужчин, считая таковыми всех, имеющих 15 лет или более, приходилось 633 чел. детей мужского пола, т.-е. имевших не более 14 лет. Так как число женщин вообще близко к числу мужчин, то для получения полного числа населения, представляемого тысячей взрослых мужчин, цифру 1633 надобно удвоить; иначе говоря, для определения населённости города следует показанное в его дворах число взрослых мужчин умножить на $3{,}_{266}$. Этому способу нельзя отказать в остроумии; но в документах встречаются указания, как будто колеблющие основания рассчёта, на котором он построен. Тяглые дворы в древней Руси по размерам падавших на них повинностей разделялись на три разряда, на *лучшие*, *середние* и *молодшие*. Автор без труда заметил, что в писцовых перечнях на двор лучший обыкновенно приходилось людей, т.-е. взрослых мужчин, более чем на середний, а на середний более чем на молодший (стр. 46). Отчего это происходило? Численный состав семей, т.-е. ход нарождения и вымирания, едва ли мог обусловливаться фискальной классификацией дворов. В объяснение этого автор приводит такие соображения, точнее говоря, предположения. В одном месте книги (стр. 47) он говорит, что означенное деление дворов на разряды основывалось не на денежных податях, а на тягле, на количестве натуральных повинностей. Это не совсем ясно: в состав тягла входили и денежные подати вместе с натуральными повинностями. В другом месте (стр. 242) читаем, что при распределении тяглых людей на означенные разряды главное внимание было обращаемо не на промысел, а вероятно на тяглую способность, т.-е. прежде всего на состав семьи. Наконец в своей статье „Начало в России переписей“, замечая, что в некоторых книгах XVI в. чаще чем в других встречаются дворы „с не одним мужчиной“, автор объясняет это

особенностью расселения в тех областях, к которым эти книги относятся (стр. 20). Эти различные объяснения нуждаются в поверке. Автор в своём рассчёте причислил к взрослым и 15-летних, потому что с них „уже начинали брать подати", причём он ссылается на одну уставную грамоту Соловецкого монастыря (стр. 30). Но в этой грамоте говорится только об участии 15-летних в платеже некоторых поголовных местных земских сборов, а не общих государственных податей. Участие в государственном тягле вообще зависело не от одного возраста; больше значила здесь наличность торгово-промышленного капитала или земледельческого инвентаря. В древне-русских подворных описях, как городских, так и сельских, можно встретить такие случаи, что в ином дворе при одном *письменном*, т.-е. записанном в писцовую книгу, тяглом домохозяине состоит несколько неписьменных и нетяглых, хотя и взрослых сыновей, братьев или племянников, а в другом дворе у домохозяина только и есть один взрослый сын или брат, и однако оба они *записаны* во дворе, т.-е. несут тягло. Это значит, что в первом дворе при обилии рабочих рук капитала или инвентаря доставало только на одно тягло, а во втором обилие хозяйственных средств позволяло положить тягло на всё наличное количество рабочих сил. Правительство предписывало тяглым обществам в государевых податях верстаться самим „по животом и по промыслом", а не по наличному составу семей, назначая с своей стороны только известные суммы податей на окладные единицы, высшей из которых была *соха*. Эта развёрстка вместе с распределением дворов по разрядам основывалась в городе на размере капиталов или на доходности промыслового труда. В каждом разряде одинаковая сумма податей падала на неодинаковое число дворов, в высшем на меньшее чем в среднем, в среднем на меньшее чем в низшем. Писцы не мешались в эту развёрстку и иногда держались своих рассчётов, ей не соответствовавших, выводили, например, средний платёж на двор без различия разрядов, как это сделано с пищальными деньгами в приводимом у автора

итоге писцовой книги г. Вязьмы; но из книг Устюжны видно, что эта подать взималась не в одинаковом размере с дворов разных разрядов (стр. 77 и 78, прим. 2). При последовательном проведении основания развёрстки и на дворы одного разряда не могли падать одинаковые оклады, если они значительно разнились между собою животами и промыслами. При этом принимался в рассчёт и численный состав двора, если умножение взрослых работников в семье расширяло обороты дворового капитала или промысла. Соразмерно с этим расширением мир мог возвысить и оклад такого двора, записав в тягло на подмогу домохозяину его подросшего сына или брата и соразмерно с этим возвышением понизив оклад другого двора того же разряда, где условия были менее благоприятны. Понятно, что дворов, способных выдержать возвышенные оклады при умножении рабочих сил, оказывалось сравнительно с числом всех дворов разряда больше среди лучших, чем среди середних и т. д. Значит, писцовые книги обозначали бо́льшее среднее число людей на лучший двор не потому, что эти дворы были многолюднее, а потому, что люди их были тяглоспособнее. Отсюда видно, почему можно сомневаться, чтобы приём автора приводил к цели—приблизительному определению всего населения города по числу поименованных в писцовой книге людей. Во-первых, по его рассчёту на тысячу взрослых мужчин возрастом в 15 лет и выше приходилось 633 чел. детей мужского пола в 14 лет и ниже, и потому он для определения всего числа жителей мужского пола в городе на каждого поименованного в книге мужчину клал по 0,633 чел. детей; но в писцовых книгах XVI века поименовывались не все взрослые, начиная с 15 лет, а только тяглоспособные из взрослых. Во-вторых, рассчёт автора был бы верен, если бы классификация дворов действительно основывалась на „составе семей“, как он предполагает, если бы в первый разряд зачислялись многосемейные, а люди с малыми семьями в остальные разряды; но податная система XVI века не поддерживает этого предположения. Таким образом в по-

ложении автора, что при классификации дворов главнейшее внимание обращали на *тяглую способность* двора, т.-е. прежде всего на *состав его семьи*, можно принять только первую половину, потому что не видно, чтобы тяглоспособность двора условливалась прежде всего семейным его составом [1]). Наконец в одном месте книги сам автор с достаточной убедительностью показывает, что писцовые книги, считая главным образом дворы, а не людей, в описании дворов не дают полного числа взрослых мужчин и „почти вовсе не заботятся сообщить точные цифровые данные о людях“ (стр. 236). Этим замечанием автор если не разрушает своего способа вычислять населённость городов, то сильно колеблет его основание.

Недоразумение, думаем, произошло от того, что автор не сразу установил свой взгляд на значение людей, поименовываемых писцовыми книгами в перечнях тяглых дворов. В начале своего труда, при изложении рассмотренного выше способа, он видел в этих писцовых представителях дворов просто взрослых мужчин и, смотря по тому, сколько людских имён обозначала книга при известном дворе, различал дворы „с одним взрослым мужчиной“ и „не с одним взрослым мужчиной“ (стр. 28). Но при дальнейшем развитии исследования он заметил (стр. 236), что писцевые книги не дают полного числа взрослых мужчин в описании дворов, что в ином дворе могли быть взрослые мужчины и кроме поименованных в книге, но значения этих последних он не определил с доста-

---

[1]) В пояснение того, как мало зависела податная классификация тяглых городских дворян от состава семей, приведём одну мелкую черту из документа XVII века, когда городское тягло сохраняло свой прежний строй, какой оно имело в XVI в. По писцовой книге 1687 г. въ г. Гороховце на посаде значилось тяглых дворов средней статьи 12, людей в них тож, а у них детей, братьев и племянников, взрослых и малолетних 21, молодших дворов 7, людей в них столько же, а у них детей, братьев и племянников 104. Значитъ, на середний двор приходилось менее чем 3 чел. мужского пола, а на молодший почти по 16 чел., т.-е. почти в шесть раз больше. *Владимирск. Губерн. Вед.* 1865 г., №№ 29—31.

точной полнотой. Это можно считать причиной и другого рассчёта, подобного изложенному. Колеблясь в объяснении поразрядного деления дворов, автор вообще расположен придавать ему очень мало значения. Он не находит „никаких указаний“ на какое-либо различие в экономическом положении людей этих разрядов, даже на различие оброка (стр. 47). Однако если одинаковые посошные оклады податей взимались с меньшего числа лучших дворов, с бóльшего середних и ещё с бóльшего молодших, это уже есть кой-какое указание при тогдашней связи тягла с хозяйственным положением тяглецов. Против этого указания автор ставит такой рассчёт (стр. 283—4). По книге г. Зарайска в соху положено лучших дворов 80, середних 100, молодших 120; но людей письменных, т. е. тяглых, приходилось по рассчёту автора на 80 лучших дворов 128 чел., на 100 середних 144, на 120 молодших 150. В этом посошном распределении автор подставляет цифры людей вместо цифр дворов и, рассчитав посошные повинности по людям, а не по дворам, находит, что на отдельного человека в каждом разряде при таком рассчёте придётся почти одинаковая доля повинностей, так как хотя на каждый лучший двор падала бóльшая доля посошного оклада, чем на середний, зато и людей приходилось на первый больше чем на последний; таково же было отношение и середних дворов к молодшим. Отсюда автор выводит „очень любопытное заключение“, что в XVI веке в *каждой местности* тяглые люди (всех трёх разрядов) платили почти что поровну и что „уже тогда посошные повинности если ещё не совершенно соответствовали подушной подати, то уже очень приблизились к ней“. Заключение выведено из разложения повинностей по людям. Но ведь это только предположение автора, будто „разложение повинностей по дворам есть, *очевидно*, искусственное и в действительности, в жизни, *конечно*, переходившее в разложение по людям“. Значит, своё положение автор выводит из своего же предположения. Это положение, не столько историческое, сколько диалектическое, ещё поддерживается несколько симметрич-

ными числами дворов и людей зарайской книги. Но от наблюдения, что так случилось в Зарайске, ещё далеко до вывода, что так было „в каждой местности“, особенно когда и автор знает, как трудно приложить этот вывод, например, к Свияжску, где на двор каждого разряда приходилось ровно по одному письменному человеку, или к Устюжне, где на середний двор приходилось по одному человеку, а на молодший почти по 2: здесь при зарайской пропорции середних и молодших дворов в сохе середнему человеку пришлось бы платить почти в $2^1/_2$ раза больше молодшего. В посошной развёрстке как цифры дворов и людей разных разрядов, так и самые пропорции по местным условиям были очень разнообразны, и автор это знает (стр. 178). Впрочем он как будто сам не предвидел своего вывода, столь общего и решительного, характеризующего всю податную систему XVI века, хотя и основанного на данных одного г. Зарайска последних лет этого века: страницей выше, приступая к своему вычислению с цифрами зарайской книги, он думал воспользоваться её данными только „для единичного случая, не распространяя получаемых выводов и на все другие подобные случаи“. Собственно не было и надобности подставлять цифры людей под цифры дворов: в действительности, в жизни, как выражается автор, повинности раскладывались не по людям и даже не по дворам, а по животам и промыслам. Двор служил при окладе и раскладке только счётной единицей, посредством которой финансовое управление вычисляло суммы податей, приходившиеся на тяглое общество, а это последнее развёрстывало их между плательщиками по их тяглоспособности. В городе 20 лучших тяглых дворов; в соху таких положено 80; ямских и приметных денег указано с сохи по 20 р.; следовательно, с 20 лучших дворов города доведётся взять ямских и приметных 5. Но сколько придётся с каждого двора по его животам и промыслам,—это уже дело мирской развёрстки. Значит, казённый рассчёт по дворам надобно отличать от мирской развёрстки по животам и промыслам. Но если даже принять рассчёт автора, посошная система

повинностей XVI века всё-таки будет очень далека от подушной подати, потому что первая считала только взрослых работников, положенных в тягло, а вторая падала на каждую мужскую душу податного состояния. При ясном понятии о том, что такое был тяглый человек в древней Руси и какие условия создавали это положение, не возможно ни отожествлять, ни даже сближать тогдашнюю податную систему с подушной.

В мысли о малом значении поразрядного деления городских тяглых дворов автора поддерживают между прочим замеченные им в некоторых городах случаи, когда молодшие платили больше середних и даже лучших. Так в Казани и Свияжске некоторые молодшие торговые люди платили оброка с занимаемых ими торговых помещений, лавок и т. п. больше некоторых середних и лучших (стр. 241). Но полавочное обложение—совсем особое дело, отличное от подворного, на котором основывалось поразрядное деление дворов. Не все тяглые дворовладельцы в городе занимали в нём торговые помещения и не все, занимавшие такие помещения, были дворовладельцами в городе и даже тяглыми людьми. Потому этот оброк и развёрстывался только между владельцами таких помещений отдельно от общих посошных повинностей. Тульская книга в приведённом у автора месте (стр. 242, прим. 1) прямо говорит, что оброк с лавок разводят торговые люди „меж себя сами, смотря по человеку и по товару". В древней Руси разделяли даже такие близкие друг к другу основания обложения, как животы и промыслы: упомянутая выше соловецкая уставная грамота предписывает торговые таможенные деньги платить „по торгом и по головам, а не по животом: кто болши торгует, тот болши и даёт".

Критический разбор писцовых книг предупредил бы сомнительные рассчёты и выводы, подобные указанным. Он помог бы также лучше разобраться в историческом материале, представляемом этими книгами, выделив из него черты, которых сами эти книги касаются мимоходом, не давая ничего или давая слишком мало для их объяснения. Чтобы устано-

вить правильное отношение к таким мимоходом брошенным отметкам, исследователю писцовых книг надобно выяснить, какого рода эти отметки, приёмы ли это писца, входившие в состав техники писцового дела, или же бытовые черты, в которых отразились действительные людские отношения и положения, хотя и не входившие в пределы прямой задачи писца. Заметки первого рода важны только для критики писцовых книг, как исторического источника. Черты второго рода надобно или расследовать, но не по писцовым только книгам, или совсем обходить, чтобы не загромождать исследования предположениями и недоумениями. При разборе историко-статистических данных, представляемых писцовыми книгами, автору часто приходилось встречаться с такими побочными вопросами, и он не раз сознаётся в затруднении, в какое они его ставили (см. например стр. 151, прим. 1). Но его отношение к таким вопросам колеблется. Иногда он прямо и основательно уклоняется от их решения, но иногда ставит вопрос там, где собственно нечего решать, и даёт решение там, где безопаснее было бы и не ставить вопроса. Так, замечая, что в писцовых книгах некоторых городов, например, Казани и Свияжска, служилые люди, служившие в этих городах, носят только одно звание *детей боярских*, а в книгах других городов называются *дворянами* и *детьми боярскими*, автор прибавляет, что для него не совершенно ясно такое различие; по его мнению, должно допустить, что была какая-то причина, почему в некоторых городах служилые люди бывали в это время всегда только дети боярские и никогда дворяне, что ему не известно ничего, что могло бы разъяснить этот вопрос (стр. 210 и 267). Но здесь по всей вероятности и нет никакого вопроса. Дворяне—это те же дети боярские, только повыше чином. В списках служилых людей XVI в. (десятнях), где соблюдалась точная служебная терминология служилых людей, дворяне, составлявшие второй снизу чин провинциального дворянства, назывались детьми боярскими *дворовыми*, а дети боярские первого низшего чина—*городовыми;* слово *дворяне* для обозначения детей

боярских дворовых около половины XVI в. только ещё входило в употребление и не успело в нём утвердиться. Некоторые писцовые книги говорят только о детях боярских или потому, что употребляют родовое звание провинциальных служилых людей без различия чиновных видов, или потому, что служилые люди, о которых они говорят, все были дети боярские городовые; в некоторых уездах и по спискам не было дворовых. В другом месте автор как бы для разъяснения этой смущающей его терминологии указывает на документы, в которых замечается различие дворян первой и второй статьи, хотя тоже „не довольно ясное“ для него (стр. 213, прим. 2). Но деление на статьи—совсем особая классификация служилых людей, которой не следует смешивать с чиновной: на статьи подразделялись служилые люди по поместным и денежным окладам и таких статей в иных чинах бывало гораздо больше двух, смотря по категориям окладов.

Примером недоразумения другого рода, в какое может ввести попытка объяснять факты с помощью одного источника, достаточно их не объясняющего, служит объяснение различия между приборной и неприборной службой, сделанное автором по писцовым книгам Казани и Свияжска (стр. 220—222). Это объяснение основано на разных оборотах речи, какими обозначаются в названных книгах владельцы городских дворов: об одних говорится в дворовых перечнях „двор такого-то“, а о других „во дворе такой-то“. Первым способом обозначаются дворы детей боярских, стрелецких командиров, духовных лиц, когда их дворы находятся среди дворов людей других званий, а вторым дворы тяглых людей, приборных стрельцов и козаков, пушкарей и других подобных им служилых людей, когда они живут отдельными слободами, а также духовных, живущих на церковной земле. По мнению автора, первый оборот означает владение на полном праве частной собственности, а второй—владение на праве общинном, а потому и существенный признак, отличавший службу приборную от неприборной, состоял в том,

что приборные составляли между собою общину. Едва ли, однако, автор думал, что и духовные лица, имевшие дворы на церковной земле и отмеченные в книге вторым оборотом речи, владели дворами также на общинном праве, составляли между собою общину; это было бы довольно редкое явление, если бы его можно было доказать. Потом не ясно, одни ли дворы считает автор предметом общинного владения. Далее, автор приводит из писцовой книги место, которое трудно согласовать с мнением, что приборные служилые люди, подобно чёрным тяглым, владели городскими дворами на общинном праве. Это место приведено много выше страниц о приборной службе (стр. 205, прим. 1) по другому поводу, но пригодилось бы и на этих страницах. В Казани была слобода приборных стрельцов, которых потом перевели в Астрахань. Покидаемые дворы раскупили у хозяев не только другие приборные же стрельцы, оставшиеся в Казани, но и неприборные дети боярские и даже тяглые посадские, и все эти столь различные по состоянию люди повидимому покупали стрелецкие дворы на одинаковом праве; ещё до перевода стрельцов в их слободе были „посадские места“, на которых жили не только посадские люди, но и дети боярские, и про тех и других, как про детей боярских, так и про посадских людей, книга одинаково говорит, что они жили на тех местах в *своих дворах*, как будто принадлежавших тем и другим на одинаковом праве. Данными самой книги как будто выясняется, что *дворы* тяглых и служилых людей, как приборных, так и неприборных, одинаково принадлежали владельцам на праве частной собственности и потому продавались и покупались по частным „полюбовным“ сделкам независимо от какой-либо общины, на что прямо указывает и писцовая книга (стр. 212); но *места* под этими дворами находились не в одинаковом юридическом отношении к владельцам этих дворов: одни были *белые* и вместе с дворами составляли частную собственность дворовладельцев, а другие— *чёрные* тяглые, т.-е. государственные, находившиеся только в личном или общинном пользовании владельцев, или хотя

и белые, но не принедлежавшие владельцам дворов, которые на них стояли. Может быть, только это и значат объясняемые автором обороты речи писца. Поэтому дворы нетяглых и не составлявших общины духовных лиц на церковной земле обозначались в писцовой книге формулой „во дворе такой-то". Поэтому же нетяглые духовные и служилые люди, имевшие дворы на городской тяглой земле, тянули всякое тягло с тяглыми городскими людьми, на что прямо указывает приведённое автором место из разметного списка по Новгородской области (стр. 119, прим. 1). Значит, разбираемыми автором формулами в перечне дворов если и отмечалось что-либо, то не существование или отсутствие общинного устройства дворовладельцев, как утверждает автор, а разве только их юридическое отношение к земле, на которой стояли их дворы. Мы ничего не говорим здесь против общинного устройства городов XVI века, а хотим только сказать, что вывод автора, будто „формулою описания *во дворе такой-то* отмечалось существование у таких-то людей общинного устройства", далеко не соизмерим с своим основанием и ничего не прибавляет к доказательствам общинного устройства. Вообще в писцовой книге, не имевшей в виду юридических определений, особенно в такой её подробности, как манера перечислять дворы, трудно искать надёжной и притом единственной опоры для каких-либо юридических выводов, особенно таких серизных, какие делает автор [1]). Так и значение приборной и неприборной службы разъясняется не писцовыми книгами, и „существенного" признака, отличавшего одну службу от

[1]) Он на себе самом испытал неудобство такой опоры. Ямщики обыкновенно жили слободами и обозначались в писцовых книгах только жильцами „во дворах", а не собственниками их. Так они описаны и в писцовой книге Казани. Но в книге Свияжска они обозначены, как собственники дворов, выражением „двор такого-то", и автору пришлось делать новое предположение о каком-то особом устройстве их слободы. По его словам (стр. 222), формула „во дворе такой-то" без всяких исключений всегда прилагается при описании дворов чёрных тяглых людей, а на стр. 233 оказались исключения. Притом в книгах других городов эти формулы имеют другое значение (см., наприм., стр. 50).

другой, надобно искать не в общинном землевладении, потому что хозяйственное устройство разных видов приборной службы было довольно разнообразно. Приборные люди жили не в одних городах и даже в городах не всегда селились общинными слободами, получали земли и на поместном праве подобно неприборным служилым людям „по отечеству“, могли наконец и вовсе не иметь ни земли, ни дворов. Сам автор находит в Казани и Свияжске несколько бездворных стрельцов (стр. 203 и 207), и, однако, они составляли одно целое со стрельцами-дворовладельцами не потому, что входили в состав поземельной или подворной общины, а потому, что числились в составе одной военной части, сотни или приказа, т.-е. стрелецкой роты или баталиона. Вообще устройство приборной службы было довольно сложно и рассмотреть её отличительные черты сквозь писцовые книги очень трудно.

Доселе мы говорили о постановке задачи и о приёмах её решения в исследовании г. Чечулина. Выскажем несколько замечаний о самом её решении.

Как постановка задачи тесно связана автором с одним источником, так и её решение во многом зависело от её постановки. Автор предпринял изучение состояния городов с тех сторон, которых касаются писцовые книги, и для этого рассмотрел писцовые книги только в тех частях, которые описывают состояние городов. Но как такая постановка затруднила автору критический разбор источника, так она же помешала ему соразмерить с источником границы своей задачи. В предисловии и введении он ставит себе целью определить состав городского населения, его занятия и повинности, местные особенности городов,—словом, изучить положение городов, как „крупных бытовых единиц, как культурных центров“, „факторов общественной жизни“ (стр. III, 9 и 32). В состоянии ли писцовые книги XVI века, сколько их сохранилось, дать ответы на разнообразные вопросы, входящие в состав такой сложной и широкой задачи? Сам автор считает отношение своего источника к задаче „вполне благоприятным“: во введении он поместил список городов в Мо-

сковском государстве XVI в. и в этом списке обозначил 220 имён; из этого числа о 41 городе, т. е. почти о *пятой* части всех существовавших тогда городов, автор нашёл сведения в своём источнике [1]). Посредством особого рассчёта он делает это отношение ещё более благоприятным: он исключает из списка города северо-восточные (в областях Двинской и Камской), описания которых не найдены автором, „вместе с городами, только что основанными или недолго находившимися во власти Московского правительства", и тогда оказывается, что имеются сведения о 41 городе из 170 приблизительно, т.-е. почти о *четвёртой* части всех городовъ (стр. 21 и 22). Не смотря на этот рассчёт, едва ли, впрочем, представляющий действительную выгоду для исследования, автор не мог не чувствовать значительного пробела, образуемого в его труде отсутствием городов северо-восточной полосы, которые „наверно отличались во многом от городов других областей", между прочим тем, как думает автор, что „тут вовсе не было опасности неприятельского нападения". Последнего никак нельзя сказать, зная, о каких опасностях

---

[1]) Въ списке поименовано собственно 42 города, описания которых нашёл автор; но об одном из них Олонце замечено в книге, что по его описанию 1556 г. он на город не похож и городом не назван (стр. 19, прим. 3); автор и не пользовался этим описанием в своём исследовании. Вообще соображения, которыми руководился автор при составлении списка, не вполне ясны. Он изучал и помещал в списке только поселения, носившие в XVI в. название городов; но между ними встречаем в списке и некоторые посады. В список занесены многие селения, которые в духовных грамотах Ивана III и Ивана Грозного названы городами или городками, хотя некоторые из них, например, Деман, Курск на Ловати, Хотунь, Стародуб Ряполовский, в XVI в. превратились в городища, погосты или сёла; но другие селения, упомянутые в тех же документах и под теми же званиями, как Кременск, Опаков, Старая Рязань, Шерна, почему-то в список не попали (собр. гос. гр. и дог. I, стр. 390 и 396. Доп. к А. И. I, стр. 386, 380 и 379). Вообще этот список нуждается в пересмотре и пополнении, хотя по задаче исследования он не имеет особенно важного значения в книге г. Чечулина. Так не видно, почему автор принимает Мезецк и Мещовск за два города, а не за разные названия одного города.

рассказывают памятники, описывающие положение Камского и Поморского края в XVI веке [1]).

Но при указанной постановке задачи в книге г. Чечулина остались бы заметные пробелы, если бы сохранились писцовые описи всех городов его списка и он воспользовался всеми этими описями. Писцовые книги имели преимущественно фискальную цель—привести в известность податные силы и средства народа; потому в них на первом плане—экономические положения и отношения, люди, которые могли платить, капиталы и обороты, которые могли быть предметом податного обложения. Но такими положениями и отношениями далеко не ограничивалось значение города, как культурного центра. Далее, значение города, как такого центра, как фактора общественной жизни, не ограничивалось и населением, постоянно в нём жившим, простиралось далёко за его черту. В этом значении он служил средоточием для значительного округа, уезда, связанного с ним разнообразными интересами хозяйственными, административными и другими. Но автор неоднократно и с некоторой настойчивостью заявляет, что он не имел возможности подробно разобрать и книги уездов изучаемых им городов (стр. 11, 45, 267). Ограничившись изучением писцовых описей городов, автор принуждён был обойти целый ряд отношений, в которых стоял город, как фактор общественной жизни, именно отношений, в которых выражалась его связь с уездом. Так автор не выясняет в своем исследовании значения уездного города, как узла отношений, которые связывали в сословную корпорацию рассыпанных по его уезду помещиков и вотчинников, городовых дворян и

---

[1]) Чтобы понять неожиданность этого соображения автора, достаточно припомнить хотя бы по *Сибирской Летописи*, изданной Спасским, нападения черемис, вотяков и других уральских инородцев на русские поселения Камского края во второй половине XVI в. О положении Поморского севера говорят меры правительства для защиты его от шведских нападений и жалобы Соловецкого монастыря в челобитных царям, что то место украйное, прилегли близко немецкие земли и в монастыре и в Сумском остроге от немецких людей живут осады частые и т. п.

детей боярских, служивших по этому городу; только в заключительном общем очерке положения городов, автор посвятил несколько строк изложению обязанностей этих служилых людей по отношению к городу, изложению неполному, нерешительному и неточному (стр. 332, 333). Наконец, сам автор повидимому признаёт, что обозначенные им границы задачи шире действительного плана его сочинения. В понятие о городе, как факторе общественной жизни, казалось бы, могут и даже должны входить и юридические отношения его жителей. Но автор в предисловии оговаривается, что „вопросов о юридических правах городских жителей, об отношениях к городам и горожанам правительства и т. п. он почти совершенно не затрогивал", как уже разработанных в нашей литературе; но независимо от этого и писцовые книги дают мало материала для решения подобных вопросов. Можно указать и ещё один пробел, восполнять который сам автор нашёл ненужным и который по существу его задачи всё-таки остаётся пробелом в его труде. Он признал возможным „изучать во всей подробности положение всех тех поселений, которые тогда (в XVI в.) носили название городов и только их". Конечно, возможно и такое изучение. Но определяя границы своей задачи, автор сказал, что его „главной целью будет воспроизведение со всею возможной подробностью тех условий жизни, в каких оказывался городской житель". Условия жизни в городе, как культурном центре, были прежде всего сложнее, сравнительно с сельской жизнью и эта сложность отражалась на самом составе города. Город XVI в. в цельном своём составе состоял из *города* в смысле центрального укрепления, кремля, из *посада* и *слобод*. Но эти виды поселений, служа составными частями города, существовали и раздельно: были города без посадов, посады без городов; были, наконец, слободы, рассеянные среди сёл и деревень, вдали от городов и посадов. Каждый из этих видов отличался своими бытовыми условиями и интересами, из совокупности которых и слагалась жизнь города. Не во всех городах эти условия и интересы соединялись в одинаковой степени пол-

ноты; зато в иных поселениях, не носивших звания городов, но с посадским характером, некоторые из этих условий получали усиленное развитие. Не говоря о *рядках* в Новгородской области, сюда можно отнести некоторые отдельные слободы и поселения, особенно при больших монастырях, так и называвшиеся *посадами*; обыватели рядков также назывались *посадскими людьми*. Условия городской жизни едва ли будут воспроизведены „со всею возможною подробностью“, если в их изображении будут опущены черты социально-экономического склада таких посадских поселений. Почему бы, например, *посаду* Берёзовцу в Деревской пятине с его церковью и монастырём, с 6 дворами на церковной и монастырской земле и с 46 дворами рыболовов, не иметь места среди таких городов, как Копорье с его 8 дворами в городе, из коих один пуст, и с 15 дворами на посаде (*Нóвг. Писц. книги*, I, 640)? Изучение новгородских пригородов по книгам 1500 г. привело автора к выводу, что ремесленная деятельность в них была тогда развита весьма слабо и несколько усилилась к половине XVI века, так что количество ремесленников поднялось средним числом до 16% всего городского населения, сколько можно судить о том по данным об Орешке, Ладоге, Кореле и Каргополе, приведённым в книге автора (стр. 51 и 52). Что было причиной такого слабого развития ремесла в этих пригородах—общая ли слабость его развития в области, или близость больших промышленных центров Новгорода и Пскова, как предполагает автор, или наконец то, что ремесленная деятельность не сосредоточивалась в одних городах, но была рассеяна и по другим селениям? Может быть, какой-нибудь ответ на эти вопросы дало бы изучение посадов, подобных Тихвинскому, как он описан в писцовой книге 1583 года, спустя 23 года по основании самого монастыря, при котором он возни́к [1]). Здесь ремесло развито сравнительно очень сильно: многие

[1]) Писц. кн. Моск. Арх. Мин. Юст. № 965. Напечатана с сокращениями во *Временнике* Общ. Ист. и Др. Р. кн. 6; о посаде, стр. 65.

торговые люди занимаются и ремёслами; независимо от того одних портных и сапожников, которых в новгородских пригородах не насчитывалось и 2%, здесь показано 22 двора из 146 всех дворов на посаде, т.-е. 15%. Таким образом Тихвин посад оказывается в некоторых отношениях больше городом, чем многие тогдашние города, и во всех отношениях был им больше, чем занесённый автором в список городов Деман, где по книге конца XV в. на городище (города уже не было) и на посаде значилось всего 6 дворов и ни одного двора посадского человека (Новгор. Писц. книги, II, 499). Тихвин посад тем удобнее мог бы занять место даже в списке городов, что городом для него служил укреплённый монастырь. Изучение составных элементов города в их раздельном существовании помогло бы уяснению и той „бытовой единицы", которая из них составлялась. Если автор нашёл нужным подробно описать псковские пригороды, признавая, что эти пригороды, имевшие преимущественно значение укреплений, по занятиям своих жителей гораздо ближе к сёлам, чем к городам в нашем смысле слова (стр. 114), то не было бы отступлением от программы описание поселений, по занятиям жителей ближе стоявших к городам, хотя и не бывших укреплёнными: автор исследует города не в стратегическом, а в социально-экономическом отношении.

Вследствие указанных пробеловъ при чтении книги г. Чечулина замечается двойное несоответствие его основного источника, писцовых описей городов, поставленной им задаче: этот источник не соответствует ей ни по содержанию, потому что далеко не захватывает всех отношений, действовавших в черте города, как культурного центра, ни по объёму, потому что не касается городского округа, тяготевшего к этому центру. Это несоответствие создавало автору двоякого рода затруднения: с одной стороны, расширяя своё исследование в меру своей главной цели, возможно подробного воспроизведения условий жизни, в каких оказывался городской житель, автор задавал писцовым книгам вопросы, на которые они не могут отвечать, и их молчание пытался

восполнить собственными догадками, а с другой — принуждён был обходить вопросы, для решения которых стоило бы только расширить изучение писцовых книг, не довольствуясь описями городов. Ограничимся немногими примерами того и другого рода затруднений.

По писцовой книге 1566—68 гг. автор нашёл в Казани те 10 семей опальных псковичей, которых по летописи переселили туда в 1555 г. (стр. 245). Автор однако решительно утверждает, что „*толкование* этой меры, как какой-то опалы, должно быть оставлено, как неверное". Но это не толкование, а прямое и ясное свидетельство источника, летописи, которая говорит, что в Казань свели 10 семей именно „опальных" псковичей. Автор, напротив, считает „очевидным", что при этом переселении правительство имело в виду развитие сношений Казани с Псковом, развитие торговли между ними. Для чего понадобилось правительству развитие сношений Казани именно с Псковом и как могли содействовать этому переселённые в Казань 10 семей псковичей, автор не объясняет; но вся *очевидность* его догадки держится только на том, что в Казани эти переселенцы поставлены были в привилегированное положение. Но ведь они по книге *гости*, т.-е. по самому званию своему привилегированные люди, пользовавшиеся некоторыми и очень важными правами людей служилых, а ни из чего не видно, чтобы при переселении они лишены были прав состояния [1]). Наклонность если не поправлять, то пополнять источник догадками обнаруживается у автора и в другом случае. В описи псковских пригородов 1585—1587 гг. нивы и огороды обозначаются в большинстве случаев именами двух владельцев, настоящего и

---

[1]) Пример подобного отношения автора к источнику встречаем ещё на стр. 290. Передавая известие писцовой книги г. Венёва, что осадный голова „писал ко государю" о стрельцах (Писц. книги Моск. Гос. II, 1540), автор находит это выражение „очевидно" неточным: „голова писал, конечно, в какой-нибудь приказ". Ничего неточного здесь нет: местные начальники в сношениях с центральным правительством обыкновенно писали на государево имя.

бывшего. Это наводит автора на мысль „о постоянной мобилизации земельных участков“, которая могла существовать „несомненно прежде всего при общинном землевладении“, и единственно возможным объяснением явления кажется автору предположение переделов. Это предположение даёт ему основание думать, что внутренние порядки общинного землевладения в XVI в. „нужно представлять себе несколько иначе, чем обыкновенно их представляют“. Автор припоминает известные шуйские акты XVII в. о переделе городской земли и прибавляет, что „до сих пор не было известно указаний на переделы в XVI веке“. Автору кажется „совершенно естественным“, что в актах не отразились переделы в таких ничтожных посёлках, какими были деревни и сёла в XVI веке; но, продолжает он,—„столь же естественно, что мы *встретили их*, как только обратились к изучению положения бо́льших поселений, но с совершенно сельским характером (стр.116—118)“. Прежде всего позволительно напомнить автору, что он и в описи псковских пригородов не *встретил их*, т.-е. переделов, а только их *предположил*. Потом, в XVI в. в Новгородской и в центральных областях Московского государства многие сёла и даже деревни были не ничтожные посёлки, а значительные поселения в несколько десятков дворов, во всяком случае многолюднее большинства псковских пригородов 1585 г., особенно если сравнивать численность только тяглого населения, которого собственно и касается вопрос о переделах; однако, в известных нам актах таких сёл и деревень XVI в. переделы точно также „не отразились“. Автор признаётся, что „другого объяснения кроме предположения каких-то переделов“ он не мог приискать. Но можно было бы и не приискивать объяснения помощью предположения, когда такого объяснения не даёт источник, или по крайней мере поискать в источнике проверки для предположения, а источник, который навёл автора на догадку о переделах, давал ему средство и проверить эту догадку. Если смена большинства владельцев нив и огородов в псковских пригородах происходила от переделов, то настоящие

владельцы одних огородов и нив должны значиться в описи бывшими владельцами других и наоборот. Из книги автора не видно, так ли это было или нет. Если так, то опись даёт очевидное указание на передел и указание в высшей степени важное. Если же настоящие владельцы одних нив и огородов не являются по описи бывшими владельцами других в том же пригороде, это значит, что мы встречаем в описи не передел, а просто исчезновение одних владельцев и замену их другими. Берём для проверки писцовую книгу г. Изборска, которой пользовался автор [1]). Здесь перечислены 32 оброчные нивы, все с обозначением прежних владельцев и все кроме одной с обозначением настоящих: оказывается, что *ни один* прежний владелец какой-либо нивы не обозначен в описи настоящим владельцем другой нивы и наоборот; прежние и настоящие владельцы—это два совершенно различных ряда владельцев, в которых нет решительно ни одного общего имени. Это, очевидно, не передел, а полная смена владельцев. Печерский монастырь, прежде не владевший в Изборске ни одною нивой, теперь является здесь владельцем почти трети всего количества нив, именно десяти. Такую же смену замечаем в описании 17 оброчных пожен и 22 огородов. Любопытно, что некоторые из настоящих владельцев нив являются и настоящими владельцами пожен и огородов, а лица, прежде владевшие пожнями или огородными местами, значатся и в числе бывших владельцев нив. К этому надобно прибавить, что сама писцовая книга псковских пригородов 1585—1587 гг. даёт указание, достаточно объясняющее такой переворот в их землевладении и устраняющее надобность в какой-либо догадке для его объяснения: эти пригороды описаны вскоре после войны, когда они испытали нашествие Батория и по основанному на описи рассчёту автора потеряли 92% своего прежнего тяглого населения (стр. 110).

Писцовые книги городов XVI в. не ставят вопроса о переделах городских земель, потому что это касалось внутрен-

[1]) В. М. Арх. М. Ю. № 355, л. 657 и сл.

них отношений городского общества, в которые финансовое управление не вмешивалось. Если бы автор не возбудил этого вопроса, в его книге не образовалось бы заметного пробела. Но есть черты городского быта, которые в городских описях XVI в. как бы подчёркиваются, но не объясняются. Обойти их нельзя, не жертвуя полнотою изображения предмета; но для объяснения их необходимо изучение писцовых книг в полном их составе и даже при содействии других источников. Недостаточность источника, которым преимущественно пользовался автор, нередко мешала ему объяснить такие черты с надлежащей полнотой. Так он останавливается на терминах *шабры*, *суседи* и *подсуседники*, сопоставляет для их объяснения показания писцовых книг, обращается и к некоторым другим памятникам; но читатель не видит, какие отношения выражались этими терминами, чем отличались шабры от соседей, а ссседи от подсоседников, не видит даже, различает ли автор соседство общественное, например по улице, и домашнее—по хозяйству (стр. 63 — 65, 152 и 324). Точно так же автор не определяет достаточно отчётливо хозяйственно-юридического отношения, которое в новгородских и псковских писцовых книгах выражалось словом *позём*. „Сопоставление нескольких мест, читаем у автора, даёт основание считать, что словами „позёму даёт“ и „найму платит“ выражаются совершенно одни и те же отношения, т.-е. что этим указывается плата отдельному юридическому лицу за пользование землёю, ему принадлежавшею“ (стр. 147). Если даже согласиться, что позём и наём означали одно и то же, остаётся неясным, называлась ли позёмом плата за *всякое* пользование землёй и притом одной ли землёй и почему автор думает, что так называлась плата за землю именно *юридическим* лицам, когда позёмщики бывали, например, у земцев, лиц физических. Писцовые книги названных областей, городские и уездные, дают не мало указаний для разъяснения этих вопросов. Можно отметить ещё одну подробность, наглядно указывающую на необходимость для полноты изображения городского быта изучать писцовые книги в цельном их со-

ставе, не ограничиваясь описями городов. Описывая по книге 1500 г. население г. Корелы, автор вводит в итог тяглых людей этого города и земцев, которые имели только дворы в городе, а сами жили по своим деревням в уезде, и дворников, живших в их городских дворах, потому что эти дворники „с городчаны в оброк тянут“ (стр. 35). Но в деревне Сандолакше, Кирьяжского погоста, Корельского уезда жили в 16 дворах ещё 24 земца, о которых книга 1500 г. также замечает, что они „тянут с городчаны во все потуги в городок Корелу“ (*Времен.* Общ. Ист. и Др. Р. XII, 139). Не известно, следует ли причислять к тяглому обществу г. Корелы этих земцев, о которых автор вовсе не упоминает.

Несоразмерность основного источника с границами поставленной автором задачи заставляла его обходить и более крупные вопросы. Таков вопрос о *земцах* или *своеземцах* Новгородской и Псковской области. Не говоря уже о своеобразности и некоторой загадочности этого класса самая численность его въ новгородских пригородах побуждала исследователя пристально в него всмотреться. Так в г. Яме на 332 чел. всех поименованных в книге 1500 г. обывателей по счёту автора своеземцев значилось 213 чел., т.-е. около $^2/_3$ [1]). Притом земцы, как городские обыватели, находились в особых условиях, а „воспроизведение со всею возможною подробностью условий жизни“ городского жителя автор поставил себе „главною целью“. Между тем автор, оговорившись, что об этих земцах мы имеем вообще „очень мало сведений“, ограничивается указанием мнений о них некоторых учёных и немногими собственными наблюдениями, которые приводят его к нерешительному заключению, что „земцы были детьми боярскими, быть может, несколько низшими, чем дети боярские остальных областей, но всё же какими-то служилыми людьми“ и что к концу XVI в. они *несомненно* исчезли

---

[1]) В счёте дворов своеземцев здесь у автора, вероятно по корректурному недосмотру, слагаемые (30, 2, 47, 3, 59 и 8) не сходятся с суммой 146, которая согласна с источником (стр. 36 и сл.).

(стр. 43). Так для читателя исчезла в книге г. Чечулина одна из наиболее характерных особенностей городов названных областей, и это произошло от того, что земцы, образуя в начале XVI в. заметный класс в составе населения тамошних городов, служили вместе с тем одною из наиболее видных связей этих городов с их округами, а потому их значение не объясняется в достаточной степени писцовыми книгами одних городов. Не для того, чтобы пополнить исследование г. Чечулина, а единственно с целью показать, что о земцах сохранилось очень не мало сведений, мы позволяем себе высказать несколько наблюдений и соображений об этом любопытном классе.

Новгородские писцовые книги конца XV в. сберегли много первобытных особенностей хозяйственного и юридического положения этого класса, которых не успела стереть Москва в 20—30 лет своего владычества. Многие своеземцы имели дворы в том же городе, в уезде которого владели землёю, реже в городах других уездов. Одни из них сами жили в своих городских дворах, сдавая земли крестьянам или обрабатывая их своими людьми, т.-е. холопами; другие жили в своих деревнях, сдавая городские дворы дворникам, которые за них отбывали городское тягло с этих дворов. Следующий рассчёт может дать некоторое понятие о размерах земецкого землевладения. К северу от Новгорода в 30 погостах уездов Новгородского, Ладожского и Ореховского мы насчитали по книге 1500 г. 388 своеземцев, на землях которых находилось 636 дворов земецких и крестьянских и засевалось около 2400 коробей или десятин ржи. Если существовали и два других поля одинакового размера с озимым, то на двор приходилось пашни около 11 десятин, а на каждого земца около 18 десятин. Вообще это мелкие землевладельцы, очень похожие на своих крестьян-половников: они часто сами пашут свои земли, и их участки вообще не больше крестьянских. Встречаются редкие исключения: у троих Офромеевых 58 десятин ржаной пашни, что́ при трёх полях представляет запашку в 174 десятины, в имении 16 крестьянских дворов.

Это очень порядочное поместье городового дворянина XVI в. в любой центральной области государства. В Новгородском уезде земцам принадлежало немного более 7% всех описанных в книге земель.

Новгородские писцовые книги дают много ценных указаний на хозяйственное положение земцев, на котором мы не останавливаемся. Они также не оставляют ничего сомнительного и в юридическом характере земецкого землевладения. Земцы редко владеют землёй в одиночку; чаще сидят они родственными гнёздами; впрочем, иногда повидимому соединялись во владении и совсем чужие друг другу по происхождению люди. Очевидно, это землевладельческие товарищества, связанные договором, часто ещё и родством. Встречаем имение в 5 деревень с 28 десятинами ржаного посева, принадлежавшее 13 совладельцам, кажется, всё родственникам; всё это имение снято крестьянами. Иные деревни состоят из дворов одних земцев-совладельцев, которые иногда пашут совместно; но иногда даже родные братья имеют особые жеребьи в общей деревне или особые деревни. В одной деревне жили в 6 дворах 7 совладельцев и сеяли вместе 25 коробей ржи; им принадлежало ещё 6 деревень, которые снимали у них крестьяне, засевавшие 54 десят. ржи. Несомненно, что земцы—полные собственники своих земель: они продают и закладывают их, дают в приданое, выкупают; даже женщины, сёстры и вдовы, являются владелицами и совладелицами таких земель. Есть и прямое указание на вотчинный характер земецкого землевладения: летопись рассказывает, что на третий год после подчинения Пскова московский государь взял с него в смоленский поход 1000 пищальников и псковских земцев; „тогда ещё,—прибавляет она о последних,—не сведены быша с своих вотчин“ [1]).

Гораздо труднее объяснить, как возникло землевладение земцев. Некоторые указания однако приводят к мысли, что

---

[1]) Новгор. Писц. книги, изд. Археогр. Ком., ч. III, и Времен. Общ. Ист. и Др. Р. XI, в разн мест. П. Собр. Р. Лет. IV, 289.

первоначально это были не сельские обыватели, приобретавшие дворы в городе, а именно горожане, приобретавшие земли в уезде. Среди них встречаем поповичей, отцы которых служили при городских церквах, также городских ремесленников или людей, родственники которых входили в состав промышленного населения города. В Новгородском уезде встречаем земли, о владельцах которых писцовая книга замечает, что эти земцы с такой-то улицы Новгорода. Сохранилось несколько десятков грамот Соловецкого монастыря XV и XVI вв., данных, вкладных и купчих на земли и угодья, приобретённые монастырём от обитателей Новгородской земли преимущественно в Поморье. Некоторые из этих грамот восходят ещё ко временам независимости Новгорода *). Земли, которые приобретал монастырь, рассеяны были по беломорскому прибрежью среди обширных владений *корельских детей*, принадлежавших к пяти родам, и их местоположение обозначается в грамотах выражениями „промежу пяти родов корельских детей“ или „куды вся пять родов владеют“ и т. п. Из числа этих родов были Ровкульцы или Рокульский род. Среди своеземцов г. Корелы по книге 1500 г. встречаем целое гнездо богатых землевладельцев Рокульских. Эти корельские дети напоминают тех „молодых людей“ или „молодцов“ новгородских, о промышленных походах которых говорят новгородские летописи XIV и XV вв. Дружины подобных молодцов из г. Корелы когда-то в XV в. или раньше заняли обширные пространства по Беломорью и образовали 5 родственных землевладельческих товариществ, которые некоторое время и под московской властью носили название пяти родов корельских детей. Родственно-товарищеский *сяберный* способ приобретения и владения долго и после оставался одной из особенностей земецкого землевладения, отличавшей его от новгородского боярского землевладения. Каждый член такого товарищества располагал своим участком, как личной собственностью. В одной грамоте из указанного сбор-

*) Рук. Сол. мон. в библиотеке Казанск. Дух. Акад. № 18.

ника читаем, что посадник Димитрий Васильевич купил у принадлежавшей к роду Рокульских Ховри Кукоевой её „отцину и дединну на море на Выгу“ и по другим рекам Беломорья, „а продала она Ховра посаднику отцину свою Рокульского роду“. Понятно, что путём отчуждения участков первоначальный состав родственного товарищества разрушался, принимая в себя чужеродцев; товарищество приобретателей распадалось посредством раздела совместно приобретённой земли на отдельные участки. Но некоторая юридическая связь оставалась и при расстройстве родственной цельности и землевладельческой солидарности товарищества. Из одной статьи Псковской Судной грамоты видно, что в случае спора об участке сябренной земли, приобретённом по купчей грамоте, все сябры становились на суд для ответа и клали перед судьями грамоты на свои земли. Есть указание и на другие связи. В 1470-х годах „корельские дети“, собрав свои родовые отряды и получив помощь от новгородцев, ходили ратью в Каянскую землю (Финляндию), мстя за какую-то обиду, нанесённую им каянцами. Память об этом походе сохранилась в одной вкладной грамоте Соловецкого монастыря, из которой узнаём, что предводитель рати, некто Фёдор Иванович и новгородцы, и дети корельские Вымольцы и Тиврульцы (два рода из упомянутых пяти), и вся рать каянская, ходившая на Ию реку „за обеду детей корельских“, по окончании похода пожертвовали на Соловки колокол. О том, как совершались земельные приобретения земецкими товариществами, сохранилось любопытное известие в повести о псковском Печерском монастыре, составленной в начале XVII века, но по более древним источникам. Место, где потом возник монастырь, было пустынно и покрыто лесом, куда обыватели Изборска и других ближних поселений ходили для звериного промысла. Около 1470 г. „ту землю и лес взяша в слободу у всех псковичь с веча люди земцы, градские и сельские... сие же место около пещеры абие дастся в жребий некоему человеку Ив. Дементиеву, той же Иван постави деревню в подгории“. Из дальнейшего рассказа

повести узнаём, что этот Ив. Дементьев, участник земецкого товарищества, разделившего приобретённую пустыню на участки между своими членами, был городской земец, который и после рассказанного продолжал жить в г. Пскове и, когда около его деревни в горе построена была пещерная церковь Успения, дал „от своей деревни уделом земли Преч. Богородице на память себе“ от той церкви „на поприще“. Участок, доставшийся Дементьеву, был, очевидно, полной собственностью вкладчика. Таким образом первоначальным юридическим источником земецкого землевладения в областях вольных городов можно признать правительственную раздачу незанятых казённых земель„ в слободу“, на льготных условиях в собственность землевладельческим товариществам, составлявшимся из горожан и сельчан с целью разработки таких земель. Другие способы приобретения земецких вотчин, вскользь упоминаемые писцовыми книгами конца XV века, куплю, мену и т. п. надобно считать уже вторичными, позднейшими источниками этого землевладения.

Но едва ли не самый трудный вопрос в истории земцев—их судьба под московской властью. Не осталось прямых указаний на государственные повинности, какие падали на земецкое землевладение во времена вольности Новгорода и Пскова. Во всяком случае с падением обоих городов их земцы в этом отношении должны были подчиниться московским порядкам. Но по этим порядкам недвижимые имущества земцев подлежали двум категориям повинностей: как городские дворовладельцы, они должны были тянуть городское подворное тягло; как на сельских вотчинников, на них падала ратная служба. Повидимому, и во времена вольности, земцы, как городские обыватели, по своим правам и обязанностям ничем не отличались от других горожан-дворовладельцев. В таком же отношении к городу оставила их и Москва: по книгам московских писцов, они жили на тяглых городских местах, тянули в оброк и во все потуги с городчанами и подобно им делились по размерам тягла на лучших, середних и молодших. Словом, земцы, как городские обыватели,

не составляли особого класса в юридическом смысле слова, а отличались от прочих горожан только имущественным положением: тяглый горожанин, приобретавший землю в уезде, становился земцем, но не переставал быть тяглым горожанином. Самые эти звания мешались в книгах: одни и те же люди в перечне городских дворов называются своеземцами, а в описании земецких вотчин в уезде городскими людьми, а их вотчины „своеземцевыми и купецкими землями".

Не так легко было устроить землевладельческое положение земцев. Здесь московское правительство затрудняли самое разнообразие и непривычные для него способы земецкого землевладения. Оно было и единоличное, и коллективное, и раздельное, и совместное; земцы и сами пахали, и обрабатывали земли своими людьми, и сдавали их крестьянам, и снимали из оброка чужие земли. Московскому взгляду, уже привыкавшему к точной раздельности социальных категорий, земец должен был представляться путаницей общественных состояний, беспорядочным смешением посадского горожанина, служилого землевладельца и оброчного крестьянина. В писцовых книгах и других памятниках уцелели следы той разборки, посредством которой Москва старалась разделить столь спутанные отношения и подогнать их под свои мерки. Руководясь наиболее очевидными признаками, одних земцев, живших в своих деревнях и по земледельческой обстановке похожих на служилых московских вотчинников и помещиков, верстали в ратную службу, других, менее состоятельных, приписывали к крестьянским обществам. Не ясно только положение земцев, которые, владея значительными вотчинами в уезде, жили своими дворами и промышляли в городе. Их несомненно оставили на городском тягле; но нет прямых указаний на то, чтобы городское тягло освобождало их от ратной службы с их вотчин. Такую сортировку облегчало московским писцам то, что некоторые земцы, владевшие мелкими деревеньками, снимали участки у соседних помещиков и сами их пахали, даже селились в помещичьих деревнях наряду с крестьянами и принимали на себя крестьянские

повинности [1]). В одном акте вскрывается такой ход дела. В 1555 г. чёрные крестьяне двух станов Пусторжевского уезда жаловались, что некоторыми деревнями и починками, приписанными писцом к их волостям в тягло, владеют земцы и ямщики и тягла с ними не тянут. Правительство отвечало, что если те деревни и починки писец действительно записал в один разряд с чёрными деревнями, они должны тянуть тягло вместе с последними по книгам, а если они записаны за земцами и ямщиками отдельно, не в числе чёрных деревень, или даны владельцам в поместье, эти владельцы должны и тягло с них тянуть отдельно. Но и в первом случае не предписывается отобрать земли у земцев; следовательно, они в этом случае должны были принять на себя крестьянское тягло, а во втором остаться вотчинниками или помещиками и нести соответственные повинности. И писцовые книги XVI в. указывают на отдельные случаи приписки земецких деревень к дворцовым волостям в крестьянское тягло и даже на целые сельские общества земцев, которые прямо и называются крестьянами [2]). Здесь земцы оставались землевладельцами, только на другом праве, из вотчинников превращались в тяглых владельцев казённой земли. Поземельное тягло было одним из юридических признаков, что владеемая тяглым человеком пахотная земля с принадлежащими к ней угодьями составляет собственность казны. Другим таким признаком, отличавшим преимущественно отдельные угодья, служил казённый оброк. Если собственник угодья не нёс с него ратной повинности, оно облагалось оброком и переставало быть вотчиной владельца. Уцелел документ, в котором описан повидимому случай применения такого московского порядка к новгородскому землевладению. В одной летописи читаем краткое известие, что в 1536 г. прислан был из Москвы в Новгород конюх государев Бунда с дьяком отписать у всех новгородских окологородских монастырей и городских церквей

---

[1]) *Временник*, XII, 64. Новг. Писц. кн. III, 73 и 75.

[2]) Доп. к А. И. I, № 57. Новг. Писц. кн. IV, 507.

пожни и отдать их „в бразгу, что которая пожня стоит, тем же монастырем и церковником“. Сохранилась отписная книга с подробным перечнем пожен, отписанных у церквей и монастырей по этому распоряжению московского правительства [1]). Из слов летописи и из этой отписной книги видно, что предположено было не фактическое отобрание сенных покосов у церковных владельцев, а изменение их юридического отношения к владеемым ими угодьям: пожни были „пооброчены на вел. князя“ и отданы в „оброк“ за немногими исключениями прежним владельцам, монастырские игуменам с братией, церковные причтам церквей; „та пожня, по обычному выражению документа, дана тое-же церкви попу с товарищи на весь причет церковный“. Это значит, что право собственности церквей и монастырей на отписанные пожни заменено было правом пользования по найму у казны, которая стала собственницей этих угодий. Но эта операция не ограничилась монастырскими и церковными пожнями. В том же документе помещён перечень ещё нескольких десятков пожен, которые в том же 1536 г. писал и метил Бунда с товарищами и оброчил на вел. князя. Эти пожни „косили монастыри и церковные люди и *земцы* и чёрные люди без найму“, и они теперь также отдавались в оброк большею частью прежним владельцам. При этом владельцы духовные и светские клали перед комиссией крепости, по которым они владели пожнями, „грамоты старые за свинчатыми печатми“, купчие своих прадедов, дедов и свои собственные духовные, закладные кабалы: очевидно, отписанные пожни принадлежали владельцам на праве собственности. Впрочем предъявление таких актов не было непременным условием обратного получения пожни в оброчное содержание прежним владельцем: пожня возвращалась ему и при отсутствии крепости, по факту владения; только при столкновении фактического владельца с претендентом по крепости пожня отдавалась последнему.

---

[1]) П. С. Лет. VI, 299. Писц. книга в Моск. Арх. Мин. Юст. № 707, л. 1 и сл.

Большинство владельцев отписных пожен—горожане из разных концов и улиц Новгорода, торговые и ремесленные *чёрные*, тяглые люди; земцы, отличаясь от них званием, ничем не отличаются ни в происхождении, ни в условиях как прежнего вотчинного, так и нового оброчного владения пожнями. Из всего этого следует, во-первых, что эти земцы по своим положенным в оброк пожням вступали в разряд чёрных тяглых людей или, точнее, их пожни были положены в оброк по их экономической и социальной близости, как мелких владельцев, к чёрным тяглым людям, и во-вторых, эта перемена в их юридическом положении произошла от замены местных новгородских источников права новыми московскими: в отписной книге 1536 г. прямо сказано, что отписывали пожни у тех монастырей и церквей, „у которых грамот великого князя жалованных нет и в писцовых книгах им не написано“, хотя у них и были на те пожни грамоты старые от времён новгородской вольности. Новые условия владения могли быть не под силу многим владельцам, и в отписной книге встречаем характерное известие об одном земце, который положил перед комиссией духовную грамоту на свою пожню „да пожни ступился“, отказал владеть ею, и она отдана была в оброк другому. Особым образом поступили с значительными земецкими вотчинами, принадлежавшими многим совместным владельцам, из коих каждый однако не был в состоянии отбывать службу с своей доли в полном размере: совладельцев, например, братьев, заставляли служить „по годом переменяяся“, или, пользуясь владельческой солидарностью сябров, одного из товарищей записывали в службу, а другим указывали ему „подмогать“ и в случае беспотомственной смерти таких помощников, их доли вотчины отдавали взамен подмоги тому, кто служил за них [1]). Так, одни из земцев стали тяглыми, а другие служилыми людьми, и последние по разрядным книгам уже с конца XV в. отбывали ратную службу с своих вотчин наравне с городовыми детьми боярскими и с по-

[1]) Новг. Писц. кн. IV, 539, 547 и 552.

мещёнными в Новгородской области. Но и у служилых земцев вотчинное право и самые вотчины уходили из рук по разным причинам, прежде всего политическим. Торжество московской власти в Новгороде и Пскове сопровождалось, как известно, обширной экспроприацией местного землевладения: бояр и других крупных вотчинников, как опасных людей для Москвы, массами переселяли во внутренние области, отписывая их отчины на государя. Земецкое землевладение также сильно пострадало при этом: новгородские писцовые книги конца XV в. в перечнях земель, отобранных на государя и розданных московским помещикам, называют множество земцев рядом с бывшими новгородскими боярами. Переход земецких вотчин в казну продолжался и в XVI веке: о многих землях, которыми ещё в конце XV века владели земцы, писцовые книги второй половины XVI века кратко замечают: „были деревни своеземцевы, а нынеча за государем". Потом надобно предположить в XVI веке какую-либо меру или ряд мер, превративших вотчины многих земцев в их же поместья. Такое предположение вызывается сравнительным изучением земецкого землевладения по писцовым книгам конца XV и конца XVI веков. Так книга Вотской пятины 1582 года, перечисляя порожние земли в Климецком и других погостах, называет их поместьями тех самых земцев или детей тех земцев, которые по книге 1500 г. владели ими, как вотчинами. Объяснить это превращение тем труднее, что оно не было общей мерой, лишившей всех земцев права вотчинного владения, и указания на вотчины земцев встречаем в писцовых книгах, хотя и не часто, до конца XVI века [1]).

Таким образом в продолжение XVI века класс земцев распался. Городские тяглые земцы во всех северных так называвшихся *поморских* городах удержали за собою право

---

[1]) Ср. Новг. Писц. кн. III, 75 и сл. и рукописную писц. кн. Вотской пят. 1582 г. в М. Арх. Мин. Юст. № 958, л. 8 и сл. Следы земецких вотчин в Новг. Писц. кн. IV, 547, в рукоп. писц. книгах того же архива № 967, л. 353, № 963, л. 532 и сл.

вотчинного землевладения в уезде; но и с этих вотчин они тянули тягло, и в XVII веке рядом указов таким тяглым землевладельцам из горожан запрещено было отчуждать свои деревенские участки нетяглым людям. Земцы, приписанные к сельским обществам, потонули в крестьянстве; но служилые земцы и в первые десятилетия XVII века ещё не слились с дворянами и детьми боярскими несмотря на своё сходство с ними в правах и обязанностях. Их верстали поместьями совершенно так же, как и детей боярских, иным назначали оклады даже крупнее чем иным из последних; они менялись поместьями с детьми боярскими, несли одинаковые с ними службы, подобно им могли иметь вотчины, входили в состав местных служилых корпораций; писцовые книги и десятни в своих перечнях и итогах считали их вместе с детьми боярскими; в просторечии их прямо так и называли. При всём том земцы сохраняли своё особое звание, не участвовали в чиновном движении детей боярских; при одинаковых с последними обязанностях их служба заключала в себе некоторые особенности, по которым она носила специальное название *земецкой службы*; „земецкие земли“ составляли как бы особый вид служилого землевладения, описывались в писцовых книгах отдельно от других поместных и вотчинных земель и их старались не мешать с последними, удерживая постоянно в руках земцев [1]).

Теперь можно несколько исправить взгляд автора на земцев. Прежде всего надобно различать земцев разных эпох.

---

[1]) Десятни в М. Арх. М. Ю. №№ 131 и 140 в разн. мест. *Времен.* Общ. И. и Др. Р. VI, 21. Доп. кн. А. И. I. №№ 140 и 52, VI. Корпоративная связь новгородских земцев с местными дворянами и детьми боярскими видна из того, что им по верстанью указывали „служить с пятиною вместе“ и что они бывали городовыми приказчиками, которых обыкновенно выбирало всё общество дворян и детей боярских округа. Десятня № 123, л. 29, 31 и 38. Слово *земцы* известно было и в других областях кроме Новгорода и Пскова. В Тамбовском краю по актам XVII в. так назывались и крестьяне и полковые козаки в смысле совместных владельцев земли или угодий и притом с значением туземцев-старожилов. И. Николева, Матер., относящ. к ист. Тамб. края (Тамбов. 1884).

Во времена независимости вольных городов это были большею частью мелкие землевладельцы-собственники преимущественно из горожан. Под московской властью значительная часть их слилась с сельскими или городскими обществами и звание земцев удержалось по крайней мере до половины XVII века только за теми из них, которые несли ратную службу. Эти последние составляли особый разряд служилых землевладельцев *туземного* происхождения среди переселённых из других областей дворян и детей боярских, не входили в их чиновную иерархию, хотя разделяли их права и обязанности. Значит, о земцах мы имеем не „очень мало сведений", как думает автор, и на основании этих сведений можем сказать, что земцы отличались от детей боярских, хотя и не стояли ниже их, и были не „какими-то", а обыкновенными областными или городовыми служилыми людьми, служившими с вотчин и поместий, и не „исчезли" к концу XVI века.

Изложив замечания об отдельных местах книги г. Чечулина, выскажем о ней общее суждение. Мы вполне согласны с убеждением автора в возможности полезного исследования, переработывающего только данные писцовых книг о городах XVI века. При этом надобно лишь избегнуть указанной самим автором опасности поставить своё исследование в излишнюю зависимость от одного источника. Для автора эта опасность заключалась в трудности установить отношение к вопросам, возбуждаемым писцовыми книгами городов, но не решаемым их указаниями. Чтобы устранить это затруднение, нужно было помощию критического изучения источника соразмерить постановку задачи со средствами, какие можно почерпнуть из него для её решения. Мы для того и остановились так долго на спорных или сомнительных местах книги г. Чечулина, чтобы яснее показать связь их с постановкой, какую автор дал своей задаче. Поставив себе целью разъяснить положение городов, как культурных центров, воспроизвести со всею возможной подробностью условия жизни городского жителя, трудно уже найти такую сторону городской жизни, обойти которую позволяла бы задача, так широко и

неясно определённая. Надобно было рассмотреть жизнь города во всей полноте её интересов и отношений, по крайней мере тех, которых касаются писцовые книги городов, а писцовые книги далеко не разъясняют всего, чего касаются, и не представляют достаточно данных для столь сложного и многостороннего изображения предмета. Описывая церкви, древне-русские писцы пересчитывали и книги, в них находившиеся; но точному определению „тогдашнего уровня умственного развития и знания“ едва-ли много поможет то, что в церквах некоторых городов автор насчитал по описям не менее 2000 книг (стр. 312). Побуждаемый широкими требованиями задачи, автор и ставил вопросы, для удовлетворительного решения которых не нашлось достаточно средств ни в самом источнике, ни в распоряжении автора. Между тем среди определений задачи, какие находим у автора в предисловии и введении, есть одно, наиболее соответствующее и свойству его основного источника, и самому плану его труда. „Наше исследование, пишет автор (стр. 12), есть, главным образом, собрание, группировка и разбор данных, представляемых писцовыми книгами“. В зависимости от этого некоторые вопросы он обещает разобрать весьма подробно, другие по недостатку сведений менее подробно, а третьих,— можно было бы прибавить,—и вовсе не касаться, как не входящих в состав задачи, так поставленной. Положительные результаты, которых добился автор и которые придают научную цену его книге, прямо отвечают именно на эту задачу. Перечислим теперь эти результаты. Они тесно связаны с планом исследования.

Автор поступил очень обдуманно и целесообразно, распределив свой материал географически, по местностям, а не по разным сторонам городского быта. Он разбирает сначала данные об отдельных городах и только в последней главе даёт общий разносторонний очерк городов. Сохранившийся запас писцовых книг XVI века дал автору возможность расположить в своём обзоре описываемые ими города полосами по направлению с северо-запада к юго-востоку. Автор рас-

сматривает сначала новгородские пригороды и г. Торопец вместе с Устюжной, потом пригороды псковские, торг и промысловые заведения г. Пскова, далее города ближайшие к Москве и наконец города по южной и юго-восточной окраине государства. Неожиданные сочетания в этой группировке в роде того, что Муром оказался в группе городов ближайших к Москве, а города, как Зарайск, Тула, Рязань, ближе лежащие к Москве, отнесены к окрайной группе, не повредили перспективе исследования. Наблюдая в каждой полосе количество городского населения, его общественный состав, численные отношения составных частей или классов, занятие и повинности городских жителей, землевладение, торговлю, ремёсла и промысловые заведения в городах, автор не только тщательно выбирал из своего источника черты, изображающие город со всех этих сторон, но и следил за тем, как во всех этих отношениях различались между собою города разных полос, и старался объяснить происхождение этих различий. Так помощью подробных, иногда микроскопических наблюдений постепенно обозначались в исследовании г. Чечулина местные типы городов. Итоги отдельных наблюдений над социальным составом, экономическим положением и местными особенностями городов сведены в заключительной главе сочинения, представляющей общий очерк положения городов в Московском государстве XVI в. Этот очерк и нам послужит основанием при перечислении главных выводов, к каким пришёл автор.

И в этом очерке повторены многие сомнительные положения, высказанные автором в предыдущих главах, некоторые даже усилены. Так автор повторяет своё предположение о переделах городской земли; только предположение здесь является уже доказанным выводом, „естественным и несомненным“ фактом, даже распространяется и на лавки (стр. 322 и 336). На основании описей только двух городов, Можайска и Коломны, автор решительно утверждает, что к концу XVI века „в центральных городах чёрных посадских людей почти уже не было“, хотя по цифрам самого автора, приве-

дённым выше, в своём месте его книги, выходит, что в Можайске в самом конце XVI века тяглых посадских людей считалось не менее 35% всего обозначенного в описи населения города [1]). Но отдельные положения такого рода не закрывают крупных результатов рассматриваемого труда. Ценным делом надобно признать прежде всего самое собрание писцовых данных о городах, которым значительно пополняется и проверяется существующее представление о предмете. Это представление отличается несколько отвлечённым, схематическим характером, что объясняется свойством памятников, на которых оно основано, преимущественно актов законодательных и распорядительных, указывающих больше норму, чем практику отношений. Имея дело с мало тронутыми и большею частью неизданными памятниками, автор, по его словам, считал необходимым „представить читателю по возможности весь материал, все цифры и данные", которые служили ему для того или другого вывода (стр. IV). Этот обильный статистический материал, хотя и рассеянный в тексте исследования, облегчая читателю возможность проверять и даже расширять выводы автора, вместе с тем даёт много конкретных подробностей, изображающих действительное положение русского города в XVI в. Целесообразная группировка этого материала у автора помогает читателю довольно отчётливо представить себе сравнительную населённость городов, степень сложности их общественного состава, наличность хозяйственных средств и напряжённость торгово-промышленного оборота. Притом автор не ограничивается сбором и группировкой писцовых данных, но по возможности разбирает и объясняет их. Он верно отметил особенность своего источника, сказав (стр. 10), что „в писцовых книгах

---

[1]) Именно 204 чел. из 570 (стр. 313, 157 и 158). К сожалению, здесь приходится ещё раз указать на неисправность корректуры у автора именно в цифрах, составляющих главный интерес его книги. По одной и той же описи в Можайске показано дворов посадских людей (на стр. 157) 116 и 85, а на стр. 173 — 205, в Коломне на стр. 156—11½ и 22, а на стр. 173—32½ дв.

во многих мелких замечаниях, в итогах, в разных определениях, встречающихся при одном и том же собственном имени, раскрываются иногда очень важные данные для решения разных вопросов". Если автор не всегда удачно решал такие вопросы, то он подобрал в писцовых книгах и сопоставил много любопытных указаний, облегчающих их решение. Таковы собранные им и частью объяснённые данные о городском дворовладении и землевладении, о городских обывателях, живших в чужих дворах, о значении дворников в осадных городских дворах (стр. 270 и сл.), о выходах из состояния тяглых посадских людей (стр. 285) и мн. др. Вообще благодаря вниманию, с каким автор вчитывался в изучаемые памятники и старался отмечать в них всякую даже мелкую черту, любопытную в каком-либо отношении, он успешно выполнил одну часть своей задачи, объяснил состав и занятие городского населения, не нашедши в своём источнике средств для выполнения другой части, определения культурного значения города. Особенно ценным результатом труда г. Чечулина надобно признать указание особенностей, какими отличались города разных полос (стр. 343—349). В этом отношении автор делит их на три группы: города северо-западные, центральные и города по южной и юго-восточной окраине. Достаточно отметить главные отличительные черты, указанные автором, чтобы оценить значение этой группировки. В северо-западных городах, собственно только в пригородах Новгорода и Пскова, автор отмечает однообразный, почти исключительно тяглый посадский состав населения, его усидчивость и определённость общественных отношений, преобладание земледелия в хозяйственном быту. Напротив, города центральные отличались бо́льшею пестротою социального состава, понижением процента тяглого посадского населения, значительным количеством лично-зависимых людей, подвижностью населения, выражавшеюся в усиленном бегстве отсюда посадских людей, и вместе бо́льшим развитием ремесленной деятельности на счёт хлебопашества. В городах по южной и юго-восточной окраине, име-

вших преимущественно значение крепостей, заметны усиление и даже преобладание военного элемента в составе населения, то же господство ремесла и торговли над земледелием, та же бродячесть сборного населения, неустановленность общественных отношений. Эти выводы не потеряют своей цены, если даже некоторые из них будут исправлены дальнейшим изучением. Во всяком случае, благодаря им уже нельзя покрывать одной характеристикой все города Московского государства, как иногда делали прежде. Потому автор имел право указание этих местных различий считать главным результатом своего труда (стр. 312).

Сочинение г. Чечулина—добросовестный труд, основанный на внимательном изучении мало тронутого источника, стоивший усиленной борьбы с трудностями этого источника и большой черновой работы над ним, дающий читателю не мало ценных, освещающих предмет выводов и ещё больше материала для выводов, могущих усилить это освещение. Думаем, что эти качества исследования, несмотря на некоторое несоответствие его задачи средствам и на признаки несколько поспешного его издания, дают достаточное основание удостоить книгу г. Чечулина искомой им премии.

Г. Рожкова «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке».

Рецензия В. О. Ключевского [1]).

Автор поставил целью своего исследования разрешение двух основных вопросов: 1) какова была техническая сторона сельско-хозяйственной промышленности, и 2) под какими влияниями слагалась сельско-хозяйственная производительность в Московском государстве XVI в. От обстоятельного разрешения третьего вопроса, входящего в состав темы, о влиянии сельского хозяйства XVI в. на общественный и государственный строй, автор отказался, ограничившись немногими случайными и общими замечаниями. Оба вопроса автор и разрешает в семи главах своего сочинения. Разделив во введении всю территорию Московского государства на шесть „естественных областей“ и описав климатические и почвенные их условия, он в первой главе исследует технику сельско-хозяйственного производства, систему земледелия и хозяйства в каждой области, во второй формы и размеры сельско-хозяйственного производства, барской пашни, земледельческого труда холопов, крестьянской запашки, отношение барщины и оброка и т. п., в третьей рассматривает цены на хлеб, скот и землю и изменения ценности рубля в XVI в., в четвёртой распределение продуктов сельско-хозяйственного производства между крестьянами, землевладельцами и государством, в пятой сельско-хозяйственный обмен, условия и

[1]) Отчёт о 44-м присуждении наград гр. Уварова. Спб. 1904.

размеры внутренней и внешней торговли сельско-хозяйственными продуктами, в шестой распределение населения, причины, направления и размеры колонизации, и, наконец, в седьмой главе распределение и мобилизацию земельной собственности, распределение земли по видам земельного владения во всех областях, влияние видов и размеров владения, равно как и мобилизации земельной собственности на хозяйство и условия, определившие историю форм и размеров земельной собственности.

По изложенному плану сочинения можно видеть, что автор вёл свою работу по очень широкой программе, в состав которой введены сложные вопросы, мало тронутые изучением и требующие для успешного разрешения обильного исторического материала, осторожного и тонкого анализа данных, не говоря уже о знакомстве с общими условиями и порядками сельского хозяйства в России, действовавшими до и после XVI века, отчасти действующими и доселе. Для исполнения своей обширной программы автор собрал очень обильный и разнообразный материал, извлечённый из печатных и особенно из неизданных источников. С этой стороны его нельзя упрекнуть в недостатке изучения: он старался не пропустить даже неопределённых указаний, какие находил по изучаемому предмету в старинных житиях русских святых, в известиях иностранцев, посещавших Россию и т. п. [1]). Основным источником послужили автору писцовые книги XVI в., изданные и особенно рукописные. Он широко пользуется и обширным собранием грамот Коллегии Экономии в Московском Архиве Министерства Юстиции. Писцовыми книгами XVI в. обильно пользовались, хотя и для других целей, раньше автора гг. Соколовский, Чечулин и др. Но можно без пре-

---

[1]) Так, подробно говоря о распределении лесов в России XVI в., он ссылается на карту России, составленную будто бы в конце XVI или в самом начале XVII в. для царевича Фёдора Борисовича, хотя на ней значится уже Иверский монастырь, основанный в 1653 г. (стр. 16). По этой карте рассеяны группы знаков, изображающие русские леса. Но это скорее картинка, чем географическая карта.

увеличения сказать, что неизданные писцовые книги конца XVI века, которых сохранилось около сотни, и грамоты Коллегии Экономии ещё не были предметом такого внимательного и широкого изучения, каким они являются в книге г. Рожкова. Тем более можно пожалеть об одном пробеле в этой книге.

По новости темы и важности дела читатель прежде всего надеялся бы найти в книге предварительный критический обзор по крайней мере этих основных её источников. Но такого обзора автор не даёт ему, обещая только в предисловии со временем обратиться к обстоятельному критическому изучению писцовых книг. Этим пробелом в книге создаётся немаловажное затруднение для её читателя. При самом начале работы перед автором должен был стать важный методологический вопрос об отношении плана предпринятого труда к материалу, каким мог располагать исследователь,—вопрос о том, выдержит ли этот материал все научные требования, какие вытекают из существа избранной темы в той постановке, какую дал ей автор. Вопрос этот может быть разрешён только специальным критическим разбором основных источников. После Неволина, Иванова и Калачова в писцовых книгах, как историческом источнике, очень многое выяснено трудами покойного Миклашевского и гг. Лаппо-Данилевского, Милюкова, Чечулина, Лаппо. И сам автор принял участие в этой работе, незадолго до издания своей диссертации напечатав в *Трудах* Археографической Комиссии Московского Археологического Общества (т. I, вып. 2) статью: „К вопросу о степени достоверности писцовых книг“. Но в диссертации о сельском хозяйстве в Московской Руси было бы желательно не разъяснение общего критического вопроса о степени достоверности писцовых книг, а специальная, как бы сказать, техническая установка способа, как следует их читать и понимать, чтобы пользоваться ими, как источником для истории народного и именно сельского хозяйства.

Писцовое дело в древней Руси имело свою технику, ещё не вполне выясненную, и в писцовых книгах не мало услов-

ностей, о которых можно спорить. Тем или другим решением этих спорных подробностей условливаются способы учёного пользования источником. Как составлялись обывательские „сказки“ для писца и по ним производился писцовый „досмотр“, как писец писал „по своему наезду“, когда „сказывались ему сами“, как составленные писцами книги сличались в Поместном приказе с подлинными сказками и почему между ними оказывались несходства—все моменты и приёмы писцового дела надобно выяснить читателю, чтобы он не затруднялся понять, почему исследователь пользуется писцовыми книгами так, а не иначе, какое значение придаёт извлекаемым из них данным. Если бы для выяснения всего этого в писцовых книгах XVI в. не нашлось достаточных указаний, можно обратиться к XVII веку, потому что основные приёмы и цели дела оставались прежние, хотя обстоятельства, при которых составлялись позднейшие писцовые книги, были иные, по замечанию автора в упомянутой его статье.

Писцовые книги—это книги „сошного письма“, а сошное письмо не совсем кадастр или кадастр, как его понимали в древней Руси. Внимание писца было обращено не на точное определение совокупности наличных хозяйственных средств, даже не на определение тягловой „мочи“ податных сил, а на поддержание или подъём прежнего уровня фискальной доходности описываемого податного округа, на то, чтобы в государевых податях перед прежними писцовыми книгами ничего „не убыло“, а по возможности „прибыло“. Писец высчитывал условные окладные единицы, а не действительные платёжные силы. Эти окладные единицы, *сохи* с их подразделением—*вытями*, высчитывались чисто математически, по пространству „пашни паханой“, без внимания к колебаниям в хозяйственном положении плательщиков; вследствие того обложение иногда оказывалось непосильным, и целые деревни пустели „от государевых податей и от тяжелые описи“. Условность писцового кадастра увеличивалась ещё тем, что в состав этой пашни паханой, числившейся при дворах „в живущем“, т.-е. в тягле, не вводилась пашня „наезжая“ на

стороне, в лесу, в „диком поле“ или неокладных пустошах, где такие угодья были, а этой наезжей, так сказать, сверхштатной пашни в иных местах было на много больше живущей, окладной, тогда как в других она совсем отсутствовала. При таких приёмах описи и оклада писцовые сохи и выти теряли характер действительных хозяйственных величин, а становились счётными окладными единицами, напоминающими ревизские души Петра Великого. Неизбежная при таком порядке неравномерность обложения могла быть устраняема или облегчаема только мирской раскладкой „по силе“, по сравнительной тягловой способности каждого тяглого двора.

Такие недостатки или неудобства писцового дела подавали немало поводов к ошибкам и злоупотреблениям со стороны писцов, к разнообразным изворотам со стороны плательщиков. Возможны были и в XVI веке случаи, подобные тому, о котором доносил кн. В. В. Голицыну приказчик его Боев: писец „раденьем“ своего помощника отмежевал сыну князя вместо указных 450 четвертей целых 1000 четвертей. С другой стороны, из одного акта начала XVII века узнаём, что „*прожиточные крестьяне* горланы с себя убавливали пашни, с выти стали жить на полвыти или на трети, не хотя государевых податей платити, а те свои доли намётывали на молодших людей, а вместо той своей пашни пашут на пустошах и сено косят на пустых долях“. Казна в свою очередь изощрялась в мерах противодействия этим ухищрениям, предписывала крестьянам тяглых пашен с себя не сбавливать, платить с своих вытей „по животом и по промыслом“, а пустые выти отдавала крестьянам пахать из четвёртого либо пятого снопа, смотря по пашне, а сено косить из денежного найму. При таких отношениях писцовое дело было ареной двойной борьбы плательщика с писцом и казной и казны с писцом и плательщиком. При чтении такого крупного и научно-интересного по новизне предмета труда, как исследование г. Рожкова, надежда найти в нём сравнительно-критическую оценку возможных способов проверки писцовых книг является не требованием „строгого судьи“, о котором гово-

рит автор в предисловии, а скромным желанием читателя, которому хотелось бы освоиться с любопытным, но довольно запутанным материалом, положенным в основу работы. Для самого писца при господстве у него фискальных целей наиболее энергичным коррективом должно было служить сличение скоплявшихся в его руках данных с прежними книгами: если его опись давала значительный минус, понижение окладного дохода, предстоял „дозор", ревизия, своего рода следствие над писцом и плательщиками. Но дозорщик был такой же писец, как и тот, кого проверял и поправлял он. Потому казна по крайней мере в XVII веке не вполне полагалась на ревизионный способ обеспечения своего интереса и искала опоры в религиозно-нравственном средстве. По государевым указам и боярским приговорам 1648 и 1649 гг., подтверждённым в 1687 г., в делах о поземельных дачах старым приправочным и платёжным и даже старым писцовым книгам до 1622 г. верить не велено, „а велено верить писцовым книгам с 130 (1622) году, потому что писцы посыланы были за крестным целованием" [1]).

Автор, по его собственному признанию в предисловии, нашёл себя вынужденным отказаться от специального критического изучения писцовых книг „с целью уменьшить размеры исследования" и ограничился в одном из приложений указаниями на неправильное вычисление лесных площадей писцами XVI века и на ошибочность их итогов, а потом библиографическими замечаниями об отдельных писцовых книгах XVI века, весьма полезными для будущих исследователей этих памятников (стр. 500—507). Но в писцовых книгах остаётся ещё много такого, что требует предвари-

[1]) Этот строгий приговор, кажется, имел в виду преимущественно дозорные и другие книги, составленные в Смутное время и в начале царствования Михаила, до указа 12 марта 1620 г., который говорит о неправильном захвате по этим книгам дворцовых и чёрных земель. Временник Общ. Ист. и Др. Росс. кн. 20: Список с приказных дел, стр. 129 — 131. Указан. кн. Поместн. прик. в VI кн. Описания док. и бум. Моск. Арх. Мин. Юст., стр. 54.

тельного детального объяснения, без которого неизбежны недоразумения. Прежде всего этого требует лексикология писцовых книг. Чем, например, отличался лес *повёрстный* от *десятинного* или что значил лес *пашенный*, назывался ли он так потому, что вырос на заброшенной пашне, или потому, что в нём распахивалась пашня (выражения писцовых книг: „пашни перелогом и лесом поросло“, „лесу пашенного десять *нив*“)?

На отдельном примере можно видеть неудобства, порождаемые указанным пробелом в книге автора. Во второй главе он высчитывает размеры крестьянской запашки на двор и рабочего в шести областях, на которые он разделил Московскую Русь в сельско-хозяйственном отношении. Собранные им из разных источников данные за весь XVI в. о размерах крестьянской пашни, о количестве крестьянских дворов, её пахавших, и численности рабочего земледельческого населения их он свёл в таблицу (стр. 148 — 151). Из этой таблицы видим, что за сравнительно незначительными исключениями на крестьянский двор приходилось всего по одному земледельческому рабочему: именно на 14226 дворов по этой таблице приходится 14821 рабочий, т.-е. по 1,04 рабочему на 1 двор. Внимание невольно останавливается на такой статистической неожиданности. Мы привыкли думать, что личный состав русского крестьянского двора впродолжение веков всё сокращался, а теперь оказывается, что три-четыре века назад он пожалуй был даже малолюднее нынешнего, в котором статистики считают средним числом около $1^1/_2$ взрослого работника (от 18 до 60 лет [1]). Дело объясняется условной техникой писцовых книг, о которой была речь выше. Эти книги, перечисляя тяглые дворы, поименовывают и „людей во дворе“, обыкновенно одного человека, реже двоих, весьма редко больше. Автор и принял этих людей „во дворе“ за единственных рабочих, предполагая или заставляя думать, что

---

[1]) Г. Фортунатова, Сельско-хозяйственная статистика Европ. России, стр. 105—110.

ими ограничивалось всё взрослое мужское население крестьянского двора XVI века. Но это только домохозяева. Рабочий состав двора был сложнее.

Автор не рассматривает подробно состава крестьянского двора XVI века, касаясь этого предмета по частям и мимоходом. Между прочим, описывая „формы сельско-хозяйственного производства“ в северной полосе, он говорит о *складниках*, *соседях* или *сябрах* (стр. 166 и сл.). Он видит в соседях тех же складников, членов землевладельческих товариществ. Но между теми и другими, между соседями и складниками, была существенная разница. Прежде всего надобно отметить, что слово *соседи* уже к концу XVI века, даже раньше, начало приобретать значение людей, живущих рядом: в таком значении, единственном, оставшемся за ним впоследствии, является оно и именно рядом со складниками в так-называемом *Судебнике* царя Фёдора Иоанновича 1589 г. (Сборн. Моск. Арх. Мин. Ин. Дел. вып. 7), по статье 225 которого „суседи“ — не все складники, а только живущие в смежных дворах. С подобным значением встречаем это слово и в Псковской Судной Грамоте. Но кроме этого топографического значения *сосед* в старину имел ещё значение хозяйственно-юридическое, отличное от *складника*. Складник—товарищ-приобретатель: первоначальная основа складничества—приобретение земельного владения в складчину. Сосед—участник в готовом земельном владении или хозяйстве. Совместно приобретённым владением складники могли владеть совместно или раздельно: это было делом их доброй воли; со временем складники-приобретатели заменялись людьми, к которым их владельческие права переходили путём наследования или отчуждения. В том и другом случае владельцы продолжали зваться складниками, совладельцами, так как даже при раздельном владении пашней угодья и даже хозяйственные постройки оставались в совместном или долевом пользовании. Сосед — участник в чужом владении по соглашению с владельцем. Предмет соглашения—сотрудничество в несении податных тягостей, лежащих на владении, и участие в его обра-

ботке и эксплоатации. По отношению к составу двора разница была ещё в том, что складники обыкновенно жили особыми дворами, а жильё соседа причислялось к двору хозяина. В описании Западного Полесья автор упоминает ещё о *захребетниках*, видя в них наёмных рабочих, батраков (стр. 192). Но захребетниками бывали и отцы за своими сыновьями, которым они сдали свои участки. Притом в той же переписной книге Шелонской пятины 1498 г., в которой автор насчитывает до 15 захребетников, некоторые из них являются не бездомными батраками, а людьми, живущими в особых, повидимому, своих собственных дворах, наряду с крестьянами-дворовладельцами: это явление, очень редкое, следовало бы объяснить [1]).

Соседи и захребетники при домохозяевах—это не все рабочие элементы крестьянского двора, в состав которого входили ещё сыновья домохозяев, их братья, племянники, зятья, также *подсоседники*. Переписные книги XVII века, перечисляя все эти составные элементы двора, разделяют их на два разряда: 1) на „людей во дворах", и 2) на их детей, братьев, племянников, соседей, подсоседников и захребетников. Конечно, не везде в состав крестьянского двора входили все эти элементы. В иных местах чаще встречаются соседи и подсоседники, в других захребетники. Предстоит изучить географическое распространение этих званий с их местными значениями. Людей второго разряда по местам значительно больше людей первого, иногда вдвое, втрое и даже более, так что на двор приходилось круглым числом иногда до пяти и более человек и притом только взрослых работников (с 15 лет), кроме „недорослей", которые перечислялись особо. Встречались на Севере, в Архангельском краю, крестьянские дворы с мужским взрослым населением свыше 10 чел. и всё родственников. Писцовые книги XVI века в перечнях дворов поименовывают только людей первого разряда, как лиц, которые принимали на себя ответственность за исправное

[1]) Новгородские писцовые книги, IV, 37 и 38.

отбывание тягла, лежавшего на дворе. Эти люди так и назывались „тяглыми и письменными", записанными в тягло по книгам. Если в этих письменных людях писцовых книг предположить всё рабочее мужское население крестьянских дворов, трудно будет объяснить некоторые явления в тогдашнем земледельческом хозяйстве. По этим книгам нередко во главе крестьянских дворов оставались вдовы крестьян; такие дворы так и назывались „вдовьими". За этими дворовладельцами надобно предполагать настоящих земледельческих работников, какими и являются при них в переписных книгах XVII в. их сыновья и „соседи". Или по книге Тверского уезда 1540 г. в починке Стопкине двое в одном дворе пахали всего три десятины, а в починке Иванове один двор с одним записанным в нём жильцом обрабатывал 27 десятин, в деревне Титунове два двора, с одним жильцом каждый, были в состоянии пахать даже 75 десятин [1]). Действительный рабочий состав этих дворов едва ли мог соответствовать числу людей, какое показано в них писцовой книгой.

Другой вопрос и, кажется, ещё недостаточно выясненный доселе, — почему, по каким признакам некоторые обыватели двора заносились в писцовую книгу, как лица ответственные за двор, и в чём состояла их ответственность? Характерный случай в этом отношении встречаем в писцовой книге того же Тверского уезда 1580 г. [2]). В селе Едиманове один крестьянин, сидевший на чети выти, должен был платить всякие подати ещё с $^1/_8$ выти, доли своего зятя, „с пуста, и от того охудал и одолжал", а потому писцы дали ему на эту долю льготы на 2 года. Если крестьянин оплачивал запустевшую долю своего зятя, значит, зять жил во дворе тестя, от него „не в отделе". Очевидно также, что тесть не в состоянии

---

[1]) Калачова, Писцовые книги XVI в. I, отд. 2, стр. 69 и 71. Ср. Труды Археогр. Ком. Моск. Археол. Общ. II, вып. 1, 157: I таблица г. Иванова.

[2]) Калачова, Писцовые книги I, отд. 2, стр. 318. Случай этот отмечен и в труде г. Лаппо „Тверской уезд в XVI в.", стр. 49. Чт. в Общ. Ист. и Др. Росс. 1894 г. кн. IV.

был сам обрабатывать зятней доли; следовательно, зять, живя с ним в одном дворе, обрабатывал свою шестину своими средствами, своим инвентарём, имел своё земледельческое хозяйство и, вероятно, свою избу на дворе тестя. Если тесть и зять, составляя один двор, не совместно обрабатывали подворный участок, а разделили его на особые доли и однако тестю пришлось через силу оплачивать опустевшую долю зятя, как свою собственную, значит, этот раздел был делом их частного соглашения, а не обязательством, положенным на них казной или сельским миром. Они сообща взяли в своё держание или „владение“ участок в $^5/_{12}$ выти, оба были записаны в книгу, как люди *письменные*, совместно-ответственные, разделили участок между собою на неравные доли по силе каждого, и когда одного совладельца не стало, ответственность за совместное обязательство вся перешла на другого, который остался „в лице“. Так повидимому было дело.

Всё это вводит в туманный круг хозяйственных и юридических отношений, какие устанавливались между составными элементами крестьянского двора, и показывает, как важно выяснение этих отношений для понимания строя тогдашней сельско-хозяйственной жизни. Эти отношения вскрываются и с другой стороны. Неписьменные обыватели двора, как люди вольные, могли свободно выходить из состава. Для людей письменных правительство стесняло свободу передвижения уже во второй половине XVI в. Землевладельцам, заселявшим свои земли, запрещалось принимать к себе людей тяглых и письменных, а принятых велено было возвращать по требованию местных властей на старые места. Разрешалось перезывать от отцов детей, от братьев братью, от дядей племянников; но в одной грамоте встречаем любопытную прибавку к этому перечню: „и от сусед захребетников“ [1]). Из этого неясного выражения можно однако заключить, что самих „суседов“ нельзя было перезывать; стало быть, они вообще

---

[1]) Льготная на вотчину И. Нагово 1575 г. в Сборн. грам. Тр.-Серг. монастыря № 530, л. 1000.

считались людьми письменными и составные элементы двора, представляли своего рода иерархию, степени которой различались хозяйственным и юридическим отношением к главному дворохозяину, мерой участия в его землевладельческом хозяйстве и уровнем собственной хозяйственной достаточности.

Указанные неудобства исследования произошли от недостаточно осторожного отношения исследователя к основным своим источникам; другие вышли из отношения этих источников к задачам, какие он решает на их основании. Повидимому автор приступал к работе над своими источниками с полным подробно разработанным планом труда, по отделам которого и распределял встречавшиеся данные. Это помогло ему внести в своё исследование цельность и твёрдость взгляда на предмет, стройность и последовательность развития темы. Но при этом он принуждён был бороться с затруднением, вытекавшим из свойства материала, над которым он работал. Давая обильные или, по крайней мере, достаточные указания по одним, более простым отделам программы, например, о размерах барской, холопьей и крестьянской записки или о внутренней и внешней торговле хлебом, этот материал оказывался недостаточно способным отвечать на трудные научные вопросы, с какими обращался к нему автор в других отделах. Писцовые книги, сохранившиеся от XVI в., не обнимают с достаточной равномерностью ни всего этого столетия, ни всей территории Московского государства, а грамоты Коллегии Экономии, равно как и другие акты, которыми пользовался автор, дают отрывочные, случайные указания, по которым трудно делать надёжные широкие обобщения и которые могут входить только мозаическими подробностями, как частичные дополнения и иллюстрации, в общее изображение предмета по писцовым книгам. Таким источникам могут оказаться не под силу слишком сложные или глубокие вопросы, требующие некоторой широты и полноты наблюдения.

Приведём один пример. Изложив известия о климате Московской Руси XVI в., автор приходит к заключению, что

„эти известия не дают оснований для предположения о более или менее значительных переменах в климате с XVI ст. до нашего времени". Одним из обстоятельств, которые „могли способствовать некоторым отличиям древне-русского климата от современного", он признаёт обширные лесные пространства, теперь сократившиеся (стр. 7).

Чтобы вопросу о влиянии лесистости страны на её климат дать научно-ценное решение, исследователю необходимы данные, которые указывали бы достаточно точное количество лесов на значительном сплошном пространстве. „Нет сомнения,—пишет автор, приступая к исследованию лесов Центральной области,—что здесь была очень значительная территория, почти столь же бедная лесами, как и теперь". Такою территориею онъ признаёт 15 уездов, группировавшихся около Москвы и отчасти к северу и северо-западу от столицы, да один уезд к северо-востоку от неё—Юрьево-Польский. Но приводимые автором наблюдения доказывают даже больше того, что он утверждает: оказывается, что эта территория была не почти столь же скудна лесами, как и теперь, а много скуднее теперешнего. Так в писцовой книге 1584—1586 гг. въ 11 станах Московского уезда на 172 тыс. десятин поместных и вотчинных земель по счёту автора леса показано всего 5137 десятин, что составляет 2,9% (стр. 8) [1]). Пространство описанных в книге частновладельческих земель в этих станах равняется почти 0,72 нынешнего Московского уезда (240 тыс. десятин). Между тем по данным 1881 г. в этом уезде значилось 108 тыс. десятин, т.-е. по пропорции 72 к 100 в 15 раз больше, чем триста лет назад. Очевидно, здесь или какой-нибудь недосмотр, или неудачный выбор исключительной местности, которая по своей исключительности не доказывает никакого правила. Вероятнее последнее: в этих 11 станах, составлявших немного менее 72% всей площади нынешнего Московского уезда, тогда пашни значи-

[1]) Об этой писцовой книге см. замечание Указн. книги Поместного приказа (по изд. г. Сторожева, стр. 79).

лось по счёту автора 163 т. десятин, а в 1881 г. во всём Московском уезде распахивалось только 66 тыс. дес. [1]). Итак автору подвернулась местность исключительная, по тому времени перенаселённая. В приложении I автор свёл в таблицу дополнительные сведения о размерах лесов в XVI в. по 11 уездам разных полос, в том числе и по Московскому (стр. 478 и сл.). Об этой таблице он говорит в тексте (стр. 9): „целый ряд мелких наблюдений над отдельными имениями частных лиц подтверждает, что в Московском уезде XVI в. лесу было мало". Эти слова надобно понимать так, что наблюдения над отдельными частными имениями подтверждают скудость леса в частных имениях Московского уезда, а не в Московском уезде вообще, что не одно и то же. Неудобство этого рассчёта в том и состоит, что он построен на мелких наблюдениях только над 20 мелкими частными имениями Московского уезда, которые своими лесами ничего не могут сказать на общий вопрос о количестве леса даже в частных имениях того же уезда, потому что все в совокупности заключали в себе всего 3195 дес. на 163 тыс. пахотной земли и 314 дес. на 5137 дес. леса во всех частных имениях 11 станов уезда по книге 1584—1586 гг., как считает сам автор. Слишком тесно поле наблюдения, чтобы из столь малых величин делать такие крупные выводы. Надобно припомнить обширные лесные рощи для царской охоты и царские заповедные леса, которыми исстари окружена была Москва, также рассеянные в разных местах царские „дикие" и „вопчие" леса, в которые окрестные обыватели могли въезжать „для хоромного и дровяного лесу про себя, а не на продажу". Все эти казённые лесные площади или совсем не попадали в писцовые книги, или отмечались писцом глухо, без точного измерения, тем не менее влияли на климат страны, как и на хозяйство окрестных крестьян и землевладельцев.

Таким же способом определено процентное отношение леса и в уездах Звенигородском, Рузском, Верейском, Волоколам-

---

[1]) Статист. Временник Росс. Империи, сер. III, вып. IV, стр. 24.

ском, Дмитровском, Тверском, Кашинском и в остальных из тех 16 уездов, которые составляли скудную лесом территорию Центральной полосы и которые автор называет „почти безлесными местностями московского центра“: всюду здесь процент лесной площади у автора ниже выведенного по данным 1881 г. иногда во много раз. Трудно сказать, можно ли по лесам на землях Троицкого и Новодевичьего монастырей в Кашинском уезде заключить, что в этом уезде „под лесом было только 0,9% всей площади“, т.-е. в 22 раза меньше, чем в 1881 году: количество монастырских лесов, как и отношение монастырских земель ко всей площади уезда у автора не обозначено (стр. 12). В общем выводе о распределении лесов автор говорит, что „только довольно значительная местность в Центре и в Степи по лесистости подходила к современным условиям“ (стр. 33). Казалось бы, по отношению к Центру автор шёл к другому выводу в том смысле, что эта полоса по лесистости далеко не подходила к современным условиям, как страна „почти безлесная“. На всём остальном громадном пространстве страны автор находит „настоящее лесное царство“, и здесь мозаически собранные данные и процентные выводы подтверждают взятое на глаз общее впечатление тогдашних наблюдателей. Но опыт автора с лесами показал также, что источники XVI в. при их настоящей обработке не в состоянии дать более точного ответа на вопрос о количестве и географическом распределении лесов в Московской России.

То же затруднение чувствуется и при решении других вопросов. Автор видит в наезжей пашне и перелоге признаки упадка, „регресса“ земледелия (стр. 64). Но они не всегда имели такое значение. Наезжая пашня иногда является следствием не ухудшения хлебопашества, а перемещения хлебопашца: крестьянин переходил в соседнее селение, но не покидал своего участка, продолжая пахать его наездом. Чаще такая пашня была признаком не упадка, а зачатка земледелия там, где его не было, или средством его поддержания там, где оно падало: наездом или разрабатывались пустоши, или обрабатывались доли, покинутые прежними работниками.

Увеличивался рабочий состав двора, а вместе с ним и рабочий инвентарь: распахивалась по близости пустошь, на которой потом садился „на льготе“ отделявшийся сын от отца, либо брат от брата и т. п. Тогда „пустая пашня, паханная наездом“, превращалась в жилой починок или деревню. Вообще наезжая пашня вызывалась потребностью расширения или передвижения крестьянского труда, обыкновенно не понижая сама по себе его техники, и сам автор на 226 тыс. десят. нормальной пашни в Коломенском уезде мог найти не более 49 дес. наезжей пашни „в одном поле“ без правильного трёхпольного севооборота. Неправильность наезжей пашни была не столько агрономическая, сколько юридическая: пользование ею было фактическое, не нормированное законом, и, как мы видели выше, подавало повод к злоупотреблениям. Мысль о её нормировке встречаем в так-называемом Судебнике царя Фёдора Иоанновича: одна статья этого проекта дозволяет пахать деревню наездом не долее 3 лет, а потом такая деревня должна быть сдаваема законным порядком „с суда и с жеребья“. В связи с наезжей пашней рос и перелог. Автор видит благоприятный признак в том, что на монастырских и митрополичьих землях Костромского уезда в 1562 г. было мало или совсем не было ни наезжей пашни, ни перелога, и признаёт некоторым ухудшением „системы земледелия“ появление первой и увеличение второго к концу века (стр. 61). Но в этом можно видеть и другое: к 1562 г. у поселенцев или их ближайших преемников ещё не успело накопиться много выпаханной пашни, требовавшей отдыха, а 30—40 лет спустя у монастырей Троицко-Сергиева и Ипатьевского образовалось перелога гораздо больше, чем сколько прежде было пашни паханой; появился и „наезд“, пробная разведка будущих поселений и распашек. Зато и пашня паханая и наезжая в этот промежуток времени у первого монастыря увеличилась почти в 4, а у второго почти в $2^1/_2$ раза; излишек был распахан либо из под старого монастырского леса, либо из новых приобретений обоих монастырей: очевидно, крестьянам

здесь было что забрасывать под перелог и было что распахивать вновь. Едва ли в этих успехах монастырского земельного хозяйства можно видеть какое-либо ухудшение системы тогдашнего земледелия.

Руководясь своим взглядом на перелог и наезжую пашню, автор замечает в двух уездах, Нижегородском и Коломенском, „прогрессивное движение сельско-хозяйственной промышленности, постепенно усиливающееся к концу века“ (стр. 65). В половине XVI в. хозяйство в Нижегородском уезде находилось „в совершенном расстройстве“. Об этом автор заключает из того, что в 1554 г. деревня Гнилица с 9 дворами всю свою пашню пахала наездом, в одном имении Благовещенского монастыря вся земля 975 дес. была в перелоге, а в 1576 г. во владениях Печерского монастыря пашни было 600 дес., а перелогу 1650 дес. Но Гнилица была оброчная бортная деревня: ей отведён был дворцовый бортный лес, за который она и платила оброку в год по 2 пуда мёду, и не было отведено ни одной десятины тяглой пашни; она уже сама расчистила себе в своём лесу наезжей, нетяглой пашни, сколько ей было надобно. А 2625 дес. перелога у монастырей Благовещенского и Печерского если и показывают совершенное расстройство хозяйства, то только у этих монастырей, а не во всём уезде, в котором и при нынешних его пределах считается до 200 тыс. десятин земли. Тем не менее, по словам автора, к концу века „уезд ушёл далеко вперёд“. В чём же это обнаружилось? В 1587 г. в дворцовых, бортных и мордовских сёлах на 6382 дес. пашни оказалось в $4^1/_2$ раза больше перелогу и нашлось только одно имение, где „торжествует“ уже лучшая система: „при 192 дес. пашни на перелог приходилось здесь только 150 дес.“. Сам автор принуждён признаться в заключение, что „по отношению к Нижегородскому уезду может быть речь только об относительном улучшении земледельческой культуры в сравнении с явлениями, наблюдаемыми в половине столетия“. Зато в Коломенском уезде „высокое состояние полевого хозяйства в конце столетия ясно и само по себе“: у Троицко-Сергиева монастыря

на 1317 дес. пашни приходилось залежи только 652 дес., а в одной чёрной волости ещё в 1561 г. при 5179 дес. пашни было лишь 22 дес. перелога. Но итог по всему Коломенскому уезду (по книге 1578 г.) совсем разрушил это высокое состояние: наезжая пашня и перелог почти в $3^1/_2$ раза превосходили тяглую пашню, которой было 51186 дес., и этот „несравненно менее благоприятный вывод“ едва ли смягчается тем, что автор вычитает из неблагоприятного итога бо́льшую половину перелога и почти всю наезжую пашню, так как то и другое значится в пустых вотчинах и поместьях: от этого наезжая пашня не переставала быть наезжей, а перелог перелогом. Так наглядно обнаружилась опасность крупных выводов, сделанных из бесконечно-малых величин. Числовое данное только при известной количественной высоте или при известном отношении его, как части, к своему целому перестаёт быть случайностью и становится фактом.

Автору поневоле приходилось прибегать к выводам, столь шатко обоснованным: к тому приводило свойство его источников и тех научных запросов, с которыми он к ним обращался. В писцовых книгах и отдельных грамотах, уцелевших от XVI в., исследователь сельского хозяйства находит дефективные, отрывочные данные, недостаточные для полного изучения предмета, и принуждён рассматривать явления сквозь этот тусклый просвет, не дающий им всестороннего освещения. Эта неполнота материала иногда вынуждала автора случайные местные явления возводить в общий факт, предположения в положения, из недостаточных данных делать решительные выводы. Приступив к работе с готовой схемой, построенной из общих политико-экономических и сельско-хозяйственных представлений, автор усиленно искал осуществления этой схемы в строе русской сельско-хозяйственной жизни XVI в., ловил в источниках малейшие признаки, намекавшие ему на искомый процесс, и видел движение взад или вперёд, „регресс или прогресс“ сельско-хозяйственного производства там, где имел дело только с известиями о несходных местных условиях или положениях сельского хозяй-

ства,—вообще шёл не от данных к выводам, а от предположений к данным.

Такой способ исследования, частию вынужденный, отразился на ходе изучения факта, составляющего едва ли не центральный пункт диссертации и изложенного во втором её тезисе (стр. 473): в центральных уездах государства в первой половине XVI в. господствовала „паровая зерновая“ система земледелия с незначительным количеством залежи (менее половины пахотной земли) и с трёхпольным севооборотом, а в последнем тридцатилетии XVI в. в уездах, занимавших средину и северо-запад Центра, как и в большей части Новгородско-Псковской земли (Западного Полесья), получает преобладание переложная система полевого хозяйства [1]). Этот тезис автор признаёт „чрезвычайно важным выводом“, в констатируемом им факте видит „земледельческий регресс“, и мысль о его причинах не покидает его на всём протяжении исследования: в конце первой главы он замечает, что этого регресса нельзя объяснить ни техническими требованиями скотоводства, ни одними естественными условиями этих областей, в конце второй—что сокращение дворовой крестьянской запашки, замечаемое в одно время с переходом к переложной системе в Центре и Западном Полесье, не зависело от уменьшения населённости двора, в конце четвёртой—что причин упадка благосостояния крестьян, бывшего следствием этого сокращения, надо искать не в государственном обло-

[1]) По отношению к Центру этот тезис для нас не совсем ясен. Изложение его на стр. 67 показывает, что по краям этой области на севере, западе и юго-западе одни уезды (Можайский, Верейский, Ржевский, Серпуховской) „представляли мало утешительную картину“, а в других (Бежецком, Кашинском, Угличском, Новоторжском, Зубцовском) наряду с переложной системой заметна „нередко“ и паровая-зерновая, хотя в таблице на стр. 70—71 отмечено только два случая второго порядка из 18-ти—в уездах Угличском и Зубцовском, всего на $778^{1}/_{2}$ десятинах. Но немного ниже сказано, что все эти уезды представляли из себя сплошной полукруг „с преобладанием паровой-зерновой системы“, а окончательная редакция тезиса констатирует на северо-западе Центра „преобладание переложной системы“.

жении и не в росте землевладельческого оброка, в конце пятой—что и не в условиях торговли следует искать причин упадка сельско-хозяйственного производства в тех областях. Наконец, изучение вопроса о распределении населения и о колонизации в шестой главе приводит автора к тому основному положению, что „населённость Центра и Западного Полесья в течение века постепенно и неуклонно слабела“, но что запустение этих областей, бегство населения является только „подкладкою земледельческого регресса“, а не его причиной. Чтобы найти эту причину, „надо идти дальше, поискать разрешения вопроса о причинах са́мого отлива населения“ (стр. 128, 200, 265, 290 и 365).

Так перед исследователем становится ряд одновременных явлений, в которых проявлялся один общий процесс народнохозяйственной жизни: отлив населения из двух старых областей, упадок системы земледелия, сокращение крестьянской запашки и тесно связанное с ним расширение барской пашни и холопьего земледелия. Оставалось найти внутреннюю связь между этими явлениями, выяснить, что здесь было причиной и что следствием. Изыскивая эту причину в последней главе, автор прибавляет к перечисленным явлениям ещё одно—постепенно усиливающееся прободание поместного и монастырского землевладения. В этом преобладании он и видит непосредственную причину упадка сельско-хозяйственного производства, оба эти вида земельного владения признаёт „вредными в сельско-хозяйственном отношении“ (стр. 455).

Наиболее характерными симптомами упадка земледелия автор признаёт сокращение средней запашки на крестьянский двор и рост перелога. Первый признак иллюстрируется таблицей, представляющей ход этого сокращения на монастырских землях Центра и Западного Полесья с 1552 г. до конца века (стр. 148—151). С методологической стороны таблица эта не совсем понятна. Чтобы показать постепенное уменьшение крестьянской пашни, следовало проследить его на протяжении ряда лет по нескольким уездам в одних и тех же местностях или имениях. Таблица построена на другом осно-

вании: она берёт за известный год вотчины одного монастыря в одном уезде, за другой год вотчины другого монастыря в другом уезде и т. д. Из того, что на 199 десятинах Толгского монастыря в Ярославском уезде приходилось в 1556 г. по 16 десятин на крестьянский двор, а в боровской вотчине Троицко-Сергиева монастыря в 1594 г. на 579 десятинах всего по 4,8 десятины на двор, не следует, конечно, что в эти 38 лет соразмерно тому сократилась крестьянская запашка и в Ярославском, и в других уездах Центра, и не только на монастырских, но и на других землях. В иных уездах, например, в Переяславльском по таблице, одновременно существовали и крупные, и мелкие нормы подворной запашки от 18 до 7 десятин на двор. Разнообразная величина запашки могла зависеть от местных условий уездов и отдельных имений, не указывая на постепенное общее её понижение. К другому признаку упадка относится таблица, показывающая отношение перелога к пашне (стр. 452—454). По замечанию автора, эта таблица убеждает, что за редкими исключениями сельско-хозяйственное производство находилось в лучшем состоянии на церковных (принадлежавших отдельным церквам), дворцовых, чёрных землях и в служилых вотчинах, чем на землях монастырских, архиерейских и поместных. Но она не вполне поддерживает это убеждение. Она составлена из показаний, заимствованных из писцовых книг двух новгородских пятин и гор. Пскова с пригородами, трёх центральных и трёх степных уездов, и показывает разное: в иных уездах в лучшем состоянии сравнительно с землями всех других видов оказываются земли монастырские, в других—земли церковные, архиерейские или дворцовые, а в некоторых поместьям принадлежит преимущество перед землями церковными, монастырскими и даже перед служилыми вотчинами. Но если бы таблица даже вполне поддержала мысль автора, она только внесла бы этим ещё бо́льшее затруднение в дело. Поясняя во второй главе труда таблицу сокращения подворной крестьянской запашки с 1570-х годов на монастырских землях центральных уездов, автор доказывал, что этот про-

цесс одновременно совершался и на землях других видов, чёрных дворцовых, служилых и приведённые им данные показывают, что дворцовые земли и служилые вотчины в этом отношении падали даже ниже уровня земель поместных и монастырских (стр. 147 и сл.). А сокращение крестьянской запашки автор признаёт таким же признаком упадка земледелия, как и расширение перелога.

Вопрос о земледельческом кризисе во второй половине века,—основной вопрос исследования, — получает у автора такую постановку. Отлив населения из Центра и Западного Полесья, по мнению автора, не причина, а только подкладка земледельческого регресса. Чтобы объяснить происхождение этого регресса, надобно идти дальше и найти причину са́мого этого отлива. Причина найдена „в постепенном росте поместного и крупного монастырского землевладения", недостатки которого, по выражению автора, заставляли крестьян целыми массами отливать из Центра и Западного Полесья. Как теперь оказывается, что-то заставляло крестьян бежать и с других земель, не разделявших этих недостатков. Самые эти недостатки, которыми автор объясняет плохое состояние поместного и монастырского сельского хозяйства,— большею частью отдельные случаи или предположения и не могли иметь решающего в деле значения, если даже вполне соответствуют действительности (стр. 455 и сл.). Очевидно, действовала более общая причина, простиравшая своё действие не на одни поместные и монастырские земли. В иных местах поместья до половины XVI в. являются признаками благоустройства, с хорошей крестьянской запашкой, с незначительным перелогом, а потом расстраивались, хотя переходили в дворцовое ведомство. Не в видах землевладения было дело.

Надобно поставить автору в большую заслугу возбуждение вопроса о сельско-хозяйственном кризисе во второй половине века; но решение его нуждается в пересмотре. Условия, создавшие этот кризис, не ограничивались сферой сельского хозяйства, произвели общий и один из самых крутых

переломов, когда-либо испытанных русским народным трудом, и когда вопрос будет обследован возможно разностороннее, тогда, может быть, и самый процесс получит иное освещение и иную оценку, явления, какими он обнаруживался, станут перед исследователем в другом сочетании и взаимоотношении, причины окажутся следствиями и наоборот.

Указанные пробелы, недосмотры, проблематичные положения—не столько недостатки рассматриваемого исследования, сколько затруднения, с которыми пришлось бороться исследователю и которых он не успел вполне преодолеть по свойству предмета и по состоянию своих источников. Методологические и другие затруднения и неудачи неизбежны во всяком научном труде, который ставит важные и мало подготовленные в литературе предмета задачи и для решения их принуждён пользоваться мало тронутым и притом недостаточным материалом. Но почин в трудном деле сохраняет свою цену при всяких недочётах в исполнении. Несмотря на все встреченные затруднения автору, благодаря его настойчивости и уменью не бояться мелочной, хотя бы микроскопической работы, удалось добиться сериозных научных результатов.

Прежде всего надобно признать большою заслугой автора то, что он собрал обильный и разнообразный архивный материал по разным отраслям народного хозяйства Московской Руси и данные, относящиеся к сельскому хозяйству, подвергнул тщательной разборке в длинном ряде статистических таблиц, которые внёс в текст своей книги и в приложения к ней. Этот материал и эти таблицы много помогут при дальнейшей разработке предмета, исследованного автором, и пригодятся даже при решении многих вопросов, не входивших прямо в программу его диссертации.

В истории Московского государства у нас охотнее изучались юридические отношения, чем подробности экономической жизни народа. Особенно много оставалось пробелов в строе сельского хозяйства, в движении главной производительной силы страны — земледелия: ни материал не был в

должной мере обследован и даже приведён в известность, ни задачи и приёмы изучения достаточно прочно установлены. Исследование г. Рожкова надолго останется в руках изучающих историю этого государства по весьма значительному ряду подробностей сельско-хозяйственной жизни, которые им впервые разработаны и выяснены посредством тщательного детального изучения источников, большею частью неизданных и трудных для изучения или отрывочных. Каждая глава книги даёт читателю такую работу над какой-либо отраслью сельского хозяйства, иногда по нескольку таких работ, ценных либо по новизне предмета, либо по обилию собранных данных. Достаточно просмотреть целые страницы цитат, которыми сопровождается очерк земледельческих орудий, употреблявшихся в XVI в., чтобы видеть, какого микроскопического изучения стоили такие работы (стр. 111 — 116). Помощию настойчивых статистических наблюдений автор детально осветил много мелких, мало заметных процессов, какие происходили в русском сельском хозяйстве XVI в., но из совокупности которых складывались крупные исторические факты. Так при изучении крестьянских платежей в казну и землевладельцам, автору удалось впервые выяснить одну любопытную подробность государственного обложения земли—*обеление*, освобождение от тягла барской пашни, и определить его время, условия и размеры (стр. 266 и сл.). Потом, книга даёт ответы на многие вопросы по истории сельского хозяйства Московской Руси, доселе оставшиеся недостаточно обследованными, или по крайней мере сообщает обильный материал для дальнейшей разработки таких вопросов, именно: о размерах лесов в частных имениях, о сравнительной величине пашни, перелога и луговой земли, о видах хлебов и других культурных растений, производившихся в XVI в., о росте барской и холопьей пашни в связи с расширением перелога к концу XVI в., о размерах средней запашки на крестьянский двор по областям, о движении цен на хлеб, скот и землю в течение века, о видах и размерах государственного поземельного налога и землевладельче-

ского оброка, о запустении центральных уездов и Западного Полесья с 1570-х годов, о местном распределении, размерах и количественном отношении разных видов земельного владения, о количестве населённых мест и числе крестьянских дворов на поселение, об условиях и степени напряжения мобилизации земельной собственности в XVI в., об отношении пашни к перелогу и проч.

Приёмы исследования, какие применил автор к своему труду, его способ обращения с источниками, некоторые выводы, им добытые, могут быть изменены, улучшены и исправлены при дальнейшей обработке предмета другими исследователями, даже им самим помощию опыта и размышления. Но книга г. Рожкова несомненно облегчит самое отношение исследователей к той области русско-исторического изучения, из которой взята её тема: исследователь будет входить в эту область с меньшим смущением, без тяжелого чувства риска, с более ясным представлением о свойстве источников, о количестве требуемого их изучением труда и о степени разрешимости научных вопросов, с какими можно или желательно было бы к ним обратиться.

Признавая исследование г. Рожкова сериозным научным трудом, думаю, что оно вполне заслуживает искомой автором премии.

Приложение.

Разбор сочинения Th. v. Bernhardi: Geschichte Russlands und der europäischen Politik in den Jahren 1814 — 1831. Zweiter Theil. Erste Abtheilung. (Hirzel).

(Перевод с немецкого) [1].

Лежащий пред нами первый отдел второй части труда состоит из двух совершенно раздельных половин. В первой, по объёму несколько меньшей, заключается обзор государственной и культурной истории Европы от времени крестовых походов до реставрации; вторая трактует русскую историю от самых ранних начатков её до 1689 года. Эту часть труда прочли мы с интересом совсем особенным. Г. фон-Бернгарди пишет для незнакомого с русской историей немецкого читателя, но труд его прочтёт с интересом и отнюдь не без пользы русский, вполне освоенный с историей своего отечества. Много односторонних представлений укоренилось в

---

[1]) Historische Zeitschrift, herausg. von H. v. Sybel. München. 1876. Band. XXXVI.

Статья была написана В. О. Ключевским по-русски и переведена на немецкий язык проф. В. И. Герье. Редакция указанного журнала напечатала доставленный ей текст, возможно, с некоторыми изменениями и сокращениями, выяснить которые ныне не является возможным, так как ни у проф. Герье, ни в бумагах В. О. Ключевского не осталось никаких следов этой рецензии. Предлагаемый текст—перевод того, что было напечатано в Historische Zeitschrift. Труд составления этого перевода приняла на себя Е. В. Герье, пользовавшаяся во время своей работы указаниями В. И. Герье.

России об условиях её жизни; к этому прошлому немецкий наблюдатель свободно подходит с таких точек зрения, к которым не имеем лёгкого и верного доступа мы здесь, пленённые нашей традицией. Кроме того автор сумел представить отдельные моменты своего изложения в простой и естественной последовательности, незначительное оставить в тени, подчеркнуть более важное; он вообще уверенно владеет своим материалом и ему удалось дать своим читателям исчерпывающий, цельный обзор русской истории. В русской исторической литературе до сих пор не имеется трудов, подобных работе г. фон-Бернгарди. Вполне объяснимо и отчасти даже извинительно отсутствие на русском языке подобного полного обзора русской истории, удовлетворяющей научным требованиям. С очень недавнего времени усилили мы внимание к событиям нашего прошлого и потому привычка к отдельным исследованиям всё ещё берёт у нас верх над желанием кинуть общий взгляд на весь пройденный путь. К этому присоединяется и другое неблагоприятное обстоятельство: в истории внутреннего развития нашего народа больше вопросов поставлено, нежели разрешено; иное ещё не продумано, в ином ещё не пришли к окончательным выводам. Таким состоянием русской исторической литературы в связи с положением автора, как исследователя иностранного, определяется весь характер рассматриваемого труда, его достоинства и недостатки.

Трудно определить, насколько ознакомился Бернгарди с современными данными русской исторической науки. В работе его приводятся имена лишь немногих из русских писателей, известных своими исследованиями в области отечественной истории. Во всяком случае труд его приятно поражает тем, что фактические ошибки в нём действительно редки. Так, например, автор называет греком митрополита Алексия, который в XIV столетии столь споспешествовал своим влиянием московскому князю (стр. 261). Но именно важным обстоятельством является в действительности чисторусское происхождение этого митрополита, одного из первых

русских иерарховъ, принявших живое участие в политических отношениях своего времени; отец его, черниговский боярин, в конце XIV столетия искал в Москве убежища от татарского нашествия, и брат Алексия является родоначальником московской боярской фамилии Плещеевых. Работая на пользу московского князя, Алексий действовал не в одних интересах церковного своего положения, но в полном соответствии и со стремлениями того общественного класса, выходцем из которого был сам: именно в XIV столетии боярство московское оказывало ревностную и единодушную поддержку стремлениям своего князя. Иначе действовали в XVI столетии и боярство, и митрополит из бояр, святой Филипп. Далее, не вполне верными чертами определяет автор общественное положение и личный облик Сильвестра, советника Ивана Грозного, изображая его монахом-аскетом одичалой наружности (стр. 309). Этот Сильвестр принадлежал к так называемому белому духовенству, был священником одного из кремлёвских соборов, и Домострой, им составленный, доказывает, что дела и нравы сего мира были известны ему лучше, нежели область аскетических подвигов. Наконец, трудно объяснить, что разумел Бернгарди, выдавая принятый Иваном Грозным царский титул за именование, заимствованное из отношений азиатских (стр. 310). Правда, русские величали этим титулом татарского хана до Иванова времени, но самый титул происходит от того же слова и обозначает то же политическое понятие, как и немецкое именование Kaiser: „царь“—русская форма слова „Цезарь“. Так и именовались у нас первоначально византийские императоры и ещё в XI в. понятие Reich передавалось в славянском Евангелии (например, в молитве Господней) словом „цесарствие“, лишь позднее слово было сокращено в ныне употребляемое „царствие“.

Таких погрешностей немного, и сами по себе они лишены существенного значения. Но можно указать иные изъяны, повредившие правильной концепции исторических фактов существенной важности. Изъяны эти стоят в тесной связи с

тем состоянием нашей исторической литературы, о котором мы говорили выше, а также и с особливым положением автора по отношению к изучаемому предмету. Изучение отечественной истории шло у нас, если можно так выразиться, сообразно с наслоениями самой народной жизни. Мы начали с исследования событий внешних, отношений России к соседним народностям, с истории двора и лишь позднее устремили наше внимание на ход внутреннего развития, на эволюцию государственного порядка; в этой последней области остаётся ещё много неясного, и всё-таки мы покуда в ней осведомлены более, нежели в истории нашей общественной и духовной жизни. Такое положение дела ярко отразилось на работе Бернгарди. Он предпринял составление истории России, её государственного порядка и культуры, а оказался в силах представить с долею обстоятельности лишь историю её государственного развития. Однако, следуя и в этом последнем направлении, он наталкивался на факты, коренившиеся в самой глуби хозяйственной или духовной жизни народа, и в таких случаях пытался обходить затруднения двояким путём: либо он черпал из неясных указаний какого-нибудь исторического источника, из недоказанных предположений какого-нибудь русского исследователя и давал определённое решение возникающего вопроса; либо искал в истории западной Европы явления, которое казалось бы родственным рассматриваемому явлению, и освещал его с точки зрения исторической аналогии независимо от его непосредственного местного значения. Таким образом в труде Бернгарди мы наталкиваемся на определённые ответы, на определённые выводы там, где для нас—всё ещё нерешённые проблемы. Нередко при этом на отдельные события нашей истории устанавливается точка зрения, для нас совершенно непривычная. Решимость суждения и на том, и на другом пути облегчалась для автора отдалённостью нашей истории. Взор наш на отдалении легче овладевает внешними контурами предмета. Зато ускользают отдельные черты, составляющие его сущность. Между тем истинная научная ценность русской исто-

рии для исследователя и русского, и иностранного состоит, напротив, именно в наличности в истории нашего народа процессов, которых нет в истории других европейских народов, в том, что общие элементы европейской культуры находятся в своеобразном сочетании под влиянием местных условий.

Было время, когда в нашей литературе вёлся горячий спор о родовом быте. Одни старались доказать в нашем прошлом наличность подобного института, другие отвергали, Затем этот спор утих, и утвердилось мнение, что родовой быт не представляет собой особенного исторического факта, который может встретиться или не встретиться в жизни народа, что это лишь известная историческая ступень, и чрез неё в своё время прошли все европейские народы. С тех пор у нас стали больше вникать в сущность са́мого вопроса о родовом быте, стали изучать его местные особенности, пытались ответить на вопросы: был ли у нас род широким религиозным союзом, подобно античному gens, или же он не выходил за пределы кровного родства? И, наконец, какие причины вызвали то состояние упадка, в котором нам показывают его уже древнейшие памятники? Бернгарди относится ко всем этим вопросам иначе: перечисляя те неопределённые черты общественного строя славян, которые мы находим у Прокопия, он замечает: „в источниках, правда, очень скудных, нет следов племенного или родового быта, который естественно предположить на такой ступени общественной жизни“ (стр. 200). В другом месте, говоря о древне-русской общине, он прибавляет: „Одно вытекает из всего (стр. 230), что нам известно об этих веках (до 13-го), а также из более ранних сообщений Прокопия: ни здесь, ни там нет никакого намёка на то, чтобы славянское население древней Руси расчленялось на роды или племена“.

Итак, ни у Прокопия, ни у Нестора, ни в уставах Ярослава автор не нашёл следов славянского родового быта. Но в этих источниках нет и доказательств против существования родового союза у славян; свидетельства их так не-

определённы, что невозможно строить на них какое бы то ни было решение вопроса. Более явные следы родового быта русских славян нужно искать в других источниках: в народных поверьях, преданиях, обычаях народа, сохранившихся отчасти и до настоящего времени. Так как Бернгарди не имел в виду этих источников, то понятно, что его не могли, как он сам замечает (стр. 444), убедить доказательства, на основании которых молодая школа русских историков с Соловьёвым во главе пыталась разрешить вопрос о существовании родового быта в утвердительном смысле. В нашем прошлом существовало одно характерное явление, которое выросло из традиций родового порядка, имело продолжительное и глубокое значение, но также не оставило следов в законодательстве, это—местничество, т.-е. право или обычай служилых людей при занятии государственных должностей спорить между собой о старшинстве, ссылаясь на более высокое служебное положение различных членов своего рода в прежние времена.

Кроме того, нельзя также и утверждать, что родовой быт не оставил никаких следов в законах Ярослава: эти законы признают ещё право родовой мести. Автор указывает на то, что за уплату „виры“, т.-е. денежной пени, по законам Ярослава отвечает не семья убийцы, а в случае нужды и вся округа (вервь), из которой он родом. Но из написанной на немецком языке книги Еверса Ueber das aelteste Recht der Russen автор мог бы усмотреть, что в основной редакции „Русской Правды“ такой статьи не было. Можно указать и на то, что в церковном уставе, который приписывается тому же Ярославу, находятся следы круговой поруки со стороны рода за преступление, совершённое его членами; в случаях, например, если девушка преступала заповедь целомудрия, церковью возлагалась ответственность на весь её род. Наконец, как может автор доказать, что *первоначально* не было ничего общего между вервью и древним родом? Он утверждает очень определённо, что слово „вира“ и „вервь“ внесены в русский язык варяжскими князьями из юридического языка

их родины, что это слова, которые в славянских наречиях не имеют никакой основы, в которых, наоборот, легко узнать германское were и скандинавское hwarf (стр. 231). Но возможно, что слово „вира“ не заимствовано с германского языка, а сохранилось в русском, как наследие первоначального сродства индоевропейских языков; слово же „вервь“ чисто славянского происхождения и встречается у племён, которые никогда не испытывали на себе ни малейшего скандинавского влияния; значение этого слова видно из того, что производное от него выражение „вервник“ на южно-славянских наречиях, например, на сербском, означает родственника. Исследователь, который бы собрал все эти рассеянные по различным источникам отрывочные данные, мог бы составить себе довольно точное представление о родовом быте у древних восточных славян. Он нашёл бы здесь не только развитой культ предков, не только целостный облик родового старейшины, но и нераздельное владение родовым имуществом. Он бы убедился также, что этот родовой союз у восточных славян ещё не вышел за пределы кровного родства и не достиг той ступени, когда союз родовой заменяется союзом религиозным, когда он уже подвергается влиянию исторических сил, имеющих вызвать последующее его разложение.

Мы считали необходимым сделать эти замечания не для того, чтобы выяснить вопрос о родовом быте, — для этого они недостаточно полны,—но ради того, чтобы показать, как в данном случае Бернгарди не прав, может быть потому, что он подошёл к исследованию русской истории со слишком определёнными взглядами.

На подобную же ошибку мы можем указать и в изображении другого явления русской истории, ещё более важного. Возникновение и развитие Московского княжества является центральным фактом древней русской истории. Московское княжество объединило распадавшуюся на уделы русскую землю, положило основу русскому государству, обеспечило русскому народу независимость от иноплеменников и создало ему государственный порядок. Поэтому понятно, что русская

историография уделяла особенное внимание развитию этого княжества. Бернгарди также понимал национально-историческое значение этого княжества и рост его старался внимательно проследить. Но он не располагал достаточно обширным материалом специальных исследований, или же не сумел уяснить себе действительное значение отдельных фактов, которые уклонялись от знакомых ему норм исторической жизни. Вследствие того политический рост Московского княжества не представлен у него с достаточной точностью и полнотой. Княжение князя Ивана Даниловича он рассматривает, как решительный поворотный пункт в истории России: с этого момента Москва быстро возвышается над другими княжествами. Первый шаг на этом пути автор видит в том, что новый великий князь Иван Данилович приобрёл право по всей России собирать дань для татарских ханов, которые прежде отдавали это право торговым людям разных национальностей. Возможно допустить, что князь московский был первым главным откупщиком ханской дани, хотя мы и не имеем прямых доказательств того, что этот способ собирания дани не существовал и раньше. Но есть данные, на основании которых мы можем предполагать, что фискальные полномочия князя Ивана Даниловича далеко не распространялись на всю Россию, что удельные князья Смоленского, Рязанского, а вероятно, и Тверского княжества доставляли хану дань через собственных великих князей, без посредства князя московского.

Как возникло Московское княжество? Каким путём и из каких элементов сложилась власть Великого Князя московского, то-есть тот своеобразный политический тип, который долго потом сохранял свои существенные черты. Когда условия древне-русской жизни уже стали изменяться под влиянием западно-европейским? Бернгарди внимательно следит за историческим развитием этой власти, даёт себе труд точно определить каждую ступень этого развития и подчеркнуть каждую из важнейших причин, ему содействующих. К главнейшим союзникам этой власти он, конечно, причисляет

церковь, которая проповедывала повиновение великому князю московскому и таким образом укрепляла его могущество (стр. 288 и сл.). Автор повторяет здесь то, что говорилось и у нас и теперь ещё говорится по поводу отношения церкви к Московскому государству; говорится больше по привычке, из чувства известного пиэтета, чем на основании научного убеждения. Бернгарди мог думать, что церковь имела такое же политическое значение в России, как в истории развития королевской власти Западной Европы. Имея в виду несколько случаев предания митрополитами анаѳеме врагов московского князя, он мог видеть в таких случаях доказательство общей и постоянной политики русского высшего духовенства. Он не понял того, что такой политики никогда не существовало, ибо митрополит, живший в Москве, действовал в интересах своего князя, епископы же в других городах точно также поддерживали своих князей, враждебно настроенных против Москвы. Чем ближе рассматривать явления древне-русской истории, тем яснее становится, что при выработке политического строя страны древне-русская церковь лишь молча освящала уже совершившиеся факты, шла за ними, а не руководила ими. Кроме того, те действительные успехи, которые сделали Москву политическим центром древней Руси, были достигнуты в области весьма отдалённой от поля деятельности самой церкви: в области материальных интересов, а не церковно-политических понятий или нравственных симпатий.

Нельзя, правда, утверждать, что Бернгарди в этом вопросе высказал то, чего никогда не было, но можно опасаться, что его недостаточно ясный способ выражения даст читателю не совсем верную картину того, что было. Впрочем, автор к тому, что он говорит о содействии, оказанном церковью Московскому государству, прибавляет ещё замечание более, чем неточное: он говорит, что за это содействие князь Иван Данилович предоставил церкви значительное и широкое участие в управлении страной, и что отсюда возникли её притязания на соправительство, которые были устранены только

Петром Великим. Такое заключение ново для нас, особенно в той форме, в какую оно облечено, и трудно угадать, какие факты могли привести к нему автора. Предоставленное церкви столь существенное право вылилось бы в определённую политическую форму: притязание, так долго существовавшее, должно было выразиться со стороны церкви в известных требованиях всякий раз, когда ей угрожало непризнание или лишение этих прав. Но если высшее духовенство несколько раз приглашалось в силу некоторого чувства религиозного приличия в государственный совет (Боярскую Думу), то в этом нельзя видеть значительного и широкого участия церкви в управлении страной; или, если высшее духовенство в XVI веке, по рассказу Флетчера (этот рассказ наш автор считает достоверным), в заседании Думы из подобного же чувства отказывалось высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, утверждая, что это не его дело, и спешило удалиться из заседания,—вряд ли можно говорить о политических притязаниях этого духовенства. Правда, многие митрополиты и патриархи имели в Москве большое политическое влияние, но это влияние было следствием личных их отношений к царю или случайных обстоятельств, которые не имели ничего общего с политическим значением церкви. Такое влияние оказал в XIV веке св. Алексий, потому что он был местный уроженец, принадлежавший к боярству, преданному в те времена князьям; в XVII веке—Гермоген, так как в то время не было законного царя; Филарет—отец царя Михаила; Никон—вследствие своей личной дружбы с царём Алексеем. Энергичный глава церкви в древней России располагал многими средствами, если хотел вмешиваться в деятельность главы государства, но эти средства основывались не на каких-либо уступленных князем политических правах, а на нравственном авторитете иерархии в древне-русском обществе. Не политические притязания церкви, а именно недоверие к этому нравственному авторитету побудили Петра уничтожить патриаршество, как он сам признал с искренностью, делавшей ему честь. Итак, не церковью основано политическое могу-

щество Москвы, хотя её авторитет, её голос содействовали укреплению и украшению этой власти в то время, когда она начинала расти и развиваться.

В истории развития власти московского великого князя, как изображает её Бернгарди, русский читатель нередко наталкивается на совершенно для него неожиданные открытия автора; в целях представить постепенный рост этой власти, автор устремляет своё внимание, между прочим, на духовные и договорные грамоты московских князей, бывшие верным отражением государственного права того времени. Если князь Иван Данилович приобретением права собирать татарскую дань и привлечением к своему двору главы русского духовенства сделал первый шаг на пути усиления этой власти, то, по мнению автора, за сыном его Симеоном Гордым закрепляется память о шагах дальнейших. В договорной грамоте Симеона с младшими братьями Бернгарди находит новшество, которое якобы повлекло за собой важные последствия для семейного права княжеского дома, а именно—попытку ввести право первородства, до сих пор чуждое этому семейному праву (стр. 260). Это новое право заключалось будто бы в том, что удельные княжества младших братьев, согласно договору, переставали быть самостоятельными областями со всеми державными правами, как это было раньше; в том, что одна половина доходов с них должна была принадлежать старшему брату; что ему было предоставлено право внешнего представительства, что, таким образом, здесь, впервые в России, младшие братья Симеона были поставлены в условия, в существенных чертах соответствующие положению западноевропейских принцев, наделённых апанажем. Однако, в самой грамоте мы совершенно не находим таких оговорок. Братья заключают договор как самостоятельные правители, младшие братья выговаривают себе право беспрепятственного приобретения новых владений и такого же свободного управления в своих старых унаследованных вотчинах; и совершенно нельзя усмотреть, чтобы державные княжеские права младших братьев в их владениях подвергались какому-либо но-

вому ограничению в пользу старшего брата; преимущества последнего определяются тем, что младшие обязуются его чтить вместо отца; но подобное условие существовало и прежде. Кроме того, старшему, в силу его старшинства, предоставляется половина всех пошлин, собранных с города Москвы, общего удела всех братьев (а не половина всех доходов вообще). Кроме того, по точному смыслу договора, это преимущество признано и на будущее время, но не как право первородного из братьев, а как право того, кто будет старшим в семье. Что касается внешнего представительства, то это право весьма ограничено обязательством старшего „без сосогласия братьев ни войны не вести, ни заключать договоров". Младшие братья мало похожи на принцев с апанажем, ибо договорная грамота вовсе не отнимает от удельных князей права свободного и произвольного распоряжения своими владениями. Это право князей распоряжаться уделами, как своей полной собственностью, было подвергнуто ограничениям гораздо позднее. Мы видим, таким образом, что сопоставление явлений русской истории с условиями западно-европейскими лишало автора возможности правильно оценить и понять эти явления.

Далее, разбирая договор великого князя Василия Тёмного с Тверским князем Борисом Александровичем (Беригарди ошибочно называет его Васильевичем), автор сообщает, что первый предоставил второму право „носить титул великого князя, подобно ему самому", и что тверской князь обязывался доставлять дань татарскому хану не прямо, а через посредство великого князя московского. Ни того, ни другого условия в тексте договора нет. Василий называет Бориса великим князем, как московские князья называли старших князей тверского дома и в прежних договорах, как, например, Дмитрий Донской называет князя Михаила Александровича в 1368 г., а что касается уплаты дани, то в грамоте сказано совершенно противоположное: князь Московский признаёт за тверским князем права непосредственных сношений с Ордой— словами: „путь к Орде и к царю (хану) ему чист".

И теперь, как при Иване Даниловиче, право великого князя московского и владимирского собирать татарскую дань не распространялось на княжеские линии, которые имели своих великих князей. Князь боровский Василий Ярославович принадлежал к московской линии и признавал великим князем Василия Тёмного. В его договоре с последним мы находим обязательство удельного князя предоставить татарскую дань в руки великому князю; при этом по поводу сношения с Ордой добавлены слова: „мне знать Орду, а тебе Орды не знать“. Те же слова мы бы нашли и в относящемся к тому же времени договору Василия Тёмного и Бориса Тверского, если бы великокняжеские права первого распространялись и на второго.

Вследствие такого же недоразумения автор говорит далее, что по завещанию Василия Тёмного каждый из его сыновей владел участком в городе Москве, чего прежде не бывало (стр. 288). Наоборот: начиная с первого известного нам памятника этого рода (духовной грамоты великого князя Ивана Даниловича), город Москва всегда предназначался для общего владения всех наследников, из которых каждый наделялся отдельным участком. Этот обычай коренился в смутном воспоминании о древнем княжеском владетельном праве, и как раз, начиная с завещания Василия Тёмного, уже заметно стремление завещателя нарушить этот обычай и передать владение столицей одному старшему сыну, великому князю.

Но в особенности приходится сожалеть о том, что Бернгарди невнимательно разобрал завещание Ивана III. Оно важно, как первая грамота, в которой ясно выступает стремление ввести государственный порядок, прочное политическое подчинение удельных князей великому князю независимо от добровольных и иногда обоюдных обязательств.

Каковы же были эти первые в настоящем смысле слова политические ограничения государственного права удельных князей? Бернгарди утверждает (стр. 297), что Иван, назначив старшего сына Василия „единым наследником всего го-

сударства“, оставил младшим сыновьям значительные уделы, но без всяких державных прав. „Они не имели права чеканить монеты и творить уголовный суд; другими словами, они едва ли имели большую судебную власть, чем всякий иной видный боярин над своими поселянами“.

В действительности, в завещании Ивана III дело не заходило так далеко.

Московские князья любили двигаться к цели медленным, обдуманным, чисто-мещанским образом действий. Право чеканить монету исключительно предоставлялось великому князю. Удельные князья, младшие братья Василия, потеряли по завещанию отца право взимать пошлину (косвенные налоги), сидеть на суде в случаях убийства и воровства, достоверно случившихся в Москве и в тех волостях Московского уезда, которые им принадлежали. Судопроизводство во всех прочих случаях, как гражданское, так и уголовное, точно так же, как и право взимать дань (прямой налог) в этих сёлах сохранялось за удельными князьями: это ясно оговорено в духовной грамоте. О судебных и фискальных правах удельных князей в удельных княжествах, т.-е. в их вотчинах, лежащих вне Московского удела, завещание ничего не говорит и оставляет всё постарому. Наконец, удельные княжества, владетели которых умирали, не оставляя детей и внуков, должны были, согласно завещанию, целиком переходить к великому князю.

Этим и исчерпываются все ограничения власти удельных князей; они утрачивали право чеканить монету и распоряжаться своим княжеством, если не имели наследников мужского пола; они теряли некоторые фискальные права и часть уголовной юрисдикции в городе Москве и в соседних сёлах, им принадлежащих; все другие права в этих сёлах и все другие права, которыми они обладали в своих удельных княжествах, остались неумалёнными. Таким образом, нельзя утверждать, что они потеряли все права державной власти, а в области суда почти что опустились на степень видных бояр. Автор не заметил в завещании Ивана III тех важных

прав, которые сохранились за удельными князьями, точно так же, как он в прежних грамотах находил такие ограничения их самостоятельности, о которых там не упоминается.

В дальнейшем изложении мы находим у Бернгарди не мало фактов, которые также неточно установлены; поэтому путь государственного развития Москвы у него не ясно намечен. Читатель, знакомый с (русской) историей только в изображении Бернгарди, не мог бы дать определённого ответа на вопрос, каким же образом Москва сделалась государственным центром России. Московские князья в милости у хана; в их пользу действует церковь, они всё более и более возвышаются над остальными князьями и отнимают у них земли; в их собственной среде постепенно над удельными князьями возвышается один великий князь; но каким образом всё это происходит—автор не даёт никаких объяснений. В одном месте он говорит о том, что Симеон Гордый сделал первые шаги к введению права первородства (Erstgeburtsrecht) и что таким образом был намечен путь к окончательному обеспечению могущества московского княжеского дома (стр. 260); в другом месте он ослабляет это утверждение, замечая, что право первородства было не столько введено, сколько намечено (стр. 273) (nicht eingeführt aber eingeleitet). Ещё дальше мы читаем, что во времена Симеона это средство утвердить власть Московского князя было рассчитано лишь на ближайшее будущее, что даже при смерти Василия Тёмного в половине XV века ничего не было предусмотрено дальше, чем для следующего поколения (стр. 282). По его мнению, тот перевес в мощи, который предоставлен был Великому князю по завещанию Василия Тёмного, всё же не мог бы упрочить его власть над братьями, если бы они соединились против него; и перед смертью именно этого, так непрочно поставленного Великого князя (Ивана III, сына Василия Тёмного) неизвестно как случилось то, что, по словам Бернгарди, удельные князья получили свои уделы без всяких державных правительственных прав. Мы должны к этому прибавить, что преимущество великого князя, о кото-

ром говорит Бернгарди, основывалось не только на тех ограничениях, которым подвергалась державная власть удельных князей, а главным образом на перевесе материальных средств великого князя и на размере его владений. И события времени Ивана III доказали, что союз удельных князей против великого князя не был в состоянии устранить этот перевес. В другом месте Бернгарди говорит, „что мысль об основании упроченного единого государства была чужда воззрениям русских князей"; в другом же месте при рассказе об изгнании Димитрия, внука Ивана III, и о возвышении Василия на степень единственного наследника, автор замечает, что „на этот раз единство государства было обеспечено", хотя бы и „посредством возмутительного проявления насильственного произвола". Но ведь это доказывает, по крайней мере, что мысль об основании единого государства уже не была так чужда воззрениям московских князей XVI века.

Впрочем, именно тот ряд событий, которых касается Бернгарди, представляет собой наиболее понятную и наиболее доступную исследованию сторону истории Московского княжества. Но она не единственная и даже не важнейшая. Бернгарди избрал политику Московских князей единственным средоточием своего изложения, способ действия этих князей является у него главнейшей причиной их успехов, т.-е. политического объединения России, но в одном случае автор как будто сам усмотрел односторонность своего взгляда и желал признаться в ней: по его замечанию, случалось и прежде, что могущественный русский княжеский дом подчинял другие удельные фамилии и захватывал их владения; и история России даже почти не имеет другого содержания (стр. 273). Но мы со своей стороны полагаем, что история того времени заключает в себе не мало и другого, даже более интересного, чем то, о чём рассказывает автор, потому что оно лучше объясняет ход событий. Правда, не блестящий героизм положил основание могуществу русских князей; а в уме их и хитрости лежала не единственная и даже не главнейшая

причина этого могущества. Политическое значение Москвы не столько выросло из дипломатической тактики его князей, сколько обусловливалось переворотом в экономической жизни народа: история этого города более экономического, чем политического характера. Автор, повидимому, недостаточно знаком с историей суздальской Руси, т.-е. древней Великороссии. Он слишком скоро переходит от изложения быта юго-западной России в XII веке и вторжения татар в XIII веке к московским князьям XIV века, и возвышение последних является у него довольно неожиданно. Короткое замечание о первоначальной колонизации Великороссии славянами, по поводу общинного пользования земли русскими крестьянами, неясно и неосновательно. При этом быстром переходе с берегов Днепра к берегам Москвы в XIV веке Бернгарди утратил ключ к объяснению событий, которые он должен был изложить. Мы сожалеем, что (в настоящей статье) имеем возможность лишь немногими чертами указать, что укрылось от внимания нашего автора.

В начале XII века летописец говорит о Суздальской земле, как о чисто финской области. В половине XIII века татары застали здесь уже настоящую Россию, разбитую на несколько княжеств. Эта перемена совершилась в течение XII века. Междоусобия южных князей и вторжение половцев содействовали потоку переселенцев из южной России, и в этом потоке исчезло финское первобытное население. Всё это произошло под владычеством князей Юрия Долгорукова и его сыновей, Андрея Боголюбского и Всеволода III. Так возникло среди южных междоусобий это новое русское ядро на севере. Его отношение к южной России приняло оригинальный характер. Когда там на юге развилось княжеское родовое владение, этой области ещё не существовало. Когда она населилась и стала русской, родовое владение на юге уже пришло в упадок. Сама история, таким образом, научила северных князей смотреть на свою землю, как на своё особое владение, а не как на часть общего, унаследованного от предков владения; их мирная хозяйственная деятельность

вдали от юга упрочила в них это воззрение. Впервые это обнаружилось в образе действия Андрея Боголюбского, который, когда овладел Киевом и стал великим князем, всё-таки остался дома, в Суздальской области, вопреки обычаю, связывающему звание великого князя с сидением на киевском столе. Бернгарди заключает из этого, слишком поспешно, что уже около половины XII века „исчезло представление, что звание великого князя связано с владением Киевом". Князья южные ещё в конце XII века крепко держались за это представление, так же как и за другие понятия родового быта; настолько глубоко они были ими проникнуты.

Из сказанного явствует, почему суздальский князь отказался легче, чем другие от этих представлений; почему среди суздальских князей родовое владение легче чем у других уступило место личному владению; почему у них родовое наследование по старшинству было вытеснено наследованием по завещанию. В этих новых взглядах нужно искать причину дробления суздальских княжеств с XIII по XV век. Это дробление обусловливало бедность, обессиление удельных князей и много содействовало победе Москвы над ними. Московское княжество сначала является самым незначительным из них, но зато оно представляло собой самую юго-западную окрайну Суздальской области, а когда наплыв переселенцев с юго-запада на северный берег Оки усилился, то это обстоятельство всего выгодней было для Московской земли. Существуют сведения о раннем и сравнительно густом заселении этой области. В этом незаметном обстоятельстве заключается первоначальная и главнейшая причина могущества Москвы. Все прочие причины, на которые указывает автор — побочные причины или последствия первой. Из грамот московских князей XIV века видно, что они были образцовыми сельскими хозяевами для того времени и этим путём достигли гораздо большего, чем своей политической хитростью. Свойства земли и характер населения, состоявшего почти исключительно из крестьян, которым так свойственно содействовать сильному развитию княжеской власти, сделали из

сельско-хозяйственной деятельности князей единственный источник их доходов.

В этом же заключается причина фамильного характера Московских князей с их однообразным, оригинальным типом, и основание их фамильной политики, приносившей более выгоды, чем славы. Их умение организовать своё мужицкое княжество и ввести в нём относительно лучший порядок не только привлекало туда поселенцев, но, что ещё важней, побуждало их оставаться там. В руках князей накоплялись свободные деньги, которые были так редки у других князей; этими деньгами они приобретали себе почёт в Орде и звание великого князя; эти деньги, милость хана и великокняжеское звание давали им решительное преимущество над другими—при скупках земель во время колебаний, которым в то время постоянно подвергался хозяйственный доход княжеских владений, и при насильственном их захвате, которым тогда сопровождалось распадение (междукняжеских) родственных отношений. Так они покупали и насильственно приобретали многие деревни и целые княжества. С другой стороны, звание великого князя доставило им господство над северными князьями в национальной борьбе с Литвой и татарами, и эта гегемония сделала их популярными на всём севере, возвысила Москву на степень национального центра, прежде чем она стала политическим центром. Вот каким образом связь событий сделала этих, в начале XIV века ещё мелких князей, постепенно государями „всея Руси“.

Этим же путём развилось их внешнее политическое положение в стране. Из этих же источников развивался внутренний и общественный строй Московского государства, образовавшийся к концу XVI века. Оба исторических процесса, под действием которых созрело государство, территориальное объединение России под властью Московских князей и развитие внутренней политической и общественной жизни по типу княжеского имения, наглядно отразились в характерном устройстве государственного центра: древняя Москва, пёстрая груда хозяйственных поселений, соединённых под

ведением дворцового управления в форме крупного княжеского хозяйства. Это совершенно иной тип, чем тот, который представляет собою средневековой город, и русскому читателю трудно понять, что разумеет Бернгарди под своим замечанием, что „Дмитрий Донской стремился всё уничтожить, что в городах его области развилось на почве муниципальной организации, в особенности в Москве“ (стр. 262).

Бернгарди не ограничивается изложением политических событий, но касается при случае и идей, господствовавших в тогдашнем русском обществе. Мы приведём читателю пример его изложения и в этой области. Его описание культурных стремлений в XVI веке довольно оригинально. По его мнению, проявившаяся тогда духовная жизнь развилась под влиянием тоже только что создавшегося государства, и, с одной стороны, отсюда явилось стремление правительства Ивана Грозного сблизиться с Европой и присвоить себе практически-полезные плоды её цивилизации, а, с другой стороны, это стремление вызвало в обществе оппозицию против иноземного влияния (стр. 311). Автор прав, приводя в связь стремление к реформам царя Ивана IV с его склонностью к европейскому западу: и то, и другое истекало из одного источника, из потребностей, ощущавшихся нововозникшим государством. Перечисляя эти реформы, Бернгарди замечает, что Иван IV, между прочим, „правда, без успеха, запретил между полководцами споры о местах, основанные на должностном положении отцов и дедов“ (стр. 314). Это замечание недостаточно ясно: царь Иван IV признавал местничество в принципе; он желал только точней определить вытекавшие из него споры и ограничить их известными случаями.

Упоминая о распоряжении Ивана IV, в силу которого во всех областях старшины и целовальники должны были творить суд, автор замечает, что такая организация была в то время введена только в Новгороде и Пскове (стр. 315). Но и это не совсем точно: в то время, когда эти старшины и целовальники появляются в Новгороде, они встречаются и в других местах. Судебник царя Ивана имел своим послед-

ствием только то, что они были введены повсюду. Впрочем эта мера не была полным новшеством, как её обозначает автор: уже великий князь Иван III в XV веке запретил областным воеводам творить суд без старших и „лучших“ людей.

„Во главе оппозиции,—продолжает автор,—решительно отклонявшей все эти новшества и реформаторские стремления и всегда и везде старавшейся затормозить их и подорвать, стояло, конечно, духовенство русской церкви“. Но у нас неизвестно, откуда можно было бы установить, что духовенство везде сопротивлялось введению реформ, например, организации стрельцов, ограничению местничества, изданию судебника, который был охотно принят даже Собором 1551 года, введению старост и целовальников и всем этим новшествам царя Ивана. Автор указывает на двойную опасность, которую усматривало перед собой высшее русское духовенство: извне—со стороны католицизма, внутри—со стороны реформаторских стремлений собственной церкви. О последней автор замечает: „мы касаемся здесь области русской истории, которая ещё недостаточно освещена, и можем только сожалеть, что местные исследователи России, которым доступен весь материал, не исключая рукописного в архивах, не обратили достаточного внимания на интересные, во всяком случае, явления, о которых здесь идёт речь“ (стр. 316). За этим автор сообщает об исправлении славянского текста церковных книг, о Максиме греке, о русских еретиках XVI века, о Стоглавнике—всё это вопросы, которым у нас посвящали особенное внимание, и ради которых усердно исследовали архивы. Всё это даёт повод думать, что эти исследования не удовлетворили Бернгарди и что он, по крайней мере, выставляет известные вопросы, на которые не находит ответа у русских исследователей. Но мы читаем у него, что Максим был привезён в Москву в 1506 году (стр. 317), хотя у нас всем известно, что это случилось в 1518 году. Далее, Бернгарди сообщает, что Максим за оппозицию против второго брака великого князя Василия был сослан

в Тверь. Из этого видно, что автор мало знаком с тем, что русские исследователи выяснили в этом вопросе. У них можно найти не опровергнутое до сих пор доказательство, что Максим был подвергнут изгнанию не из-за указанной причины, но из-за политических отношений, из-за мнений по церковным вопросам, и что он был сначала заточён не в Тверь, а в Иосифов монастырь, в Тверь же он попал лишь в 1531 году вследствие второго суда над ним. Бернгарди пишет, что после двенадцатилетнего изгнания в Твери Максим был переведён в Троицкий монастырь. У нас известно, что его недобровольное пребывание в Твери продолжалось двадцать лет. Бернгарди сообщает, что Максим перед прибытием своим в Россию был во Флоренции и в Париже, у нас же считают возможным заключить из намёков самого Максима, что в них он не бывал.

О влиянии протестантизма Бернгарди говорит, что он распространялся не только в Москве, но и по всему государству: на восток—по ту сторону Волги, на север—до отдалённого Белоозера. Из этого можно было бы заключить, что протестантизм увлёк за собой целые массы народа на этом необъятном пространстве. Однако, его влияние ограничилось несколькими личностями в наиболее грамотных кругах; помимо же этого, во всех известных случаях религиозного вольнодумства того времени обнаруживается гораздо более влияние русских ересей прежних эпох, чем влияние протестантизма. Из виновников этих церковных смут Бернгарди называет только Башкина, мнения которого недостаточно известны, и приписывает ему ересь другого еретика—Феодосия Косого, вовсе не упоминаемого автором. Вместо того, чтобы изложить с некоторою подробностью меры Московских церковных соборов против еретиков того времени, автор ограничивается тем, что приводит без всякой критики неточное и позднее, относящееся к XVII веку известие Андрея Венгерского о трёх проповедниках реформации в западной России, пришедших из внутренней России (стр. 318 и 445). Между этими тремя упоминается у Венгерского и монах

Артемий, о котором известно, что он был приверженцем учения Башкина. Об этом Артемии теперь удалось выяснить, что он в Москве усердно действовал против тамошних лютеранских проповедников.

Подробное рассуждение о Стоглавнике (т.-е. собрании постановлений церковного собора 1551 года) у автора также не лишено подобных промахов, которые легко было устранить при более близком знакомстве с русской литературой, в этом вопросе достигшей важных результатов. Мы ограничимся указанием лишь на некоторые промахи против общеизвестных фактов. „Стоглавник,—говорит Бернгарди,—до сих пор, к сожалению, никогда нигде не был издан целиком, так что он известен нам лишь в выдержках“ (стр. 319). Замечания автора об этой книге не допускают ни малейшего сомнения в верности этого последнего утверждения; самая же книга, однако, уже за двенадцать лет до выхода книги Бернгарди у нас два раза была издана по двум разным рукописям и редакциям,—в С.-Петербурге и в Казани. Далее читатель наталкивается на следующие непонятные слова автора: „против судебного поединка Стоглавник, по крайней мере непосредственно, ничего не возражает: в истории России мало или даже вовсе нет на него указаний, так что мы в сущности впервые узнаём из постановлений этого собора, что судебный поединок был в употреблении и в России и именно ещё в это время“ (стр. 322). Бернгарди мог бы найти о судебном поединке несколько параграфов в обоих судебниках 1497 и 1550 годов. Постановления первого о судебном поединке он мог бы найти и у Герберштейна, как в латинском, так и в немецком тексте, не говоря уже о других указаниях на этот обычай. „Замечательно, однако,—продолжает Бернгарди (стр. 326),—что постановления этого собора, как их консолидирует Стоглавник, никогда не были формально признаны светским правительством России и обнародованы в качестве церковного закона“. В нашей литературе на основании неопровержимых исторических свидетельств было доказано, что постановления Стоглавника были безусловно при-

знаны светским правительством и были обнародованы в принятых тогда формах, как постановление собора или церковный закон страны.

Мы остановились на некоторых более важных местах сочинения, так как внимательный анализ этих немногих мест считали предпочтительным беглому обзору целого. Мы при этом имели в виду не разъяснение нашей прошлой истории, а хотели только показать, насколько Бернгарди был знаком с результатами нашей историографии. Нет сомнения в том, что книгу Бернгарди приходится считать важным успехом сравнительно с тем, что было ранее известно за границей о древнейшей истории России или было о ней написано. Главный же недостаток книги заключается в том, что она недостаточно широко сбнимает понятие европейской цивилизации: в историю последней она включает только западно-европейский тип. Но отсутствие некоторых местных черт западно-европейской культуры в историческом развитии русской жизни не оправдывает вывода, что последней недостаёт основ европейской цивилизации. Немецким читателям книги Бернгарди она, несомненно, даст много нового. Русский же читатель не найдёт в ней основных начал, исключительно свойственных русской истории.

К. . . . . у.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стран.

„Великие минеи-четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием".
Отзыв об издании Археографической комиссии . . . 1

„Новые исследования по истории древне-русских монастырей".
Разбор сочинений В. Иконникова 19

„Поправки к одной антикритике".
Ответ В. Иконникову 78

„Рукописная библиотека В. М. Ундольского".
Отзыв об издании Румянцевского музея 98

„Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси".
Разбор сочинения А. Щапова 123

Разбор сочинения А. Горчакова:
О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и св. синода. 158

„Аллилуиа и о. Пафнутий".
Ответ на анонимную заметку в Московских Епархиальных Ведомостях 194

Академический отзыв о сочинении А. Горчакова. . . 200

„Докторский диспут г. Субботина в Московской Духовной Академии". 240

Разбор книги Д. Солнцева:
Очерк истории русского народа до XVII стол. 257

Разбор сочинения Н. Суворова:
О церковных наказаниях. 263

„Крепостной вопрос накануне его законодательного возбуждения".
Разбор II тома сочинений Ю. Ф. Самарина. 274

Стран.

Отзыв о книге С. Смирнова:
История Московской духовной академии до её преобразования. 296

„Г. Рамбо—историк России".
Разбор книги А. Рамбо: Histoire de la Russie 321

„Право и факт в истории крестьянского вопроса".
Ответ Д. Самарину 337

„Объяснение по поводу одной рецензии".
Ответ Владимирскому-Буданову 348

Академический отзыв об исследовании проф. Платонова:
Древне-русские сказания и повести о Смутном времени как исторический источник 358

Академический отзыв об исследовании г. Чечулина:
Города Московского государства в XVI веке. 375

Академический отзыв об исследовании Н. Рожкова:
Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке . . 421

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Перевод рецензии на книгу Th. v. Bernhardi.
Geschichte Russlands und der europäischen Politik in den Jahren 1814–1837 I

DK 510.52 .K6 1918 v.3 IMS
Kliuchevskii, V. O.
Sbornik statei 47090232

PONTIFICAL INSTITUTE
OF MEDIAEVAL STUDIES
59 QUEEN'S PARK
TORONTO 5, CANADA